

МИКОЛА МЕТЛИЦКИЙ



ВОТ И ЛЕТО ДОСПЕЛО...

* * *

Вот и лето доспело.
Облетело листом золотым.
Наша память сгорела
и исчезла туманом густым.
Положу на ладонь
лист кленовый лесной стороны:
Пламенеет огонь —
вспоминаю прохладу весны.
Желтолистье под клёном
вздых студёного ветра сметёт.
Каплет потом солёным
дождь обложный — на вёрсты вперёд.
Стылой каплею солнце
упадёт на песок, на траву...
Жуткой вечностью сонно
разольёт над землёй синеву.
Вспыхнет в небе комета —
звёздной ночи живая струя.

МЕТЛИЦКИЙ Николай Михайлович родился в 1954 году в деревне Бабчин Гомельской области, неподалёку от Чернобыля. Поэт, главный редактор журнала "Польмя", лауреат Государственной премии Республики Беларусь им. Я. Купалы, автор поэтических книг "Обелиск в жите", "Мой день земной", "Полесская печаль", "Бабчин", "На берегу моём" и др. Живёт в Минске.

Вспыхнет спелое лето
и погаснет, как память моя.
Век седой на исходе.
Словно семя в земле — новый век.
Ляжет мост через годы —
через время отравленных рек.
Я, вдохнувши в двадцатом,
двадцать первому: “Здравствуй! — скажу, —
С плеч отряхивай атом,
желудями стучись о между...”
Я пройду с белым светом,
разминувшись с крутою судьбой.
Вот доспело и лето —
облетело листвою золотой.

*Перевод с белорусского
Александра Стригалёва*

БЕССМЕРТНИК

Под солнцем шальным изнывает песок,
По пояс встаёт чернобыльник сухой.
Бессмертник загривками к долу присох
На жиле песчаной дороги былой.

Широкий и вольный разлив желтизны.
Его не пугает безросная сушь.
Мне душу утешат бессмертные сны
Твои, о бессмертник, средь ядерных стуж.

Целебные травы, как прежде, я рву,
Пусть цедят над смертью живительный свет.
Я памяти шляхом иду, как плыву,
И в памяти всходит село, как рассвет, —

В дыхании жёлтом, всё в солнце, в садах,
Призывное, мудрое, в дымке дорог.
И крыл аистиных широкий размах,
И замер на жёлтом цветке мотылёк.

Бессмертник, отравлены соки твои.
Здесь жизни угасшей мертвящая стынь.
А счастье былое взвивается — и
Мне дарит и дарит живую светлынь.

О, сколько желаний вобрала она —
Дыханья любимой, мечтаний, тепла...
А ныне, страдальца мира, одна
Колдует душа над цветком, как пчела.

Не хочет, ослепнув от сладостных грёз,
Болящая, встретить отчаянный страх
И тешится как бы игривостью гроз,
Танцуя свой танец на чёрных крестах.

*Перевод с белорусского
Александра Стригалёва*

ПЕРЕПЁЛКА

В крае моём одни миражи.
Ищет настойчиво, долго,
Только нигде не находит ржи
Который год перепёлка.

Всюду, куда бы ни бросился птах
В поисках доли лучшей, —
Только полынь да осот в лопухах
За проволокой колючей.

Сядет устало на куст лозы,
Все пустыри облазив.
Грустно уронит искру слезы
Крохотный птичий глазик.

Молча в бурьяне сидит до утра,
Горькой обидой прибита,
Время напомнить бы: “Жать пора!” —
Но нет ни людей, ни жита...

*Перевод с белорусского
Бронислава Спринчана*

* * *

Отрезы, платья, рюши, вытачки —
Сундук, что временем пропах.
Их бабушка порою вытащит —
О, сколько юности в очах!

Лицо, морщинами изрытое,
Разгладится... Забыто зло.
Людьми забыта... Мужем битая...
Душа — как белое крыло.

Вот так заря, давно не летняя,
Над миром утро окрылит.
Дорога смертная, последняя,
Уже нисколько не страшит...

Весь день приданое разглядывать,
Мурлыча простенький мотив,
А после вновь в сундук укладывать,
Табак от моли не забыв.

А там закат в оконце шлёпнется —
Опять — старая, опять — одна.
День отчадит... Сундук захлопнется.
А память —
Вот она, без дна...

*Перевод с белорусского
Анатолия Аврутина*

* * *

Свой грузный воз дорогой катит осень.
Обвили память нити паутин.
Ещё денёк-другой — и на морозе
Заполыхает ярче жар калин.

Пушистый снег — белесою периной.
Шурша, рыжеют гривы камыша.
В безлистных кронах окоёмы — зримей.
В покое — просветляется душа.

Скрипит, шагая, молодой мороз
В рассветной дымке, мгlistой и белёсой,
Меняя стук окованных колёс
На лёгкую мелодию полозьев.

*Перевод с белорусского
Бронислава Спринчана*

АЛЕСЬ САВИЦКИЙ



ВСПАХАННОЕ ПОЛЕ

РОМАН

1

Приказ командира отрядной разведки был краток и ясен: разведчик Олег Свирин направляется на два дня в хозяйственный взвод.

Но в этой ясности, в самой сути приказа было столько обидного, что Олег оторопел, ему показалось, будто он чего-то недослышал, что-то недопонял.

— В распоряжение Гонты? — Несправедливость обожгла, Олег захлебнулся обидой, некоторое время стоял с открытым ртом и растерянно моргал, словно глаза запорошило пылью, потом подался вперед, будто намереваясь получше разглядеть Лысюка, и возмущенно выпалил: — Меня?!

— Тебя, мой друг, тебя, — подчеркнуто дружелюбно подтвердил Лысюк.

Это был приказ, а уж Олег-то знал, что его надо не обсуждать, а выполнять. Но обида жгла, и он все с той же растерянностью, как бы убеждая в первую очередь самого себя, упрямо проговорил:

— Не имеете права! Не имеете!..

Лысюк опять несколько не смутился, согласно кивнул:

— Может, не имею. А может, и имею.

— Я — разведчик! — с горечью напомнил Олег.

— Если ты настоящий разведчик, то должен не горячку пороть, а сперва выяснить — куда послан, с кем, с какой целью. И, уяснив все это, приказ выполнить. Приказ ты понял?

САВИЦКИЙ Александр Онуфриевич (Алесь Савицкий) родился в 1924 году в Полоцке. Ветеран Великой Отечественной войны, командир подрывной группы партизанского отряда "Большевик" и участник взятия Берлина. Известный белорусский писатель, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живёт в Минске.

— Сами же объяснили: картошку сажать. Разве не так?

— Так-то оно так... — протянул Лысюк. По его лицу блуждала сочувственная улыбка, он словно просил Олега помолчать и больше не перечить. Он прислушивался к отзвукам фронтовой канонады, которые были сейчас очень явственны. Еще вчера гремело далеко за Двиной, а сегодня нестихающие рокочущие волны выкатывались уже из леса, что был на той стороне реки.

— Гремит... — заметил Лысюк все тем же домашним и радостным голосом, точно все время о канонаде и шел у него разговор с Олегом. — Даже зяблики притихли, слушают, как наши дают фашисту прикурить. И мы подбросим ему огоньку.

Олег вновь, с прежней обидой, возмущился:

— Наши дают фрицам прикурить, отряд тоже пойдет их колошматить, а я — сажать картошку с дядьками?..

— А кто ж ее посадит? — удивился Лысюк: — Фашисты хаты пожгли, коней позабирали. Народ на нас, партизан, надеется. Правильно надеется?

Этот поворот был столь неожидан, что Олег невольно промямлил:

— Правильно.

— Чего тогда давишь на меня? — спросил Лысюк со смешком.

— Я не давлею. Я только заявляю: снять меня с ответственного задания не имеете права!

— Давай... заявитель... он имеет право... — проговорил Лысюк, с равными интервалами постукивая трофейной сигаретой по пачке, которую вытаскивал из кармана френча — мышинного цвета, тоже немецкого. — Что-то в последнее время, под конец войны, у всех права большие нашлись. Рас толкуй, пожалуйста, с чего бы это? А я покурю да послушаю.

Лысюк снял френч, бросил его на игольчатые листья багульника и сел, прислонясь спиной к сосне. Лицо его смягчилось еще больше, казалось, он напрочь отмежевался от всех этих треволнений; потом Лысюк молча показал рукою на старую осину, что росла внизу, на краю болотца.

Дерево как дерево, не интереснее других, разве что дряхлое. Ясно, для чего это делается! Выпроводил человека в хозяйственный взвод и доволен, будто гора с плеч! И на старую осину глядит с нарочитым вниманием, чтоб от него, Олега, поскорее отвязаться. Впрочем, нет: сизоворонку Лысюк заметил на осиновой кривульке. Странный какой сучок: словно сломан, а падать не хочет, торчит в сторону от всех, навис над молодой сосенкой. Сизоворонка пригелась на солнце, покачивается вместе с веткой, будто привязана к ней.

Олег почувствовал внезапно стыд. Что ни говори, перегнул палку: он, всегда исполнительный, затеял спор с командиром! И удивительно не только это: всему отряду известно, что Лысюк возражений не любит, споров не терпит, теперь же не только выслушал, но и вроде бы предлагает продолжать.

— Может, я не то сказал... — проговорил Олег виновато. — Просто мне очень обидно: два года в разведке...

— Один, — уточнил Лысюк.

— Два! Что вы говорите? Два года я в разведке!

Лысюк весело рассмеялся:

— Хоть кол на голове теши — свое долдонит. Один сивограк*, говорю, а он года свои считает. Боишься, что себе их кто-нибудь заберет?

— Я этого не боюсь. Но хочу, чтоб все было по справедливости...

— По справедливости и есть, — сказал Лысюк, и Олег уже подумал, что нелепый приказ будет отменен. Но Лысюк думал о прежнем: — И вчера здесь сидел, и сегодня — как печалится. И все один-одинешенек. Наверно, без гнезда, без подруги. Сейчас снимется...

Но сизоворонка оставалась недвижимой, никуда не собиралась лететь, даже ветка под ней перестала качаться, и казалась неживой — будто привязали к красивой осиновой кривульке раскрашенную игрушку. Но вот птица шелохнулась, и яркие солнечные блестяшки покатались от клюва по толстенькой шейке и вспыхнули, словно взорвались, на крыльях.

* Сизоворонка (бел.).

— Видать, второго фашист подбил. Помните, как они в Петровцах всех голубей постреляли?

— Сперва людей они постреляли, голубей в другой раз. И по тебе, как по тому голубю, палили...

— Но не попали. Живой вот!

— Твоя звезда счастливая...

Голос командира звучал по обыкновению тепло и располагающе, он не упрекнул за промашку под Петровцами, и это тронуло Олега:

— А меня в школе сивограком дразнили. Прилепили вот прозвище...

— Почему ж именно его прилепили?

— В седьмом классе писали сочинение. Перед войной... Рассказать?

— Давай.

— Учительница, помню, сказала: “Пишем сочинение о том, как прошел у каждого из вас первый весенний день, о том интересном, что в нем случилось. Можно просто сделать зарисовку весенней природы...”

Проговорив это, Олег явственно увидел себя в том дне.

...Последнее предложение было ему по душе, и он смело вывел в тетради: “Весенний день”. Потом сообщил, что весной зеленеет травка, распускаются сады, светит яркое солнышко и очень хорошо на лугу возле речки. О чем писать дальше — не знал.

Перевернув страницу, он посмотрел в окно и от волнения сжал зубами кончик тонкой деревянной ручки: на старом клене в углу школьного двора увидел зелено-голубую, с коричневатой спинкой сизоворонку! Ведет только себя как-то чудно, почему-то ей не сидится на месте, то и дело вспархивает подле черного пятна, что прямо над веткою, вытягивает шею, будто собирается долбить само дерево... Э, да там же дупло! Вот и вторая сизоворонка появилась, она выскочила из него, а первая тотчас нырнула. А он, Олег, никакого дупла не видел, когда еще прошлым летом забирался на дерево. Либо вовсе не было, либо просто не заметил его... А теперь обе улетели, наверно, кормиться, лишь дупло на дереве темнеет...

Время от времени поглядывая в окно, Олег писал о том, какой красивый клен растет на школьном дворе, о том, что есть на этом дереве дупло, которого никто не замечает. А сизоворонки вот заметили, обжили. И рады небось своему уютному жилью — и в жару не жарко, и в дождь не зальет, и ветер не достанет.

Писалось легко, слова будто сами просились на бумагу. Уже готовы целые четыре страницы! А сизоворонка опять сидит себе на ветке, зеленые и голубые перышки чистит. А на спинке они у нее коричневатые, как подпаленные. И, сдается, смотрит она сюда, на окна класса, будто чувствует, что он, Олег, пишет о ней сочинение...

— Что ты, Сверин, нашел интересного за окном?

Олег вздрогнул от неожиданности, недоуменно посмотрел на учительницу, которая стояла у его парты, выдохнул радостно, точно сделал важное открытие:

— Сивограка!..

В классе дружно засмеялись. Улыбнулась и Валентина Федоровна, но сдержанно, краешком губ. Взяла Олегову тетрадку, удивилась:

— Это ты сейчас успел написать?

— Ну... Я о сивограке пишу, он на нашем клене живет. У них там, наверно, гнездо в дупле.

— Ты наблюдателен. Это хорошо.

Учительница взялась было читать сочинение, но тут прозвенел звонок, и Олегова тетрадь оказалась в общей стопке. Урок белорусской литературы был последний — и сразу же поднялся гадеж, все высыпали из школы.

— Эй, сивограк! — крикнули Олегу, когда он выбежал на крыльцо. — Мы — в лес! За сморчками. Пойдешь с нами?

Олег замер — уже прилепили прозвище! И кто — Витька Кирчик, лучший друг. Еще и смеется!

— Не пойду, — мотнул головой Олег и тут же решил, что он и в самом деле не пойдет, хотя в лес хотелось. — И если я сивограк, то ты ворона!

— Э-э-э! Да он обиделся!

— Было бы из-за чего! Но в лес не пойду. Тата сказал, что сегодня бульбу будем сажать.

— Управятся и без тебя, — сказал Витя. — Айда! Или ты действительно не хочешь?..

Ребятчья ватага, галдя, устремилаась к лесу, а он стоял на крыльце и смотрел вслед. Ах, как же ему хотелось пойти вместе со всеми! Ну из-за чего обиделся? Прозвище дали? Невидаль какая! Надо было свести все к шутке, самому пошутить. И пойти в лес с ребятами. Хотя нет, в лес нельзя: отец и в самом деле сказал накануне, что надо сажать картошку, и напомнил сегодня утром, чтоб не задерживался после школы, сразу же мчал домой. Правда, не так уж и много той работы в огороде, но надо же быть мужчиной: сказал, что не пойдет, значит, не пойдет. А сморчки пусть подрастут, за ними можно и завтра сбегать. И Витя без него, Олега, не ахти какой грибник: становится в лесу как сумасшедший — глупеет, аукает... Грибы же надо собирать спокойно, без шума и суеты. Так что завтра можно будет сбегать в лес. И до завтра это глупое прозвище вылетит, возможно, из Витькиной головы...

Назавтра он действительно пошел с ребятами за сморчками, и вернулись они с полными корзинами. Но перед этим — в классе — произошло вот что. Учительница принесла сочинения и, заметно взволнованная, первым делом раскрыла Олегову тетрадь.

— Сверин меня удивил. Очень приятно удивил и обрадовал, — сказала она. — Самое лучшее сочинение — у него. Хороших сочинений на сей раз много, но лучшее написал именно он. Я вам сейчас прочту...

Все слушали внимательно, Олег и сам слушал со вниманием, он удивлялся, что и впрямь написал очень хорошо. Он глядел в окно на знакомую ветку клена, и ему казалось, что учительница не читает его тетрадь, а пересказывает быль о сизоворонках, которые вернулись из теплых краев на родину, нашли свое старое уютное жилье на клене...

— Значит, сивограк, — думая о своем, сказал Лысюк. — А этот, видать, без гнезда, — повторил он и внезапно насмешливо спросил: — Ты чего молчишь? Я уже сигару высмолил, а объяснений твоих все не слышу. Ты же мне права мои хотел растолковать. Или как?

Олег еще жил воспоминаниями о школе. Но он сразу уловил иронию в словах Лысюка, набылчился:

— Я хотел и хочу только одного: пойти вместе с вами...

Лысюк бросил окурок под ноги, старательно присыпал его песком, вздохнул, не тая искренней горечи:

— Не глупый же хлопец, а главного не понимаешь. И девять классов вроде за плечами. Ведь девять, а?

— Откуда? — Олег недоуменно посмотрел на Лысюка. — Я только семь успел окончить.

— Значит, если б не война, был бы уже в десятом? Или как?

— Да, в десятом, — растерянно согласился Олег.

— Война, друже, она всем жизнь поломала. Но и мы ей под самый дых дали. И пойдешь ты нынче летом в свой десятый... Я не путаю, не делай круглых глаз — войну я тебе за два класса засчитываю. И они обязаны засчитать. Или ты не согласен?

Этот неожиданный, без тени насмешки вопрос окончательно сбил Олега с панталыку. Он думал, что Лысюка рассердят его возражения, что тот поставит его по стойке "смирно", прикажет прекратить разговорчики и немедленно отправляться в хозяйственный взвод. Когда Лысюк злится — с ним еще можно спорить. Но сейчас?.. Участливый вопрос о школе... Да нет, все подстроено нарочно, все делается для того, чтоб подчеркнуть, что ты, дескать, пацан, тебе о тетрадках думать надо... Но ведь это несправедливо! Ведь фронт уже рядом! Может, бой за Двиною, к которому готовится отряд, будет последние партизанским боем, может, там, за Двиною, они встретятся с наступающей армией, а ему поручают второстепенное, зряшное дело, не доверяют главного! И кто не доверяет! Лысюк! Тот самый Лысюк, который не однажды говорил, что его Олег и стреляет по-снайперски, и разведчик

прирожденный — словом, грамотный, толковый солдат. И теперь этот Лысюк, в этот долгожданный момент отсылает “прирожденного” разведчика в хоззвод на пустячную работу, отсылает к хмурому, всегда чем-то недовольному копухе Гонте!

Олег проговорил сдержанно, понимая, что только сдержанностью он и может чего-либо добиться:

— Сейчас бы лучше не классы мои подчитывать, а вспомнить, как я воевал. Что, разве плох мой боевой путь?

— Твой боевой путь хорош. И даже очень, — согласился Лысюк, как бы подлаживаясь под Олегов тон, и поднялся.

— Зачем же вы тогда спрашиваете меня на бульбу? — не выдержав, воскликнул Олег. — Я тоже хочу за Двину, хочу быть вместе со всеми...

— А я — драников!

— Что? — изумился Олег.

— А то, что слышал: драников мне хочется.

— Каких еще драников?

— Обыкновенных. Из тертой картошки. Со сметанкою. А можно и со шкваркой. Да с луком. С золотистым, поджаренным лучком. Эх, объединь! — Лысюк похлопал Олега по плечу, спросил добродушно: — А как же их, эти драники, без бульбы изжаришь? Из пшика?.. — И он, как бы подытоживая, заключил: — Так что обижаться нечего: шпарь, друже, в хозяйственный.

Твердости в его голосе, впрочем, не было, скорее это была просьба, а не приказ, и Олег подумал было, что еще не все потеряно. Но тут из штабной землянки появился Гонта, крикнул Лысюку:

— Петро! Командир отряда кличет!

— Бегу, бегу... Так что настраивайся на драники, — весело посоветовал Лысюк Олегу. — Хорошо? — И поправил черный немецкий ремень, на котором тускло блеснула дюралевая пряжка с отметиной от пули. — Надеюсь, стахановской работой покажешь хозяйственникам пример. Чтоб знали: разведка работает!..

И только сейчас до Олега дошло: спорить, что-либо доказывать нет никакого смысла. И остается одно: топать в хоззвод. Но до чего же не хочется! А что, если вызов Лысюка к командиру что-то переиначит? А что, если Лысюк сейчас вернется и отменит свой же приказ, и он, Олег, вместе со всеми пойдет на правый берег реки? Может это случиться? Может, вполне. Ведь там, за Двиною, он каждую тропку знает, каждый ручеек, каждую кочку... Ведь он всегда, когда доводилось идти с боевыми группами к гравийке или железке, выводил их и верно, и в срок... А в самом конце зимы, когда группа Чепика взорвала мост, разве не он спас хлопцев от беды?

Олегу вспомнилось, как на том берегу Двины, в ту теплую предвесеннюю ночь они попали в густой туман. Туман полз из зарослей кустарника, плотного, как стена, и черным казалось все: и небо, и лозняки, и снег, даже сам туман. И потерялась тропа, по которой день назад шли на железку. Но Олег нашел ее, нашел по старым следам в раскишем снегу — следы расплзлись, сделались широченными, совсем неприметными.

Олег, разглядывая те следы, приостановился. Глуховатым, будто севшим из-за тумана голосом Лысюк спросил:

— Ты чего?

— Следы вот отыскал. Наши следы.

— Ну и хорошо. Значит, не заблудились.

— Когда следы были четкие, как бы немцы их не обнаружили...

— Думаешь, засаду устроили? Вряд ли, не ползут они в эти лозняки.

— А зачем сюда лезть? Там, дальше — горюшка. С нее все эти лозняки как иглою прошьешь.

Чепик, командир подрывной группы, негромко засмеялся:

— Ох, и парни, Петро, у тебя! В ночи, как совы, видят. Насквозь и даже глубже!

— Каждая моя сова двух твоих орлов стоит, — недовольно буркнул Лысюк. И повернулся к Олегу: — Как пойдём?

— На Долгое поле, там низина. Небольшая, правда, но отходить по ней, если влипнем, все же удобнее.

Чепик возмутился:

— Без малого семь километров лишних!..

— Там и пойдем, — хмуро перебил его Лысюк. — Командуй своим...

Повернули вправо, в глубокую лощину у реки. Под дубами вспугнули ве-прей. Звери понеслись лозьяками в сторону горушки, о которой говорил Олег и за которой начинался лес. И тогда в той стороне взлетела ракета, за ней вторая, третья, часто заработали пулеметы, разрывая полог ночи разноцветными нитями трассирующих пуль. Пули рвались где-то наверху, с нудным визгом рикошетили от мерзлого суглинка. Но партизаны были недосягаемы.

Чепик смеялся:

— Ну, Петро, продешевил ты трошки — десятерых орлов каждая твоя сова стоит! — И уже серьезно, без тени шутовства: — Перерос твой Сверин разведку. Надо бы ему к нам, в подрывники...

— С ним и договаривайся.

— А чего тут договариваться? Подрывник — должность самая почетная. — И повернувшись к Олегу: — Зачислим тебя в подрывники. Пойдешь?

— Нет, не пойду.

— Это ж почему?

— Разведчик — тот же самый подрывник, только высшего пилотажа.

— Слыхал? — усмехнулся Лысюк.

И как только мог этот самый Лысюк столь бесцеремонно обижать человека, которым совсем недавно гордился? Но вот же обидел, ничего не принял во внимание. К командиру отряда, может, обратиться?..

Лысюк выскочил из командирской землянки с лицом недовольным и озабоченным.

— Что ты тут потерял? — напустился он на Олега.

— Вас жду.

— Настырный же ты, братец!

Лысюк потрогал простудную болячку на нижней губе, — она была похожа на шляпку маленького сухого гриба, — его короткий, будто наискось срезанный нос смешно округлился. В этих неожиданных сменах выражения лица, в недобро суженных синих глазах Олег прочел приговор, с которым так не хотелось мириться.

— Разрешите пойти с вами, товарищ командир, — попросил он тихо. — Разрешите, а?

— Я же сказал: в распоряжение Гонты. Или не понятно?

— Есть идти в распоряжение Гонты... — упавшим голосом повторил Олег.

2

Олег искоса поглядывал на Гонту, который с безразличным видом сидел на передке телеги. В лесу Гонта был говорлив, шутил все время, а здесь, в поле, ушел в себя, сидит недвижно, подсунув вожжи под мешок с семенной картошкой. Вот встрепенулся, полез в карман, достал какой-то засаленный блокнот. Краем глаза Олег увидел исписанные странички, увидел, как Гонта то изгибает губы подковою, то складывает трубочкой, словно хочет засвистеть. Телегу подбрасывало на выбоинах, и от каждого толчка его длинные каштановые усы, смахивающие на проржавевшие клещи, вздрагивали, опадали вниз. Зеленая армейская фуражка то и дело сползала, почти закрывая брови обломанным, выщербленным посередине козырьком, потом прыгала вверх, открывая весь лоб, темный от загара, и белую, у самых волос, узкую полосу.

— Словно вчера все это было... Словно вчера! — тихим и радостным голосом, точно размышляя вслух, проговорил Гонта и, торжествуя, посмотрел на Олега, постукал пальцем по блокноту, провел по усам, и они рыжими стрелками приподнялись над губой. — Ты только глянь, что в этой моей поминальнице!..

Он поднес к Олегову лицу блокнот, развернув в том месте, где к страничке была приклеена вырезка из газеты, и Олег понял, что отмолчаться не удастся.

— Из какой-то газеты, — промолвил он неуверенно.

— Из какой-то!.. — фыркнул Гонта. — Историческая, брат ты мой, газета! — И торжественно прочитал: — “Самой высокой производительности на пахоте достигла бригада Владимира Гонты. Организация весенне-полевых работ в бригаде может служить примером для всех механизаторов района...” — И многозначительно поднял свой блокнот. — Вот как про Гонту некогда говорили! И кто говорил! Сам Смолич, секретарь обкома, — он выступал у нас на районном партактиве перед войной. А то, что видишь, — лишь малая толика отчета: “районка” давала его тогда на целой странице.

— Любопытная цитата, — заметил Олег.

— Цитата! — возмутился Гонта и снисходительно, словно перед ним было малое неразумное дитя, поглядел на Олега. — Это, милый ты мой, жизнь, и ее не вернешь. Может, лучше будет, может, нет, но той уже не вернешь. Я ту мою жизнь все военные года, как сказку, вспоминаю... А на активе, кстати, я в президиуме сидел. Обочь Смолича. Ну, тот увидел, что я в блокноте — такие блокноты многие тогда в киоске купили — заметки делаю, наклонился ко мне, спрашивает: “Не выступать ли собираетесь?” — “Собираюсь”, — отвечаю. А я, понимаешь ли, братка, никаких там набросков не делал, просто записывал интересные мысли да всякие цифры, но сам выступать и не думал. Да так он доверительно спросил, что отважился. Ну, я и выдал с трибуны: вдвое, мол, наша бригада увеличит до конца года выработку на трактор! Что тут было в зале!.. А по дороге домой директор МТС устроил мне взбучку: “А с бригадой, прожектор ты этакий, ты согласовал?” Бригада, говорю, меня поддержит. “А как сядешь в лужу да меня рядышком посадишь?! На весь мир опозоримся!” В луже, отвечаю, делать мне нечего, позора не боюсь, не будет позора. Директор вновь с голосом: “С народом ты советовался? Лично со мною, прожектор, ты советовался?..” Слушаю, хоть и обидно, понятно: всего два тракториста да два сменщика в бригаде, разве ж не договоримся? Но молчу, как ни крути — нагоняй-то справедливый: с хлопцами не посоветовался, директора не предупредил, а на трибуну влез. Правда, с твоим батькой разговор как-то был — мол, машины у нас новые, тянут, как звери, и нормы можно легко перекрывать...

Назавтра директор в спешном порядке собрал бригаду: что думает народ? А народ — “даешь две нормы!..” Твой батька всех активнее был. Помнишь, я приходил к вам в тот день?

Олег не помнил, но признаться в этом было неловко.

— Вы к нам часто заходили, — неопределенно проговорил он.

— В тот день вы на сотках бульбу сажали. И мы с твоим батькой под яблоней толковали. Помнишь, еще кадучка под яблоней стояла?

— Красная, мы ее с Сережкой красили.

— Ну-у, цвет не припомнить. А вот как твой Сережка на коне хотел прокатиться — это помню. Все галдел: посадите, мол, на коня, волокни в руки дайте. В школе у вас занятий, что ли, не было?

— Как же не было? Были, — усмехнулся Олег, — сочинение писали. А потом я с хлопцами поссорился. Они мне прозвище приклеили.

— Обидное?

— Да где там! Сивограк... Как вспомнишь — смешно. Детская обида.

— Обида, знаешь, любая — дело поганое. С ней встретился — старайся быть выше, в сердце ее не пускай. Как бы ни пришлось, но не пускай. И от чужого глаза подальше держи. Не показывай...

— Постараюсь...

Гонта не спеша закрыл блокнот, подержал в руке, словно взвешивал, потом аккуратно положил в карман заношенного, мятого, некогда коричневого пиджака, ворот которого и рукава блестели, как засаленные. Прищурив глаза, он смотрел в ту сторону, куда вела поросшая травой дорога, едва различимая теперь на заброшенном поле. Справа, под взгорком, в спокойном синем мареве темнели трубы сожженных хат; задымленные сверху, посереде-

не красные, будто еще не успели остыть от огня, и белые снизу, с закопченными зевами печей. Ветер перебирал чернобыльник, который уже поднялся на пепелищах, и казалось, что из тех черных провалов в печах неторопливо выползают, скатываются на землю гибкие гривы зеленоватого дыма.

— От чужого глаза схоронить обиду — не фокус, — сказал Олег, — а вот в сердце, как вы говорите, не пустить — это непросто.

Возразив, Олег понял, что делать этого не следовало: Гонте расхотелось дальше продолжать разговор — вытащил из-под мешка вожжи, связал концы узлом, небрежно поматывает ими в воздухе, словно отгоняет пыль. Коня Гонта не погонял.

— Вижу, задело тебя за живое, — после продолжительного молчания проговорил Гонта, по-прежнему поматывая вожжами, связанными узлом.

— Задело? С чего вы это взяли?

— Разведчика да в хозяйственный...

— Приказ есть приказ.

— Все верно. Но если таишь обиду на Лысюка, то зря. Это приказ райкома партии, а не выдумка Лысюка.

Олег весело рассмеялся — впервые за сегодняшний день.

— Чудеса да и только! Райком дает персональное задание какому-то Сверину!

— Я не говорил, что персональное. Людей командование, конечно, подбирало. И задание наше только внешне простое. У Лысюка бой, и у нас бой, если на то пошло, и тоже важный.

— Важный так важный. — Олег буркнул зло, недвусмысленно: вновь оживала обида. Лысюк, значит, подбирал людей! И никого другого не нашлось у Лысюка — его, Олега, послал к Гонте! И напрасно, напрасно Гонта старается утешить!

— И наш бой, думаешь, несложно выиграть? — гнул тот свое. — Ты посмотри вокруг. Деревни сожжены, поля незасеянные, невспаханные. Пустошь... А человека святым духом не накормишь. И райком правильно решил: от каждого отряда — по взводу на посеvную. Одни хлеб посеют, другие — бульбочку. Уж бульбочку, наверное, ты любишь?

Олегу вспомнились Лысюковы слова. Обида стала почему-то утихать, и он сказал со смешком:

— Драники я люблю!

— А я, брат ты мой, клецки. Да чтоб в каждой и шкварочка была, и лучок, и тминчик. Да в бульоне густом, наваристом, щедрым. Такую клецку как раскроишь ложкой — дух, словно волна от бомбы! Аж голова идет кругом!

— Мой батька тоже о-очень любит клецки.

— В моей хате они не переводились. Женка готовила их по-царски. Хотя, как говорится, и неумеха печет, коль из амбара течет. Главное, чтоб амбар — полный. А вот это уже непросто. Видишь, какую силу отрядили? — Он кивнул на две подводы, что катили позади них, сокрушенно вздохнул: — Три лошадки у нас всего. А там же — залежь. Моей довоенной бригаде целый день пахать да пахать...

В голосе Гонты звучали одновременно и доверительность, и тревога, и Олег торопливо, но уверенно пообещал:

— Справимся!

— Там видно будет, как справимся. А пока одно ясно: попотеть придется. — Гонта снова вздохнул. — Оно как и Лысюку за Двиной — не на гулянку едем.

— Зачем вы меня все время утешаете?

— Никого я не утешаю. Но порой обидно бывает... Ведь некоторые на хозвзвод как смотрят? Сплошь бездельники, дескать, в нем собрались.

— Я этого не слыхал.

— А мне доводилось. Но я близко к сердцу не принимаю. И тебе не советую.

— А я и не принимаю!

— Ну тогда и лады, — похвалил Гонта. — А хлопец ты с головою... Н-но, милый!

Он дернул вожжи, потом опять сунул их под мешок с картошкой и внезапно громко зашел — по-украински, с душевной тоской:

*Дивлюсь я на нэбо тай думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю?..*

Песня эта была хорошо знакома Олегу. И очень знакомыми были и это протяжное “нэ-эбо-о”, и словно бесконечное “літа-аю-ю”, и эта поза Гонты — голова, склоненная к плечу, сладостно прищуренные глаза. И как быстро отстранился он от всего на свете, от недоброй молвы и насмешек, от разговора с Олегом. Нет, глаза широко открыты, жадно вглядываются в поле, где дрожит бело-синее марево, похожее на реденький туман. И какой ласковый, мягкий, мечтательный голос... И как знакомо пахнут мешки! Ни с чем не перепутаешь сладковатый запах картошки, которую только-только достали из бурта. Так всегда по весне пахнет и в хате от рассыпанной под окном, — чтоб быстрее прорастала, — семенной картошки...

Олег потрогал мешок — он был пестрый из-за множества цветных латок и шишковатый, картошка прямо распирала его — и тоже прищурил глаза. Каким далеким сразу стало поле, и как славно дрожит над ним теплый воздух — будто поднимается реденький бело-синий пар.

“И мы с твоим батькой под яблоней толковали...”

Эти слова всплыли неожиданно, и тот далекий день, о котором вспомнил сегодня и Гонта, снова встал у Олега перед глазами. На короткий миг показалось: не сидит он сейчас на дребезжащей телеге, а спешит из школы домой, бежит с обидой на своего приятеля, — какое глупое прицепил ему прозвище! — бежит к хате, за которой в огороде полным ходом кипит работа — отец и мать сажают картошку.

— Э-гей, помощничек! — зовет отец. — Давай-ка подключайся!

— И я работаю, — не выговаривая кучи букв, хвастает Сережка, едва Олег подбежал к воротам. — Я уже много сделал...

Мать выходит навстречу, смеясь, гладит Сережку по голове:

— Без него бы нам точно не управиться. Крепко он нам с татой помогает. Стахановец! Так справно наполняет лукошко бульбой, что мы и садить-то не успеваем. Что в школе было?

— Сочинение писали.

— Написал? — тревожится мать.

— Ага. Очень легкое сочинение.

— Ну и хорошо. Ступай в хату, испей молока. А потом уже будем кончать работу.

— И я хочу, и мне молока! — требует Сережка.

Мать успокаивает малыша:

— Вместе будете пить молоко. Ручки ему, Олежка, помоги помыть. Мой ручки хорошо, Сереженька!.. Молоко в сенях, только что из погреба достала...

Молоко холодное, вкусное. И хлеб вкусен — душистый, мягкий. И до чего же хорошо сидеть на пороге сеней и запивать такой хлеб таким молоком!

— Что в школе было? — повторяет Сережка мамин вопрос, следя за скворцом, который сел на скворечник, прикрепленный к коньку хлеба. Скворец чистил перышки, и шея у него отливала синью, как у сизоворонки.

— Уроки были, что ж еще. Сочинение писали. Ты разве не слышал, что я сказал маме?

— Слышал. Я тоже скоро пойду в школу.

— Пойдешь, пойдешь. Я тебе свой ранец отдам.

— Не хочу твоего ранца. Мне татка новый купит.

— Гэ-эй, мужички! — весело зовет с огорода отец. — Кончайте полудничать, работенка ждет. Тащите сюда картошку!..

Пока Олег отнесил кружки в хату, Сережка вцепился в полное лукошко и, силясь поднять, опрокинул его набок: картошка раскатилась по земле во все стороны. Малец всполошенно глядел на дело своих рук, потом начал реветь.

— А говорил, что в школу пойдешь. Того, кто распускает нони, в школу не берут.

— А я не распускаю. — Сережка поспешно принимается собирать картошку.

Олег помогает ему, затем тащит лукошко на огород. По бороздам прыгают скворцы, перепархивают с места на место. Олег идет по раструженному навозу, кладет в борозду картофелину за картофелиной, и плуг заваливает их широким пластом черной жирной земли.

— А становись-ка, сын, за плуг, — предлагает отец.

Мать возражает:

— Не выдумывай, Лявон. Надо кончать быстрее.

— Пусть попробует. Пусть прогонит парочку борозд. Он у меня на трактор завтра сядет. Там сколько лошадиных сил? А тут всего одна. Справится. Становись, Олежка!..

Сперва все идет хорошо. Но потом холодные блестящие ручки вырываются из рук, лемех тащит в сторону и он глубоко врезается в землю, выворачивает бурюю дрову. Отец останавливает коня, сам берется за ручки плуга.

Прогнав полборозды, он снова передает плуг Олегу, но, не выпуская вожжей, помогает сыну одной рукой.

Сережка тоже рвется к плугу:

— И я хочу! И я хочу!..

— Что ты с ним будешь делать? — как с равным, советуется отец и зовет: — Иди сюда, пахарь! Будем вместе работать...

Сережка становится с одной стороны плуга, Олег — с другой, а посерединке — батька с вожжами, и так они прогоняют последнюю борозду.

В этот момент и появляется Гонта. Он по-праздничному разодет — в сером костюме и желтых ботинках, на которых играют блики солнца.

— Э, да у тебя тут, Лявоне, целая бригада! — восклицает он, остановившись у яблони. — Пожалуй, надо заключить договор на обработку колхозных земель...

Отец тоже весело шутит:

— А что, можно!.. Любое поле тебе засеем — бригада подобралась первоклассная. — И уже посерьезнев: — Что новенького в районе?

— Да что нового! Район цветет и процветает. Лишь бригадир твой отцвел: на трибуну сдуру сунулся. Вот уж не думал, что она закачается. А — закачалась. И понесла меня...

— И далеко?

— Дальше некуда. Там, наверно, и Макар телят не пас...

Странный, малопонятный разговор взрослых все равно интересен. Но отец велит отвести коня в конюшню. Хоть ты разорвись — и послушать про трибуну, которая качается, ходит ходуном, охота, и верхом на коне не каждый день доводится ездить!

На конюшню, понятно, Олег едет улицей, а назад чешет полем, напрямую.

Мама с Сережкой ушли уже в хату, а батька толкует с Гонтой по-прежнему под яблоней. Батька сидит на кадке — на коротких горбылях, уложенных поперек нее и застеленных сложенной вдвое клеенкой с кухонного стола, а Гонта стоит согнувшись, словно рассматривая что-то под ногами.

— Да можно дать те нормы, можно! — Батька произносит эти слова запальчиво, кажется, что он успокаивает Гонту. — Только обмозговать все надо как следует.

— Золотой ты человек, Лявоне, — отвечает взволнованно Гонта. — Сдам я тебе бригадирство, и — кранты!..

— Бригадирство сдать несложно. Посложнее мозгами шурупить. Веды слово не воробей, вылетит — не поймашь. — Батька умолкает, увидев Олега, добродушно спрашивает: — Ну, помощник, с коня не свалился?

— Мы твоему орлу — орел же у тебя хлопец! — стального коня через год дадим! Хотя чего, год ждать не будем — завтра же дадим! Справишься с таким конем, Олег Лявонович?

— Ему надо сперва с наукой справиться, — мягко прерывает Гонту батька. — Ступай, сынок, в хату, займись своими книжками. И маму сюда пришли...

Олег готовит уроки на своем обычном месте — подле окна, которое выходит в сад. За яблонями виден близкий лес, и над ним висят белые, точно вырезанные из бумаги, вытянутые облака. Олег читает стихотворение, которое надо выучить на память, и слышит, как начинает петь Гонта. А вскоре потихоньку вступает и батька, и песня звучит красиво...

Ту же самую песню поет Гонта и сейчас. Но вот умолк, отчего-то вздыхает.

— Ты чего не подтягиваешь? — с упреком спрашивает он. — Слов не знаешь?

— Знаю. Не все, правда.

— Батька твой, помню, и слов не знал, но песня у нас получалась. Хороший у тебя батька. Кончится война — придут вести. Только какие они будут, те вести, — никто не ведает... — И, спохватившись, что сказал не то, что следует, поспешно добавил: — Хорошие получишь вести — батька твой смелый, пуля его не возьмет. — Гонта опять затянул было свою песню, но тут же оборвал ее: — Перед самой войной, в марте месяце, мне досталась путевка на Черное море. Комната в санатории выпала большая, светлая. Кроме меня в ней жили два украинских хлопца, трактористы. О, какие это были мастера петь! Сядем, бывало, вечером на террасе, морем любуемся и поем — вот эту самую песню. Весна была в самом разгаре, теплынь стояла, повсюду бело-розовые от цветения сады. С моря я и привез эту славную песню. Очень ее люблю... Эх, если бы ты хоть краем глаза глянул, что за прелесть — море!

— Да я же видел.

— Как? — встрепенулся Гонта. — Когда? Постой, постой... Или это ваш класс премировали путевкой в Артек?

— Ну. Только не все же ездили, лишь наше звено — мы больше всех колосков собрали.

— Значит, на морских волнах и ты покачался, — отметил довольно Гонта.

— Не очень.

— Почему? Вода была холодная? Это, между прочим, случается даже в жару.

— Нет, теплая. Но купались мало — то сборы, то походы, то игры.

— Поехал бы снова?

— Еще бы!

— Тогда решено, — проговорил Гонта, и Олег не сразу понял, что тот шутит. — Это решение и записываем.

— Какое решение?

— К морю едем. Войне капут — и едем. Садимся с тобою в бричку, запрягаем вот этого рысака — и покатили.

Так они мешали реальную жизнь и веселую выдумку, и, странное дело, на душе было легко, а будущее казалось близким и прекрасным — в него верилось. Действительно, окончится война, вернутся домой отец, мама с Сережкой, и тогда... Что тогда? Куда вернуться, в какой дом? На пепелище? Ведь там, на месте родной Рудни, тоже чернеют трубы, как и здесь, у дороги.

Гонта pokrutil вожжи, затянул снова песню с первой строки:

Ды-ывлюсь я на нэ-эбо-о...

Олег слушал, как поет Гонта, глядел на синие полевые просторы, и опять ему вспомнился тот день, когда он помогал отцу садить картошку.

Хорошо, однако, поет Гонта. Тогда они с отцом, помнится, до позднего вечера пели, сидя под яблоней. А вот за всю войну, сдается, Гонта ни разу не пел. Во всяком случае, Олег не слышал. Правда, он бывал в хозяйственном взводе лишь изредка. А у разведчиков свои песни. Впрочем, нет, и Лысюк любит эту песню, пел ее. Уж очень мягкая, напевная мелодия. А вот слова — слова не все остаются в памяти...

И постепенно таяла обида на Лысюка. В самом деле, в чем же его вина, не выдумывал же командир нарочно для Олега это задание, и не один

он, Олег, едет на работу в поле. И напрасно он смотрел на хозяйственников свысока: у них тоже свои задачи, и задачи незряшные.

Ощущение важности предстоящей работы бодрило, и Олег подпевал Гонте, глядя на синее марево над полем и мечтая о светлых днях, что ждут его впереди и вселяют в душу надежду.

3

Сдвинув на самую макушку фуражку, надетую задом наперед, Гонта легко и быстро шел за плугом, насвистывая какую-то веселую, незнакомую Олегу мелодию. Вожжи, связанные на конце толстым узлом, он перебросил через шею, и лишь изредка, когда надо было повернуть коня, как-то фасонисто дергал их одной рукой.

Олег шел следом и едва успевал выхватывать из ивовой корзины картофелины и класть в борозду — Гонта уже гнал новую. Обласканная солнцем земля пахла дурманяще, сыпалась на сапоги, на руки, и каждое прикосновение к ней пальцами было приятным. Возле крушни — кучи камней, свезенных с поля в одно место, — буйно цвели яблони-дички, почва там была холодная, вязкая, она липла к рантам сапог и даже к голенищам. Прилиная к подошвам и каблукам, она отваливалась только в конце борозды, уже на сухом, прессованными серыми лепешками, прошитыми желтыми нитями корешков. Плуг оставлял около крушни гладкие, жирные полосы, и они маслянисто блестели.

Мешал карабин — он все время сползал, сваливался с плеча, больно бил по коленям. Олег резкими движениями поправлял его, утирал рукою лицо. Неплохо было бы передохнуть, да неудобно просить Гонту — что же ты, скажет, хлопец, никак сдаешь позиции? Дядька же вроде как двуужильный — не идет, а чуть не бежит за плугом, усталость его не берет. Но наконец установился.

— За чем задержка? — спросил Олег, хотя и был рад короткой возможности перевести дух.

— Может, перекусим малость? Ты, смотрю, взмок, хоть выжимай тебя.

Олегу не хотелось, чтоб Гонта устраивал перерыв только ради него. Сперва надо добить свой клин. За ольхами пахари вон как надают.

— Ты на них не гляди, — поймал Гонта Олегов взгляд. — Там мужики — кряжи. Дорвались до земли, теперь их от нее и танку не оторвать... Тпру-у!.. Стой, холера!..

Гонта, не снимая с шеи вожжей, согнулся, взял ком черной земли, начал с наслаждением нюхать, будто то была краюха свежего хлеба, губы выгнул, ноздри раздул.

— Перестояла земелька, — проговорил он озабоченно, перетирая в пальцах землю: мелкие комочки сухо зашуршали по его сапогам. — На неделю бы раньше... Как ты думаешь, га? Как считаешь?

В голосе дядьки не было и тени насмешки, он советовался с Олегом, как с равным. Олег тоже взял комок земли, тоже понюхал и начал медленно, по-гонтовски, растирать его в пальцах.

— Да нет. Самое, кажется, время... Видите, как крошится, — сказал он и почувствовал, что ему приятно это говорить. — А возле крушни даже не прогрелась как следует — под дичками, наверно, долго снег не таял. Пальцы забнут, когда картошку там кладешь в борозду...

— Два года поле гуляло. Бульбы теперь родит — видимо-невидимо.

— Она тут должна быть рассыпчатой. Картошка по люпину всегда хороша.

— Есть у тебя, братка, вкус к земле, — похвалил Гонта. — После войны ступай учиться на агронома. Пойдешь на агронома?

— Я об этом как-то не думал.

— Фю-ю, — присвистнул Гонта. — И мечты нет никакой?

— Капитаном хотелось... Дальние страны повидать...

— А что? И это неплохо. Как приеду к тебе в гости, так хоть покатаешь по морю.

— Мы ведь уже договорились, — пошутил Олег. — После войны вместе к морю двинуть.

— Это — на отдых, — сказал Гонта серьезно. — А оставаться там совсем? Э-э, нет! Я не намерен. Я без этих своих лесов соржавею, как старый гвоздь... Ну, погнались дальше?

С каждой новой бороздой корзина в Олеговых руках становилась все тяжелее, картофелины чаще и чаще цеплялись толстенькими фиолетовыми ростками за ее края, а поле будто удлинялось, раздавалосьвширь, и перед глазами блестели, ровно смазанные маслом, пласты свежеспаханной земли.

Стараясь не отставать от Гонты, Олег уже не столь бережно, как вначале, доставал картошины из корзины и не столь старательно затачивал их в борозду. Оглянувшись, он увидел, что картошка лежит неровно, и обругал себя. Ты что же это, лайдак, делаешь? Спустя рукава работать начал! Устал, видите ли, бедняжка. А Гонте легко? А Лысюку за Двиною легко? Ведь дважды пытался отряд взорвать тот чертов мост, через который немцы гонят и гонят на запад эшелоны с награбленным добром. Без тяжкого боя к тому мосту не подойти...

Но почему, странно, не слышно боя? Может, переправиться не удалось?... Лысюк да не переправится? Смех да и только! Лысюк все сделает. Лысюк всегда все делает как надо. И он, Олег, должен выполнить свое задание как надо, сделать все так, чтоб потом не было стыдно.

— Ты оставь карабин, — посоветовал Гонта. — На телегу поклади, чтоб не мешал. Вокруг же тихо...

— Вам ведь автомат не мешает...

— Мне не надо кланяться без передышки.

— Ничего, я со своим карабином дружу...

— Ну, как знаешь. Давай минутку постоим. Что-то конь наш взопрел на этой залежной земле — тяжело идет плуг... — И вдруг сказал с волнением и радостью в голосе: — Да ты глянь на яблоньки! Мать честная, до чего же хороши они в белом цвету! С этой стороны они совсем другие!

Гонта, не выпуская вожжей, показал на яблони, под которыми на торчащих из молодой травы камнях стояла телега. Отсюда, с конца поля, крушина была похожа на острый клин, выходящий из лозняков, которыми порос берег Двины. Казалось, из густых зарослей выплывал и медленно двигался на черную пахоту челн под белыми парусами.

За Двиною громыхнул сильный взрыв. Эхо еще катилось по окрестностям, когда, словно догоняя его, громко и сухо застучал пулемет; дробно, будто горох забарабанил по жести, покатило стрекотанье автоматов.

— Наши, наши это! — обрадовался Гонта и, словно Олег ничего не слышал, повторил: — Наши! Значит, скапутился мостик, слава богу!

Олег поставил, едва не бросил, корзину на землю, поправил за спиной карабин и, ощутив ладонью прохладный гладкий приклад, с сожалением произнес:

— Э-эх, туда бы сейчас!

— Пока мы туда притащимся, там, брат ты мой, все уже кончится. — Гонта с деланной озабоченностью нахмурился, пробурчал: — Давай-ка пошевеливайся — не бросать же поле незаконченным. Надо выполнять то, что приказывают...

Прислушиваясь к отзвукам боя, Гонта все чаще и чаще дергал вожжи, покрикивал на коня, не задерживался даже на краю поля, а, развернув плуг на обмелке, тут же гнал новую борозду. Время от времени он оглядывался, бросал коротко Олегу:

— Хорошо, братка, хорошо!

С каждой новой бороздой тяжелели сапоги, измазанные липкой землей. Тяжелела и корзина. Пот застилал глаза, и они начали слезиться. Пахота поблескивала на солнце, будто была накрыта тонким мокрым голубым пологом. Хотелось остановиться, лечь на вспаханное поле, остудить на нем горячее тело. Но Гонта как одержимый гнал борозду за бороздой, и нельзя было отстать, присесть на минуту... И здесь, на поле, они тоже ведут бой. Свой бой!

Очереди за рекой сыпались реже, потом прогрохотали два глухих, не очень сильных взрыва, и стрельба поутихла, перекинулась куда-то вправо.

Гонта встревожился.

— Чего-то затянулось там, у моста... Может, все сорвалось, отступили? — спросил он озабоченно, развязывая вожжи.

— Так взрыв-то был!

— Хорошо, если он был там, где ему положено быть. Мост так сразу не поставишь, а тут, гляди, фронт подожмет. И тогда фашисту будет полный капут: ничего не увезет... Но чего вон аж куда переместилась стрельба?

— Взорвали и отходят. Скоро узнаем, что там и как.

— Ты клади картошку, клади. Работы осталось всего ничего.

Как только пласт рыхлой земли завалил в последней борозде серую цепочку картофелин, Гонта тотчас же, очень торопливо, подогнал к телеге коня, принялся отцепливать плуг. Олег бросил корзину на пустые мешки и устало опустился на землю, по которой поднималась темно-зеленая метлица. Лежал на спине, разбросав руки, перебирая пальцами зеленый ежик молодой травы.

— Ты чего это надумал?! — напустился на него Гонта. — Разгоряченный распластался на сырой земле! Скрутит в баранку. На телегу ложись, на сухое. — Он разнул коня, намотал вожжи на ручку плуга, тревожно поглядел в сторону реки. — Но чего она вон куда повернула? — говорил он. — И — поубавилась. Может, неудача у хлопцев?.. Э-э, куда тебя гонит! — Согнувшись, он поймал вожжи, которые конь потащил по земле, вновь зацепил за плуг. — Не стоит ему, к воде тянется. Пусть остынет, тогда и напоим, — махнул рукою Гонта на коня. — Щипли травку. — И спросил, повернувшись к Олегу: — А может, и нам попасться? Хлеб есть, колбаска...

— Тогда надо всех звать. А они вроде бы куда-то двинулись?

— Как двинулись? — удивился Гонта. — И верно. Подбегу-ка я к ним. А ты — накрывай стол. Хлеб и колбаска здесь, в торбе. Чай — во фляге...

Гонта пересек обмежек и скрылся за редкой цепью старых искривленных вязов. Вскоре вернулся, сел на телегу рядом с Олегом, налил в алюминиевую кружку чаю, одним махом выпил и сказал, вытирая губы ладонью:

— И у немца, скажу тебе, губа не дура. До войны я никогда холодного чаю не пил. А он совсем неплох.

— Одни будем перекусывать?

— Одни. — Гонта следил за тем, как Олег режет ножом твердую, будто дерево, колбасу, потом проговорил с сожалением: — Хлопцы поехали на Долгое поле. Там, сказали, будут обедать. — Он взял скибку хлеба, положил сверху кольцо колбасы, но, не сумев откусить, порезал на тонкие кусочки, по одному клал в рот, медленно жевал. Неожиданно засмеялся. — Ну и народ! Знаешь, из-за чего они ударились в амбицию и не захотели с нами подкрепиться? Из-за того, что обскакали мы их.

— Вместе ж кончили.

— А у нас загон длиннее. Вот им и досадно. — И добавил довольнo: — А в работе ты — хват. Доложу об этом Лысюку.

— Зачем?

— А чтоб знал: толковый ты хлопец на все сто процентов. Словом, когда бульба поспеет — мы с тобой прикатим сюда и председателя за бороду: даешь драники. Со шкварками! С луком! Неделю будем пировать!

— А море как же?

— Море, море! — Гонта, смеясь весело и добродушно, покачал головой: — Сперва, конечно, море. А как вернемся — драники и поспеют. Из молодой бульбы — это же царская еда. Не сравнишь с колбаскою.

— Не сказал бы, мне колбаса нравится, очень вкусная, ароматная.

— А что, действительно неплохая колбасочка? То-то! Некоторые думают, что Гонта, мол, льнды бьет в своем хоззведе. — Он медленно, морщась, прожевал последний кусок, запил чаем, принялся не спеша завинчивать флягу. — Из-за этой колбаски, братка, у меня было много бессонных ночей. Отряд же, считай, на мне: и накормить людей надо, и одеть,

и обувь... Прорва самых разных забот. В разведке, скажем, что? Пошел, разведал, доложил... А зимой, в феврале, — о блокаде тогда еще и слуха не было! — мне, знаешь, какой приказ дал Жаров? “Каждому партизану — энзе на десять дней”. А это ж и сухарей насуши, и колбаски сухой заготовь, и флягой каждого обеспечь... Пришлось нам покрутиться. Но приказ выполнили. Видишь — весит совсем немного, а кусочек съел — уже не голоден, можешь воевать. На пустое брюхо — плохой ты вояка.

— Колбаса отличная. Первый сорт!

— А мне, считай, она не по зубам. Болят десны, спасу нет. — Гонта потер пальцами щеки, морщась, силится унять боль. — Прошлым летом все началось, после весны, которую без соли прокуковали.

— У меня тоже болели. Купоросом и сосновыми почками спасся.

— Молод, потому и зажило. Да и без соли теперь не сидим...

Гонта опять поморщился, прижал ладонь к щеке, и кожа под пальцами побелела. Олег впервые увидел в глазах Гонты неприкрытую печаль и с обостренной жалостью подумал о том, что вел себя сегодня утром непростительно высокомерно и паршиво. Так разговаривать с Лысюком! А как к Гонте он сперва отнесся? Как сопливый мальчишка!..

— Не сводить ли коня к реке? — спросил Олег и слез с телеги. Он, чувствуя угрызения совести, ухватился за эту идею как за единственную возможность хоть на время не мозолить Гонте глаза. — Утомился конь...

Гонта pokrutil головой:

— К реке тебя тянет. Посмотреть, не возвращается ли Лысюк. Так они ж у Черного ручья должны переправляться. Далеко...

— Я знаю. Коня мне жаль. Он пить хочет...

— Да, утомился крепко. Сюда бы моего довоенного коня. Железного! Помнишь, как ты его едва не ухайдокал? Ох, и рассерчал я тогда. А потом — глупый смех охватил. Хорошо еще, что ты не растерялся...

Напоминание об истории с трактором было не из приятных, и Олег попытался сменить пластинку:

— Думаю, уже время поить коня...

— Трошки, видать, рановато. Э, слышишь? Моторы гудят. Нет, стихли. За рекою, кажется.

Олег прислушался, потом уверенно проговорил:

— Пожалуй, где-то ближе. Подскочу к Двине, глянну.

— Что ты там через заросли разберешь? Лучше приляг, отдохни. Нас еще поле под Венцовом ждет.

— Под Венцовом?! — изумился Олег. Он впервые слышал, что им придется садить картошку еще и на втором поле. — Там же с шоссе все как на ладони видно! Врежут из пулеметов...

— А мы — вечером, когда с реки нагонит туманчику. Картошку туда подвезут. В лесок подвезут. — Он начал взбивать сено на телеге — под голу. — Сенцо нагрелось под солнцем. Прямо как летом. Ложись.

Гонта откинулся на спину, свесив ноги к земле, громко зевнул и прикрыл голову фуражкой; фуражка скрыла все лицо, уперлась козырьком в подбородок; вскоре, однако, она помалу сползла, и лоснящийся козырек согнул правое ухо, сделал его похожим на красный осенний лист.

Гонта уснул сразу же, посапывал, чмокал губами, потом дыхание его замедлилось, стало глубоким, и в такт дыханию ритмично выгибался горбом и опадал верх фуражки, выгоревший до белизны, местами в черных пятнышках-пропалинах.

Олег примостился сбоку, ощущая сердцем удивительное доверие к Гонте. Теперь он окончательно поверил в важность задания, которое выпало на их долю: сажать картошку под самым, как говорится, носом у немцев — это и смело, и дерзко! Это настоящее дело. И рискованное!..

Как же хорошо лежать на прогретом солнцем сене. И какая густая синь разлита над головой. И как мелодично гудят-звенят над дичками пчелы. Верхние ветви белых яблонь ярко освещены и кажутся далекими, дробными, будто достают деревья до самой небесной лазури и до ветвей дотрагиваются белопенные облака. Была и в прошлом году весна, и в позапрошлом...

Всегда случались ясные, прозрачные дни... Но вот такого неба, кажется, и не бывало во все эти долгие и тяжкие годы войны.

Небо манило, несло покой, неспешные думы, баюкало. Совсем недолго осталось гремять под ним войне: капут ей, как говорит Гонта, капут безоговорочный, бесповоротный. Фронт близок, и картошке, что легла сейчас в весеннюю теплую землю, расти под мирным уже небом. И полю этому не доведется больше слышать грохота взрывов, свиста пуль... Какого же колхоза это поле? Надо спросить у Гонты — он все знает, все в памяти держит. Даже ту историю с трактором.

А случилось все перед самой войной, за неделю до начала. Бригада Гонты бороновала поле, бывшее под паром. Бороны или культиваторы были прицеплены к трактору? А! Гонта остановил Олега — он бежал к реке — и попросил пособить прицепить культиватор...

Странный сегодня какой-то день — необычно живо вспоминаются довоенные времена... За обмежком буйно росла густая россыпь подбела, дальше струился ручей, а поле было желтое от сурешки, и Гонта стоял в ней, будто запутался ногами. Вытер руки, сунул в карман замазленную ветошь, закурил.

— Главлей, значит, щелкать нацелился? Берутся хоть?

— На комара теперь ловим. Хорошо.

— А на моем коне хочешь проехать?

— Я уже ездил, на отцовском. Он целый гон мне пройти разрешил!

— Ого! Да ты, оказывается, настоящий тракторист.

— Сначала я вместе с батькой ездил. А вчера один.

Отец и раньше приучал Олега к трактору, а накануне действительно позволил ему пройти целый гон. Поле выпало ровное, трактор чутко слушался каждого движения руки, и плуги ни разу не напоролись на камни, отваливали, как под линейку, широкие пласты. Уже за ужином довольный отец рассказывал о том, как Олег работал на тракторе, и его слова воспринимались как вполне искренние. Да, он, Олег, батькин помощник и настоящий тракторист.

Отец говорил все это с уважением к сыну, а Гонта — с какой-то снисходительностью, словно подсмеивался.

— И даже один? Ну и ну! Покажи и мне свое высокое мастерство.

— Могу. Не тяжело...

Гонта не сошел с трактора, остался сидеть обочь на железном ящике у правого колеса. Батька так уже не делал. А этот не доверяет, опасается. И всегда ведь волнуешься, когда смотрят тебе в спину, следят за каждым движением... Но трактор послушен, идет ровно. А теперь, в конце поля, надо развернуться, как положено. Батькин трактор гудит заметно тише. Но этот легче поворачивает...

Гонта некоторое время молча наблюдал за Олегом, потом вдруг сказал:

— Пошли ты в болото своих главлей. Ступай к нам, в бригаду. Ай да Олег! Ай да Лявонов сын! Готовый тракторист! — И уже серьезно: — Гони теперь на тот край. А я пока бочки к дороге подкачу. За ними придет машина. Чего ей прыгать по пару, верно?

Олег, как только остался один, готов был петь от радости. В самом деле, забросить к шутам те удочки, поработать властью. Как споро идет трактор. Теперь вот здесь, у обмежка, надо повернуть влево — на новый гон. Однако что происходит?.. Почему такие глубокие борозды?.. Земля пошла вязкая, колеса тонут в ней. И трактор ни с того ни с сего, как норовистый конь, заупрямился... Трясет его, подбрасывает. И натужно ревет мотор... Нет, хоть убей, совсем из повиновения вышел трактор, прет на березы! А там, за березами, ров... Гонта бежит через поле, размахивая кулаками. А ров уже близок! Надо отвернуть! Иначе — конец, иначе свалится в ров трактор. Как же повернуть? Не поддается, не желает слушаться!.. О нет, поворачивает...

“Я повернул его! Я повернул его!”

Олег даже не понял, как это случилось, почувствовал только, что трактор вновь послушен: выровнялся, пошел спокойнее. И мотор уже не заходится, работает ритмично. И какую ровную черную полосу оставляет за собой культиватор... Но как сердито лицо Гонты! Ну, сейчас вклеит! Э, да у тебя

же руки дрожат. Нет, это от напряжения, от того, что мелко дрожит вся машина...

Гонта, вскочив на трактор, стал за Олеговой спиной, шумно, устало дышал. Даже сквозь гул двигателя слышно его сильное дыхание. Но отчего он молчит? Собирается, что ли, с силами?..

— Погоняй, погоняй, хлопец! — внезапно засмеялся Гонта, по-дружески тронул Олега за плечо. — Хорошо, оседлал ты этого идола! Дай ему жизни, покажи кузькину мать!..

Трактор полз по склону поля вверх, по желтому разливу сурепки, но Олегу казалось, что он мчит, и так же летит, мчится навстречу из-за взгорка голубое небо...

Вечером отец, который узнал о происшествии, хмуро велел Олегу:

— Больше на трактор один не садись.

— Почему? Гонта говорит, что я сумел оседлать его коня.

— Он мне тоже кое-что рассказал об этом твоём оседлании. Ты чуть в ров не забурился! А если б забурился? Голову не снести в том рву, а Гонте — суд!

— Он меня не ругал. Ни одного плохого слова не сказал.

— Зато я говорю, — еще более хмуро обрезал отец. — Трактор — не забава. Одному без сноровки на нем делать нечего. Понял?

— Ну...

— По-человечески ответить не можешь?

— Да, понял.

— Вот и хорошо, если понял. — И уже незлобиво, с улыбкой: — Носа только не вешай. Научись, лишь бы охота была...

Как отчетливо все припомнилось! И голос отца, и рев трактора, что заупрямился, как испуганный конь, и смех Гонты, и желтое от сурепки поле...

Но мотор и сейчас где-то рокочет. Где-то близко рокочет!..

Олег приподнял голову, потом поспешно сел. От этого его движения пробудился Гонта, сдернул фуражку, спросил совсем несонным голосом:

— Чего тебе не ложится?

— Опять мотор почудился. Вроде где-то на Двине. Пойду к реке, гляну.

— Карабин прихвати обязательно. И не слишком там маячь, будь осторожен. — Гонта снова откинулся на спину, прикрыл лицо фуражкой, и уже из-под фуражки донося его короткий приказ: — Отгони коня от камней. За ольхами хорошая трава. Туда переведи.

— Может, напоить?

— Позже, позже. Распаренного коня — деревенский же хлопец, знаешь! — поить нельзя... На лужок его отведи, за деревья. Там клеверок хорош. Попасется, а потом и к воде сводишь...

Олег перевел коня, привязал вожжи к дереву и, огибая засеянное поле, направился к берегу.

Двина до сих пор еще не вошла в берега после паводка. Из желто-бурой воды торчали ветки краснотала, дрожали под течением, будто оттуда, из глубины, кто-то беспрерывно их тряс. У воды не ощущалось той духоты, что морила в поле, зажато со всех сторон деревьями; тянул ветер, порывистый, свежий, несущий прохладу. Но густой и пьянящий аромат черемухи и мокрого ивняка цепко держался над рекою, и дышалось легко. Олег чувствовал, как быстро покидает его усталость.

В небольшой затоке, где вода была спокойная, без заметного течения, притаилась щука. Сперва показалось, что это чернеет просто топляк. Олег пригнулся, чтоб разглядеть получше. Действительно, щука! И здоровенная! Эх, как же выхватить ее из воды? Затока неглубокая, видны водоросли, устилающие дно... Попробовать от реки отрезать щуку?..

Олег осторожно ступил ближе к воде. Но как ни старался, зацепил карабином лозовую ветку, она качнулась, и в тот же миг рыба черной молнией исчезла в глубине. Со дна поднялась и начала расплываться по затоке слоеная рыже-белая муть; глубинное течение, совсем неразличимое на глаз, быстро растягивало ее, и вода в затоке вскоре стала снова чистой и покойной.

Олег сел на берегу и притаился. Может, стоит подождать? Да нет, напрасные хлопоты, лови щуку в реке. Надо умыться да возвращаться назад.

Он потер руки песком, потом умылся и, отряхиваясь, начал подниматься вверх. Холодные капли скатывались за ворот, приятно щекотали кожу. Еще рано, вода не прогрелась — не искупаешься. Но ополоснуть лицо — тоже очень хорошо. Надо разбудить Гонту, пусть и он освежится.

Тропка круто брала вправо, минуя заросли, и Олег ухватился за толстую ветку, отвел ее — решил идти напрямую. Согнул ветку и замер, услышав стрекот мотора.

“Что это?.. Что это может быть?..”

Гул мотора донесся внезапно и был близким, словно прямо за спиной. Олег поспешно обернулся. Лозняками прошелся ветер, и в прогале показалось моторка, в которой сидели солдаты в черной одежде; на солнце резко блестела холодная сталь оружия.

У Олега перехватило дыхание: фашисты переправляются на этот берег! Переправлялись еще и тогда, когда рокот мотора был слышен с поля! Слышит ли хоть что-нибудь Гонта? Или по-прежнему безмятежно спит на телеге у крушни?

Держа карабин в правой руке, Олег рванулся по береговому откосу вверх, выбрался на зеленый клин густого клевера и присел, открыв от неожиданности рот, — фашисты и здесь, на поле!

Он метнулся обратно в кусты и протер глаза. Может, все это — лишь игра расходившегося воображения?.. Нет, увы, ничего ему не мерещится. Не исчезают фигуры в ненавистной одежде, идут крадучись, прячутся за вязами... но откуда они здесь взялись?.. Пусть себе и с неба свалились — теперь это все равно. Надо следить, куда они пойдут! Надо о главном думать: как отвести беду...

Да нет, не отведешь — разворачиваются цепью в сторону крушни... Подводу, значит, заметили, с той стороны реки заметили и ее, и его, и Гонту, и тех партизан, что работали на соседнем поле. Вот и явились, чтоб застать врасплох. Но неужели Гонта их не видит? Нет, не может он их видеть за дичками. Впрочем, если бы дички и не закрывали поле, он все равно не увидел бы. Он же спит... Они наваятся — он и опомниться не успеет!

“Опередить! Я разбудить его должен!..”

Олег бросился в борозду и пополз в сторону крушни. У него не было пока никакого плана, и он не знал, что будет делать, когда окажется у яблонь. Одна-единственная мысль владела им: доползти до телеги прежде, чем возле нее очутятся немцы, доползти, поднять Гонту. А может, уже и Гонта видит их? Нет, ничего, кроме снов, он не видит. Лежит себе на телеге, посапывает...

Олег полз быстро и вертко, как уж, едва не вжимаясь лицом в мягкую землю, едва не зарываясь в нее носом; земля от его дыхания казалась горячей. Камнем, торчавшим в борозде, он ободрал до крови пальцы, но боли не почувствовал. Понимал лишь одно и думал лишь об одном: медленно он ползет! Скорее надо!

Скорее!

Пашня окончилась, и он скатился в яму, что была на краю крушни, крепко ударился коленом о камень в траве и перевел с облегчением дух: теперь Гонта близко, Гонта рядом, на той стороне крушни, за дичками! Напрямую, однако, через густое переплетение ветвей с острыми шипами ему не пробиться. А поползи вокруг каменистого холма — обязательно заметят. А может, это и к лучшему? Заметят, начнут стрелять — и Гонта проснется!..

“От выстрелов?.. Так карабин же у тебя в руках!..”

Неожиданное, странно запоздавшее открытие обрадовало. Карабин при нем, и хорошо, что добрался до ямы, теперь он словно в окопчике. И вновь тарахтит моторка. Так же, как и недавно тарахтела! А Гонта не насторожился! Не насторожился и он, Олег. Разведчик! Щуку по реке пустился гонять, а немцев под самым носом не заметил, лишь в последний момент. Но сейчас проснется Гонта, он, Олег, разбудит его, и они найдут выход из положения, выкарабкаются из беды... Если бы можно было это предвидеть! Но что те-

перь подделаешь, теперь драться надо! Ты, между прочим, дулся целое утро, сокрушался, что перебьют всех фашистов без тебя. Пожалуйста, вот они, фашисты! Офицер что-то говорит, показывая рукою на яблони. Нет, на дуг посылает солдат, чтобы отрезать от леса...

Тихо, со стоном Олег выругался:

— Сейчас я тебе, падла, отрежу! Сейчас, айн момент!..

Кустик метлицы покачивался возле прицельной планки, дрожал у мушки; стебли казались черными и мощными. Фигура офицера тоже была очень черная, со сверкающими пуговицами на груди.

Олег выбрал из этих сверкающих точек среднюю, подвел под нее мушку и плавно нажал на спуск.

4

Гонту словно подбросило Олеговым выстрелом. Схватив автомат, он кубарем скатился на землю. Все произошло в считанные мгновения, и Олегу почудилось, что очереди немецких автоматов, густо полоснувшие по дичкам, изрешетили Гонту, и тот упал на землю уже мертвый.

Перезаряжая карабин, Олег вновь бросил взгляд в сторону телеги. Белые лепестки, сбитые пулями, кружились в воздухе, медленно опускались на темную пашню, и за этой яблоневою замятью он увидел Гонту, ползущего сюда, к нему. Жив дядька, жив!

— Я — здесь! Я — здесь! — радостно крикнул Олег. — По борозде, по борозде давайте!

Запыхавшись, без фуражки, Гонта кувыркнулся в яму, лег рядом с Олегом, быстрыми движениями утер потное, перепачканное землей лицо.

— Откуда они взялись? — силно спросил он. — Откуда?!

— Из-за Двины. И еще переправляются. Я моторку видел...

— Чего ж сигнала не подал? Чего ж ты, братка, не разбудил? — Гонта резанул очередью по немцам, которые перебежали у вязов, снова спросил прерывистым голосом: — Чего ж ты, братка, не разбудил?.. — И потом глухо хохотнул: — Не разбудил! Кабы к реке не пошел — сонных взяли бы. Тепленьких! Ну, спасибо! Ну, разведка, благодарю! Разведка, братка, спасла старого дурня. Фашист, не морщась, пятку мне чешет, а я силно, будто пшеницу продал!

— Надо как-то отходить. На луговину переползти, а там — и в лес!

— В лес! — хмыкнул Гонта и бросил короткий взгляд в сторону леса. — Хорошо было бы. Но как?

— Через луговину.

— На ней мы будем как на ладошке. Как на тарелочке. Подстрелят, это как пить дать...

Отчаянье сквозило в голосе Гонты, и Олег растерялся и, не совладав с собою, выкрикнул:

— Отходим! Немедля надо отходить!

— Не хнычь, разведка! Не хнычь! — резко оборвал его Гонта. — Дай опомниться!.. Следи за вязами, чтоб оттуда не поползли. — И добавил неожиданно мягко, с оттенком нескрываемой печали: — Может, и не надо нам никуда отходить... — И вновь, малость помолчав, все с той же печалью: — Есть у тебя, разведка, такое предчувствие?..

Эти внезапные смены в настроении, в голосе Гонты, от грубости до печали, которой он не таил, вдруг открыли Олегу глаза: настигшая их беда непоправимая, попали они в западню... И кругом виноват Гонта: устроился спать на телеге — и это тогда, когда на Двине тахкал мотор! Надо было сразу же бежать к реке, разузнать, в чем дело. А что теперь? В западне они, и, судя по всему, из нее им уже не выбраться...

Но отчего же не стреляют немцы?..

Нежным звоночком покатились с неба песня жаворонка. Олег сперва не поверил, прислушался. Нет, не ошибся: поет жаворонок, и выстрелы его не напугали!.. И пчелы домовито гудят, вон сколько их на цветущих дичках!.. Заботы у всех свои...

Ощущение непоправимости беды обострилось. Во рту росла, словно набухла, гадкая горечь. Олег пошевелил языком, с усилием слотнул какую-то тягучую, шершавую слону, и она, как рашпиль, прошла по горлу. И в сердце боль. Западня! А Гонта все еще на чудо надеется! Не стоит, дескать, никуда отходить. Жди, жди у моря погоды! Добра тут не дождешься!..

Олег опустил голову на повитый метлицей камень. Под ней, этой зеленой молодой травой, был слой летошней, сухой, и она шуршала у самого уха и пахла теплом. Виском Олег ощущал и тепло разогретого выстрелами карабина, и на мгновение показалось, что по твердому металлу переливается в траву тепло его живого существа, и жизнь оборвется в тот самый миг, как только иссякнет эта нежная струйка.

Широким неровным полукругом на пахоте у крушни лежали белые яблоневые лепестки. А некоторые еще кружили в воздухе, ветер подхватывал их, и они плавно опускались в борозды; пара лепестков белела на голове у Гонты — как будто его волосы были прожжены. На ветке, что нависала низко над землей, несуетливо трудились две пчелки. Перетрогав все соцветие, заглянув по-хозяйски каждому цветку внутрь, они перелетали на новое.

И это мирное занятие пчел, и песня жаворонка, и синий полог неба, чистого, без единого облачка, неожиданно погасили мысли о безысходности, которые только-только сжимали, надрывали сердце. Горечь беды таяла, уступая место надежде, хоть та и держалась неведомо на чем... Умирать в этот погожий день? Умирать весной? Умирать, когда до фронта рукой подать, в канун освобождения?

— Отходим! Отходить надо! — упрямо повторил Олег. — Чего мы тутждемся?

Гонта несогласно мотнул головой:

— Ну и отходи. Попробуй, если ты такой умный!..

Он чутьчку приподнялся, и тотчас слева и справа треснули две короткие автоматные очереди; пули ударили в камни, срикошетили с отвратительным визгом.

— Видал? — спросил Гонта с насмешкой. — А ты одно заладил — отходить. Отходить нам никак нельзя. Совсем другое делать надо: кротами в землю зарываться. Слышь, выковыривай-ка из-под себя камни, глубже наш окопчик станет. Тут, в этой каменной крепости, наше спасение.

— А потом что?.. Надо же как-то к лесу рвать!..

— Рвать, рвать, — передразнил Гонта. — Гляди, как бы килы не нарвать. Лежать будем.

Непонятное это спокойствие разозлило Олега, и он, словно обвиняя во всем случившемся только Гонту, запальчиво спросил:

— Ну что мы тут вылезим? Что?

— Будем лежать, будем считать. Видишь тех, четверых, на поле? Рвались, рвались — надорвались. Двоих ты шнокнул, а те, что поперек борозд, — мои!..

— Чего-то стихли, — поостыв, миролюбиво заметил Олег.

Вспышка гнева погасла, и он подумал, что разумнее всего положиться на опыт и мудрость Гонты.

— Стихли. Но почему? Может, что-то новое затевают против нас? — Гонта медленно покрутил головою, высматривая немцев через узкую щель меж камней, потом глухо проворчал: — А что-то же затевают!.. Может, минометик сгавят? Вот тогда нам действительно крышка!

Олег вывернул тяжелый плоский валун, оттолкнул его, сказал, чтоб успокоить и Гонту, и себя:

— Нет у них минометика. На лодке ж они переправлялись.

— Могут и на той стороне поставить. Но будем надеяться на лучшее. Так, сокіл?

Это весело произнесенное “сокіл” добило Олега вконец, ему стало стыдно, и он, казня себя за минутную горячность, с надеждой, бодро проговорил:

— Не из таких передряг выходили! Крепость у нас надежная. А там и помощь подоспеет. Лысюк, думаю, как переправится, как услышит стрельбу — обязательно к нам подскочит!

— Лысюк еще сто раз спасибо нам скажет. Думаю, за ним они и охотились — наперед забежать хотели. А напоролись на нас. Теперь ситуацию понимаешь?

— Отходить нам никак нельзя! — повторил Олег слова Гонты.

— О том и речь. Отсюда, из этой ямы, попробуй нас выкурить. Дудки! А там если не Лысюк, так хлопцы с Долгого поля придут на подмогу. На это и все надежды... А где конь? — вдруг спохватился Гонта. — Где наш конь?

— На клевер — вы же велели! — отвел. Туда, за березу...

— Это хорошо! Это хорошо!

Ничего хорошего в том, что непоеный конь пасся теперь в логу за лозьями, Олег не видел. Но то, что сказал Гонта перед этим, придавало сил. Долгое поле — неподалеку, и перестрелку, наверное, услышали. Стало быть, помощь придет. И главное — предупреждена группа Лысюка, которая должна возвращаться по дороге, что желтеет вон там, за вязами. И Гонта верно говорит: в этой яме они — как в добром окопчике, не подступиться к ним. И бруствер есть, надежный и удобный, — можно стрелять, особо не высываясь...

Эх, темную ночьку бы сейчас! Да запросто вырвались бы из этой западни. Но далеко ночка, тут пару часов хотя бы продержаться...

Лежать было неудобно, камни давили на ребра. Разворошив полусгнившие ветки и корни, спрессованные с листьями и землей, Олег вывернул два валуна, вытолкнул на бруствер. Саднило ладони, ободранные, когда полз бороздой. Он начал зализывать ранки, сплевывая кровь вперемешку с землей, и с ненавистью посмотрел на небо. Оно сделалось каким-то странным — поблекло, словно затянулось рассеянным дымом, и солнце потухло — будто давешнее заменили латунным. Лишь правее вязов, в стороне дороги, над самым лесом, небо оставалось прежним — ярким, чистым, густой синевы.

“Далеко, очень далеко еще до темна...” — с тоскою подумал Олег.

В лозьях послышались какие-то немецкие команды. Немного погода донесся высокий и четкий, но вроде исполошенный голос:

— Партизаны! Сдавайтесь! Вы окружены!

Гонта кивнул в сторону голоса:

— Слышал? — И негромко засмеялся: — Нету! Нету у них минометика! Был бы — ударили, не просили бы ручки хенде хох!

— Надо ответить: выиграем малость времени.

— Не очень-то выиграешь. У тебя сколько патронов?

— Четыре обоймы.

— А гранат?

— Две “эфки”.

— И у меня две. И запасной диск...

— Так это не совсем уж и плохо!

Гонта хмыкнул:

— Цельный арсенал! Что и говорить!

— Но и не пустые же руки. Есть чем драться!

— А ты думал. Они еще у нас покрутятся... Ты следи за полем, а я из лозняков их не выпущу. — Гонта перевернулся на живот, уперся ногами в Олегovy ноги. — Круговую будем держать... оборону!

Из кустов снова прозвучал тот же голос, высокий и будто испуганный, теперь еще резче, требовательнее:

— Вы окружены! Сдавайтесь!

— Я тебе сейчас сдамся, паразит поганый, предатель... — Гонта зло выругался. — Иди сюда — увидишь, гад, кто здесь окружен!..

Олег заметил, что на краю поля закопошились черные фигуры.

— Ползут! Они по бороздам ползут! Эти, что в лозьях, твякают, отвлекают, а они тем временем ползут!..

— Не подпускай, не подпускай близко! Бей их, гадов!.. — Гонта крутнулся, пустил длинную очередь по пашне, потом, перевернувшись на другой бок, прошил короткими очередями кустарник, откуда только что доносился высокий и испуганный голос. — Поддай им жару, братка, — торопливо бросил Гонта, выдергивая из брезентового чехла запасной диск. — Пока я новый поставлю...

Олег выстрелил. В конце поля, рядом с черной, сливающейся с пашней фигурой, брызнул фонтанчик земли. Промазал! Это что же ты, парень, разучился стрелять? Нет, плохо прицелился, поторопился, горячку начал пороть...

Он повторно прицелился, на сей раз старательно и спокойно, задержал на мгновение дыхание, нажал на спуск. Теперь уже черная фигура дернулась и замерла.

Олег обрадовался:

— А-а-а, невкусно? Невкусно? Полежи, пока не посинеешь!..

Но он опять начал торопиться и выпустил впустую целую обойму по немцам, что перебежали за деревьями. Не оборачиваясь, Гонта постучал сапогом по Олеговому ботинку:

— Береги патроны! Патроны, братка, береги. Стреляй только наверняка. Ага, видишь? Назад поползли!..

Стараясь не суетиться, Олег выстрелил еще несколько раз. Кажется, еще двое остались валяться на неровной горбатой пашне. Нет, лишь один...

Оттуда, из лозняков, бил пулемет. Разрывные пули сухо и резко вонзались в дички, а при рикошете всякий раз визжали на новый лад.

Неожиданно стрельба прекратилась. В тишине прозвучал знакомый фальцет:

— Сдавайтесь! Гарантируем жизнь!

Гонта повернул к Олегу красное лицо, испачканное в сером суглинке:

— Цел еще, гад. — И, выругавшись, крикнул: — Ты для себя, шкура, поищи гарантий! Шпарь до пана офицера, пока не поздно!.. Лови гарантию от нас!.. — Он поднял автомат над бруствером, дал три короткие очереди. От вызов ударил второй пулемет, и автомат вдруг вырвался из рук Гонты. — Ай-йй-йй!.. — запричитал он в отчаянье, подхватил автомат. — В диск, паразит, угодил! Скапугил мне автоматик!..

— Ставьте запасной диск! — сказал Олег.

— Это и был запасной... Э, да я патроны из него перекладу в пустой. — Гонта вытащил из автомата диск. — Ч-черт, его и не откроешь... Следи, следи за ними! — Покрутив диск в руках, цокнул языком, спросил: — Как же их выколупнуть, га?.. И чего, чего эту сволочь сюда погнало?

— Я ж говорю: на драники прибежали.

Гонта недобро зыркнул на Олега, потом уголки его губ изогнулись, лицо потемнело, и он зло сказал:

— Дулю им! С маком и таким! — И как-то вдруг голос его смягчился, пробилась в нем старательно припрятанная тоска: — Неужто кончились наши с тобою дранички?.. — И снова странно быстро изменились и голос, и лицо. Яростное упорство зазвучало в голосе, а глаза смотрели с улыбкой, словно все беды у человека были далеко позади. — Не-ет, не кончились! И мы с тобой еще драников из нашей бульбочки поедим! И люди добрые, копая ее, добрым словом помянут нашу работу...

— Как же! Будут они знать, кто бульбу тут посадил!

— А то нет! Доброе дело, братка, не забывается. А тут — всё всем известно. И Лысюк твой прекрасно знает, кто сюда, на это поле, поехал.

— Лучше бы он знал, что тут сейчас делается...

Гонта хмыкнул:

— Э, да ты никак на него еще обижаешься? — И вздохнул: — А, признаться, не по его милости ты здесь. Это ж я тебя сюда упек, у Лысюка выпросил.

Олег не поверил:

— Ка-ак? Как это?

— На прошлой неделе, в Зуях, с твоей матулей у меня разговор был. Просила-молила: побереги, мол, хлопца, не посылай в самое пекло... И я тогда — к Лысюку: отдай мне хлопца — на посевную...

Так внезапно открылся замысел старших, который был до сих пор Олегу неведом и который больно ударил по самолюбию. Вон, значит, отчего был так настойчив Лысюк! Это что же получается? Сговорились? Да, за его, Олеговой, спиною они сговорились! Его, значит, как неразумного пацана наду-

мали выпереть втихаря из разведки! Поберечь, не посылать туда, где опасно! Его, значит, за настоящего партизана не принимают?!

Знай он обо всем утром... Уж он бы сказал Лысюку пару ласковых! И как бы тот, интересно, оправдывался?..

А ему, Лысюку, наверное, и без твоих слов сегодня не очень-то сладко. Кто знает, чем все там, у того моста, обернулось?..

И еще интересно, что сказал Лысюк, когда Гонта пришел к нему с этой своей просьбой? Неужто согласился, не колеблясь?..

— Колебался не колебался — ну что ты как маленький! — добродушно заметил Гонта. — Что тебе лезет в голову всякая чепуха? Сейчас не о том время думать.

— Надо было честно сказать, не обманывать. А вы за моей спиной стогворились!

Гонта возмутился:

— Да перестань ты!.. Порешь разную чушь! Ведь знаешь, что командование приказало всем взводам выделить людей на посевную. Ну, не послали бы тебя — послали бы другого. Земля — или не соображаешь? — не должна пустовать! Засеял поле — значит, победил.

— А мы засеяли, — уронил Олег и почувствовал, что и говорить об этом ему приятно и что в мысли Гонты, которую тот повторил снова, таится какая-то надежда.

— То-то же, — одобрительно отозвался Гонта. — Свой бой, братка, мы уже выиграли. На войне пустых дел не бывает. И нас с тобой это поле будет помнить. А то, что хреновина случилась, — кто же мог предугадать? Удача, братка, неизвестно к кому и когда приходит...

Обида на Лысюка, что опять начинала было глотать сердце, отступила, показала пустой, никчемной, и Олег обругал себя: нашел, действительно, время выдрючиваться! Повод, скажи на милость, нашел обижаться на командира.

— Тишь какая-то непонятная, — тихим голосом промолвил Гонта.

— Может, драпанули?

— Притаились, выжидают. И мы подождем, нам спешить некуда. А полезут — встретим, мы люди гостеприимные. — Он подбросил на руке гранату, точно игрался с нею. — Ах, если бы пуля-дура в автомат не тюкнула! И не поправишь ведь никак. — Он отложил гранату, принялся острым камнем бить по погнутой крышке диска, пытаясь сорвать ее с места. Крышка вроде сперва поддавалась, потом села намертво. — Нет, капут диску. Если и откроешь — ничего не достать, патроны тоже, видать, заклинило...

В небе по-прежнему заливался жаворонок. Олег не сразу отыскал в выси, аккуратно там, над вязами, трепещущее пятнышко и, найдя, неотрывно следил за ним. Жаворонок, сдавалось, затем так упрямо и работает крыльшками, чтоб держаться все время на одном и том же месте, в центре голубого небесного лоскута, вокруг которого простиралась белесая хмури.

Песня жаворонка и утешала, и обостряла горечь. Фашисты боятся, они не отваживаются лезть сюда, к крушне: не очень-то просто перебежать-переползти это вспаханное поле — оборону Гонта и Олег заняли что надо. Лежать вот только не ахти как удобно: режут тело камни, немеют ноги, с головы до пят прокатывается неприятная дрожь от сырости и холода. Особенно достается коленям и груди. Надо повернуться. Сперва на одном боку полежать, потом на другом. Ну вот, вот так-то лучше. А Гонта все над диском ворожит. Угораздило же пуле попасть. Какая глупая случайность!..

— Хочу, Сверин, приказ тебе дать, — подал голос Гонта. — Боевой, так сказать, приказ...

— Давайте. Я слушаю.

— Доложишь командиру отряда... — отстраненно начал Гонта и кончил неожиданно строго: — Доложишь, что задание по посадке бульбы на Углинском поле хозяйственный взвод выполнил.

Олег подумал, что Гонта шутит.

— Дайте самолет — доложу.

— Борозду тебе даю, персональную. Вот эту. — Гонта раздвинул камни

и показал на глубокую борозду, что начиналась у крушни и вела к лугови-не. — По ней и поползешь. До сломанной березы. А там наш конь. Поска-чешь краем луговины к лесу. Еще доложишь, что тут стряслось и как. Ясно?

Ощущение того, что Гонта шутит, не оставляло, и Олег прежним то-ном сказал:

— Так ясно, что в глазах темно. Бороздою, значит, советуете проби-раться?

— Да, бороздою. А я приму огонь на себя. — Гонта кивнул в сторону вязов: — Внимание отвлеку...

Теперь до Олега дошло, что Гонта вовсе не шутит. Он нарочно отдает этот приказ, лишь бы отослать его подальше от опасности, спасти от гибели.

— Я — в лес, — со спокойной рассудительностью сказал Олег, прислу-шиваясь к своему голосу, словно не был до конца уверен, что говорит пра-вильно, — а вы?

— Глухой?! Я же сказал: внимание отвлеку. А-а, родненькая, подда-лась!.. — Гонта, сбив наконец с диска крышку, высыпал на ладонь патро-ны. — Ч-черт, они же все погнутые...

Патроны позвякивали в его руках, и Олег, глядя, как он перебирает их, ощущивает пальцами, спросил, словно упрекая за то, что Гонта не уберег ав-томат, осталась теперь без оружия:

— Внимание отвлечете... Это каким же образом?

— Карабин мне оставишь, он тебе без надобности. А потом — вот та-ким макаром... — Гонта сунул в рукав пиджака “эфку”. Рукав раздулся под самым локтем, и Гонта погладил этот пузырь ладонью. — Видишь? В руках понесешь — заметят, близко не подпустят. А тут... Взмахнул рукою — гра-натка и полетела. Чеку надо только загодя снять — гранатка тогда в рукаве на боевом...

Гонта, осторожно отогнув металлические усики, начал покручивать, вы-таскивать блестящее кольцо. У Олега было такое ощущение, что он сам, сво-ими руками, вытаскивает это маленькое, отполированное в кармане до бле-ска кольцо. Пересиливая неприятную дрожь, что прокатилась по спине, не узнавая собственного голоса, сказал:

— Но это верная смерть... если вот так, с гранатами...

Гонта спросил, не поднимая головы:

— А тут сидеть, по-твоему, мед?... — И с каким-то отчаяньем хмык-нул: — Хэ-эх! До смерти еще далеко... Только с умом надо... Ты поползешь, а они — понимаешь? — начнут по тебе стрелять. Притаись, сделай вид, что попали. Тут я вступлю — они по мне ударят, а ты тем временем снова пол-зи. Я буду бережно расходовать патроны, чтоб ты смог добраться до березы. А как доползешь, я подымусь. Они на меня зенки выплывают. Этот момент и используй: вскакивай и дуй что есть мочи...

— Лучше нам вместе пробиваться! — упрямо выдавил Олег, удивляясь своему сухому тону.

— Дурень! — перебил Гонта. И передразнил, скривив губы: — Вместе, вместе... Тогда нас обоих — вместе... А по одному — хоть какие-то шансы есть. Доползешь до березы — наше с тобою счастье. Ты глянь, не очень-то до нее и далеко...

Дерево росло в конце поля. В январскую блокаду, когда немцы обстре-ливали из пушек левый берег Двины, осколки посекали березу, макушка над-ломилась, но не упала, уперлась ветвями в землю, и теперь дерево росло, зе-ленело, как бы связанное на изломе. Чудные на нем листья — у комля гус-тые, зеленые, а на сбитой макушке маленькие, блеклые и редкие...

И верно, до березы рукою подать. Доползти до нее — значит, почти ока-заться в лесу. А в лесу — отряд, помощь... Это, пожалуй, единственный шанс на спасение. В карабине — целая обойма: Гонта прикроет, продержит-ся. Может, действительно рискнуть? Или переждать в этом надежном окоп-чике, понадеяться на случай?..

— Действуй! — сурово потребовал Гонта. И с той же суровостью доба-вил, потянувшись за карабином: — Давай его сюда, живо!

Олег отодвинул от себя карабин, и Гонта схватил его.

Ни тени страха во взгляде Гонты, ни растерянности: глаза серьезные, озбоченны, словно беспокоят человека какие-то важные, но буднично простые заботы.

— Что, не можешь отважиться? — спросил Гонта, в упор, не мигая глянув на Олега. — Надо, Олежа, ползти, надо!

Так ласково обращался к нему когда-то отец, и сейчас, услышав это “Олежа” из чужих уст, Олег встрепенулся. Ему показалось, что отец где-то рядом, за дичками, что оттуда донесся его повелительный голос.

— Ты доползешь... Я знаю, доползешь, — с оттенком какой-то вины проговорил Гонта. — Другого выхода у нас просто нет, только этот... И, если что, прости меня... — Спohватившись, что сказал не то, что следовало, добавил строже, подтолкнув Олега в плечо, вернее, не подтолкнув, а одобряюще, бережно дотронувшись: — Ну, Олежа, давай!..

После холодных камней окопчика земля в борозде показалась необычайно теплой и мягкой. Она не была такой, когда он торкал картошку. Выходит, нагрелась уже под солнцем. И как приятно пахнет она влажной дрсевой и прелью, и как хрупко рассыпается под пальцами. Но очень трудно ползти — нет упора для ног. И как вокруг поразительно тихо. Лишь оглушающе бьется сердце...

Его, наверно, еще не обнаружили — иначе уже стреляли бы, это точно. А может, ждут, покуда подползет поближе? А может, они ушли? К чему тогда изгибаться в три погибели, рыть носом землю?.. Ч-черт, да он просто мало прополз — крушня совсем еще рядом. Дядькина голова видна над бруствером. Нет, это камень, который он, Олег, выкатил из ямы. Надо было, пожалуй, отсиживаться там, под защитой бруствера, и ждать. Ждать подмоги! Ждать ночи!.. Но до ночи еще так далеко... А до березы что, близко? Как ты тут до нее доползешь... И луговина широкая, открытая, на ней его в два счета заметят. Этого Гонта, возможно, и не предвидел. Но затея его в общем-то верная — это единственный шанс на спасение. Единственный? И почему Гонта столь настойчиво отдавал его, этот шанс, лишь ему, Олегу?.. “И, если что, прости меня...” Что прощать? Что? Да он за это поле просил прощения! Ведь обещал и матери, и Лысюку увести тебя подальше от беды, а что сделал? Под пули привел... И ты, между прочим, за спасительную ниточку ухватился, а Гонту — бросил — бросил? Да, надо называть вещи своими именами — бросил, и не иначе. Только так, братка, только так. И Гонта отсюда теперь не выберется. Да, наверно, и не будет пытаться. Он остался, чтобы выбрался ты, чтобы ты один спасся!..

От вязов застучал пулемет. Разрывные пули лопались на гребнях пашни. И сразу от крушни звучно ударил карабин.

“Надо, Олежа, ползти!..”

Олег повторил вслух слова Гонты, будто убеждал себя в правомерности своего поступка. И вновь в нем отозвался голос отца. Знал: надо ползти. И не полз. Странная апатия овладела им. Силы были, он слышал их, но тело не подчинялось, и он не полз, считал выстрелы из карабина.

Второй патрон...

“Зачем он стреляет? Он же видит, что я не ползу!..”

Третий патрон!

“Зачем он стреляет? Он же видит, что я не могу ползти!..”

Четвертый патрон!..

“Что он делает? Что же он делает! Остался всего один патрон. Единственный... Ну вот, нет и его...”

Пятый выстрел из карабина показался Олегу особенно громким и резким. И осознание того, что у Гонты вышли все патроны, пронзило все его существо. Олег сжался, ему подумалось, что Гонта сделал этот последний выстрел не по врагу, он берег последнюю пулю для себя...

Мысль была жуткая, дикая, и раскаленным мячиком запрыгало под ребрами сердце. Олег перевернулся на бок. Нет, Гонта жив! Гонта что-то кричит, кричит что-то... Но отчего так смутно виден Гонта, словно пеленою застлало глаза?..

Олег помотал головой, поморгал, чтоб стрясти с век пыль. Но стало еще

хуже, глаза заслезилась. Пласт земли, в который он ткнулся лбом, сдавался непреодолимой скалой, и за ней, под кудрявой белой дичкой, согнутыми руками размахивал Гонта. Руки были как перебитые крылья.

— Ползи! — разобрал наконец Олег. — Ползи!.. — снова гаркнул Гонта.

Скорбно-повелительное, безвыходное “ползи!” прозвучало протяжно, и Олегу показалось, что ширится, все поднимается ввысь щемящая высокая нота, но растет не в нем, Олеге, а там, в душе у Гонты, что Гонта ранен и кричит от боли. И он приказал себе:

— Ползи к нему! Обрати!

Он знал, что ему надо ползти обратно, знал, что поползет, и чего-то выжидал, словно обдумывая принятое решение, словно взвешивая, не наделает ли он тут глупостей, и злясь на себя за то, что медлит.

Олег крчнулся в узкой борозде и пополз назад. Он полз, роя плечом мягкую, податливую землю, полз, обдирая о камни пальцы, полз, сжимая зубы от боли и отчаянья, боясь, что опоздает, не успеет, не застанет Гонту в живых, полз, оглушенный бешеным буханьем сердца.

От напряжения переняло дыхание, сухая горечь была во рту. Опять далекими и расплывчатыми стали дички, точно затянуло их сеткой алого дождя, и ему почудилось, что он ранен и кровь заливает лицо.

“Это пот на веках, — успокаивал он себя. — И пыль...”

Олег покрутил головой, утирая лицо о рукав пиджака, и алая заволочь исчезла, будто вдруг впиталась землею, и четкими стали и камни крушни, и гонкие метелки суданки, что подпирали, казалось, ветви дичек. И прояснились мысли, и среди всех прочих одна была необыкновенно ясной и утешительной — мысль о том, что поступает правильно, что принял единственно верное решение. Он не оставит Гонту одного, не оставит помирать на этом поле! Он будет с ним! Он будет рядом с ним до последней минуты!

Перевалившись через каменистый бруствер, Олег ощутил радостное облегчение, будто все невзгоды, трагедии остались там, позади, в той борозде, которую он пропахал дважды носом; холодный сырой окопчик представился надежным, уютным, и царил здесь благодостный покой.

— Хорошо тут! — счастливо улыбнулся он. — До чего же тут хорошо!

— Ты это что?! — недобро просипел Гонта и, скривившись, яро повторил: — Ты это что, белены объелся?!

Олег сжался. Ему казалось, что Гонта обрадуется, похвалит, и теперь, увидев злое дядкино лицо, понял всю неуместность своей радости, погасил ее, сказал безразлично:

— А ничего. — И добавил, полагая, что должен объяснить все сразу: — Не могу я удирать! Не хочу!

— Он не хочет! Ха-ха! — сипло хохотнул Гонта. — Какой был приказ? Какой был тебе приказ, я спрашиваю?

— Какой еще такой приказ? Я не мальчишка... Я все понимаю!

— Он — понимает! — И выверился еще больше: — Что ты понимаешь?! Что? Да я тебя под трибунал отдам!..

— Не надо кричать, — тихо, но твердо попросил Олег. — Я все равно останусь с вами. Здесь.

— Дурной! Да нас же здесь прикончат, тут — смертушка!..

— А я не боюсь. — И повторил слова самого же Гонты: — До нее еще далеко...

Гонта выматерился, но эта брань адресовалась уже не Олегу:

— Кранты, сдается! Заходят, гады, и от луговины...

— Прорвемся! С гранатами прорвемся!

— Заходят, гады, и от луговины, — повторил Гонта незнакомым, глухим голосом. — Я, дурень, кругом виноватый... — Он рванул на груди рубаху, простонал: — Дурень старый, олух безмозглый!.. Давно надо было тебя отправить — еще когда патроны были... — И внезапно умолк, поглядел на Олега долгим взглядом, словно впервые видел его, сказал грустно: — Так что будем делать, Олежка, га?

— Прорываться! Подползем как можно ближе — и закидаем гранатами.

— Ручками хенде хох надо делать. Теперь ползти глупо.

— Как? — оторопел Олег. — Сдаваться в плен?

— Я же тебе толкую: подойдем поближе и ручками — приветик, панове! Гранатки и покатились. Так и пойдем — с руками кверху.

В руке у Гонты чернела ребристая “эфка”, его пальцы привычно и ловко — будто он делал крестьянскую работу — отгибали тонкие, блестящие усики чеки, и Олег со странным волнением думал, что эту сценку он уже где-то видел. Но где? Да перед тем как тебе ползти, здесь, в этом окопчике. Гонта затолкал “эфку” в рукав и потом поглаживал вздувшийся пузырь, который был малозаметным под локтем... Ты же видел все это! Почему же тогда не подумал, что Гонта готовится идти на верную смерть?

Как же не подумал? Ведь Гонта сказал, что если идти вот так с гранатами — это смерть. Ты слышал, но тем не менее оставил окоп, пополз подалее от той беды, которая неминуемо ожидала тут... Но был приказ, и он выполнял его!.. А может, он чего-нибудь в задумке Гонты не понимает и сейчас?.. Нет, все верно. Две гранаты у Гонты, две у него. Значит, вдвое больше шансов на успех...

— Как пойдем? — спросил Олег и с удивлением заметил, что глаза у Гонты поблескивают, будто в них стоят слезы. — В сторону луговины?

— На лозняки.

— Почему?.. Хотя... Если удастся скатиться под горку — ищи тогда ветра в поле.

— О, если б скатиться. Тогда я, братка, кум королю... Рукава у тебя широкие?.. Самый аккурат. Погоди, сперва оружие припрядем...

Гонта начал заваливать камнями и летошней травой автомат, который лежал рядом с карабином, и Олег одной рукой стал помогать ему.

— Хватит, хватит, — сказал Гонта. — Теперь помоги мне опустить гранатки в рукава. — Он отогнул и сжал пальцами белые, местами побитые маленькими точками ржавчины, усики чеки, просунул указательный палец в кольцо. — Потом я тебе твои пристрою. Только, прошу, остороженько. Не спеши, главное, не спеши...

Металлическая планка была как живая, ее выталкивала пружина, и Олег помимо воли прижал ее к боку гранаты. Пальцы дрожали; казалось, что это не пальцы, не руки дрожат, а холодный ребристый корпус; в пазах меж ребер оседа желтая пыль, словно граната была некогда вымазана в глине, а потом небрежно очищена. Олег боялся разжать пальцы и крепко сжимал гранату, и ему казалось, что эта желтая пыль поднимается, курится, как после взрыва.

5

— Готов? — нетерпеливо спросил Гонта. — Ты готов?

Гонта пристально смотрел Олегу в лицо, и Олегу стало зябко, жутко стало от его пронзительно-внимательного и вместе с тем горестного взгляда, и он сказал, чувствуя, что больше не может выдержать взгляда этих живых, ласковых и как будто заплаканных глаз:

— Да, готов...

— Только ж ничего не перепутай, Олечка. Чуешь?

— Не перепутаю. Гранаты в немцев, а сами под горку, в кусты.

— Далеко не бросай. — Голос Гонты прозвучал наставительно. — На два шага от себя, не дальше...

— Одну бросаю вперед, вторую — вправо...

— Правильно. А я кидая одну за спину, другую — влево. И тогда вокруг нас получится огненное кольцо. — И смягчившись: — Форштейн?

— Форштейн, форштейн.

— И не волнуйся особо. Меньше на них, гадов, гляди. Идешь себе и идешь. И помни — мы с тобою еще поживем! Нас еще море ждет!

— И драники.

— Будут и драники, Олечка, все будет!.. Ты что? Ты что? — И уперся локтем ему в грудь. — Руки не опускай! Выскользнет из рукава — обратно не положишь!.. — И с отчаянной решимостью спросил: — Идем?

— Пошли.

— Ну, с богом! — и Гонта, подморгнув Олегу, трижды плонул через левое плечо, поднялся.

Олег переступил бруствер окопчика одновременно с Гонтой.

От резкого движения сперва в правом рукаве, а затем и в левом подались вниз гранаты, и Олегу на миг показалось, что они скользнут сейчас ему на шею, но тут же успокоил себя: никуда они не денутся, покуда он держит руки над головой. И какие они гадко холодные, эти гранаты! И тяжелые. Когда носишь на поясе, то привычно не замечаешь их веса. А тут прямо давят на руки. Неудобно идти, держа руки над головою, непривычно. Но как же иначе? Иначе никто их близко не подпустит, уложат одной очередью. А так ждут, стоят вон и ждут: идут партизаны, подняв вверх руки. Конечно, не часто доводилось видеть подобное, потому и тарашатся с недоверием... Только бы ничего прежде времени не почувяли. Да нет, не должны бы, еще далеко. Да и вблизи непросто приметить — пузыри на рукавах, не более. И какой же теплой стала граната в правом рукаве! А в левом — холодная. Наверное, оттого, что с каждым шагом поворачивается помалу. Только бы планками потом не зацепились! Нет, планки гладенькие, не зацепятся. Значит, из левого рукава — вперед, из правого — вправо. Здорово, однако, придумал Гонта. Карабин бы сюда, автоматик Гонты да патронов вдосталь...

Четвертый шаг...

Пятый шаг...

Олег слушал и считал не свои шаги, а Гонтины, который грузно топал обочь, слышал, как порою шуршат под каблуками камешки, и глядел себе под ноги, на широкие пласты пашни, гребни которых уже подсохли и пожелтели. Как быстро подсохло поле! Часа два прошло — не более! — а признаков влаги нет и в помине. Правду говорил Гонта: перестояло поле, садить картошку надо было бы пораньше.

Седьмой шаг...

“И жаворонок как-то странно звенит, будто падает с выси на землю...”

Восьмой шаг...

“Вот и второй отозвался. Где-то позади поет, но глуше, словно заблудился в траве...”

“Неужели только девять шагов сделал Гонта? Или, может, я сбился со счета?... Нет, я правильно считал. Десятый шаг...”

Он понимал, что делает все это через силу — и считает Гонтины шаги, и глядит себе под ноги, и удивляется тому, что так скоро подсохла земля, и уже осыпаются гребешки борозд, и прислушивается к трелям жаворонков, — то есть изо всей мочи старается успокоиться, старается не смотреть вперед, на широкий обмежек у кустарника, где открыто, не прячась, стоят в ожидании ээсовцев. Сколько же их там собралось? А зачем тебе это? Нет, друже, поглядеть все же придется, хоть и не хочется. Не хочется или боязно?... Ведь тебе придется приблизиться к ним вплотную. Гонта говорил, чтоб бросал на два шага, всего на два шага... А почему именно на два? Да чтоб не успели унести враги ноги, не успели спрятаться! Но ведь и ты не отбежишь! И Гонта! Нет, надо успеть прыгнуть под откос! И Гонте надо. Только надо все выверить, все точно определить: когда, в какое место, где...

Олег поднял голову и посмотрел вперед. Как мало осталось уже до ээсовцев! Вот так же близко были они на гравийке под Фаринином — тогда разведчики полоснули по ним из автоматов почти в упор, а он, Олег, отправил к праотцам офицера, который успел залечь на обочине за сосной. Тогда было много ээсовцев, не то что сейчас... Совсем же немного стоит их у лозняков — всего лишь пятеро... Нет, еще четверо маячат у вязов да сзади, на луговине, перелаиваются...

А ветер тербит ветви лозы... За кустарниками горбится белое облако, лохматое, ровно слепленное из комьев пышного снега. Странно, из окопчика он видел такое же облако за вязами, над лесом. Неужели оно так скоро переплыло реку?..

Внезапно перестал шаркать своими сапогами Гонта. Чего он замешкался, зачем остановился? Сам же толковал: надо идти вперед, только на сбли-

жение... А может, уже пробил час? Нет, еще далековато — пока бросишь гранату, пока она долетит — разбегутся фашисты, укрыться успеют...

Он снова поднял голову и снова увидел черные фигуры врагов.

Но теперь его взгляд не задержался на них — он видел гибкие, с желтоватым отливом и серебром лозняки, которые стлались под ветром. До чего же они близки! Как густы их спасительные дебри! Один миг — и ты там... Но где тот миг — надо пройти сначала до конца борозды, ступить на обмежек, руки резко опустить... А Гонта остановился. Чего он возится?! Надо идти и идти! Надо идти, пока они не опомнились, пока слепы от своей удачи...

А Гонта остановился... Зачем? Господи, да он сдурел — носком сапога присыпает картофелину! На черта ему сдалась та картофелина?!

— Брачок в работе. Ликвидировать положено. У нас в бригаде был закон: орехов не оставлять. Не будем и мы портачить. Верно? — И деловито подгреб глинистой земли, начал засыпать картофелину, которую миновал плуг; сухой гребешок земляного пласта крошился и осыпался в борозду. — Вот теперь порядок, теперь нашей картошке будет тепло, удобно будет лежать в земельке. И прорастет, и уродит...

От лозняков прозвучало — требовательно, с издевкой, по-немецки:

— Ком, бандитен, ком! Шнель, шнель!

Гонта, не прекращая своей работы, процедил сквозь зубы:

— Зашнелил, сволочь! Потерпишь, никуда не денешься! — И тут же порадовался, сказал так, будто ничто другое, кроме этого занятия, его уже не касалось: — Поле какое славное! Борозды ровненькие, как под шнурок. Не разучился еще Гонта работать. Верно же?

Эта взволнованность, какая-то торжественная потусторонность потрясли Олега. Да он ошалел, этот Гонта! Картошку присыпает, красотой пашни восторгается. Тут надо думать, как выкарабкаться из беды, а он...

— Не разучился, — удовлетворенно проговорил Гонта и, спохватившись, что нахваливает лишь самого себя, поправился: — И ты не разучился, не горюй.

— Уродит, — согласился Олег. Он произнес это так, будто хотел, чтоб Гонта отцепился, будто все восторги того не заслуживают и ломаного гроша и вообще неуместны, и дважды повторил, не скрывая недовольства: — Уродит, уродит... Только успевай выбирать!

Но Гонта не обратил внимания на Олегов тон.

— А небо какое, Олечка, ты посмотри! — проговорил он растроганно. — Словно подсинили его. И эти облака за речкой! Сдается, никогда раньше и не видел ничего подобного. В самом деле!

Кроткий голос Гонты еще больше возмутил Олега. Картоху какую-то заметил, земелькою присыпал. Теперь небом любитесь! Словно никаких тебе забот, никаких тревог! Будто не ждет их беда, которую не обминуть. А эта беда все ближе и ближе, с каждым шагом все ближе. А Гонта точно ничего не видит, ни рожна не понимает! И какое у него странное лицо — благодушное, ничем не озабоченное...

— Какое небо, браточка! — гнул свое Гонта. — Ах, красота какая! Будто впервые в жизни вижу это чудо!.. Ты погляди!..

Что он несет, этот Гонта?! Снова про свое небо долдонит! Как выкрутиться из беды — вот о чем надо думать. А он...

Но ведь и ты сегодня любовался тем же самым небом. Не выказывал, правда, своих восторгов, не охал и не ахал. И ты поражался, ты думал, что за всю войну ни разу не видел такой синевы над головою.

“Я смотрел на небо, чтобы вытеснить мысли о беде. И Гонта делает то же самое...”

Только сейчас ему открылся смысл всего, что делал и что говорил Гонта. Дядька так же, как и он, понимает неизбежность того, что их ждет. И не только понимает, но и пытается оттянуть тот миг, когда придется смотреть смерти в глаза, когда надо будет опускать пока поднятые вверх руки...

Олег посмотрел себе под ноги, посмотрел вперед, на то место, куда предположительно полетят гранаты. Там был зеленый обмежек, а под ногами серел вывернутый плугом суглинок, весь в прожилках подрезанных корней.

“Беда переплелась с нами, как эти корни между собой...”

Неожиданное сравнение на какие-то секунды завладело вниманием Олега, и он глядел под ноги, на густое сплетенье корней осота и пырея; как веревки, скрученные, перевязанные, они торчали из земли, свисали в борозды. У осота корни белые, веретенообразные, с тонкими волосинками, а у пырея — длинные, извилистые, смахивающие на небрежно выровненную проволоку, и с желтизной... И какие глубокие, сетчатые следы оставляет на пашне Гонты... Нет, это его самого следы — давешние, когда шел за плугом.

У Гонты сапоги трофейные. Немецкие...

“Он взял их у врага. Теперь сапоги к врагу вернуться...”

Мысль была неуместная. Но суть, которая заключалась в ней, вдруг предстала перед Олегом обнаженной действительностью и была как свежее ободранная липка. Все маленькие хитрости, все наивные надежды на некий счастливый исход — все стало ненужным, все улетучилось, оставив его наедине с жестокой и неумолимой реальностью того, что происходит и что еще произойдет на этом поле.

“Убьют... И одного убьют, и другого...”

Он принял это как неожиданный и странный вывод, который не требовал, однако, доказательств, не требовал объяснений. Его даже не удивила абстрактность в рассуждениях, которую он допустил и на которой построил этот свой вывод; но он считал, что в определенной мере беда не коснется его лично, не коснется Гонты, что она направлена против некоего “одного” и некоего “другого”, к которым они с Гонтой никакого отношения не имеют. Но опять же — считал он так лишь какие-то мгновенья, потому что вслед за этой мыслью родилась новая, в которой уже не было никакой абстрактности и которая перечеркивала все безжалостно и окончательно.

“Завтра мы не увидим с Гонтой этого неба, этого поля, этих лозняков... Но почему завтра, когда сегодня ты не увидишь ни неба, ни поля, ни лозняков... Ни ты, ни Гонта...”

Олег знал теперь наверное, что должно случиться, и мысль о смерти не испугала, не породила отчаянья, а вызвала новый прилив ярости. Почему его и Гонту должны убить вот эти чужаки в черном одеянии? Почему его жизнь и жизнь Гонты должна оборваться здесь, оборваться сейчас, оборваться так внезапно и по-дурацки? Но нет, по-дурацки они не погибнут. Вряд ли уцелеет и кто-нибудь из тех, кто стоит сейчас на обмежке. А это значит, что добрый десяток фашистов перестанут стрелять в наших людей! Он и Гонта не задарма отдадут свои жизни. Они выполняют свой долг, они клялись, что если уж и доведется умирать в бою, то встретят смерть достойно, отдадут жизнь как можно дороже, отдадут во имя Победы. Что он, Олег, и делает, что делает и Гонта. Добрый десяток гадов найдут себе могилу на обмежке и уже никогда не возьмут в кровавые руки оружия. И потому пусть на какую-то малость, но все равно раньше придет сюда Победа. И кто-то должен во имя ее умирать!..

“Пусть умирает враг!..”

Мысль эта, обостренная до боли, выкристаллизовалась изо всех других, и Олега удивила не ее четкость, а то, что он почему-то до сих пор не понимал, что с самого начала боя она стояла на первом месте, что он подчинял ей каждое мгновение, подчинял даже тогда, когда, выполняя приказ Гонты, выскользнул из окопчика и пополз по борозде. Но теперь она, эта мысль, с удивительной определенностью и питала лютую ненависть к врагу, и не позволяла уйти осознанию непоправимости беды, осознанию, какое, казалось, он похоронил и какое, как эхо в роще, сейчас снова вернулось к нему.

“Ты больше не увидишь этого поля...”

Неприятные, холодные тиски сдавили горло, по коже прокатилась зыбкая волна, а судорога свела ноги под коленями. Но тут же отпустила, и он легко ступил вперед.

Он опять считал не свои собственные шаги, а шаги Гонты, и этот подсчет не убивал, а порождал трезвое отношение к неминуемому. Сейчас, когда беспорядочный бег мыслей унялся, решение, принятое Гонтой, воспринималось как единственно верное и разумное.

Снова явилась прежняя мысль, она успокаивала, как бы перечеркивала беду, и он с удовольствием понимал: они с Гонтой уже выше беды, они для нее недостижимы в том смысле, что никому теперь не суждено изменить то, что они оставляют после себя, — с душою обработанное поле. Будут идти дожди, и будет светить солнце, будут наплывать синие туманы от реки, и будут петь жаворонки, и поле будет зеленеть, и вознаградит людей добром... И пускай ээсовцы, подгоняя их, кричат на обмелке, пускай трясут автоматами — пускай! Они с Гонтой будут идти так же, как шли и вначале: неторопливо, уверенно и спокойно. Только бы не изводила гадкая дрожь, что перекатывается по телу...

“Ты должен глядеть на что-то одно. Ты должен выбрать цель...”

Олег остановил свой взгляд на ээсовце, который стоял у самого края обмелка, рядом с кучкой черной земли, вывернутой на траву плутом. Обмелек странно колыхается, будто резиновый... Нет, обмелек неподвижен, это ээсовец покачивается с носка на пятку, с пятки на носок...

“Надо сделать еще пять шагов... Пять шагов и — тогда!..”

Он определил это и начал считать шаги по-новому. Он считал свои шаги, но вроде кто-то еще, не он сам, подсчитывал и шаги Гонты, и этот подсчет не мешал ему, велся синхронно.

“Четырнадцатый шаг Гонты и мой первый шаг...”

И вдруг Гонта спутал все карты — толкнув Олега плечом, он закричал с отчаянной радостью:

— Кида-а-ай!

Крик Гонты взвился высоко, ударил в сердце и будто тяжелым обручем пал на голову, сжал виски. Олег махнул левой рукой, словно показывая кому-то дорогу вперед, а правой махнул в сторону, словно нечто отбрасывая от себя. Куда полетела первая граната, он не увидел, но хорошо разглядел, как вторая, подпрыгнув на земле, скрылась в траве у ног ээсовца.

Сухо щелкнули запалы гранат, и Олегу показалось, что это треснуло что-то в горле Гонты — голос того оборвался...

“Теперь надо под откос!”

Он метнулся к лознякам, ощущая желанную легкость в руках, которые не надо было больше держать над головою, и опали обручи, стали живыми ладони.

“Но где Гонта? Гонта где?”

Олег обернулся, увидел Гонту, который падал на кусты, раскинув руки, как крылья. И в тот же миг перевернулось поле, рядом с лозняками пошли стоймя борозды, они взлетели ввысь над вязами и обрушились на Олега. Черные борозды, показалось ему, были еще далеко, когда от них багрово полыхнуло, забило рот жаром. Он не почувствовал боли, почувствовал только горячую мягкую эту волну, и ему почудилось, что и он, и Гонта подхвачены той волной, что и он падает на кусты, а ветер от реки ласкает и овеивает его лицо. Олег не видел, как четыре взрыва смели ээсовцев с обмелка, не видел, как катится в спасительные заросли Гонта, не видел и не понимал, что никуда он не летит, что он умирает не от осколков, а от разрывных пулеметных пуль, которые прошли ему грудь наискось и которые прилетели от вязов, что гнулись под ветром на краю вспаханного поля, черного и сверкающего под солнцем.

Перевод с белорусского В. Кудинова

ТАТЬЯНА ЛЕЙКО



НАМ ЗЕМЛЯ
ОТКРЫВАЛА СВОЮ КРАСОТУ

* * *

А на белом свету
ты стоишь на мосту
через реку, широкую реку.
А как пожили мы да на белом свету,
не узнать ни варягу, ни греку.

Нам земля открывала свою красоту,
нам и ветер шумел издалёка.
А что делали мы да на этом свету,
мы и сами не знаем до срока.

Книгу жизни своей второпях перечту —
снова надо менять и меняться.
Но хочу я с тобою стоять на мосту
и безопасно, как в детстве, смеяться.

* * *

Глаза твои — синее, синее небо,
а волосы — мёд.
Кто делится ломтем духовного хлеба,
тот вечно живёт.

И ты остаёшься, как лик на иконе,
свет Божий храня.
На утреннем небе, на солнечном склоне,
в душе у меня.

ЗНАК ОГНЯ

Я знак Огня, и мне гореть
недаром суждено.
Пусть чью-то душу отогреть
я не сумею — но

я знак вселенского огня
над бездной роковой,
сиянье солнечного дня
над лунною травой.

Не потушить и не залить
ни кровью, ни слезой.
И лишь вконец испепелить
Небесною грозой.

Кому-то освещаю путь,
кому-то сердце жгу...
И это пламя не задуть
ни другу, ни врагу.

* * *

Кровавый боярышник падал с дождём вперемешку.
А жизнь всё равно продолжалась, как будто в насмешку.

Тяжёлая осень к асфальту меня придавила.
А ты и не видел, как я от тебя уходила.

Всё дальше и дальше, по времени, как по канату,
туда, где сплывает листва по небесному скату,

где вечность уже горизонты свои открывает,
где брезжит рассвет... и любовь о себе забывает.

* * *

Татьянин день — единственный в году.
Ты позови — и я к тебе приду.
Холодным ветром из-за дальних стран
перелечу я море-океан.

Коснусь тебя невидимым крылом.
Бывало время — шла я напролом.
Бывали годы — жили мы взахлёб.
Мы заблудились средь пропащих троп.

Мы потерялись меж ночных огней.
Не так уж много у Татьяны дней.
Лишь раз в году...

Когда горит зима
и светится в душе
таинственная тьма.

* * *

Ну, зачем же плакать, в самом деле?
Жизнь проходит... и совсем прошла.
Пили, пели,
Хорошо сидели...
И любили... всё сжигать дотла.

Не осталось даже серой пыли
там, где ветер дул, пускаясь в пляс.
Мы любили...
Потому любили,
что другого — не было у нас.

Только детство,
детство золотое.
Зимний вечер, окна в серебре...
Ну и пусть я ничего не стою,
как берёза на пустом дворе.

В ноябре, когда уже на дачах
только небо в голубом дыму...
Ничего, что ничего не значу,
всё отдав — неведомо кому.

ГЕОРГИЙ БАРТОШ



ВИД ИЗ ОКНА

Я БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДУ ГОРЕВАТЬ

Я больше никогда не буду горевать.
Пусть моя любовь, как прежде, безнадежна,
Но ночь моя тиха, мне есть с кем ночевать,
Мне есть с кем песни петь и грезить осторожно.
Мне звёзды с высоты мигают в полусне,
Мне травы шелестят приятные секреты,
И грустные стихи, как дань моей весне,
Уходят навсегда. Забыты? — Нет, пропеты.
Не дай мне Бог опять тобой переболеть:
Отрочество мое, подвалы, голубятни...
Чем ближе мой предел, чем вероятней смерть,
Тем проще и ясней, тем легче и понятней.

...У РОДНЫХ МОГИЛОК ПОСИДЕЛИ

...У родных могилки посидели,
на родные лица поглядели.
Кто там знает — год или неделя? —
мы и сами в дальний край пойдём.

БАРТОШ Георгий Львович. Родился в 1967 г. в г. Щучин Гродненской области. Окончил исторический факультет Минского государственного педагогического института им. М. Горького. Печатался в белорусских и российских периодических изданиях. Живет в Минске.

Но пока над нами светит солнце,
ветка яблоком стучит в оконце,
в рюмке не просвечивает донце,
согласимся — всё в порядке, всё путем.

Кто-то счёт ведёт своим печалям,
кто-то люльку детскую качает,
кто-то за сокровищем отчалит —
лишь меня минует этот гнёт.

Знаю, что когда тоски в избытке
и конец ясней во мраке зыбком,
чья-то — пусть случайная улыбка! —
к жизни, словно добрый врач, вернёт.

ЗИМА ПРОШЛА ЗРЯ

Зима прошла зря —
Я ни разу не увидел снегиря!

Когда я был маленьким
и, как положено интеллигентному мальчику,
был отдан в музыкальную школу,
то специально ходил на занятия дальней,
через частный сектор, дорогой —
только бы увидеть снегирей.
Здрав голову,
я замирал перед заснеженным деревом,
разглядывая пылающие грудки пичуг,
перепрыгивающих
с ветки на ветку...

И всегда опаздывал на урок.
Вечером училка звонила моей маме
и закладывала меня с тайным,
до сих пор мне не понятным,
сладострастием...

Как тяжело далась мне нынешняя зима!
Сколько здоровья потеряно,
Сколько не заработано денег,
Сколько недополучено и недодано любви!

А я,
Словно глупый, однажды и навсегда
 завороженный мальчик,
Жалею о снегире...

08—09.05.2008

ПЯТЬ ЧАСОВ УТРА

Пять часов утра.
Молодая женщина выходит из машины
и идёт к своему дому
по тропинке, наискосок пересекающей двор.

Походка её тяжела,
волосы растрепаны,
роза на длинном стебле опущена вниз
и едва не волочится по земле.

Но она улыбается...
или мне показалось?
По затылку человека трудно определить,
улыбается он или плачет.

Что он крикнул ей вслед —
мужик, поленившийся довести
 даму до самого подъезда?
Наверное, не хотел разворачиваться в чужом дворе
в утренних сумерках.

Что это было?
Грубая шутка в адрес женщины,
 которая досталась ему безо всякого труда?
Ничего не значащее обещание перезвонить?
Или неуклюжая попытка выразить благодарность
предпринятая мужчиной,
который никогда не станет джентльменом?

20.07.2012

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ

РОМАН*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Урал встретил Бекетова трескучими морозами, заснеженными сосняками, угрюмыми городами, в которых люди были заняты вековечным делом, — плавил руду, лили металл, строили тяжеловесные машины. Терпели, роптали, продолжая свинчивать болтами и гайками Европу и Азию, притягивать стальными канатами казахстанские степи, приваривать кромку Ледовитого океана. Бекетову казалось, он чувствует, как хрустит от напряжения древний гранит, туманится жерло Ганиной ямы, благоухают иконы в Храме на Крови.

Урал — таинственное место в России, где топор дважды рубил древо русской истории. Умер “белый” православный монарх, унеся в земную щель своё “белое” царство. Родился уральский демон, кинувший на плаху великое “красное” царство, разбросавший по просторам Евразии её четвертованное тело.

Бекетов смотрел на запорошенные снегом гранитные лбы, и наклонная башня Невьянска казалась издалека лёгким пером, упавшим из хвоста серебряной птицы.

Нижний Тагил выглядел неостывшим слитком. В угарной дымке, с железными облаками и громадными трубами, он изрыгал сизый пепел, в котором переливалось и меркло большое красное солнце. “Уралвагонзавод” предстал нескончаемой чередой корпусов, сгустками окаменелого дыма, лязгом стальных путей, проблеском высоковольтных линий. И внезапно из этих утомлённых нагромождений, из дымных клубов, из тусклых отблесков сварки вылетал танк. Упругий, звенящий, он сиял, как стекло, в ликующем блеске морозного солнца. Рвался в даль снегов, качал пушкой, сверкал гусеницами, оставляя ребристый след, гаснущие трели и рокоты.

У заводской проходной с изображениями советских орденов Бекетова встретил директор. Провёл сквозь электронные турникеты, мимо вооружённой охраны.

— С прибытием на Урал, Андрей Алексеевич, — приветствовал Бекетова директор. Он был в чёрном пальто с собольим воротником, без шапки, с короткими пепельными волосами. Его крупное лицо состояло из плоско-

* Журнальный вариант. Продолжение. Начало в №6 за 2013 год.

стей, квадратов и ромбов, как на портретах кубистов. Было оно того же цвета, что и закопченный кирпич корпусов, тусклый металлический дым, посыпанный окалиной снег. Он был сотворён из тех же материалов, что и вверенный ему завод. Был странным подобием танка с его ребристой броней.

— Предлагаю посмотреть производство, а потом соберём у меня в кабинете руководство завода, и вы сделаете своё сообщение.

— Можно будет прокатиться на танке? — шутливо спросил Бекетов.

— Почему бы и нет? Танкодром рядом с заводом.

Из раскалённого морозного света с мерцающей солнечной пылью они шагнули в дверь, которая сомкнулась за ними с лёгким хлопком. Оказались в тёплом смуглом пространстве, где пахло металлом, краской, озоном электросварки, сладковатыми лаками, бензином. И чем-то ещё — угрюмым, могучим и вечным. Так пахнут вулканы, окутанные железным туманом. Так пахнут прибрежные скалы, в которые бьёт вековая морская волна. Должно быть, — подумал Бекетов, — именно так пахнет государство.

Цех был огромный, уходящий в дымную даль. Двигались тёмные глыбы, скользили лучи, бегали едкие огоньки. И глухо ухало, тяжело звенело, словно расхаживали невидимые великаны.

Бекетов шёл вдоль конвейерной линии, жадно наблюдая, как из бесформенных масс, бенгальских огней, мускульных усилий людей рождается танк.

Корпус, напоминающий железную пустую коробку. Полости, пазы, дыры будущих люков. Голова рабочего выглядывает из проёма, словно человек замурован в стальную темницу. Другой рабочий, по пояс в люке, похож на кентавра с тяжёлым туловом, готового скакать с металлическим лягом. Третий рабочий вонзает электрод в бортовину, чертит огненный иероглиф, будто ставит тавро на дышащий шершавый бок.

В корпус вживляют детали: литые катки, сверкающие драгоценные втулки. Натягивают зубчатые гусеницы. Увеличивают сложность корпуса, готовят к будущей кромешной работе. Взрывы, горящая броня, растерзанные танкисты — это всё впереди.

Рабочий воздел руки, словно взывает к Богу. И с неба спускается к нему могучий танковый двигатель. Погружается на цепях в тёмное чрево, светит оттуда грозно и тускло. А над ним колдуют, словно в разъятую грудь пересаживают сердце. Вживляют, окропляют “живой” и “мёртвой” водой.

Башня с пушкой плывёт над конвейером: громадная стальная коврига, могучий железный хобот. Рабочий пританцовывает на корпусе, манит башню к себе. Громада опускается, бесшумно, мягко, прилипает к корпусу, и танк мгновенно обретает свою устрашающую мощь, чудовищную устремлённость. Пушка литая, с липким отсветом смазки, с чёрным жерлом, из которого дунет рыжее пламя, умчится снаряд, поднимая до неба гору земли и дыма.

В башне монтажники прокладывают жгуты, устанавливают гироскопы, драгоценные стекла прицелов, антенны, радары. Насыщают стальную купол изящной и хрупкой оптикой, излучателями. Соединяют танк с космосом, с командными пунктами, со всей ревущей стальной армадой, несущейся среди взрывов. Луч прицела находит незримую цель, наводит ракету, превращая вражеский танк в груды горячей брони. Другой молниеносный луч ловит в небесах самолёт, срезает ракетой пикирующий штурмовик. Тяжеловесный и грузный танк наделяется множеством глаз, нервной системой, которая преобразует машину в чуткое существо, перелетающее овраги и ямы, бьющее врага влёт.

Танк наращивает плоть, набухает мускулами. Бегают огненные змейки сварки, стекают с башни золотые ручьи. В глазницах блестят стеклянные призмы, телевизионные трубки, зрачки дальномеров. На танк навьючивают бруски активной брони. Башня становится клетчатой, как черепаха. При полёте чужого снаряда активная броня гасит убийную силу. Танк снаряжают для боя — он мчится, окружая себя дымовой завесой, затмевая прицелы врага. Окутывается непроницаемой пылью, в которой сторает чужая ракета. Громадный, грохочущий, как стальной водопад, гибкий, танцующий, как балерина, танк блещет пламенем. Крутит башней. Огрызается огнём пулемётов. Громит снарядами опорные пункты противника. Утюжит гусеницами доты.

Последние касания рук, похожие на крестные знамения. Механик-водитель погружается в люк. Взыграл, взревел двигатель. Танк, в трепете, в дрожи, сошёл с конвейера. Открылись ворота цеха — солнце, белизна, волнистая даль танкодрома. Машина, ликуя, вся в стеклянном блеске, в голубых дымах, рванулась на волю и пошла, качая пушкой. Убивать, умирать, побеждать — в грозный распахнутый мир, навстречу великим опасностям.

Бекетов провожал глазами машину, молился о ней, как о родном существе. Танк Т-90 М, лучший в мире, шедевр “Уралвагонзавода”.

После осмотра цеха в кабинете директора собрались производственники за длинным переговорным столом, на который секретарша поставила чашечки душистого чая, вазочки с конфетами. Бекетов с наслаждением пил чай. Со стены над директорским столом смотрел с портрета президент Стоцкий. Казалось, взгляд его насмешлив, и он видит насквозь Бекетова, предрекает провал его замыслам.

Бекетов подробно рассказал производственникам о сложившейся в Москве ситуации. О митингах на Болотной площади и проспекте Сахарова. Об “оранжевой революции”, которая началась в России и грозит разгромом государства, как это было и в далёком феврале 17-го года, и в недавнем августе 91-го. Он рисовал политическую картину, давал характеристики оппозиционным лидерам, указывая на их связь с западными политическими центрами. В конце выступления призвал уральцев поддержать Чегоданова, готовить оборонщиков к поездке в Москву, чтобы принять участие в предвыборном митинге Чегоданова.

— Коллеги, наступил критический момент. Нам нужно спасти государство. Урал был всегда опорой страны, её становым хребтом. Уверен, что и теперь уральцы будут решать судьбу государства.

Производственники молчали, отводили глаза, вздыхали. Бекетов чувствовал, что его слова не тронули их сердец, насторожили, обеспокоили, вызвали отчуждение. Наконец, заговорил директор со своим ребристым лицом, в которое завод насыпал окалины, надышал дымом, оттиснул отпечаток танковой брони.

— Андрей Алексеевич, вы нас зовете в политику. Но мы здесь не политики, мы производственники, которые тянут на себе этот завод. Выдирают его из долгов, из разрухи, из той дыры, в которую нас затолкали. Вы видели сегодня наш танк. На нём, помимо гусениц, жилы наши намотаны. Такого завода, как наш, нет больше в мире. Он и есть государство. Наш завод Вторую мировую войну выиграл, и мы его здесь, на Урале, спасаем, как он когда-то страну спас. В политику мы не пойдём, потому что не понимаем её и не ждём от неё добра. В Москве — большая политика, а у нас на Урале — большие труды, — сказав это, директор посмотрел в окно, где туманились кирпично-серые корпуса, валил из трубы сизый дым и что-то постанывало, переливалось и двигалось. Словно звало директора скорее вернуться в цех, где под сводами на цепях двигалась башня с пушкой.

Бекетов продолжал убеждать:

— Один крупный советский оборонщик, директор космического завода, сказал мне. “Мы, технократы, в Советском Союзе могли на заводах сделать всё, что не противоречило законам физики. Мы занимались техникой, а политику поручили членам Политбюро. И они, политики, разрушили космическую отрасль страны, всю великую советскую техносферу”. И теперь, коллеги, я снова слышу: “Пусть политикой занимаются политики, а мы будем заниматься техникой”. И опять мы проиграем страну, проиграем ваш завод, проиграем производство русских танков, — Бекетов произнёс это с укоризной, раздосадованный тем, что не был понят, получил отказ, столкнулся с глухим недоверием. — Неужели история повторится?

— Вот вы говорите, Андрей Алексеевич, что опять, дескать, проиграем страну, проиграем завод, — главный инженер был похож на тёмную галку: длинноносый, с чёрными волосами, запавшими щеками, тревожно мерцающими глазами. Пиджак его был помят и поношен, галстук повязан старомодно, на синеватых бритых щеках чернели порезы от торопливого бритья. Было видно, что ему некогда следить за собой, а все его силы поглощает завод,

требующий тепла, электричества, ремонта цехов, обустройства подъездных путей. — А ведь мы не знаем, Андрей Алексеевич, кого поддерживать. Говорят, между президентом Валентином Лаврентьевичем Стоцким и премьером Фёдором Фёдоровичем Чегодановым какая-то мышь пробежала. Что у них разлад, и они власть делят, меряются, кому быть в Кремле. И как понять, кого нам поддерживать? Когда было ГКЧП, наш тогдашний директор поддержал ГКЧП, а потом его вытолкали с завода и чуть в тюрьму ни посадили. Это клеймо на заводе оставалось, и наш завод гнобили по полной. Уж лучше нам в политику не соваться, Андрей Алексеевич. Вот выборы пройдут, кого выберет страна президентом, того и будем поддерживать.

Упрямое недоверие, глухое сопротивление, скрытое недоброжелательство исходили от главного инженера. Его столько раз обманывали, принуждали, шельмовали, а он продолжал питать завод паром, электроэнергией, ремонтировал цеха, ставил новое оборудование. Бекетов понимал этого подвижника. Но его раздражало глухое сопротивление, провинциальное непонимание и упорство.

— Чегоданов, когда станет президентом, начнёт стремительное развитие. Громадные деньги пойдут в оборонно-промышленный комплекс. Ваш завод преобразится. Чегоданов уже однажды спас государство, остановил демократов, которые убивали страну и ваш завод, в том числе. Если вы сейчас существуете, то благодаря Чегоданову. Он офицер, государственник, понимает цену оружию. На него клеветают, обливают грязью. Но он единственный, кто в это смутное время может спасти государство. Поддержите Чегоданова, и он не забудет вас.

Ему ответил Главный конструктор — молодой, синеглазый, с упрямым лбом, жёсткими складками рта. Казалось, его облик сложился в постоянном противодействии, ежечасном борении. В этом борении создавался “танк будущего” — смертоносный робот, оружие грядущих войн.

— Вы говорите, что Чегоданов обещает развитие. А почему же, когда он был президентом, не было никакого развития? Мы создавали Т-90 М на собственные средства, заключали контракт с Индией. А вот Валентин Лаврентьевич Стоцкий, когда приезжал на “Уралвагонзавод”, выделил деньги на разработку нового танка. Мы покатали его на Т-90, он пострелял из пушки, и мы нашли с ним общий язык.

— Да поймите, коллеги, Стоцкий не будет президентом. Им будет либо Чегоданов, либо пацифист Градобоев, которому отвратительно слово “танк”. К власти рвутся те, кто двадцать лет назад разрушил советское государство, а теперь сокрушает Россию. Поддерживая Чегоданова, мы спасаем государство. Не верьте этой мерзкой брехне о его несметных богатствах, о миллиардах в иностранных банках. У него есть одна задача на всю жизнь — Государство Российское. Вы спасёте завод, но не спасёте Россию. А не спасёте Россию — и заводу, и “танку будущего” не суждено сохраниваться.

Минуту длилось молчание. Потом заговорил председатель профкома — ладный, красивый, в прекрасном костюме, с белыми большими руками, с золотым обручальным кольцом.

— Вы, Андрей Алексеевич, говорите, что нужно спасти государство от разрушения. Но ведь оно само себя разрушало. Здесь в девяностые такое творилось! Стон, плач, полгода зарплаты нет. На макаронной фабрике вместо зарплаты макаронами людям платили. А нам что — танками платить? Люди побежали с завода. Матери детей в заводскую столовку приводили, чтобы накормить. Митинги, демонстрации. А министр из Москвы приезжал: “А вы идите в лес, ягоды, грибы собирайте, тем и прокормитесь!” Нас тогда государство кинуло, и мы не пропали только благодаря народному терпению и собственной сметке. И с тех пор мы к государству осторожно относимся. Как и оно к нам. В ком оно, государство? Вы в Москве разберитесь, кто оно, государство, тогда мы его на стенку поместим, — он посмотрел на стену, откуда насмешливо взирал президент Стоцкий.

Бекетов испытывал к ним неприязнь. Они отгородились от него глухой стеной. Видели в нём опасность. Не доверяли гонцу из Москвы, где заваривалась очередная смута. Грозил бедами, распадом, оскудением жизни. Они

были обременены производством, добывали деньги, искали материалы, спорили с военными, торговались с заморскими заказчиками. Как огня, боялись политики с её ложью и вероломством.

— Фёдор Фёдорович Чегоданов через меня обращается к вам, — Бекетов, скрывая раздражение, продолжал убеждать. — Чегоданов замыслил рывок, чтобы одолеть стратегическое отставание, когда Россия десятилетиями топталась на месте. Он хочет перепрыгнуть это окаянное время, как ваш танк перепрыгивает овраг. Ему противостоят самодовольные глушцы, жадные стяжатели, прямые агенты врага, которые мешают русскому развитию. Чегоданов после избрания президентом, начнет “революцию развития”. А для этого ему нужны помощники, верные соратники и подвижники. Как Петру нужны были преображенцы и семёновцы. Как Сталину нужен был “орден меченосцев”. Вы — “гвардия развития”. Вы — преображенцы и семёновцы. Вы — “орден меченосцев”. Так отзовитесь же на зов Чегоданова!

На этот зов откликнулся маленький, пухленький специалист по маркетингу. Он ничем не напоминал преображенца, а скорее — лесного бурундучка с чутким носиком и тревожными глазками.

— Гвардия, — это, Андрей Алексеевич, хорошо. Но вы у себя в Москве разберитесь, кто из вас — гвардия Наполеона, а кто — Кутузова. А то и та, и другая гвардия больно друг на друга похожи: обе говорят по-французски.

Бекетов был смущён столь твёрдым противодействием. Эти люди отталкивали его, заслонялись невидимой преградой, видели в нём угрозу своему укладу, достатку, добытым в великих ухищрениях и трудах. Они не чувствовали мучительной судороги, в которой корчилось государство. Не предвидели ужасного будущего. Не понимали своего места среди новой русской смуты, которая неизбежно их поглотит. Ворвётся в корпуса лютыми сквозняками, остановит моторы, оборвёт провода, оглушит криками ненависти и тоски, и в заснеженном, с выбитыми стёклами цеху будет ржаветь остов недостроенного танка.

Бекетов хотел пробиться к их душам, вдохновить, открыть им очи. Рассказать, как великолепны они, каким вековечным и святым делом заняты в этих закопченных цехах.

— Я не убедил вас, не сумел до вас достучаться. Это моя вина. У меня не хватило слов, не хватило примеров. Я уеду разочарованный, как неудачник. Но хочу, чтобы вы поняли, почему я приехал. Почему считаю вас лучшими людьми России, создающими святое оружие. Хотел соединить вас с Чегодановым, понимающим святость русского оружия.

Сидящие за столом посмотрели на него удивлённо. Они услышали необычные слова, которые никогда не звучали на планёрках, производственных совещаниях, заводских собраниях.

— Вы подвижники и герои, простите мой пафос, хотя вы и не подозреваете этого. Среди страшных тягот и разорений вы продолжаете творить свой подвиг: создаете русское оружие. Но ведь русское оружие защищает не только наши очаги и чертоги, не только наши нивы и недра, не только великое русское пространство. Оно защищает заповедную святыню, ради которой наш народ был одарён этим восхитительным пространством, создал свою страну и своё государство. Эта святыня — русская мечта о правде, о красоте и добре, на которых должны стоять страна и государство. На красоте и добре. На правде и справедливости. На Божественной правде, о которой проповедовали пророки и чудотворцы и которая живёт в душе любой старушки из глухой деревеньки. Вы спасали завод, сберегали достояние отцов, заслоняли грудью символ великой Победы, — танк Т-34, стоящий на постаменте. Но вы, быть может, не сознавая этого, отстаивали Божественную правду, которая управляет русской историей, живыми и мёртвыми, детьми и отцами, полевым цветком и звездой небесной. Как бы страшна и кромешна не казалась сегодняшняя жизнь, в ней не меркнет мечта о человеческом братстве, о любви и добре, которые помогли вам выстоять. Вы спасали завод и строили танк, но вы спасали и русскую жизнь и строили русский храм, спроектированный в небесном КБ, по небесным чертежам.

Бекетов видел, как инженеры пугаются его пафосных слов. Им была чужда его богословская проповедь. Слова не достигали их сердец. Их сердца были запечатаны, замурованы. Не доступны светоносным энергиям, которые слетают с небес, превращая тусклых работников в лучистых подвижников, приземлённых ремесленников в просветлённых творцов. Бекетов искал замурованные входы, хотел разобрать завалы, отомкнуть покрытые ржавчиной засовы. Впрыснуть в их сердца лучезарную силу. “Живую воду”, которая орошала русскую землю таинственной животворной росой, побеждала смерть, делала русский народ бессмертным.

— Именно на этот русский храм нацелены силы зла, направлены нашествия и войны. Этот храм, охваченный огнём и пожаром, отбивают у врага русские люди силой оружия. Будь то булатный меч, мосинская винтовка или ваш танк-робот, существующий лишь в чертежах. Старец Филофей, основоположник учения о “Москве — Третьем Риме”, проповедовал, что государство всей своей силой и мощью должно защищать тот райский клад, который вручён русским людям. Ту шкатулку, где хранится чертёж будущего райского храма. Вот поэтому враги хотят сокрушить государство. Опять сеют смуту, выводят на Болотную площадь обезумевшую толпу. Поэтому я к вам и приехал. Спасём Государство Российское! Такое ещё робкое, слабое, наполненное противоречиями и изломами. Но и такое оно страшит вековечных русских врагов. Из России во все века несётся миру укоризна о несправедности этого мира. И эта укоризна вызывает у мира великий гнев. “Русская идея” одним своим существованием сотрясает весь прочий мир. Мир не прощает России эту укоризну, насылает нашествия, взламывает границы могучими армиями, растлеивает изнутри ядовитыми вероучениями. Так было при Стефане Батории. Так было при Наполеоне. Так было при Гитлере. Сегодняшнее государство изуродовано, в стружьях, в кавернах. В нём поселилась несправедливость, стяжательство, ложь. Но в нём, как слабая почка, дремлет идея русской правды. Эта почка дремлет в Чегоданове. Этим он отличается от властолюбца Градобоева и временщика Стоцкого. И эта почка расцветёт, если мы, государственники, будем не лесорубами, а садовниками. Поддержим государство, поддержим Чегоданова. Сбережём “русскую идею”.

Инженеры слушали его угрюмо и молча. Не понимали смысла его появления на заводе. Он не мог им помочь в их судах и спорах. Не мог воздействовать на нерасторопных смежников, которые задерживали поставку прицелов. Не мог защитить от алчной корпорации, отнимающей львиную долю прибыли. Но он не отчаивался. Хотел подключить к каждому из них световод, по которому летят божественные лучи, накрывая Россию невесомым шатром. И каждый, кто подключён к световоду, становится могучим и просветлённым. Совершает великие подвиги. Делает несравненные открытия. Пишет бессмертные книги. Они, эти русские люди, задавленные заботами, изнурённые тяготами, не знали, как они прекрасны, как могуч их дух, какие великие деяния способны они совершать. И он продолжал проповедовать, облучал их суровые лица светом фаворским.

— Россия — мученица райской мечты, страдальца райских заповедей. Под Псковом, на Рижской дороге, стоит Изборская крепость. Гнездовые башен — округлых, прямоугольных. Одни бойницы смотрят и бьют в чистое поле, откуда приближается враг. Другие бойницы смотрят вдоль стен, по которым карабкаются передовые отряды врага. И только одна башня направила свои бойницы внутрь крепости. Когда крепость взята, когда гарнизон защитников перебит, в эту башню отступают последние бойцы, затворяются в ней, стреляют по наводнившему крепость врагу. В этой башне после неравного боя кончаются жизни русских героев и мучеников. Дорога на Псков открыта — иди, завоевывай русский город! Но тут случается чудо Пресвятой Богородицы: Святая Дева является на стенах Пскова и своим лучезарным ликом ввергает врага в смятение, рушит его шатры, обращает в бегство. Изборская крепость напоминает громадный каменный танк, в котором сражался и сгорал героический экипаж Древней Руси.

Бекетов, не получая отклика, чувствовал, как тают его силы. Его энергия иссякала, не одухотворяя их чёрствые души, не пробивая коросту на их

сердцах. В своей немощи он сам припадал к световоду, соединялся с неисчерпаемым океаном русского неба. Из этого неба истекала река русской истории, изливались дивные стихи и вероучения, поднимались, как из купели, бессмертные герои и духовидцы. И Бекетов звал их на помощь.

— Вы создаёте оружие наших дней — ваш замечательный танк. Но ваш танк, оружие Ледовой сечи и Куликовской битвы, Бородина и Сталинграда — это одно и то же оружие, которое передают друг другу многие поколения русских людей. В окайнные годы, после разгрома СССР, это оружие было выбито из русских рук. Его сжигали в Космосе, топили в океане, взрывали в секретных шахтах, умертвляли на остановленных заводах. И сады русского рая стали беззащитными, были отданы на поругание врагам. Россия должна была стать пленницей, подобной тем, которых ливонские рыцари брали в полон. Женщинам привязывали на грудь и на спину грудных детей и гнали бичами. Знали, что измождённая мать не упадёт, чтобы не задавить своих чад...

Бекетов видел, что сидящие перед ним инженеры глухи к его проповеди. Он не нашёл для них слов. Его пафосные речи вызывали в них тайную иронию и раздражение. Световод не достигал их запечатанных душ. Они находились в непроницаемом кононе, были отсечены от чудесных энергий. Забыли связь с великим прошлым, когда одухотворённый народ совершал неповторимые подвиги, создавал необъятное царство, одерживал невиданные победы. Это были погасшие люди, с лицами, закопченными, как стёкла изношенных цехов их завода. Он желал вырвать их из тусклого забвения, напомнить о небесах, куда обращали взоры Пересвет на поле Куликовом, князь Андрей под Аустерлицем, его, Бекетова, дед, погибший под Сталинградом у хутора Бабушкин. Он мысленно поместил их в храм, среди алых лампад, золотых виноградных лоз, плещущих ангельских крыл. Вся божественная красота песнопений, весь пламенный шёпот молитв, вся нежность чудесных слов были обращены на этих сумрачных, усталых людей.

— Но случилось чудо. Выбитый меч Империи не упал на землю. Его успели подхватить ваши руки — руки русских оружейников. Благодаря вашему подвигу русское оружие уцелело. Сохранились научные школы, инженерные сообщества, секретные разработки. И когда-нибудь богомыслящие исследователи истолкуют это спасение как Русское Чудо. Вы сохранили танковое дело, смогли построить лучший в мире танк. Ваш танк — святой, потому что в его броне меч святого князя Александра Невского и кольчуга святого князя Дмитрия Донского. Ваш танк — это алтарь, несущийся сквозь огонь и взрывы. Вы — русские государственники, опора страны. Сегодняшней России не нужны политические реформы, не нужна Болотная площадь. Ей нужны алтари и оборонные заводы. А остальное приложится.

Бекетов умолк. В кабинете стояла тишина. Только было слышно, как звякнула чайная ложечка в руках специалиста по маркетингу, и зашуршал конфетный фантик в руках председателя профкома. Президент Стоцкий насмешливо смотрел со стены, и Бекетов понял, что проиграл. Его проповедь была неуместна. Он выглядел комично, как московский говорун.

В кабинет вошла секретарша. Несла в руках мобильный телефон:

— Танкодром на проводе. Вы просили связать, — она протянула телефон директору.

Директор взял трубку:

— Да. Вас понял. Сейчас узнаю, — он обратился к Бекетову, — Андрей Алексеевич, вы хотели прокатиться на танке. Машина подготовлена. Т-90, как вы говорите, — алтарь на гусеницах. Батюшка и дьякон, то есть командир и механик-водитель — на месте. Хотите помолиться или пойдём обедать? — на его ребристом лице появилась улыбка, насмешливая, как показалось Бекетову.

— Хочу помолиться, — сказал Бекетов.

Его привезли на танкодром, который начинался за воротами завода и терялся в лесах, холмах, ледяных болотах. Там танки, покинув конвейер, проходили испытания. Развивали предельную скорость. Ныряли в болотную топь. Перепрыгивали рвы.

Бекетова встретил молодой сухощавый испытатель с мальчишеским весёлым лицом и шальными глазами. Из-под танкового шлема выглядывал белесый чубчик. Камуфлированная тёплая куртка ловко сидела на гибком теле.

— Придётся переодеться, — сказал он, оглядывая пальто, брюки и туфли Бекетова. — Машина сейчас подойдёт.

Он отвёл Бекетова в небольшое строение, выдал ему ботсы, тёплую пятипалую куртку, такие же штаны, кожаный, с тангентой, шлем.

— Вот теперь вы тоже танкист, — усмехнулся испытатель.

Задрожала, загремела земля, и к строению подкатил танк. Огромный, бугристый, он был окутан синим дымом, тёмный среди сверканья снегов. Из люка выглядывал механик-водитель в шлеме. Пушка смотрела жерлом прямо в лоб Бекетову, и у него закружилась голова от тупой непомерной мощи орудия. “Алтарь... — подумал он отрешенно. — Хочу помолиться...”

— По машинам! — крикнул сквозь грохот испытатель. Помог Бекетову забраться на броню, помог опустить ноги в железную глубину, устроиться в башенном люке. Сам же ловко угнездился в соседнем люке, прижал тангенту к шевелящимся губам. Танк качнулся, взревел, шарахнул Бекетова о железную кромку и пошёл с ровным рокотом, вминаясь в снег. Бекетов схватился за крышку люка, чувствуя ледяную сталь. К его лицу прижали прозрачную подушку из тугого морозного воздуха, глаза наполнились слезами и смотрели на размытое солнце.

“Спаси, Господи, люди Твоя”, — молитвенно подумал Бекетов. Ему было горько. Он не сумел убедить упорных технократов, а только насмешил их неуместной проповедью.

Танк качнул пушкой, вылез на бетонку — прямую белую ленту, окруженную сосняками. Вскрапнул и ринулся, свирепо и мощно, с неистовой силой, превращаясь в летящую гору брони. Бекетов почувствовал, как резанул его блеском воздух, как брызнули солнечно слёзы, как закружилась колючая пыль. Танк рвал гусеницами бетон. Пушка, как громадный палец, указывала вперёд. Танк мчался, хрипя и звеня. Бекетов качался в люке, чувствуя колыханье брони, словно танк вот-вот оторвётся от бетонки и взлетит в бледную синь.

И внезапно большая и странная мысль поразила его. Неужели это он, Бекетов, несётся в танке, ударяясь плечом о броню? Он, которому мама надевала на голову веночек ромашек? Он, который боялся пчелы, залетевшей в оранжевый цветок тыквы? В тот восхитительный майский вечер, когда летали жуки, расцветала сирень, и мама внесла на веранду самовар с душистым дымком, роняющий на поднос угольки... И внезапно вошёл отец, загорелый, прилетевший из дальних стран, и они с мамой кинулись к нему, а он раскрывал узорную жестяную коробку с чёрным хрустящим чаем... Неужели всё это было? Девушка из соседнего дома, с которой они ходили в театр, а потом целовались в случайном дворе, и он впервые касался женской груди, сжимая губами маленький тёплый сосок... И похороны убитых солдат, надрывная медь оркестра, и он шагал по еловым веткам, и видел, как торчит из гроба голубоватый колючий нос... И то упоение, с которым он читал стихи, каждый раз замирая, когда приближалась строфа: “Это “Млечный путь” расцвёл нежданно // садом ослепительных планет...” И тот холодный осенний дождь, падавший на могилу отца и матери, и он держал в руках букет красных роз, не решаясь положить его на землю... И та голубая спальня с зеркалами и тихой музыкой, и приторный запах духов, и женщина с шелковистым телом, и близко от глаз его мерцал в мочке её уха бриллиант... Неужели это он, Бекетов, несётся в танке, пролетая ещё один крохотный отрезок жизни, дарованной ему от рожденья до смерти для какой-то таинственной, неразгаданной цели?..

Эти мысли были размыты, как мелькающие в метели сосны, они породили чувство абсурда, необъяснимости бытия.

Танк соскользянул с бетонки и ухнул в ледяное болото. Чёрный взрыв грязи, обломки льда, гнилая кипящая рывтина. Бекетова швырнуло вверх, и он вцепился в стальную крышку, чтобы не улететь в эту тёмную топь, не сгинуть в гнилых проломах. Грязь хлестнула по лицу, губы глотнули серово-

дородную вонь. Танк переваливался с боку на бок, ломал лед, выдавливал коричневые пузыри, подминал тощие болотные сосны. Бекетов бился о железо, и в нём возникало ожесточение. Он сам был подобен танку, который шёл через болото русской смуты. Увязал в трясине демонстраций и митингов, в придворных интригах и заговорах, в тупости временщиков и подлости предателей. Он один, надрываясь, тащил на буксире неповоротливую машину государства, у которой заглох мотор, сбежал экипаж, ослабел командир. Хрипя, он давил на газ, будил пинками командира. Молил Господа, чтобы выдержал трос. Чтобы танк дотянул до края болота. Чтобы гусеницы схватили твёрдую землю. Чтобы у машины завёлся мотор. Чтобы очнулся командир. Чтобы вернулся разбежавшийся экипаж. И тогда взывает вся могучая армада государства и неустержимо, “гремя огнём, сверкая блеском стали”, устремится в прорыв.

Танк выдрался из болота, отекая липкой жижей. Покатил в снежных холмах, взлетая на сияющие вершины, погружаясь в тенистые овраги. Нависал над кручей, и казалось, сейчас перевернётся и, тяжело грохая, повалится вниз. Бекетов вжимался в люк, чувствуя плечом острую кромку. Танк задира к небу пушку, карабкался, как жук, на отвесный склон. И Бекетов впиался в броню, ожидая, что танк станет заваливаться и упадёт на спину, беспомощно хватая гусеницами небо.

Он отдавал себя в руки Господа. Каялся в совершённых грехах на этом стальном алтаре: грехи всплывали в памяти среди адской гонки.

Друг детства уходил на афганскую войну, его провожал весь дом. Плакали мать и отец, молодая жена клялась в вечной любви. Друг, хмельной, с вещевым мешком, махал из отъезжавшего автобуса. Возвращались тёплой ночью через парк, и жена друга вдруг стала его целовать, повлекла в чашу парка, и на влажной траве он растёгивал непослушное платье, кусал её губы. Вставая, не смотрел на неё, испытывая гадливость и к ней, и к себе.

На даче проходил мимо дождевой бочки, и увидел, как в тёмной воде в мелком трепете бился мотылёк, пытаясь взлететь. Прошёл мимо, не вычерпал мотылька из воды, не сохранил ему жизнь. Возвращаясь обратно, видел, как на водяном чёрном круте безжизненно лежит мотылёк.

Работая с Чегодановым, помогал ему в деликатных делах. Банкротил банки, возвращал государству заводы и прииски, нефтяные компании и морские порты. Молодой банкир, придя к нему на приём, умолял не губить, сохранить его банк, обещал отступные. Бросился на колени, пытался целовать его руки. Бекетов не внял мольбам, отказался ему помогать, и вскоре прочёл в газетах о самоубийстве банкира.

Лукавство и ложь, на которые он шёл теперь, желая помочь Чегоданову. Обман Градобоева, вероломные визиты к Мумакину, Лангустову, Шахесу. И всё — во имя России, во имя Государства Российского, но при этом — тончайшая фальшь, которую не скрыть сусальной позолотой, исклёванной птицами.

Всё это сумбурно припомнил Бекетов среди кувырков и толчков, каждый из которых был “камнем преткновения” — греховным поступком на его жизненном пути.

Танк пошёл вниз, набирая скорость, вонзая пушку в сверканье снегов. Впереди, у подножья холма, разверзлся овраг, тенистый, полный синего снега. Танк мчался к оврагу в свисте ветра, и Бекетов ждал, когда машина ухнет в глубину оврага, и погаснут вместе с солнцем его грехи и раскаяние, его гордыня, и незавершенные замыслы. Вся его странная, сотканная из любви и ненависти, жизнь.

Танк оттолкнулся от земли и полетел невесомо, окружённый солнечной пылью, и вонзился в противоположную кромку оврага. Мягко спланировал и помчался в волнистых снегах.

У песчаного откоса танк застыл на мгновение, а потом стал кружиться на месте, ввинчиваясь в землю, словно закручивал громадную гайку. Бекетов ошалело вращался вместе с ним, крутились холмы, песчаные откосы, далёкий лес, и снова холмы и откосы. Казалось. Бекетов попал в грохочущий вихрь, в чудовищную круговерть времён, где нет ни конца, ни начала,

а только жуткая карусель, из которой ему не спастись. Он перестал думать, перестал сопротивляться ударам, а слепо смотрел полными слёз глазами, чувствуя, как стальная фреза выпиливает под ним землю, и готов был провалиться в преисподнюю.

Внезапно танк замер. Стоял, окутанный испариной. Из люка смотрело на Бекетова молодое лицо испытателя, перечёркнутое длинной болотной брызгой.

— Ну, хватит! — перекикивал он храп мотора. — Пора домой.

Из танка Бекетов вылез разбитый, земля под ним ходила, он продолжал раскачиваться. С трудом переоделся. Комфортабельный джип унёс его с танкодрома в город, к заводскому дворцу культуры. Под колоннами его встретил директор, серьёзно и озабоченно оглядывая, желая убедиться, что гость уцелел после рискованной прогулки.

Дворец был подарком Сталина заводу в благодарность за тысячи победоносных Т-34. Кругом были уральские самоцветы, дорогие породы дерева, венецианское стекло, расписные плафоны. В гостиной накрыли стол, Бекетова ждали знакомые инженеры.

Официант в чёрном смокинге, с галстуком-бабочкой, разлил в хрустальные рюмки водку.

Директор встал, держа рюмку:

— Андрей Алексеевич, пока вы отсутствовали, мы посоветовались, связались с Уральским союзом оборонных предприятий и решили поддержать Фёдора Фёдоровича Чегоданова. С ним мы связываем наше будущее. Предлагаю выпить за его здоровье.

Все поднялись, чокались, роня блестящие капли. Бекетов залпом выпил огненную воду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Новосибирск — могучий кулак, охвативший жилу Транссибирской дороги, клокочущую вену Оби, пучки магистралей, ведущих к ледовым морям. Железные мосты выстреливают на восток и на запад составы с пляшущими иероглифами, с клеймами немецких заводов. Стальные трубы, переполненные нефтью и газом, дрожат, как гремящие струны, схваченные пятерней, которой уловлен громогласный аккорд Сибири. Так рвут постромки и хотят разбежаться кони гигантской квадриги, и наездник стягивает их воедино, наматывая на запястье ремни.

Бекетов чувствовал город, как сгусток непомерных энергий, скопление огней и металлов, фокус лучей, озаряющих русское будущее. Как наковальню, где в звонах выковывается образ грядущей России.

Он приехал на Авиационный завод имени Чкалова — гнездо, из которого в годы войны вылетали тысячи боевых самолётов, цвет и красота сталинской “цивилизации неба”. Сюда — звать сибирские полки на защиту Москвы — и явился Бекетов.

Директор завода имел круглое, с узкими глазами лицо, в котором русское тесто входило на якутской закваске. Он вёл Бекетова по цехам, где стояли станки, напоминавшие хрустальные буфеты, в которых мерцали волшебные сосуды, драгоценные сервизы. Рабочие в комбинезонах, не касаясь станков, приближали глаза к приборам. Директор показывал своё богатство, как коллекционер демонстрирует шедевры, составляющие славу коллекции. Станки из Японии, Германии, Франции явились на завод после страшного разгрома, учинённого на военном производстве в минувшие годы. И там, где недавно зияли чёрные дыры обугленных цехов с обломками недостроенных фюзеляжей, теперь сияло лучистое, уходящее вдаль пространство, где, в переливах света, на ступенях дышали самолёты.

Несравненный фронтальной бомбардировщик Су-34. Ещё не покрыт боевой сизо-стальной расцветкой. Зеленовато-лимонный, в отточенных кромках, заострённый, пластичный, созвучный воздушным струям, бурлящим вихрям. В нём лёгкость и плавность дельфина, заострённость дробника, упругая мощь,

которая превращает машину в гремящую молнию, пронесит над полем боя, оставляя груды горячей брони. В этих формах, прекрасных и грозных, пугающих и ласкающих глаз, чувствуется гигантская воля. Пилотов, ведущих машину в грохочущем небе. Рабочих, сотворивших самолёт из ломтей титана. Конструкторов, воплотивших в прозрачном замысле идею воздушного боя. Стратегов, устремлённых в сраженья ещё не начатых войн. Воля всего измученного, растоптанного народа, одолевающего своё поражение, устремлённого к долгожданной победе. Воля, преодолевающая русскую смерть, продлевающая русскую жизнь.

Их три штурмовика, стоящих на стапелях, окружённых металлическим звоном и шелестом. На них подвешивают скорострельные пушки, прицелы для бомб и ракет. Ставят компьютеры, управляющие скоротечным воздушным боем. Машина, уклоняясь от попаданий противника, защищённая облаком электронных помех, пронесётся сквозь ядерный взрыв, сбивает истребитель врага, вонзает ракету в подземный бункер. Прозрачной тенью уходит в пустое небо.

Так чувствовал Бекетов это волшебное творчество, трогая ладонью крыло, и самолёт едва ощутимым трепетом откликнулся на нежное прикосновение.

Директор заметил это взволнованное касание:

— Этот самолёт завтра совершит свой первый полёт. Для нас это праздник. Мы собираем коллектив, зовём ветеранов. Батюшка освятит машину, окропит её святой водой. Самолёт сделает круг над заводом и вернётся в цех. Его покрасят в боевую расцветку, нарисуют звезду и отправят в полк для несения службы, — директор любовно осмотрел самолёт, который нетерпеливо ожидал свидания с небом. — И ещё, Андрей Алексеевич, сегодня вечером состоится собрание патриотов, которые хотели бы поддержать Чегоданова. Там есть всякие: и “красные”, и “белые”. Монархисты, которые молятся царю-мученику, и сталинисты, которые молятся на красную звезду. Будут споры и ссоры. Приглашаю вас, может, вы выступите? Расскажите, как на это смотрит Москва?

Осмотрев завод, Бекетов и директор уединились в кабинете, и Бекетов заметил, что над директорским столом висит портрет Чегоданова, а не президента Стоцкого. Бекетов рассказал директору о политических событиях в Москве, о протестных демонстрациях, об угрозе, нависшей над государством. Просил поддержать Чегоданова в канун президентских выборов. Директор обратил к Бекетову своё луновидное лицо, которое подарили ему славянские и якутские предки, и спросил:

— А почему бы не выкатить на Болотную площадь пулемёты и не косить эту мразь рядами? Та-та-та-та! Ряд за рядом! Чтобы бежали, как крысы. А потом эту липкую жижу хлоркой посыпать и смыть водомётами! Чтобы инфекции не осталось! Государство должно себя защищать! — его скулы играли, губы издавали звук неистой дудки. Бекетов был поражён этой внезапной яростью, не свойственной благоразумным руководителям и технократам. Объяснял, почему невозможен расстрел демонстрантов.

— Ладно, — мотнул головой директор. Было видно, что ответ его не устроил. И вопрос, который он задал, видно, заслуживает другого ответа. — И почему вокруг Чегоданова шныряет вся эта сволочь? Почему он власть передал Стоцкому, а теперь назад её отбирает? Почему он эту сволочь болотную к себе приглашает? Почему я должен на это смотреть и не плевать при этом? — в узких тёмных глазах директора горел злой монголоидный огонь, а славянский рот растягивался в вольчую улыбку.

Бекетов чувствовал взрывную энергию, скопившуюся в страстной душе, опровергавшую утверждение об усталости русского человека, о его унылом смирении. Бекетов осторожно объяснил директору сложность отношений Стоцкого и Чегоданова, который не свободен, связан путами с либералами, и ему трудно от них избавиться.

— Ладно, — директор мотнул головой, как бык, перебрасывая через себя негодный ответ Бекетова. — Тогда скажите, почему Чегоданов не придумает эту моль, которая весь его пиджак источила? Почему не приблизит к себе производственников, которые понимают, что есть государство, и служат этому государству, хотя оно, это самое государство, их лупит да лупит!

Не Бекетов обращал директора в свою веру, а директор упрекал Бекетова в недостатке государственной воли.

— Почему, спрашиваю вас, Москва думает, что она всех умней, а в провинции живут дураки? Москва дурней всех, от неё вся зараза. Она с жиру бесится, ничего не производит, последний кусок у всей России изо рта вынимает. Сибирь и Урал без Москвы проживут, а она без нас — едва ли. Если так и дальше будет, мы Новосибирск столицей России сделаем. А Москва пусть митингует, на сколько её хватит — посмотрим!

Директор всаживал в Бекетова свои вопросы, как пули, и Бекетов не знал, сколько ещё этих пуль у него в магазине. Он перестал отвечать, убедившись, что не ответы интересуют директора, а только сама возможность бить прицельно в близкий лоб собеседника.

— Ладно, а почему Чегоданов не скажет народу, что война на носу? У Китая армия готова к войне. У Турции — готова. У Ирана — готова. У НАТО — готова. Только у России нет армии, нет оружия, нет обороны. Министр — то ли вор, то ли пацифист. Пудрит мозги народу. Миру — мир! А когда нас, как Ливию, будут бомбить, куда побежим? На Болотную?

Бекетов выдерживал эти “вопросы в лоб”. Директор, упрекая Бекетова, упрекал Чегоданова, упрекал государство. Не в бессердечии и бесчувствии, не в свирепости и бездушии, не в глухом равнодушии к стону “маленького человека”. Он упрекал государство в слабости, в дурном раздвоении, в отсутствии воли, в забвении грозных заповедей, которые исповедовали бывшие цари и вожди, сберегая страну среди мятежей и нашествий. Директор боялся, что оскудение государственной воли даст выход смутным и яростным силам, которые вновь, как было недавно, ворвутся в цеха, сметут дорогие станки, рассекут на куски недостроенные самолёты, не позволят подняться в небо чудесной машине. И снова в цехах загуляет метель, и на рухнувших ступенях повиснет мятвый обломок крыла. Бекетов был благодарен директору за эти злые упреки, за фиолетовый гнев в его монголоидных глазах.

— Ладно, — продолжал директор. — А почему Чегоданов не выйдет к народу и не скажет: “Братья и сестры, спасайте страну!”? Народ его услышит. Простит грехи, подтянет пояса, пойдёт спасать государство. Наш народ — государственный, а не торговец, не лавочник. Пусть даст народу задание: построить страну, какой ещё не бывало. Без воров, без насильников, без крючконосых банкиров, которые жрут русскую душу и тело. Пусть даст чертёж государства, а мы, инженеры, построим ему любой звездолёт, который взметнёт Россию в Космос. Наш народ — не банкир, не адвокатишка. Народ — лётчик, народ — космонавт!

Бекетов любил это яростное лицо, в котором играли все краски русской Евразии. Текли все реки, дули все ветры, голосили все языки. В этом лице не было усталости и уныния, а только ненасытная жажда жить, строить города и заводы, пускать в небеса самолёты. Бекетов, утомлённый в своих непосильных трудах, одинокий в своих радениях, оживал в соседстве с этим неутомимым творцом. Его лицо было круглой чашей, в которой *плескалась живая вода*.

— Я вам скажу, почему мы на заводе поддержим Чегоданова, хотя ему далеко до настоящего лидера. Вы видели наш самолёт? Видели, какой он красавец? А ведь его могло и не быть, если бы ни Чегоданов. Когда мы воевали с грузинами, и этот придурок, который жует свои галстуки, кинул танки на наших миротворцев в Цхинвале, наши самолёты плохо себя показали. Войска шли без воздушного прикрытия, потому что все наши машины устарели — летающие мишени для грузинских ракет. А грузин вооружали американцы, у них было оружие НАТО. И это оружие молотило наши самолёты, мы их потеряли добрый десяток, а результат — никакой. Американцы хотели перебросить на грузинские аэродромы свои самолёты, и тогда бы уже была другая война. Что делать? Посылать на штурмовые удары всю оставшуюся авиацию? Вспомни, что на полигоне уже несколько лет мусолят две наши машины СУ-34. На вооружение не принимают, испытания затягивают. Но эти машины обладают всеми современными средствами радиоэлектронной борьбы, всеми средствами подавления ПВО противника. Выбирать не при-

ходилось, да и не из чего было. Кинули эти две машины на фронт вместе с лётчиками-испытателями и нашими заводскими инженерами. Подняли они “сушки” в небо, два раза прошли от Цхинвала до Тбилиси и обратно. Смести всю систему грузинской ПВО, подавили ракетами все радары, разбомбили взлётно-посадочную полосу под Тбилиси так, что ни один американский самолёт не сядет. Разгромили авиаремонтные мастерские и попутно сожгли несколько танковых колонн. Вернулись невредимыми — ни одной царапины. И войне конец. После войны, как водится, о наших самолётах забыли. Опять тягомотина, опять министерская дурь. Приказ — ремонтировать старые самолёты, латать старые портки. Так бы оно и тянулось, если бы Чегоданов своей волей ни согнул дураков в министерстве. Наш завод получил заказ на сто боевых машин. Поэтому мы и живём. Насыщаем полки новой техникой. Завтра ещё одну нашу птичку из гнезда выпускаем, — на лице директора больше не было гнева, а светилась тихая нежность. — Я вот что думаю, Андрей Алексеевич. Когда нам грузины накостыляли, мы очнулись, разгромили их, и теперь запускаем лучший в мире фронтовой бомбардировщик. Когда Градобоев накостыляет Чегоданову на Болотной площади, тот очнётся, разгромит Градобоева и запустит звездолёт Государства. Иначе не может быть.

Накормив Бекетова обедом, директор повёл его в Дом культуры, где собрались представители общественности, члены объединений и партий, чтобы обсудить платформу, на которой сойдутся патриоты всех направлений, забудут на время свои распри и единым фронтом поддержат на выборах Чегоданова.

В зале с поблекшей лепниной, обветшалыми креслами, бронзовыми бра и огромной, с желтоватыми хрустальными люстрой былолюдно. Бекетова директор усадил за столом, на сцене, рядом с собой. Бекетов разглядывал пёстрое собрание, среди которого виднелись казаки в крестах и погонах, старики-ветераны с советскими наградами, несколько отставных генералов в советской форме, бородатые священники с крестами на серебряных цепях. Директор шёпотом сказал, что в зале есть академики, писатели, журналисты, а также завсегда такие подобных собраний, состарившиеся среди бесконечных, длящихся двадцать лет митингов и демонстраций.

— Дорогие сограждане, — произнёс в микрофон директор. — Нам сейчас предстоит обсудить, с какими идеями и предложениями мы пойдём на президентские выборы и что пожелаем нашему кандидату Фёдору Фёдоровичу Чегоданову, чтобы он непременно победил на выборах.

Директор поведал о заслугах Чегоданова перед Россией в его первые президентские сроки. Осторожно порассуждал о трудностях нынешнего политического периода. Повторил известную Бекетову историю о СУ-34 и о роли в этой истории Чегоданова. И предложил собранию присылать записки и высказываться.

Первым вышел на сцену господин с седоватыми бакенбардами и пышными усами. На его груди красовалась лучистая звезда, напоминавшая орден царских вельмож. И он сам своей величавой осанкой и благородным лицом был похож на императора Александра Второго.

— Господа, мы, разумеется, поддержим Фёдора Фёдоровича Чегоданова, но прежде чем создавать единый народный фронт, я бы желал понять, с кем я образую этот самый единый фронт. Пускай в него входят коммунисты, но пусть они отрекутся от Ленина. Мы, монархисты, не можем сотрудничать с теми, кто возвеличивает цареубийцу, восхваляет богохульника и святотатца, который приказал вешать священников, нанёс страшный удар нашей матери — Православной Церкви, а значит — и всей России. Недаром Господь наслал на Россию Гитлера, чтобы покарать народ за богоотступничество. И по сей день гнев Господа на нас. Отрекитесь от своего кровавого вождя, господа коммунисты, и я подам вам руку! — он эффектно показал залу свою белую большую ладонь, сверкнул лучистой звездой и сошёл в зал.

На сцену поднялся худощавый человек с утомлённым, пепельного цвета лицом. Мучительно улыбаясь, он обратился в зал — туда, где мерцала звезда предыдущего оратора:

— Я историк, а не богослов. Но позволю себе заметить моему коллеге, что удар большевиков по церкви можно рассматривать как кару Господа за

прегрешения этой самой *матушки-церкви*. Потому что к началу двадцатого века церковь потеряла огонь веры, стала сытой, тучной, равнодушной к народным бедам. Вспомните картину: “Чаепитие в Мытищах” или “Крестный ход в Курской губернии”. Народ отвернулся от Церкви, без всякого сожаления закрывал храмы и сбрасывал колокола. И если следовать логике моего коллеги, то именно большевики вернули Церкви её пламенную роль. Каждый убитый священник стал Святomучеником, и сонм новомучеников вымолил у Бога победу над Гитлером, — он сходил со сцены под ропот одних и аплодисменты других.

Слово взял священник, в облачении, с золотым крестом. У него была рыжая огненная борода, нежно-розовое лицо и бледные голубые глаза. Пока поднимался на сцену, он крестился и что-то шептал, шевеля губами в дорожной бороде:

— Братья и сестры, должен заметить, что убийство царя не было выражением социального протеста и, уж конечно, не может быть истолковано как проявление гнева Господня по отношению к Государю Императору. Это было ритуальное убийство, совершённое глубинными врагами Православия, которыми кишело сообщество большевиков. Поэтому мы и хотим, чтобы коммунисты покалялись в совершённом царубийстве, осудили палачей, согласились с переименованием улиц, носящих имена палачей, и приняли участие во всенародном покаянии.

Его сменил молодой человек, который, сидя в первом ряду, записывал речи выступавших на диктофон. Он торопливо засовывал этот диктофон в карман куртки, когда шёл на сцену:

— Я отвергаю обвинения в убийстве царя! Вернее, не отвергаю, но хочу справедливости! Хотя бы поровну! Царя предали иерархи Церкви, когда он просился стать Патриархом. Не приняли, и отдали на растерзание. Предали члены царского дома — присягнули Временному правительству, ходили на митинги с красными бантами. Предали генералы, которые чуть ли не силой вырвали у царя отречение. Покайтесь вы, батюшка, а потом и мы вслед за вами! А то с больной головы на здоровую! — И он сбежал со сцены, задыхаясь, продолжая что-то бормотать на ходу.

Бекетов жадно слушал, чувствуя, как остро люди переживают события столетней давности. Как кровоточит рана, разрубившая русское время. Как этот разящий удар переносится из поколения в поколение, ссорит, продлевает бесконечную распрю, не даёт народу обрести единство и целостность. И если ссыпать в общую могилу “красные” и “белые” кости, схоронить под крестом добровольцев Деникина и конников Будённого, то эти кости и в могиле будут рубиться шашками, и земля под крестом станет шевелиться и пучиться.

Выступал казак с лампасами, в португее, с серебряными погонами, весь в крестах. У него было красное лицо, голубые глаза и лихие усы, которые он энергично топорилил:

— А я согласен, когда говорят, что Ленин — предатель. А кто же он, если жировал в Швейцарии на германские деньги! Он, ваш Ленин, прикатил в Россию в немецком вагоне, разложил воюющую русскую армию, которая начала уже одерживать блистательные победы, и отдал Германии пол-России. Предатель, “красная гадина”! — Казак гневно топнул ногой, выкатив грудь с крестами, и пошёл в зал, и казаки из зала кричали ему: “Любо”!

Его место занял отставной полковник в советской форме, в блеклых золотых погонах, с орденскими колодками. У него была седая бородка, которая скрывала шрам на подбородке. Его руки, когда он говорил, мелко дрожали:

— Во-первых, господин казак, армию разложили не большевики, а эсеры или, как их сегодня называют, либералы. Они требовали выбирать командиров. Её разложили вороватые интенданты, которые поставляли на фронт сапоги с картонными подошвами, тухлое продовольствие и негорящий порох. Её разложили бездарные царские генералы, которые не сумели организовать ни одного наступления. И сам царь, который отменял наступления по указке Гришки Распутина. А большевики создали боеспособную Красную

армию, которая разгромила “белых” и Антанту. Создали оборонные заводы, которые переломили хребет Гитлеру. Если бы, господин казак, Красной Армии командовали царские генералы, мы бы сейчас говорили по-немецки.

Одна половина зала хлопала, другая — улюлюкала. Директор, ведущий собрание, вынужден был успокаивать зал:

— Товарищи, тише! Господа, я вас очень прошу!

На сцену взбежал взволнованный юноша с маленьким двуглавым орлом на груди:

— Какая армия! Какая победоносная! Сталин проиграл войну, когда миллионы солдат сдавались в плен, не желая воевать за большевиков! И только позже, когда народ понял, что решается судьба России, он начал по-настоящему воевать. Войну выиграли не комиссары, не Сталин, а русский народ, который ещё помнил святую Русь, — это был крещённый народ!

На него затопали, засвистели. Другие кричали: “Любо!”, “Браво!”. Кто-то встал и пошёл из зала. Его останавливали, сажали на место. Раздавались крики: “Иуды!”, “Сами вы иуды”, “Надоели попы!”, “Красножопые недобитки!”

Бекетову казалось, что одна часть зала схватится с другой врукопашную. И снова поведут на речные откосы пленных красноармейцев в нижнем белье и станут стрелять им в затылок. И вновь в золотые погоны пленных офицеров озверелые матросы станут вбивать гвозди. И закружит, завоюет, засверкает саблями, застрочит тачанками незавершённая гражданская война, и брат пойдёт с топором на брата.

Когда шум поутих, и лишь качались беспокойные головы, топорщились казачьи усы и пестрели орденские колодки, на сцену поднялся тяжёлый седовласый старик, величавым видом и надменным подбородком похожий на камергера:

— Господа, оставьте свои сталинские заблуждения. Сталин ненавидел русский народ. Он зверски извёл крестьянство — цвет русского народа. Он произнёс в Георгиевском зале тост за русский народ, а потом, в узком кругу своих Кагановичей и Микоянов, сказал: “Пусть собаки жрут свою блевотину!” Сталин такой же русофоб, как и Ленин!

Все взорвалось. Свистели, аплодировали. Всакивали на кресла. Кричали: “Врёте!”, “Провокатор!”. Их перекрикивали другие: “Палачи!”, “Людоеды!”. Директор что-то беспомощно гудел в микрофон. Бекетов чувствовал, как выплёскиваются из зала фиолетовые языки ненависти, и хрустальная люстра темнела, как во время затмения. В этом зале над головами неистовых людей витали тени застреленных жертв и обласканных властью счастливых. Замученных поэтов и достигших величия полководцев. Павших в боях и бежавших к врагу. Летевших в Космос и писавших подпольные книги. Эти тени сшибались, продолжали чудовищную, длящуюся бесконечно распри. Раскулаченные и приближённые к трону. Почившие в безмянных могилах и отлитые в бронзе. Проклинающие и обожающие.

Бекетов чувствовал кошмар русской истории, взрыв, разорвавший русское время, турбулентные вихри, терзающие русскую душу. Эти вихри швыряли из стороны в сторону самолёт русского государства, направляли его к земле, обрекали на крушение. И чувствуя, как трещат и гнутся крылья, проваливаются рули, захлёбывается двигатель, испытывая великую тоску, Бекетов вырвал микрофон из дрожащих рук директора. Надсадно, с металлическим свистом и рыком, выдохнул в зал:

— Разве мы не русские люди? Разве мало пролито русской крови? Неужели вновь станем веселить и радовать врага, который ликует, наблюдая вековую русскую ссору? Быть может, очнёмся у последней черты, перед тем как пасть русскому государству? Обернёмся все, “красные”, “белые”, лицом к врагу, который добывает Россию? Русские мы или нет?

Всё это с хрипом, с металлическим стоном прокричал Бекетов, и зал умолк, услышав его истонный вопль. Директор завладел микрофоном:

— А сейчас слово предоставляется нашему московскому гостю, известному нам Андрею Александровичу Бекетову! — и директор вернул Бекетову микрофон.

Бекетов, исполненный тоски и страдания, яростного несогласия и страстного порыва, дунул в микрофон, как дуют в трубу, скликаая на бой растерзанное войско:

— Я не “белый”, не “красный”! Но я и “белый”, и “красный”! Потому что я русский! Во мне бушует эта “красно-белая” схватка, во мне лязгают сабли и строчат пулемёты. Мои предки уплывали из Крыма с последним пароходом. Мои предки сражались под Сталинградом и ломали хребет фашистам. Мы должны совершить непомерное усилие, громадный духовный подвиг, чтобы в каждом из нас случилось историческое примирение, мистическое братание, и наша рассечённая душа, наша взломанная история обрели единство и целостность. Смогли в своей целостности и полноте служить России!..

Он торопился, хотел успеть до того, как люди поднимутся, хлопая креслами, шаркая ногами, злобно выкрикивая, и покинут зал. Видел, как недовольно морщатся лица, отворачиваются головы, топорщатся фыркающие губы. Он их удерживал на местах своей волей и страстью, молитвенными упованиями и колдовскими заклинаниями. Он стягивал кровоточащие кромки враждующих эпох, вставал между двух беспощадных армий, и в него вонзались пули, врбались клинки, а он стоял, изнемогая. Взывал к миру.

— Владыка Иоанн Снычев, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, великий православный подвижник, обращаясь к националистам и коммунистам, благословил их искать примирение. Сказал: “Мы русские, и да возлюбим друг друга!” Другой молитвенник, старец Троице-Сергиевой лавры иеромонах Филадельф, незадолго до трагического расстрела парламента принимал у себя в келье представителей и “белых”, и “красных”. Благословил их на совместные деяния во имя Родины, над которой витали либеральные нетопыри. Удивительный священник, блаженный и просветлённый отец Дмитрий Дудко, много потерпевший от советской власти, говорил: “Сталинские герои Зоя Космодемьянская и Александр Матросов, Виктор Талалихин и двадцать восемь гвардейцев панфиловцев, “Молодая гвардия” и генерал Карбышев — всё это святомуученики. Они крестились кровью, пролитой во имя Родины, их лики будут написаны на иконах и на стенах храмов”. Прислушаемся к духовному опыту этих отцов. Прислушаемся к голосу нашей измученной русской души, требующей великого примирения! ...

Он чувствовал, что в зале царит угрюмое напряжение. Ему не доверяли, его отвергали. Были непонятны его патетические призывы, его мучительные возгласы. А он был тонким перешейком, стягивающим континенты, которые расплзались. Был князем, которого привязали к двум согнутым соснам. Был телефонистом, сжимающим в зубах рассечённый провод.

— Световод русской истории разорван. Между царством Романовых и империей Сталина — разрыв, из которого хлещет, утекает историческая энергия, и лишь малая её доля достигает наших дней, где чахнет росток нового Государства Российского. Остаётся без волшебной влаги, которая впивает этот росток, наращивает его листья и крону. Враг, разрушивший “белое” царство Романовых, и “красную” империю Сталина, ликует. Вбивает клин в место разрыва. Не позволяет срастить время русской истории, и мы остаёмся надорванным народом. Но мы соединим разорванный световод. Найдём стык, где русские патриоты, заварят шов, прекратят бессмысленную трату драгоценных энергий!

Бекетов чувствовал тщету увещаний. Всю безнадёжность усилий, не способных укротить свирепые вихри истории, одолеть ужасающий раскол, куда провалилась русская жизнь. Одиночка, он пытался управлять историей, выпрямить земную ось, заполнить своей немощной плотью жуткий провал, стянуть своей слабой волей обезумевшие осколки вселенной. Зал молча слушал. Не было ропота и насмешек. Казалось, люди окаменели, и в каждом застыли сомнения, упрямое несогласие, непрощённые обиды. Бекетов направлял в окаменелый зал огненный луч, исходящий из сердца, стремился расплавить камни.

— Где тот загадочный стык, на котором таинственный сварщик заварит свой “золотой” шов? Царь-мученик Николай Второй, последний император

“белой” империи. И Иосиф Сталин — первый император “красной империи”. Один передал другому заветную лампаду, в которой не умер благодатный огонь пасхального воскресения. Царь был оставлен всеми, даже самыми близкими, даже Церковью и членами царского рода, и взшёл на свою Голгофу. Сталин убил палачей царя. Собрал воедино империю. Вернул в культуру Пушкина — величайшего имперского гения. Восстановил алтари. Одержал мистическую Победу, которая была религиозным торжеством светоносных сил мироздания, победой над космической тьмой. Этой мистической победой Сталин соединился с небесами, стал помазанником. Был коронован силой небесной!..

Бекетову казалось, что его усилия не напрасны. Он соединил волшебный световод русской истории, срстил разорванный стебель русского времени.

— Были страшные гонения на Церковь, убийства священников, торжествующее богохульство, проповедь безбожия. И это позволяет называть “красный век” веком богоотверженных. Но так ли? Война и Победа опровергают это. С первых же дней Отечественная война стала называться “священной войной”. А Победа, которую сегодняшняя наша Церковь празднует как религиозный праздник, — Победа тоже “священная”. Войска, которые добились священной Победы, — взводы, роты и батальоны, полки, дивизии, армии, — они тоже “священные”. Командиры полков и батальонов, дивизий и армий окружены ореолом святости. Верховный главнокомандующий, генералиссимус, который вёл армию к Победе, тоже окружён нимбом святости. 30 миллионов погибших на этой войне — это святая жертва, соизмеримая с жертвой Христовой. Потому что народ сражался не просто за свои очаги и нивы, не только за свою ненаглядную Родину. Он сражался с космической тьмой, которая стремилась отвергнуть космический Свет, перечеркнуть план, по которому Господь сотворил Мироздание. Так было и во времена Христа. В те времена, чтобы одолеть эту космическую тьму, Господь принёс великую жертву: отдал на распятие Своего Сына. Теперь же потребовались жизни тридцати миллионов советских, в том числе и русских людей, которые пали на войне, спасая мир от тьмы.

Его слушали: не кричали “Любо”, не проклинали, не аплодировали. Но не было в зале каменных истуканов. Луч, исходящий из сердца, согрел, осветил людей. В лицах исчезло ожесточение, улетучилась ненависть. И Бекетов, ощутив усталость, истратив в этой проповеди весь запас душевных сил, уже не в микрофон, уже без железного рокота, произнёс:

— Союз “красных” и “белых” был скреплён кровью Святомучеников Священной войны. Это и есть огненный стык, в котором соединился разорванный световод русской истории. Наши нынешние распри умолкают, когда просветлённым молитвенным взором мы видим золотую икону Великой Победы. Мы — её дети и внуки.

Ему негромко хлопали, кивали головами. Директор обратился в зал с просьбой не расходиться, ибо предстояло выступление хора местной филармонии.

Многоплодный хор вышел на сцену, мужчины — в чёрном, в белых ма尼шках, в галстуках-бабочках. Женщины — в длинных малиновых юбках, белых блузках. Встали стеной: женщины — впереди, мужчины — сзади. Когда успокоился ропот в зале, и высокая люстра осветила притихшие лица, хор запел. Слово из заречных лугов, из вечерних малиновых вод, нежно и тихо донеслось: “Вечерний звон, вечерний звон, // как много дум наводит он...” Эти возвышенные и печальные звуки сладко коснулись душ, в которых тут же смолкли гневные страсти, неутолённые боли, не отпущенные вины. Слово ангел полетел над вечерними холмами, притихшими нивами, далёкими посадками с золотой колокольни. И ты идёшь по дороге, окружённый этой мирной благодатью, и чья-то оброненная красная ленточка лежит в пыли. Тебе кажется, что ты уже шёл однажды по этой дороге в какой-то родной, милый сердцу город, где на открытой веранде ждут тебя любимые люди. Дым самовара, вазочка с черничным вареньем, та самая, что стояла в бабушкином старом буфете. И все обратили глаза на дорогу, по которой приближается к ним ненаглядный гость. И летят из лугов звуки далёкого колокола...

Хор умолк, и несколько мгновений зал зачарованно молчал, объятый сладкой печалью. А потом наградил певцов жаркими овациями.

Улеглось волнение. В тишине было слышно, как нащупывает первую ноту хор. А потом зарокотали басы, в них влились чудесные женские голоса. Возвышаясь над всеми звуками, волшебнно чистый, дивно пленительный голос запел: “Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. // Пусть солдаты немного поспят”. Мучительная сладость, и женственность, и бесконечная нежность тронули сердца, которые откликнулись обожанием на эту мольбу, упование на чудо, на избавление от мук. Летел над весенними рощами, лесными прудами, цветущей черемухой бесшумный ангел, ронял с неба чистейший звук. И ты снова идешь всё по той же вечерней дороге, в запелном мешке гремит походная кружка. Ты замер у края леса, где в сумерках белеют берёзы. Слушаешь вещую птицу, которая воспеваает эту дивную землю. Такое счастье — родиться на этой земле и сойти в неё, совершив завещанный путь.

Зал, умиленный, благодарный, аплодировал. Бекетов изумлялся этим русским песнопениям, которые льются из века в век. Неподвластные бедам и войнам, одухотворяют сердца, берегают в них великую нежность, упование на чудо, на избавление от смерти.

Хор подождал, пока смолкнут аплодисменты. Дрогнув, колыхнулся, как лес под порывом ветра и, распрямляясь, исполненный глубинной силы и свежести, запел “Прощание славянки”. Зал восторженно ожил, потянулся навстречу певцам. Могуче, громогласно хор воззвал: “Встань за веру, русская земля”. Зал приподнялся — все, как один. Стоя, воодушевленно, блестя глазами, люди вторили хору, готовые идти на зов, на священный бой за любимую, ненаглядную Родину.

Бекетов стоял, слыша, как ликует сердце, сколько в нём веры, любви. Как неразрывно связан он с этими незнакомыми, но родными людьми. С рыжебородым священником. С болезненным седовласым историком. С ветераном-орденоносцем. С усатым казаком. И когда умолк православный марш, и зал неохотно усаживался, в воздухе всё сияли отблески удалявшихся штыков, золотое шитьё знамён, слышался колёсный стук батарей.

Хор молчал, провожая отлетающий звук. И в этой таинственной тишине что-то вновь приближалось, бурно налетало, ошеломляло своей неистовой силой. “Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой, // идём на смертный бой за честь родной страны”. И как ослепительный свет, как ликующий порыв, как радостное преображение: “Артиллеристы, Сталин дал приказ. // Артиллеристы, зовёт Отчизна нас. // Из сотен тысяч батарей // за слёзы наших матерей, // за нашу Родину — огонь, огонь!” Все встали в едином порыве, все пели в счастливом упоении. Все верили, что близок конец унижениям, грядёт очистительное возмездие за все муки и поношения, что народ неодолим и бессмертен, ибо у него есть божественное предначертание, есть великая судьба и Победа.

Бекетов пел вместе со всеми. Встречался глазами с монархистом, который радостно открывал поющий рот. С казаком, который молодецки подкручивал ус. С рыжебородым священником, чей рокошующий бас катался над рядами, как гром.

Покидая зал, Бекетов думал, что проповедь его не напрасна, что бриллиант победной Звезды никогда не померкнет, что это и есть немеркнущий бриллиант Государства Российского.

Наутро он вновь пришёл на завод. Штурмовик, освобождённый от стрелянок, стоял перед закрытыми воротами цеха. Остроносый, пластичный, золотистый, он был окружён сиянием, беззвучно трепетал, стремился на волю, в небо. У самолёта собрались рабочие в касках, ветераны с орденскими колодками. Знакомый рыжебородый священник читал молебен, брызгал святой водой на фюзеляж, стреловидные крылья, на кабину, на скорострельные пушки. Директор произнёс напутственную речь.

Медленно растворились ворота. Пахнуло морозом, сверкнули снега, брызнула синева. Тягач вывел самолёт из цеха под солнце, и все шли следом, провожая машину.

Зазвенело, пахнуло жаром, за хвостом затрепетал стеклянный воздух. Машина, качая закрылками, покатила. Удалилась на край поля, и оттуда раздался рёв, могучий грохот и свист. Бомбардировщик пробежал и взлетел, исчезая в небе, накрывая снега шатром прозрачного звука. Невидимый, летел он над Сибирью, и люди прижимали ко лбу ладони, искали его в голубой бесконечности.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Из Новосибирска Бекетов полетел в Волгоград, где его ждали встречи с директорами оборонных заводов. Он хотел заручиться поддержкой технократов на предстоящих президентских выборах. Но помимо этой очевидной политической цели была и другая, потаённая, личная. Под Сталинградом в сорок третьем году, в ночь на Рождество погиб его дед, тридцати трёх лет отроду. Всю свою жизнь, с самой юности, Бекетов собирался отправиться в заволжскую степь, к хутору Бабуркин, где смыкалось кольцо Сталинградского и Донского фронтов, и армия Паулюса, выдираясь из мешка, шла на прорыв. Размыкала смертельный обруч. А её вновь заталкивали в стальной мешок. Посылали в бой штрафные батальоны. В одном из них сражался и погиб дед. И теперь он собирался исполнить обет: отыскать этот хутор Бабуркин, взять горсть земли, в которой присутствовал предсмертный вздох деда. Отвезти эту горсть на могилу бабушки, которая семьдесят лет прожила вдовой, ожидая неисполнимой слёзной мечты — чудесной встречи.

Он прилетел в Волгоград в морозный солнечный день и отправился на заводы. На одном наблюдал, как из громадного стального слитка вытачивают корпус атомного реактора для новой подводной лодки. С могучим неторопливым упорством вращался карусельный станок, срезая белую стружку. И в этом кружении рождался образ подводной громады, бесшумно рассекающей океанские толщи.

На другом заводе ему показали тяжеловесные машины, начинённые электроникой, управляющие полётом ракет. Эти стремительные ракеты полетят навстречу баллистическим ракетам противника, перехватят их высоко над землей и взорвут. И на землю осыплются растерзанные лохмотья.

Бекетов говорил с инженерами, убеждал, вовлекал в свой замысел. Одолевал их недоверие, осторожное сопротивление. Объяснял технологии “оранжевой революции”, перед которой бессильны ракеты и лодки: без единого выстрела она сожжёт государство.

Его слушали, соглашались, обещали поддержать Чегоданова. Утомлённый переговорами, опустошённый изнурительной ролью проповедника, Бекетов покинул общество инженеров и один, без провожатых, отправился в город.

Он медленно брёл по улицам, пересекал площади, рассматривал вывески магазинов, рекламы, витрины. Был окружён рокотом, гудками, людской толкотнёй. Город казался обыденным, скучным, лишённым единого архитектурного замысла. Эта незавершённость, несобранность рождала чувство, что среди видимых площадей и улиц таится другой, невидимый город. Не Волгоград, а исчезнувший Сталинград, что был истреблён налётами немецкой авиации, свирепыми уличными боями. Город-призрак с хороводом алебастровых пионеров.

Бекетову казалось, что нынешний город был скромной маской, надетой на другое, огненное лицо. И эти миловидные девушки, обогнавшие его. И тучный старик, выходящий из магазина. Пролетевшая мимо полицейская машина в фиолетовых вспышках. Ресторанная вывеска с большой деревянной ложкой. Все эти обыденные детали не могли скрыть того грандиозного, непомерного и кровавого, что носило имя “Сталинград”. Того жуткого трясения, от которого содрогалась вся целиком планета. Той схватки, в которой сошлись не армии, не народы, а космические силы. Одна из этих сил стремилась отменить план, по которому Бог сотворил мир. А другая, обливаясь кровью, охваченная пламенем, отстаивала божественный план. Здесь, в Сталинграде гнулась ось Мироздания, гибли одна за другой дивизии, пока эта

ось не выпрямилась. В Сталинграде, а не в Берлине была одержана мистическая Победа. Здесь стали рушиться и отступать несметные силы тьмы, в которые вонзались ослепительные силы света. Его дед, штрафник, умирая в заволжской степи, был Победоносцем.

Бекетов гадал, мог ли дед, проходя через город в составе воинской части, видеть эту белую, сверкнувшую за домами Волгу, это морозное, с белым солнцем небо, по которому летела стая галок. На мгновение ему показалось, что дед смотрит на пролетающих птиц его глазами, дед выдыхает из горячего рта облако пара, сквозь которое белеет Волга.

Среди зданий и проводов, дорожных знаков и отблесков солнца ему чудилась непостижимая тайна места, на котором сошлись в космической битве силы Мироздания. Неслучайность этого места, где находилось невидимое сердце мира. Это сердце чувствовал Гитлер — и отвернул свои армии от Москвы, направил их в Сталинград. Это сердце чувствовал Сталин — бросил весь ресурс государства, всю живую силу народа, всю энергию русской истории на защиту священного места. Тайнственное сердце продолжало биться. Продолжали дышать сердца погибших русских солдат. Продолжало дышать сердце деда. Бекетов шёл, не умея разгадать эту тайну, испытывал благоговение.

Внезапно перед ним предстал Мамаев курган. Вся гора от Волги до вершины была уставлена скульптурами, восходила ступенями, изрезана барельефами. Среди них трепетал оранжевый факел, который сжимала рука, протянутая из-под земли. Курган венчала громадная, до небес, женщина с мечом в руке, которая беззвучно кричала, поднимая в атаку огромную страну. На острие меча сверкало солнце, словно небесный луч соединял курган с высшими силами, указывал на священное место, где билось сердце мира.

Бекетов смотрел на курган, в котором остановилось время, замерли в небе пикирующие самолёты, застыли в воздухе снаряды и пули, оцепенели идущие в атаку батальоны. И только факел трепетал оранжевым пламенем, и напряглась выходящая из-под земли рука.

Бекетов охватывал взором грандиозный монумент. Испытывал священное благоговение, молитвенное воодушевление. Перед ним был храм, соединяющий Волгу — реку русского времени — с небом, в котором витали духи Света, мистические ангелы Победы. Женщина на холме была Родина, Богородица, Мать, богиня Победы. У ног её пылала лампада бессмертия. Это ощущение храма, в котором нашли упокоение души убитых солдат, ощущение таинственного и священного места, где находилось сердце мира, ощущение того, что где-то здесь, в морозном кристаллическом воздухе реет душа деда, — всё это было так остро и достоверно, что Бекетов снял шапку, поклонился и двинулся вверх по ступеням. Чувствовал, как омывает его русское время, и замерзшая Волга окружает своим сиянием.

Он поднялся по ступеням, и каждая ступень увеличивала в нём благоговение. Его звала к себе великанша и солнечный луч на её мече. Его звала Победа, которая была одержана дедом. И та Победа, что ещё предстояло одержать ему самому. Вдоль ступеней высились громадные, отлитые из бетона скульптуры. Раненый смертельно моряк повис на плече товарища, и оба они стремились в атаку. Убитый пехотинец припал к живому другу, и два их автомата продолжали бить по врагу. Эти парные скульптуры изображали расу великанов, которые одержали космическую Победу, и в каждом лице, составленном из бетонных углов и граней, ему чудилось лицо деда, угадывались черты фамильного сходства.

Он прошёл мимо факела, слыша немолкнущий гул огня. Ощутил лицом волну жара. Оказался в циркульном зале, где по стенам золотой смальтой были выложены бесчисленные имена павших героев. Этот поминальный список казался золотой рябью от налетевшего ветра. Этот ветер продолжал дуть из необъятных миров, и Бекетов, отыскивая на стене имя деда, чувствовал этот ветер Мироздания. Его глаза туманились от слёз, и поминальная скрижаль превратилась в золотые ручки. Он плакал, молился, каялся, испытывая вину перед дедом. Благоговел перед ним, успевшим бросить в будущее стебель, на котором возросла его, Бекетова, жизнь.

Его душа росла, его бессловесная молитва взывала к воскрешению тех, кто пал, пробитый пулей, оглушённый взрывом, рассечённый осколком. Он молил всесильную великаншу пустить его к деду, в то последнее сражение, когда штрафной батальон бросался в атаку, замыкая кольцо окружения, и дед, чей томик стихов Пастернака сохранился на книжной полке, чья крохотная фотография в лейтенантском мундире сберегалась в семейном альбоме, — дед бежал по снегу навстречу огненным вспышкам.

Бекетов сквозь золотое облако слёз ступил в пространство храма, расписанное художниками-баталистами. Панорама Сталинградской битвы была громадной фреской, на которой сливались воедино бесчисленные эпизоды сражения. Блестела тусклая Волга. На баржах и баркасах перебрасывались в город войска. Пикировали самолёты с крестами. Взметались фонтаны воды и огня. Скрежетали немецкие танки, и матрос с гранатой в руке метнулся под гусеницы. Сшиблись в рукопашной, и солдат, пронзённый немецким штыком, успел вонзить в своего убийцу десантный нож. Руина дома, охваченная дымом и пламенем, огрызалась пулемётным огнём, и в проёме окна виднелся солдат с кровавым бинтом на лбу.

Вся огромная фреска грохотала, стенала, озарялась вспышками пробежавших по небу молний. Бекетов был в центре сражения. Над ним истребитель с красной звездой шёл на таран, врезааясь в “Юнкерс”, превращая врага в чёрный взрыв. Два танка, немецкий и русский, израсходовав боекомплект, столкнулись в страшном ударе, и на танковой башне белела надпись “За Сталина”. Телефонист с оторванными руками лежал на земле, стискивая зубами концы телефонного провода.

Среди этого лязга и грохота, в скопище тел, в клубках рукопашной Бекетов искал деда. И вдруг увидел его. В полушубке, с винтовкой, утопая по колену в снегу, он бежал среди пулемётных трасс, и его лицо, озарённое предсмертным светом, было обращено к небесам, откуда изливалось на него сияние. Бекетов, исполненный любви и страдания, в слёзном порыве устремился к деду, прижимая к сердцу его пробитое тело.

Очнулся. Стоял на вершине кургана. Богиня воздела солнечный меч. Волга, река русского времени, текла из одной бесконечности в другую.

Директор оборонного завода дал Бекетову “Лендровер” с водителем, и Бекетов отправился в степь, туда, где значился хутор Бабуркин, уже не существующий, сметённый боями, метелями, лихолетьями. Степь была голой, позёмка перелетала шоссе, солнце блестело на наледях. Шоссе превратилось в просёлок с ребристым тракторным следом, с заносами, в которых медленно продвигался “Лендровер”. Скоро и просёлок скрылся под настом, под которым слабо виднелись обочины. Мощная машина ломала наст, вгрызалась в дорогу, вязла, таранила сугробы. Несколько раз Бекетов вылезал из тёплого салона и, задыхаясь, хрипя, толкал машину, умоляя, чтобы она пробилась к Бабуркину. Там поджидал его дед.

Наконец, они достигли извилистого русла запылённой речки, вдоль которой темнели редкие заросли, продуваемые степным сквозняком. Это и было место, где когда-то располагался хутор. Здесь заканчивалась Сталинградская битва. Здесь атаки штрафников замыкали кольцо. Здесь шли отчаянные ночные бои, в одном из которых пал его дед, тридцати трёх лет отроду. И если бы он встал сейчас из снегов, то был бы моложе Бекетова.

Бекетов, кутаясь в пальто, осматривал волнистые горизонты, голубые холмы и думал, что эту волнистую синь видел дед. Где-то вдоль реки располагалась траншея, из которой он выскочил в ночную метель и бежал, задыхаясь, навстречу грохочущим вспышкам. Здесь, в степном безлюдье, витала его душа. Здесь, в степной земле, таились отпечатки его бегущих ног.

Бекетов стал разгребать снег, пробиваясь к земле. Руки его замерзли, покрылись порезами, красными кристалликами крови. Он дышал на руки, и ему казалось, из-под снега доносится к нему тихий голос. Он добрался до земли, ледяной, с замерзшими травяными стеблями. Ножом рыхлил землю, откалывал мерзлые комки. Принёс из машины деревянный ларец и наполнил стальной землёй. Верил, что в этой земле, среди корешков, частичек ржавчины, кристаллов льда присутствует дед. Его исчезнувшее дыхание. Его молодое лицо.

Вернувшись в Москву, он сел за руль и отправился на тихое подмосковное кладбище, где покоилась его бабушка. Она окружала его в детстве своим обожанием, светом бесконечной любви. И всегда, до самой кончины, когда она вспоминала погибшего деда, у неё дрожали губы и наполнялись слезами блеклые голубые глаза. Он страдал от этих рассказов, и ему казалось, что бабушка всё ещё надеется на долгожданную встречу, на чудо свидания.

Он приближался к кладбищу, положив на сиденье ларец. И ему казалось, что бабушка слышит его приближение — всё наполнилось ликующим трепетом, и небо, и земля, и морозное солнце, окружённое радугой, поют, торжествуют, готовят волшебную встречу.

Он прошёл мимо заснеженных могил, гранитных памятников, бумажных венков к тихой могиле. На кресте лежал снег, на розовом камне было начертано родное имя. Бекетов разгрёб снег и высыпал Сталинградскую землю, чувствуя, как она страстно коснулась могильной земли, пламенно в неё погрузилось. И ему казалось, что крутом благоухает листва, шумит в листве тёплый дождь, и молодой, обожающий муж обнял прекрасную молодую жену, и они уходят в чудесную даль, окружённые туманным дождём.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Елена и Бекетов сидели в кафе. Он рассказывал о своих поездках, о настроениях директоров-технократов, о протестном движении в городах-миллионниках. Кругом молодые люди лакомились сладостями. Сновали официанты, поднося ароматные чашечки кофе. Длинноволосый юноша упоённо работал на ноутбуке. Худосочная дама в очках читала газету. Елена смотрела на утомлённое лицо Бекетова, на тёмные линии, проступившие у рта, на платиновую седину, которой стало больше у висков. Видела, как он устал, — весь в тягостных думках.

Она протянула руку, коснулась пальцами бровей Бекетова, провела ладонью по волосам:

— Мы оба очень устали. Хорошо бы нам уехать хоть на несколько дней. Впереди будет столько ужасного.

— Как же нам уехать? Градобоев нуждается в нас.

— Он укатил на три дня в Петербург.

Бекетов смотрел рассеянно. Казалось, смысл ее слов медленно доходил до него сквозь заботы и гнетущие раздумья. Глаза его дрогнули, в них мелькнуло шальное веселье.

— погоди минуту, — он встал, отошёл к стойке, где были разложены на тарелочках бесчисленные сладости и шипел, брызгал гущей кофейный автомат. Елена видела, как он говорит по телефону, улыбается. Догадывалась, что он шутит, острит. Вернулся к ней:

— Вставай, мы уезжаем.

— Прямо сейчас? Куда?

— Ты же хотела!

— Но надо домой зайти.

— Зачем? Машина у дверей.

— Но все-таки скажи, куда?

— Куда глаза глядят, — и опять в лице его мелькнуло шальное веселье и озорная радость.

Пока они ехали по городу, застревали в пробках, останавливались у вспалённых светофоров, Елену продолжали мучить страхи и дурные предчувствия. Когда они выбрались за кольцевую дорогу и покатали по Дмитровскому шоссе среди тяжеловесных фур, ей продолжало казаться, что в этих фурах движется вслед за ней весь груз её огорчений и страхов. Но когда шоссе опустело, и машина обрела скорость, полетела мимо подмосковных посёлков и рощ, Елена почувствовала освобождение. Страхи и напасти ещё гнались за ней, но машина с лёгким шелестом отрывалась от них, и они отставали. На душе становилось светлее, свободнее. Сидящий за рулем Бекетов был тем чудесником, кто принёс освобождение, увлёк в полёт среди полей и переле-

сков. Она не знала, куда направлен этот полёт, но веряла себя его крепким, сжимавшим руль рукам, его зорким глазам, в которых переливались снежные просторы, березняки, чёрные ели.

— Ты мне не скажешь, куда мы едем?

— Поверь, это прекрасное место.

Она верила, что это прекрасное место. Там она укроется с любимым человеком от разъяренных толп и ядовитых страстей, унижительных обманов и отвратительного раздвоения. Только он и она. И словно кто-то, летящий над ними, услышал её. Осыпал белой крупой. Дунул из полей белой метелью. Окружил вихрями. Помчал через дорогу снежные струи. Они оказались среди снегопада, который укрыл их своей летящей завесой, спрятал от случайных глаз, заслонил, как в сказке, от злой погони. Они улыбнулись друг другу. Бекетов достал телефон и выключил. Елена сделала то же самое. Теперь были отсечены все связи с городом, разорваны все тенёта, умолкли все назойливые голоса.

Снег шёл, мелькали редкие деревеньки, разрушенные колокольни. Иногда с воспалёнными фарами проносилась встречная машина. Появлялся на мгновение бредущий по обочине путник. А когда снег кончился, возник Углич со своими разноцветными лубочными домиками и синими куполами. Побежали деревеньки с чудесными резными наличниками. Елена умилялась, ликовала, славилась их побег и своё избавление.

Уже стемнело, когда они свернули с шоссе, покатались в густых елях по узкому асфальту. Остановились перед шлагбаумом, подле которого светило оконце будки. Вышел охранник с фонариком, осветив номер машины, отдал Бекетову честь и пропустил в еловую чащу. Редкие голубые фонари освещали снег. Дорожка привела к одинокому коттеджу. Уютно светили оранжевые окна. Они оставили машину, поднялись по хрустящим степеням, вошли в прихожую. Елена, снимая шубку, поняла, что именно об этом она мечтала, порываясь убежать из города, чтобы спастись от невыносимых забот.

Золотились деревянные стены. Из прихожей коридор вёл в соседнее, не освещенное пространство, где тёмным стеклом застыл бассейн. В гостиной жарко горел камин. На столе на блюде темнел кусок запечённого мяса. Стояла бутылка вина. В вазе светились яблоки, груши, свисала виноградная гроздь. В приоткрытую дверь виднелась спальня с таинственными шелками. Казалось, здесь недавно побывал гостеприимный хозяин, всё приготовил и скрылся, растворился в этих елях, снегах, голубых фонарях.

— Ты чудесник, — сказала она, протягивая руки к камину. Потом подошла к стеклянным дверям, ведущим на заснеженный балкон. — Ты говорил о чуде — вот оно и случилось!

Они сели за стол. Он резал ломтями мясо, которое было ещё тёплым. Наливал в бокалы вино. Держал бокал за хрупкое донце и, глядя ей в глаза, говорил:

— В этой безумной гонке, в этих треволнениях, где одна забота сменяет другую, у меня и секунды не было сказать, как я тобой дорожу. Как люблю тебя, как люблюсь тобой. Как мне дорог твой нрав, твой чудесный голос, твои дивные пальцы и сладкие губы. Ты моя единственная и неповторимая, Господь Бог создал тебя для меня, и я нуждаюсь в тебе. У меня было помрачение, когда я в тоске бросил всё и уехал, не простившись с тобой. Но если бы ты знала, сколько раз ты мне снилась. Будто мы идём по берегам каких-то волшебных рек. Или мчимся на машине, как тогда в Ницце, под огромными пернатными пальмами, сквозь которые сверкает море. Или входим в просторные храмы, где звучат песнопения, из купола летят аметистовые лучи. И не одного тревожного сна, ни одного дурного предчувствия. Только красота, нежность. Я привёз тебя сюда, в снега и ели, чтобы сказать, как ты мне дорога. Господь соединил нас, провёл через испытания, чтобы мы больше не расставались. Пью за тебя, моя ненаглядная.

Они чокнулись. Звон тихо плыл, не удаляясь. У Елены сладко кружилась голова. Сыпались угольки в камине. Глаза Бекетова, сияющие, очарованные, глядели на неё, и в них было обожание.

— Какое счастье, что мы убежали, — сказала она. — Мне больше ни-

кто не нужен. Никого не хочу видеть, слышать. Только ты. Разве мы не можем навсегда от всех убежать?

— Если хочешь, мы не вернёмся. Это заблуждение, моя гордыня думать, что от меня всё зависит. И ход истории, и судьба России. Какой это вздор! Мы крохотные пылинки, которые летают в солнечной комнате. Попадают в луч, загораются то красным, то золотым, и гаснут, меркнут навсегда. Это миг нашей жизни, дар, отпущенный Богом. Чтобы мы могли любоваться друг другом, и этими уголками в камине, и этой полосой света, в которой лежит упавшее покрывало с китайским драконом. Мы убежим навсегда. У меня есть сбережения. Поселимся в тихом городке, на родине двух цариц. Столько непрочитанных книг, столько чудесных стихов, столько божественных песнопений, которые звучат в монастырском храме у отца Филиппа. Скажи, и мы уедем.

— Уедем...

...Они лежали в темноте в постели, и она говорила:

— Мы больше не вернёмся туда, где готовится ужасное злодеяние. Там прольётся кровь, зазвучат выстрелы, погибнут люди. Но нас среди них не будет. Останемся здесь, среди краснобровых птиц и седых лосей, у заколдованной церкви, в которой горят венчальные свечи. И злодеяние нас минует.

— Какое злодеяние, дорогая?

— О котором говорил Градобоев.

— А что он сказал?

— Сказал, что скоро будет “Марш миллионов”, и он поведёт людей на Кремль. Войска станут стрелять, будет кровь, и президент Стоцкий отменит выборы. Чегоданов не сможет стать президентом, и Градобоеву откроется дорога в Кремль.

— Он так и сказал про кровь?

— Про кровь и про Кремль...

Она проснулась от внезапной тревоги. Бекетова не было рядом. Сквозь открытую дверь в гостиную она увидела, как он ходит по комнате и говорит по телефону. Светились телефонные кнопки, словно он держал в руке светящегося морского моллюска.

— Что случилось? — спросила она, когда он вернулся.

— Надо возвращаться. Прямо сейчас.

— Прямо ночью?

— Прямо сейчас.

— Ты уверен, что действительно нужно?

— Уверен.

В ней всё остановилось и обмерло. Она больше не спрашивала. Стала собираться.

Они возвращались в Москву, озаряя ночное шоссе светом хрустальных фар.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Чегоданов, слушая Бекетова, зло щурил глаза, сжимал побелевшие губы. Был похож на лесного зверя, который среди травы, прелых листьев и подземных грибов почуял запах железа.

— Это достоверные сведения?

— Мой доверенный источник из ближайшего окружения Градобоева.

— Значит, всё-таки пролитие крови? Залить брусчатку красной жижей?

— На определённом этапе “оранжевой революции” предусматривается пролитие крови. “Марш миллионов” состоится перед самыми выборами. Бойня, кровь, тебя объявят палачом народа. Евросоюз, американский Сенат, начнётся вселенский вой, и Стоцкий отменит выборы. Дума его поддержит. Ты отстранён. Назначат новые выборы, на которых победит Градобоев. Тебя осудят, как кровопийцу, станут возить в клетке по Москве, и родственники погибших закидают в тебя камнями. Когда мы приступали к исполнению нашего плана, мы допускали подобное развитие событий.

Бекетов ждал от Чегоданова гневной вспышки, истерических злобных упрёков. Но Чегоданов был тих и вкрадчив. Только щурил глаза, из которых лилась жестокая синева. Сжимал губы, в которых не было ни кровинки. Все его мышцы напряглись, как у чуткого хищника, готового отпрыгнуть, избегаая опасности, или метнуться вперёд, убивая врага.

— Каким маршрутом поведёт Градобоев свой “миллион”? Где он станет лить кровь?

— Они пойдут по Якиманке к “Ударнику”, чтобы перед Каменным мостом якобы свернуть на Болотную площадь. Кордоны милиции преградят им вход на Каменный мост. Градобоев направит народ на кордон. Пожелает его прорвать, чтобы перейти Каменный мост и атаковать Кремль. Кровь может пролиться на мосту, где будет схватка с полицией. Или у Троицкой башни, где навстречу толпе выйдут войска.

Бекетов видел: пепельно-серая громада “Ударника”, мокрый блеск пус-того моста. Золотая шапка Храма Христа, розовые стены Кремля. Медлен-ная, вязкая толпа движется по Якиманке. Флаги, транспаранты, невнятный гул мегафонов. У моста зыбкой лентой темнеет полицейский заслон. Слюдя-ной блеск шлемов, тусклый ответ щитов. Сужается горловина истории, сквозь которую стремится пройти русское время. Вновь сжимается под страшным давлением хрупкий кристалл государства, готовый расколоться на тысячи мелких осколков. И он, Бекетов, своей слабой волей, несовершен-ным разумением стремится управлять слепым движением времени. Влиять на угрюмый поток истории. Спасать беззащитный кристалл государства.

— Я предчувствовал это, — произнёс Чегоданов, — Предчувствовал за-говор, — его ноздри трепетали, словно он улавливал тлетворный ветерок из-мены. — В западной прессе началась охота за мной.

Бекетов чувствовал, какому давлению подвергается Чегоданов. Парали-зуется воля, затмевается разум. Множество чародеев и магов, колдунов и волшебников протыкают иголками его фотографии, сжигают его тряпич-ные чучела. Побуждают бежать, кинуться опростетью, оставить власть. От-дать в другие руки судьбу государства. Так его венценосный предшественник подписал в вагоне своё отречение, открыл путь чудовищной бойне, которая унесла в преисподнюю великое царство, а его самого утянула в Ганину Яму.

Бекетов видел, как дрожит и сжимается воля Чегоданова. Стискивается, словно стальная спираль, накапливая энергию для удара. Чегоданов, подвер-женный слабостям, баловень, не свободный от страхов и маний, сейчас ста-новился стальным правителем. Беспощадный защитник власти. Безупречный державник.

— Когда мы исполняли наш план и усиливали Градобоева, одновремен-но его ослабляя, мы страшно рисковали, — произнёс Бекетов. Видел, как играют белые желваки Чегоданова, а в глазах отливает синева топора. — Мы нагнетали давление в котле, не имея точных манометров, измеряющих это давление. И котёл мог взорваться. Мы рисковали не просто нашими с то-бой головами, но и судьбой государства. И эти риски сохраняются. Нам предстоит проделать ювелирную работу по управлению ядерным реактором в ручном режиме.

— Петр Первый в ручном режиме рубил стрельцам головы.

— Я собирал по элементам этот реактор, я знаю его устройство. И я же могу его разобрать, извлекая составляющие его элемента.

— Что ты задумал? — Чегоданов смотрел мимо Бекетова, и губы его улыбались. Быть может, он видел сейчас картину “Утро стрелецкой казни”.

— Я наращивал толпу на Болотной площади, приводил к Градобоеву со-юзников. Создавал таран, способный пробиться в Кремль. Теперь я ослаблю этот таран, уменьшу толпу вдвое, уведу от Градобоева его союзников. Ослаб-ленную, уменьшенную вдвое толпу он поведёт на мост. Здесь его встретит кордон, и завяжется драка. Полиция пусть действует вполсилы, избегает уда-ров дубинками, чтобы, не дай Бог, у кого-нибудь ни лопнул череп. Головной отряд демонстрантов прорвёт кордон и вырвется на Каменный мост. Здесь их встретит мощный заслон, а в тыл ударит ОМОН и отсечёт от остальной толпы. Боевики Градобоева окажутся в ловушке. Их расчленият, обезвредят,

по одному уведут в автозаки. Всё это мы снимем на камеры и вечером покажем народу. Скажем, что так была сорвана попытка государственного переворота.

— Так и будет. Я вызываю шефа МВД, прокурора, председателя следственного комитета. Пусть очистят камеры в Лефортово. Пусть готовят следственные группы. Не меня, а их станут возить по Москве в железных клетках. Привезут и на Болотную, где рубили головы мятежникам и смутьянам. Я буду целовать крест в руках Патриарха, а они будут целовать топор в руках палача! — и снова в его глазах полыхнул синий отблеск, словно мелькнул топор.

— Сразу же после разгрома Градобоева, перед выборами, ты проведёшь в Москве победное шествие. Выступишь на митинге, сценарий которого я подготовил. — Бекетов торжествовал. Перед ним был железный лидер, в котором история обретала своё воплощение.

— Ты настоящий друг, Андрей, — сказал Чегоданов. — Но ты действуюешь не из чувства дружбы, а исходя из интересов страны. Ты истинный государственный. После победы мы начнём создавать новую Россию, великое Государство Российское.

Они обнялись. Бекетов чувствовал, как молодо играют гибкие мышцы Чегоданова.

Через час Бекетов был на телевидении у Немвროзова. Тот готовился к передаче и перед зеркалами шутил с двумя молодыми гримёршами. Те холили его красивое лицо, втирали кремы, пудрили, брызгали лаком на золотистые волосы. Немвросов от их прикосновений щурил по кошачьи глаза. Вышел к Бекетову жизнерадостный, благоухающий, с повадками театрального любовника.

— Ты видел мою последнюю передачу? Как я расправился с этим чернявым жучком! Посадил его на иголку, и он корчился, шевелил лапками, а я его пинал, пинал, пинал! Говорят, я был великолепен.

— Ты поистине великолепен! В тебе есть что-то античное. Что-то от греческих героев. — Бекетов увидел, как расцвёл Немвросов с тех пор, как покинул уютную студию на третьеразрядном канале и обрёл репутацию кремлёвского телекиллера. — У меня к тебе срочное дело.

Бекетов извлёк из кармана флэшку, на которую накануне перенёс записи своих переговоров с оппозиционерами. Те фрагменты, где оппозиционные лидеры в запальчивости и нетерпимости за глаза поносят соперников, жёлчно обличая друг друга. Тогда, во время походов к Мумакину и Лангустову, к Шахесу и Коростылёву Бекетов лишь предчувствовал, что ему понадобятся эти тайно добытые записи. Теперь он нашёл им применение.

— Это что? — Немвросов вертел в руках флэшку.

— Это осиное гнездо. Сделай так, чтобы осы вылетели и искусали друг друга. Сделай так, чтобы Шахес ужалил Мумакина, а тот вонзил остриё в Лангустова, а Лангустов впрыснул яд в Шахеса, и все вместе они изжалили Градобоева. И чтобы, в конце концов, их клубок распался. Чтобы они, проклиная друг друга, разбежались и увели от Градобоева своих сторонников. Чтобы Градобоев, когда начнёт собирать толпу, не досчитался половины, и его таранный удар на Кремль обессилел. Пусть все эти оппозиционеры, как строители Вавилонской башни, загадят, залопочут, заверещат каждый на своём языке и разбегутся. И Вавилонская башня оппозиции рухнет.

— Великолепно, — воскликнул Немвросов, пряча флэшку. — Мы разворошим осиное гнездо, и они изжальят друг друга. Но скажи, Чегоданов понимает, какую работу мы делаем для него? Он умеет быть благодарным? Когда он победит на выборах и станет президентом, он вспомнит о нас? Он сделает тебя главой президентской администрации? Он назначит меня директором телеканала?

— Он умеет быть благодарным. Ты станешь директором телеканала.

— Он говорил?

— Говорил.

— Он не ошибётся, поверь. Я буду мочить всех его врагов. Буду превращать их в уродов, в животных, в отвратительных гадов и насекомых.

Но главная цель канала, как ты говорил, — это выстраивать образ новой России. России Чегоданова. Мы создадим ему образ великого правителя и преобразователя. Мы вернём России вождя. Мы ответим на глубинный запрос русского сознания, требующего вождя и заступника, духовного лидера и пророка. Мы станем создавать культ Чегоданова. Народ узнает о его сокровенном замысле возродить великую империю. Создать великое государство. Оснастить этой государство могучей идеологией. Собрать выдающихся художников и мыслителей, дипломатов и духовидцев. Мы вернём России образ мистического царства, которое предлагает гибнущему миру спасение. И в центре всего — Чегоданов. Ты думаешь, он пойдёт на это?

— Он уже пошёл.

— Замечательно! Ты великий человек, Андрияша. Мы два великих человека, и вместе мы непобедимы!

Они простились, и Немвровов, восторженный, артистичный, исчез в гримёрной среди блеска зеркал и нежного лепета женщин.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Градобоев собрал в своём штабе координационный совет оппозиции для обсуждения предстоящего “Марша миллионов”. В просторной комнате за овальным столом восседал сам Градобоев, бодрый, радушный, — не вождь, не лидер, а гостеприимный хозяин. Вокруг него расселись соратники. Мумакин — вальяжный, с крепким лбом, твёрдым взглядом неутомимого борца и мыслителя, наследника великих “красных” традиций. Подле него поместился Шахес, маленький, вёрткий, с насмешливыми и настороженными глазками, которые, казалось, мерили расстояние от каждого из присутствующих до двери, сквозь которую, в случае опасности, можно было бы улизнуть. Лангустов с измождённым, в складках и рубцах лицом революционера, узника, мучительного эстета, отчужденно и небрежно оглядывал своих соседей. Так оглядывают пассажиров, случайно оказавшихся в одном с ним купе. Прямо перед ним, расправив плечи, сощуриив холодные жестокие глаза, сидел Коростылёв, который, обменявшись рукопожатиями со всеми приглашёнными, достал чистый платок и отёр руку. Все они, преодолев антипатию, биологическую неприязнь, умирив гордыню, явились на зов Градобоева, признав за ним временную роль предводителя — кумира бурлящих толп, куда каждый из них согласился привести своих сторонников.

— Господа, — бархатным баритоном произнёс Градобоев. — Пусть скромный вид этой комнаты не скроет от нас грандиозности приближающегося момента русской истории, способного изменить судьбу государства, направить народную жизнь по новому руслу. Конечно же, я говорю о послевагтрашнем дне, когда мы пройдем по Москве нашим “Маршем миллионов” и перевернём, наконец, мрачную страницу Чегодановской эры. Начнём писать историю свободной России, — Градобоев умолк, желая понять, не слишком ли напыщенны его слова, не вызывают ли они отторжения у слушателей. Но у всех были серьёзные лица людей, сопричастных истории. — Господа, наш союз будет отмечен летописцами, ибо он опровергает досужие домыслы, согласно которым оппозиция — это клубок жалящих друг друга змей. Мы перед лицом исторического выбора преодолели разногласия и соединились во имя России, во имя интересов народа, волю которого мы выражаем. И мы готовы взять на себя ответственность за судьбу государства, — Градобоев снова умолк, проверяя воздействие своих слов, и это воздействие удовлетворило его. — Мы должны вывести на наш “марш” полмиллиона человек. Для этого мы созовём всех наших сторонников, используем всё наше влияние, но полмиллиона разгневанных, требующих справедливости граждан сокрушат любые преграды ОМОНа, направят свой разящий психологический удар прямо в лоб Чегоданову. И он, уверяю вас, бежит из Москвы, откажется от выборов, и выборы будут отменены. Президент Стоцкий, он дал мне это понять, назначит новые выборы. И на этих выборах, совершенно легитимно, без пролития крови, мы придём к власти. — Градобоев торжеству-

юще оглядел соратников, убеждаясь, что они согласны с его верховенством. Готовы нести в общую копилку свою репутацию, волю своих сторонников, готовы сжать стенобитный кулак для удара по Кремлю. — Господа, на нашей предшествующей встрече мы согласились, что предстанем перед народом единой командой. Покажем людям возможность истинной коалиции, полифоническую красоту коллективного разума. — Градобоев моментально оглядел соратников, убеждаясь, что все они по-прежнему видят в нём будущего президента, согласны с той ролью, которую они получают в кабинете министров. — Мне бы хотелось сейчас согласовать лозунги, под которыми пройдёт наш “марш”. Я жду ваших предложений. Вам слово, господин Мумакин.

Предводитель левых откликнулся:

— “Вся власть — народу!”, “Земля — крестьянам!”, “Заводы — рабочим!”, “Бесплатное образование и медицина!”

— Под какими лозунгами пойдут ваши сторонники, господин Лангустов? — произнёс Градобоев.

— Наши лозунги предельно просты. “Чегоданова — в клетку!”, “Стоцкого — в клетку!”, “Всех министров — в клетку!”, “Зоопарк на Красной площади, вход бесплатный!” — Лангустов улыбнулся жестокой улыбкой, как если бы перед ним поблескивала окуляром французская телекамера.

— А что скажете вы, господин Шахес? — продолжал опрос Градобоев. — Ваши либеральные клубы и организации столь многочисленны, что, не сомневаюсь, ваша колонна будет пестреть лозунгами.

— Уж я и не знаю, это слишком ответственно. Что-нибудь миротворческое, примиряющее. Может быть, “Вернуть хасидам библиотеку Шнеерсона!”, если у них без неё пейсы отваливаются. Или направите в космос корабль, на котором еврей и палестинец полетят в одном экипаже, — и он завертелся, заёрзал на стуле, забормотал, защебетал что-то птичье, торопливое и абсолютное неразборчивое. Умолк, оглядывая всех маленькими тревожными глазками.

— Ну, конечно, — буркнул Коростылёв. — Заселять космос евреями! Мало там космического мусора...

Шахес вспыхнул было от этой антисемитской реплики, но промолчал, только гневно задвигал ножками.

— Господин Коростылёв, вы что-то хотели сказать, — Градобоев сделал вид, что не услышал едкой ремарки.

— Наши имперские лозунги просты, — чётко, по-офицерски отчеканил Коростылёв. — “Русские идут!”, “Русская армия — превыше всего!”, “Русское оружие — отточенный меч империи!”, “Кавказ будет русским!”, “Русский — значит весильный!”, “Слава России!” — он вызывающе осмотрел всех сидящих и, осматривая Шахеса, зло сощурился.

— Господа, — прочувствованно произнёс Градобоев. — Не это ли свидетельство нашего согласия? Нашего союза не только политического, но и духовного, и душевного. Залог того, что после победы мы сможем создать коалиционное правительство и дружно, эффективно работать во славу России.

Они продолжали совещаться, утверждали лозунги, подсчитывали число сторонников. Были готовы перейти в соседнюю комнату, где был накрыт стол, и официанты расставляли на скатерти хрустальные бокалы и рюмки.

Вошёл начальник охраны Хуторянин. Склонившись к Градобоеву, тихо произнёс:

— Иван Александрович, включите телевизор. Там такое начинается!

Градобоев включил широкий плазменный экран на стене, и все присутствующие молча воззрились на него.

На экране витийствовал язвительный и бесподобный Немвровоз. В розовой рубашке и артистическом шарфе, с жестами декламатора, с мужественным голливудским лицом, он комментировал кадры протестного митинга на проспекте Сахарова, где один за другим выступали Градобоев, Мумакин, Лангустов, Шахес.

— Всмотритесь в эти вдохновенные лица. Услышьте их пламенные речи. Вам покажется, что это — радетели о счастье народном, союз единомы-

шленников, братство во Христе. Но это — пауки в банке, которые жгут и кусают друг друга!

На экране возникла стеклянная банка, полная пауков, которые копошились, прыгали друг на друга, карабкались по скользким стенкам, сбивались в отвратительные косматые клубки. Членистые ноги, ядовитые клещи, пульсирующие ненавистью тела.

— Какая мерзость! — воскликнул Градобоев, — Этот Немвровоз — агент ФСБ, телевизионный киллер, получивший от Чегоданова лицензию на убийство. Но все их усилия тщетны. Мы действительно — союз единомышленников.

На экране Немвровоз эффектно жестикулировал, предлагая зрителям полюбоваться оппозиционными ораторами. Один за другим те выходили к микрофону и беззвучно открывали рты, воздевали кулаки, выдыхали струи пара. Все те же Градобоев, Мумакин и Шахес. И ещё — Коростылёв в чёрной форме, перетянутый портупеей, под чёрно-золотым имперским флагом, взметающий верх руку.

Немвровоз жестом факира смахнул с экрана изображения лидеров, и вместо них возник прозрачный террариум, полный змей. Они струились по стеклу, свивались в чешуйчатые клубки, открывали маленькие злые рты с раздвоенными язычками, кидались одна на другую, били в стекло мускулистыми пестрыми телами.

— Не верьте сладким речам и медовым посулам, — Немвровоз стучал пальцами по стеклу, и змеи кидались к нему, желая его ужалить. — Это не заступники народа, а клубок змей, которые стремятся в Кремль, желая превратить русскую святыню в мерзкий террариум, наполненный смрадом и ядом!

— Мерзавец, — произнёс Лангустов, — а ведь когда-то слыл приличным человеком.

Немвровоз повёл рукой, словно открывая занавес, и опять туманилась громадная, переполнившая площадь толпа, и опять у микрофона, беззвучно шевеля губами, появлялись знакомые ораторы Градобоев, Мумакин, Лангустов и Шахес. И в колонне националистов, под имперским стягом, вышагивал Коростылёв, что-то выдыхая в мегафон.

— Да не введут вас в заблуждение человеческие лица этих благородных господ. Это оборотни, не люди, а свирепые псы, которые готовы растерзать не только вас, но и друг друга.

На экране возникли собаки, которые грызлись, скалили мокрые клыки, кидались одна на другую, норовя вцепиться в горло. Их свирепые оскалы, брызги слюны, налитые кровью глаза, судороги ненависти и неукротимой злобы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Бекетов пришёл на Октябрьскую площадь, откуда начинался “Марш миллионов”. Нежное апрельское небо дышало целомудренной лазурью, асфальт был покрыт голубым влажным лаком, липы проснулись, и в голых рогатых кронах трепетал прозрачный туман. По Ленинскому проспекту летела, блистала, переливалась шелковистая лента. Из туннеля выплескивался на Садовое и мчался к Крымскому мосту шелестящий поток. Памятник Ленину, окружённый революционными солдатами и рабочими, был монументален и строг, но голубь, сидевший на голове вождя, нарушал воинственный пафос монумента.

Бекетов явился на площадь, когда начинала собираться толпа. Люди струйками сочились из выходов метро, всплывали из подземных переходов, вливаясь в просторную площадь, кружили у подножья памятника. Здесь было весело и светло, как в дни праздника. Народ явился в предвкушении развлечений и забав. Царило то радостное волнение, которое связано с долгожданным теплом, стуком женских каблучков, нарядными шарфами, блеском взволнованных глаз.

Было много молодёжи, дурашливых и смешливых студентов. Они забегали на постамент и фотографировались, а потом начинали шумно, беспричинно смеяться. Порхали стайки девушек, неуловимо похожих одеждой, причёсками, худобой, составляющих особое племя, наполняющее банки, конторы корпораций, рекламные фирмы, коммерческие бюро и издательства. Явились ярко одетые, в модных куртках и бантах, с экзотическими причёсками молодые люди — художники, стилисты, дизайнеры, модники ночных клубов, завсегдаитаи “Comedy Club”.

Два мима с раскрашенными лицами играли невидимым мячом, подпрыгивали, пригибались, падали на землю, вылавливая из пустоты несуществующий мяч. Их окружали завороченные люди, водили глазами в пустоте.

Пожилый лысый саксофонист держал в руках серебряный инструмент, раздувал небритые щеки, целовал металлический мундштук, оглашая площадь печальными рудами, молодая женщина зачаровано слушала, и у неё, как у кенгуру, выглядывал из переносной сумки младенец.

Были истовые демократы с двадцатилетним стажем, истоптавшие не одну пару обуви в маршах и демонстрациях, с лицами, на которых держалось одинаковое выражение нетерпеливого раздражения, бурлящего негодования, тоскливой надежды на сокрушение несправедливого мира. Хромала, опираясь на палку, остроногая женщина в мятом берете и поношенном пальто. Её заостренное лицо, колючее плечо, седые прядки и кривая клюка указывали на далёкую, ей одной ведомую цель, к которой её двигала яростная и упрямая воля. Другая женщина, в неряшливом пальто и старомодной шляпке, экзальтированно выкрикивала: “Свободу политическим заключённым!”, раздавая листовки с требованием освободить арестованных танцовщиц из группы “Бешеные маргитки”.

Но было много и обычной интеллигентной московской публики, вполне обеспеченной, но с неутолённым чувством справедливости, которое во все времена попирает порочная, склонная к деспотизму власть.

Бекетов кружил в толпе, не находя в ней ни Шахеса, ни Мумакина, ни Лангустова. Не было и Коростылёва. Его план удался. Оскорблённые передачей Немвროзова, ненавидящие друг друга оппозиционеры не явились на площадь и не привели своих сторонников, значительно ослабив ударную силу марша. Однако разрозненные группы националистов, коммунистов и либеральных активистов размахивали красными, имперскими и радужно-яркими флагами, под которыми перемещались группы сексуальных меньшинств. И уже гудели в разных углах площади мегафоны, призывая толпу формировать колонны. Становилось всё больше репортёров, фотографов, телеоператоров, начинавших поиск сюжетов. Осторожно прокатили несколько полицейских машин, расплескивая фиолетовые брызги проблесковых маячков.

Вдруг среди многолюдья, бесформенных скоплений и сгустков, пробежала волна, повлекла толпу, словно потянули невидимый невод, улавливая людскую гущу. Все устремились в одну сторону. Туда же заторопились телеоператоры. Туда же колыхнулись флаги. Туда же зашагал Бекетов, стиснутый возбуждённой толпой. Там появился Градобоев. Охрана теснила людей, раздвигая толпу, прокладывая Градобоеву путь.

Градобоев был выше других. Возвышалась его непокрытая голова. Лицо показалось Бекетову огорчённым и бледным. Глаза возбуждённо блестели. Губы улыбались. Он ждал, когда его окружают журналисты, заблестят диктофоны, потянутся мохнатые, как пушечные банники, микрофоны, замерцают окуляры телекамер.

Журналисты брали у него интервью. Бекетов через головы улавливал обрывки фраз:

— Готовится грязная провокация... Выгодно пролитие крови... Пусть мировая общественность... Уроки Египта и Ливии...

Бекетов хотел угадать его душевное состояние. Следы нерешительности. Признаки травмы, полученной от измены соратников. Градобоев преодолел разочарование и растерянность. Был возбуждён и решителен, исполнен дерзкой энергии. Бекетов чувствовал, что он не отказался от своего жестокого замысла. Марш состоится, столкновение с полицией неизбежно.

Он увидел Елену. Она появлялась и исчезала в толпе, словно качалась на волне. Её лицо показалось Бекетову измученным и испуганным, и он испытал большую жалость, мгновенную вину, которая сменилось желанием поскорей к ней пробиться и выведать всё, что она знает о Градобоеве.

Он протиснулся, окликнул её. Она устремилась навстречу, и их сжало, стиснуло. Они стояли, прижавшись друг к другу среди гула толпы, рокота мегафонов, колыхания флагов.

— Мне страшно, — сказала Елена.

— Что Градобоев?

— Он был чем-то расстроен. Постоянно звонил по телефону. Скверно-словил, хотя с ним это редко случается.

— Будь рядом со мной. Не теряйся.

Активисты выстраивали колонны. Люди подчинялись окрикам, увещаниям, мегафонным командам. Передние ряды продвинулись по Якиманке к французскому посольству. Сзади огромно и слитно пучилась толпа. Градобоев стоял во главе, окружённый охраной. Сразу за ним выстроилась шеренга рослых молодцов в одинаковых тёмных куртках. У каждого на шее висел чёрный платок, который можно было натянуть на лицо. Бекетов угадывал в этих молодцах головной отряд, который первым вступит в бой с полицией, таранным ударом станет рассекать заслон.

— Первая колонна пошла! — гудел мегафон. — Вторая колонна пошла! — вторил ему другой. — Соблюдать интервалы! — рокотал третий.

Людская масса колыхнулась, словно облегчённо вздохнула и двинулась, расширяясь, занимая всю проезжую часть, с ровным шорохом тысяч ног. Бекетов и Елена шли рядом, уже не в тесноте, окружённые воодушевлёнными людьми, которых влекло в просторном жёлобе улицы. И в этом движении многотысячной толпы чудилась повелевающая безымянная воля, управлявшая могучей массой, — активистами, покрикивающими в мегафон, знаменосцами с пёстрыми флагами и самим Градобоевым, который сдвинул с места толпу, толкнул её, как камень с горы. И уже не управлял ею, а сам был во власти безымянной воли, подчинялся её слепому господству.

Бекетов смотрел на Елену, на её изящную кожаную куртку, отороченную мехом, на шелковый шарф, на пышные волосы, развеянные ветром. Её лицо было следным, истовым, словно она смирилась с судьбой, в которую её вовлекала слепая воля. Обессиленная, ждала, когда судьбы нанесёт свой жестокий удар.

Рядом семенила пожилая женщина, держа в руках бумажную иконку. За ней два молодых человека несли транспарант с надписью: “Чегоданов, беги из Кремля!”

Девушка несла веточку жёлтой мимозы. Несколько студентов танцевали, умудряясь не мешать движению, образуя внутри колонны плывущий вместе с ней хоровод. Красный флаг трепетал на древке, которое сжимал крепкий парень, норовя воздеть своё алое полотнище как можно выше. И где-то близко, заслоняемый людьми, играл саксофон. Печальный и возвышенный блюз парил над колонной, словно её сопровождало в небе невидимое крылатое диво. Бекетов всё это видел, чувствовал единую, охватившую всех волну движения, ощущал неотвратимую, влекущую волю. Это была его воля. Он направлял толпу к роковой черте, у которой остановится в своём грозном выборе русская история. Вспучится, взбурлит, нальётся кровью, стенанием, прежде чем выберет свой путь. Это он, Бекетов, невидимый в толпе, вёл её к роковому перекрестку. Слабый, малый и смертный, он управлял ходом русской истории.

Они шли по Якиманке, мимо роскошных витрин, стеклянных банков, чугунных решёток, аристократических фасадов. На тротуарах густо стояли люди. Одни приветственно махали, другие вливались в толпу, третьи фотографировали, желая запечатлеть пёстрое и нарядное шествие. Бекетов видел идущего впереди Градобоева, его упрямо наклонённую голову, крутые плечи, трёхцветный российский флаг. В этой наклонённой голове и упрямым стремлении чудилась мессианская вера, подобная той, что владела пророком, выводящим народ из плена. Градобоев казался статуей на носу корабля, в которую ударяли грозные ветры истории. Бекетов на расстоянии чувство-

вал, как стучит в нём сердце, напрягаются плечи, содрогаются мускулы. И от этих содроганий по колонне бежала судорога, упругая конвульсия, словно волна электричества, и Бекетов пропускал сквозь себя эти беззвучные толчки и удары.

Оглянулся на Елену. В её глазах стоял ужас. Она беспомощно на него озиралась:

— Господи, что же будет!

Он испытывал к ней слёзное сострадание, чувство вины, мучительную нежность. Хриплый мегафон активиста прозвенел над ухом:

— Просьба сохранять интервалы! Соблюдайте дистанцию!

Впереди появилась серая махина “Ударника”, цепь полицейского заслона и пустое пространство моста, за которым розовый, размытый, как акварель, возник Кремль.

Градобоев вышагивал во главе колонны. Трёхцветный российский флаг то заслонял ему глаза своим алым и голубым шёлком. То отлетал, открывая витрины, фасады, вывески банков и ресторанов. Он видел толпу на тротуарах, идущего рядом охранника Хуторянина, передававшего по рации команды, дюжих охранников, прикрывавших его со спины и боков, литой брусек боевого отряда с чёрными платками у подбородков.

Градобоев чувствовал спиной могучий вал, давивший на него слепым стремлением. Сотни тысяч безвестных людей вложили в него свою волю и страсть, поместили в него надежды и упования, отказались от личных, отдельных судеб, передав ему свою жизнь. Он принял этот чудовищный дар, от которого взбухало сердце, ломило восторгом грудь, слезились от волнения глаза. Он возглавлял марш, был поводырём и вождём, которого выбрал рок для исполнения великой задачи. И когда впереди, как гора застывшей лавы, возник “Ударник”, и выгнулся Каменный мост с полицейским заслоном, и за этой, блестящей щитами и шлемами цепью, за влажным горбом моста возник, как виденье, Кремль, Градобоев ощутил чудесную выпышку. Ликованье сменилось мгновенным страхом, а страх превратился в озарение, в котором открылось громадное, предстоящее ему свершение.

Полицейская цепь перегораживала устье моста, оставляя свободным сход на Болотную площадь, где темнели деревья и краснела трибуна. Пространство, разделявшее цепь и колонну, оставалось пустым и медленно уменьшалось с каждым шагом Градобоева, который чувствовал это пространство как упругую, не пускавшую в себя пустоту. Каждый шаг давался с трудом. Мост казался голубоватой воронёной пружиной, которая распрямится, ударит по толпе, отшвырнёт, смертельно оглушит Градобоева. Но розовый Кремль в чудесном сиянии манил, волшебю томил, звал Градобоева. Там, за куполами и башнями, за розовой стеной таилась драгоценная капля, стоцветный бриллиант, пленившей его своей магической силой, как пленял он многих до него, стремившихся в этот сказочный град.

Пространство между цепью и колонной сжималось. Градобоев шагал, чувствуя приближение невидимой, проведённой по асфальту черты, у которой ему предстоит совершить грозный выбор. Либо свернуть к Болотной, увлекая колонну, и там, среди деревьев, с трибуны повторить свои пылкие речи, под восторженный рокот толпы. Или, повинувшись давлению судьбы, колдовскому притяжению Кремля, двинуть на мост. Ударить всей мощью стотысячного тарана в зыбкую цепь полицейских. Прорвать и ревушей магмой, опрокидывающей заслоны, ворваться в Кремль, где в расписных палатах, онемевший от ужаса, притаился Чегоданов. И пусть его берёт разгневанный народ, вершит промыслительный суд истории.

Сердце страшно дрогнуло, он переступил черту и, обернувшись к Хуторянину, сказал:

— Пора!

И тот что-то булькнул в рацию. Бойцы головного отряда натянули платки на лица, нахлобучили вязаные шапочки. На белевших полосках лиц жестоко засверкали глаза.

Полицейские щиты и шлемы стремительно надвигались. Охрана, стиснув Градобоева, остановила его. Толпа стала их омыывать, катилась вперёд, а он

отступал, двигался встречь толпе, сдвигался к спуску на площадь. Слышал, как страшно лязгнуло, взвыло и ахнуло. Таран ударил в железо. Броневой клин врезался в цепь полицейских. Толпа, как кипящий вар, облепила щиты и шлемы.

Полицейский, потеряв щит и шлем, ошалело, как оглушённая рыба, пучил глаза, а его валили, топтали. Демонстрант упал на колени, и его дубасили с обеих сторон. Он клонился, заваливался, а его продолжали бить, словно вгоняли в асфальт. Двое схватились, коленями били в пах, топтались, хрипели, пока полицейский ни боднул головой демонстранта, и тот отшатнулся, получил вдогонку удар ногой, от которого туло рухнуло. И среди рукопашной, уклоняясь от ударов, двигались полицейские операторы с телекамерами, выхватывая лица демонстрантов.

Схватка напоминала жуткое нерестилище, которое трещало, бурлило, брызгало кровавой икрой и молоком. Слетали платки, открывались молодые ненавидящие лица, рты, изрыгавшие мат, расквашенные в кровь носы. Полицейские, потеряв щиты и дубины, бились, как борцы без правил, доставая ногами врагов.

Грохнул взрыв-пакет, на мгновение расшвыряв полицейских, но открывшаяся пустота вновь наполнилась яростными клубками. Полетела пластмассовая бутылка с бензином, полыхнула лихим огнём.

Заслон был прорван, цепь разомкнулась. Чёрная магма с рёвом потекла, заливая мост до перил и бронзовых фонарей.

Бекетов, отеснённый в сторону, видел взмахи дубинок, слышал лязг щитов. Под ногами у него валялся разорванный транспарант. Знаменосец с имперским флагом наклонил древко, действуя им, как копьём. Молодая женщина схватила на руки ребёнка, поворачиваясь спиной к ударам.

Бекетов увидел Елену, её смертельно-белое лицо, беззвучно кричащий рот. Ринулся к ней, рывками приблизился, схватил за рукав, и, почти отрывая его, потянул, выдирая из драки. Их подхватила толпа, которая стекала к Болотной, отделяясь от основного потока, льющегося на мост.

И уже из-под моста выбегали свежие силы ОМОНа. Блестели щиты и шлемы. Рассекали бегущую на мост толпу, отесняя обратно на Якиманку. Били в тыл головному отряду. От Кремля валили на мост войска, закупорили спуск, зажав демонстрантов в тиски. Подкатывали автозаки. На мосту ещё продолжалась драка, но демонстрантов уже тащили волоком, вбрасывали в автозаки. Ярость стихала. Рассечённая на ломти, толпа таяла, исчезала в уродливых железных коробках.

Бекетов видел Градобоева, что-то беспомощно выкликавшего в мегафон. Видел обморочное лицо Елены. Испытывал жестокое торжество, чувство победы, которую одержал над слепой историей. Заставил её следовать в заданном направлении.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Уже вечером Немвров вышел в эфир со своей метафорической программой “Смута”. Бледный от волнения, с лицом театрального трагика, он возвестил о катастрофе, которая приблизилась к русскому порогу. О мятеже, который с великим трудом был остановлен, но не отступил, притаился, готовый полыхнуть оранжевым пламенем и испепелить, в который уж раз, Государство Российское.

На экране возникла колонна, чёрная смола, затопившая Якиманку. Транспаранты: “Чегоданов — беги!”, “Чегоданов, привет от Кадафи!”, “Градобоев — наш президент!” Возник Градобоев, с лицом вождя и пророка, с полубезумной улыбкой, шагающий в окружении знамён и цветов. И сразу — драка с полицией у въезда на мост. Дубины, щиты, удары ног, кулаков.

— Неужели снова авантюрист и разбойник ввергнет народ в братоубийство? Неужели морги наполнятся трупами русских людей? — трагически вопрошал Немвров. И тут же возникали стеллажи морга и уложенные на них

обнажённые трупы — задеревеневшие руки, заострённые носы, разведённые врозь ступни.

Снова “Марш миллионов” — знамёна, плакаты: “Чегоданов, отдай награбленное!”, “Градобоев, вперёд, на Кремль!”. Истовое, с блуждающей улыбкой лицо Градобоева, розовое видение Кремля и — свалка на мосту. Оружие рты, лязги щитов. Молодой знаменосец бьёт заострённым древком в основание полицейского шлема.

— Люди русские, неужели нам опять суждены танки в центре Москвы, горящий город, брат, стреляющий в брата? Неужели злобный заговорщик, мерзкий чародей и колдун запалит пожар в центре святой Москвы?

Возник Белый Дом с дымящими окнами, чёрный от сажи фасад, танки, стреляющие прямой наводкой, и рыдающая женщина, возносящая руки к небу.

— Да, воистину, нам нужна великая Россия, а им, бесам тьмы, нужны великие потрясения, — патетически возглашал Немвровов, и в голосе его дрожала больная, готовая лопнуть струна. — Посмотрите на них, вот они — оранжевые бесы!

И снова колонна. Зоркая телекамера нашла в ней молодого мужчину с горбатым носом, гибким змеиным телом и плакатом: “Проведём гей-парад Победы в Москве!” Рядом две девушки целуют друг друга в губы, крутят страстными бедрами. Третья держит над ними икону и плакат: “Однополюсные браки заключаются на небесах!” И опять чудовищная драка. У полицейского отбирают щит, срывают шлем, тащат по асфальту, и какая-то женщина хлещет его букетом цветов, плюёт в окровавленное лицо. Лик Градобоева, надменный, счастливый — вершитель истории, хозяин человеческих судеб.

— Братья и сёстры, неужели попустим, чтобы в наших городах свистели пули и рвались снаряды? Неужели наши чудесные дома, дворцы, храмы, наши бульвары и парки станут выжженной землей?

И возникли картины разгромленного Грозного. Остовы домов, сторевшие танки, изглоданный снарядами дворец Дудаева, трупы на улицах. Из разорванного газопровода вырывается рыжее пламя, озаряет снега, и среди снегов, в коконе света — цветущая вишня, разбуженная адским огнём войны.

— Граждане России, это он, Градобоев, рвётся в Кремль по вашим трубам. Он строит свой храм из ваших гробов!

Градобоев шёл во главе колонны, как триумфатор, окружённый цветами и флагами. За ним тянулся бесконечный поток людей, ликующие, восхищённые лица. И этот поток, эти лица сменились погребальной процессией. Множество гробов плыло над толпой среди рыданий и слёз. Эти кадры текущих гробов повторялись ещё и ещё, и казалось, что процессии нет конца, и гробам несть числа. “Марш миллионов” превратился в похоронный марш, и это зрелище было невыносимо.

После передачи Бекетов позвонил Немвровову.

— Ты гений! Твои заслуги неоценимы! Когда мы победим, я поставлю перед Чегодановым вопрос, чтобы тебе дали канал. Мы накануне новых времён, и для этих времён потребуются новые символы, новый язык, новые метафоры. И на это способен только ты!

— Что бы я делал без тебя, мой учитель и вдохновитель! — воскликнул польщённый Немвровов, — Я приму от Чегоданова канал, если ты станешь моим личным опекуном и консультантом. Новой России без тебя не быть. Не Чегоданов, а ты — архитектор новой России! — и в голосе Немвровова была неподдельная благодарность и благоговение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

В апрельское воскресенье состоялись президентские выборы. Зашевелился огромный муравейник страны, и люди прилежно потянулись бесчисленными тропами выбирать себе матку. Избирательные участки в школах и домах культуры были украшены первыми цветами. Классные дамы, взявшие на себя роль председателей счётных комиссий, перелистывали списки, слов-

но школьные сочинения. Кабинки напоминали часовенки, в которых один за другим скрывались избиратели, сжимая заветный бюллетень. Наблюдатели, как зоркие ястребы, подмечали промахи и злоупотребления комиссий. Полицейские с дубинками охраняли священные алтари — прозрачные урны. Камеры наблюдения делали выборы гласными и открытыми. “Карусели” с наймитами кружили посреди участков, и наёмники по несколько раз отдавали свои оплаченные голоса. Проходили тайные вбросы фальшивых бюллетеней, где значатся “мёртвые души”. Подкупали стариков, отдающих свой голос за сотенную купюру. Одаривали водкой деревенских пьянчуг, падающих на землю тут же, возле участков. Нервничали губернаторы, следящие за голосованием в своих регионах. В тайных сводках спецслужбы извещали Центр о политической обстановке в губерниях. Неутомимые журналисты жаждали провокаций и скандалов. Работала электронная система ГАС “Выборы”, в которую не проникал ни один, даже самый въедливый наблюдатель, — машина, равнодушная к прозрачным урнам и телекамерам, с тайной, заложенной в неё математикой.

Люди шли выбирать себе правителя, насмотревшись агитационных роликов, начитавшись платных статей, надышавшись приторным воздухом предвыборных посулов и обещаний. Они верили, что новый правитель прибавит хоть малую толику к их скромным достаткам. Не желали думать, что этот правитель может послать их на войну, разорить их утлый уклад, ввергнуть государство в испытания, которые приведут народ к бунту, революции, распаду страны.

Градобоев, после разгона “Марша миллионов”, после бойни у Каменного моста, понимал, что случилась катастрофа. Чья-то безымянная беспощадная воля послала его в ловушку, ослепила, внушила умопомрачительный план и ввергла в погибель. Среди его сторонников начались аресты. Прокремлёвская пресса обвиняла его в попытке государственного переворота. Науськивала на него правоохранительные органы. Намекала на склады оружия, боевиков, снайперов, которые отслеживали маршруты Чегоданова. И, конечно, иностранные деньги, влияние американского посла, специалистов по “оранжевым революциям”. Страна бурлила, ужасалась, обыватель верил чудовищным слухам. И всё это накануне голосования сулило поражение.

Изведённый, с красными от бессонницы глазами, Градобоев явился на избирательный участок. Верный телохранитель Хуторянин окружил его плотным кольцом охраны. Сам шёл впереди, раздвигая стену журналистов, отводя рукой назойливые телекамеры и косматые микрофоны. Градобоев с деланным весельем принял от седой благовидной женщины бюллетень, скрылся в кабинке. Перечеркнул в бюллетене ненавистную фамилию “Чегоданов”. Сунул сложенный вдвое лист в щель прозрачной урны, напоминающей аквариум, стоявший когда-то в его детской комнате. Изумрудные водоросли, цепочки серебряных пузырьков и крохотные, как радуги, рыбки, гонявшиеся друг за другом.

Вышел из кабинки. Несколько журналистов, допущенные Хуторянином, поспешили задать вопросы:

— Позвольте узнать, Иван Александрович, за кого вы голосовали?

— За Россию, — улыбаясь, ответил Градобоев.

— Правда ли, что ваши соратники планировали захват Кремля и арест Чегоданова?

— Для меня и моих сторонников Конституция — превыше всего. Мы против насильственных действий.

— Вы не боитесь, что атака на вас в проправительственных СМИ предвещает грандиозную фальсификацию выборов? Уже поступают сообщения о злостных нарушениях и вбросах бюллетеней.

— Если власть украдёт у народа голоса, как она украла нефть, землю, алмазы, народ выйдет на улицу. И я буду вместе с моим народом.

Вопросы продолжали сыпаться, но Хуторянин увёл Градобоева, заслоняя его своим телом, усадил в машину, и они покатали в штаб.

В особняке было людно. Толпились журналисты, переговаривались политтехнологи. Члены штаба встретили Градобоева с повышенным воодушев-

лением, как встречают пациента с тяжёлым диагнозом, стараясь скрыть правду. Елена была тут же, с болезненным несчастным лицом, умоляющими глазами, и вид этих беспомощных глаз породил у Градобоева едкое раздражение, желание причинить ей боль.

— Где же Бекетов? — спросил Градобоев. — Он учил меня Русской Победе. Так давайте праздновать!

По телевизору шли репортажи о голосовании в разных регионах страны — на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. То и дело включалась трансляция демонстрационного зала Центральной избирательной комиссии. Глава комиссии Погребец, бородатый, степенный, как старообрядец, зачитывал сводки голосований. Открывалась карта России, покрытая золотыми и зелёными пятнами, свидетельствующими о симпатиях избирателей. Золотой цвет принадлежал Чегоданову, а зелёный — Градобоеву. Золотой был яркий и свежий, а зелёный — с мутноватым оттенком. И в этом Градобоев усматривал дискриминацию.

И вдруг, о чудо, Погребец возвестил, что на Дальнем Востоке с небольшим отрывом побеждает Градобоев. Это сообщение вызвало в штабе взрыв ликования, аплодисменты. Все кинулись поздравлять Градобоева, а в нём брызнула радость, как брызжет в разрыве туч летящее солнце.

Журналисты окружили Градобоева, наперебой спрашивали:

— В случае победы, кто будет вашим премьер-министром?

— Есть ли шанс у коммунистов войти в правительство?

— В своих предвыборных речах вы обещали начать расследование злоупотреблений прежней власти. Ваши обещания в силе?

Градобоев отвечал, иногда шутил, иногда говорил с непреклонной волей и твёрдостью, как власть имеющий. В штабе царил воодушевление. Кто-то принёс цветы. Кто-то бросился открывать шампанское. Но скоро воодушевление угасло. Дальневосточные голоса сравнялись, а потом вперёд вырвался Чегоданов.

— Мерзавцы! Фальсификаторы! — тоскливо произнёс Градобоев.

День длился. Всё новые регионы в Восточной и Западной Сибири завершали голосование, подводили итоги, и повсюду с подавляющим перевесом побеждал Чегоданов. И в селах, и в мегаполисах, и в промышленных центрах, и в заподёржных стойбищах, и в гарнизонах, и на кораблях дальнего следования. Градобоев понимал — это был разгром — разгром повсеместный, необратимый, испепеляющий его судьбу, отдающий его во власть жестоким циничным победителям, которые уничтожат его.

Журналисты покидали штаб Градобоева. Перемещались туда, где царил победитель. Градобоев с презрением смотрел, как они укладывают камеры и осветительные приборы, отводят блудливые глаза, уходят, не прощаясь. Один из них напоследок протянул Градобоеву мохнатый микрофон и нагло спросил:

— Господин Градобоев, вы намерены поздравить господина Чегоданова с победой?

— Это воровская победа, как и всё, что связано с Чегодановым! Уже сегодня я призову народ выйти на площадь и потребовать отмены фальшивых выборов! Народ — не быдло! Народ имеет право на восстание!

День тянулся тоскливо, Градобоев томился, с отвращением ожидая появления старообрядческой бороды Погребца. Тот сытым спокойным голосом возвещал об очередной победе Чегоданова. Пристрастия избирателей распределялись в пропорции “восемьдесят” к “двадцати” в пользу Чегоданова, и вес Чегоданова неуклонно увеличивался. “Ты взвешен и найден слишком лёгким”, — язвили память Градобоева библейские слова, звучавшие для него, как приговор. Не политический, а приговор всей его жизни, всем его устремлениям и мечтам. Неведомой волей он был вовлечён в западню и там уничтожен. И больше никогда не явится ему пленительная драгоценная капля — радужная Божья росинка, утренний бриллиант, который вёл его, словно путеводная звезда, от той утренней детской лужайки в Кремль.

Елена мучилась, боялась подойти к Градобоеву. Видела, как тот страдает, ненавидит, бессильно мечется, хватается за телефон, связываясь со сто-

ронниками в регионах. Замечала, как пустеет вокруг него пространство, как трусливо бегут те, кто недавно клялся в любви. И не было рядом Бекетова, не было его горящих верящих глаз, его пламенного вдохновляющего голоса. Елена много раз принималась звонить Бекетову, но его телефон был заблокирован. Опять её душа металась в раздвоении. Она стремилась спасти Градобоева, уберечь Бекетова, обоих окружить своей женственностью.

Наконец, в полночь были объявлены предварительные итоги голосования по всей стране. Это был оглушительный разгром Градобоева. За Чегоданова проголосовало восемьдесят два процента избирателей.

Показывали штаб победителя. Ломились журналисты. Ликовали министры, депутаты и губернаторы. Чегоданов, изящный, гибкий, то и дело исчезал в чьих-нибудь объятиях. То обнимался с режиссёром Купатовым. То тряс руку главе администрации Любашину. Президент Стоцкий целовал Чегоданова, счастливый и просветлённый, передавая обратно бремя непосильной власти. За спиной Чегоданова маячил телохранитель Божок со своим мягким, похожим на коровье вымя, лицом. Черноволосая, страстная, как цыганка, Клара прильнула к Чегоданову своими пунцовыми губами. И вдруг Чегоданов, разомкнув круг обожателей, пошёл навстречу человеку, которого сам выбрал в толпе. Обнял его, горячо прижал к груди. Градобоев, с тоской взвизгивающий на экран, и Елена, не знающая, чем утешить несчастного, — оба узнали в этом человеке Бекетова — именно его прижимал к себе Чегоданов. Бекетов улыбался, обнимая за плечи победителя. Официанты несли на подносах шампанское, и первым, с кем чокнулся Чегоданов, был Бекетов, который радостно до дна опустошил свой бокал.

— Это что? — с ужасом прошептал Градобоев, обращаясь к Елене. — Что это?

Она не отвечала, прикрыв ладонью дрожащий рот.

Градобоев водил своими воловьими глазами, как бык, получивший в лоб удар кувалды. Всё плыло, туманилось, покрывалось кровавой поволокой. Чудовищный обман, лютное предательство двигали окружавшими его явлениями, перемешивали и меняли местами события, людей, смыслы. Огромная бетономешалка месила окружающий мир, в котором ревели толпы, грохотали щиты и дубины, розовел Кремль. И всё перевертывалось, погружалось в тёмную гущу: и он сам, и висящий на стене предвыборный плакат с его портретом, и эта женщина, которая привела к нему предателя, впустила змею и теперь смотрит на него своими лживыми прекрасными глазами, что он так любил целовать, угадывая в них ответную безумную страсть.

— Сука, — сказал он шёпотом. — Сука рваная. Пошла вон!

Елена слабо вскрикнула.

— Уйди, а то убью! — прохрипел Градобоев, толкая её к дверям.

— Послушай меня, — слабо сопротивлялась она.

— Шлюха! Ненавижу! — он ревел, воздевая над ней кулаки, потом вышвырнул из комнаты, слушая, как удаляются её рыдания. Сел на диван, стиснул скулы ладонями и, раздвигая в оскале губы, завыл, как воет одинокий волк.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В штабе Чегоданова, в Доме Правительства, ликовали. Победно сверкали люстры. Валом валили чиновники, генералы, олимпийские чемпионы, деятели искусств. Разносили шампанское. Сверкали вспышки фотокамер. Чегоданов отвечал на приветствия, обнимался, находился в центре клубящегося вихря. Но был отделён от всех незримой мембраной, сквозь которую не проникали поздравления, здравицы, признания в преданности и любви. Он чувствовал, как вновь, спустя четыре года, стягиваются к нему силовые линии власти, и он обретает утрюмое могущество, таинственное величие, которым питает его громадная молчаливая страна. В его душу и плоть, разом и память, в отяжелелые глазницы и онемелый язык льются загадочные потоки с туманных небес, наделяя непомерной властью, отягощая непосильным

бременем. Двигают в бестелесную пустоту, откуда дует чёрный сквозняк истории. И он, так страстно рвавшийся к власти, страшится неотвратимого будущего, где, быть может, притаилась его погибель. Но уже не отступит, не убежать. Повинуясь вышней воле, он возьмёт на себя это бремя и понесёт его, как несли былые правители, исчезнувшие цари и вожди, среди народного обожания и ненависти.

Режиссёр Купатов, глава предвыборного штаба, воздел бокал шампанского. Обводя увлажнёнными глазами участников торжества, старался поймать взгляд Чегоданова:

— Господа, быть может, у кого-нибудь во время предвыборной кампании возникали сомнения в её победном исходе, но только не у меня. Я верил и верю в наш мудрый и прозорливый народ, который выбрал своего, народного президента. Того президента, который олицетворяет народные упования и надежды, черты народного духа и характера. Фёдор Фёдорович Чегоданов — народный президент, он офицер и мудрец, рачительный хозяин и набожный христианин, он взирает вперёд, не забывая о прошлом. Он владеет истинной формулой власти, которая звучит так: “Любить народ и бояться Бога”. Дорогой Фёдор Фёдорович, вы оценили нашу верность и преданность, нашу способность работать. Теперь, когда вы президент великой России, надейтесь на нас. Мы ваша гвардия. Поздравляю! — и он картинно чокнулся с Чегодановым, выпил бокал и разбил его об пол.

Пока проворные официанты подбирали осколки, спич произносил глава президентской администрации Любашин:

— Господа, любая перемена власти таит в себе много опасностей. “Оранжевая революция”, которую остановила победа Фёдора Фёдоровича Чегоданова, сулила нам великие потрясения. Но благодаря выдержке, воле и прозорливости Фёдора Фёдоровича, враг отступил, и оранжевый зверь, подобный тигру, превратился в маленькую кошку, которая забралась в дупло и смотрит оттуда настороженными злыми глазками. Бог любит Чегоданова, поэтому Он привёл его к победе. Бог любит Россию, поэтому Он подарил ей Чегоданова. Дорогой Фёдор Фёдорович, поздравляю и заверяю вас в нашей любви и верности! Вместе всегда победим! — Любашин залпом осушил бокал, но не стал его бить, а осторожно поставил на пол, откуда его ловко подхватил официант.

Теперь говорил Валентин Лаврентьевич Стоцкий, всё ещё президент, но уже поблекший, утративший плотность, пустой, как кокон, из которого упорхнула бабочка. Он с обожанием смотрел на Чегоданова, пузырьки летели в его бокале, и сам он был лёгкий, как пузырёк:

— Дорогой Фёдор, все ликуют, поздравляя тебя с победой. Но только я знаю, что эта победа наваливает на тебя неподъёмную тяжесть. Тяжесть управления такой страной, как Россия. Когда ты четыре года назад передавал мне власть, я не представлял себе, сколько она весит. А весит она столько, сколько весит земной шар. Дорогой Фёдор, поздравляю тебя, я возвращаю тебе в сохранности то, что принял четыре года назад. Возвращаю Россию, где в сохранности каждый город, каждая деревня, каждая речушка. Ты убедился в моей верности и любви. И впредь наш союз нерушим, и мы с тобой неразлучны. За твою Победу, за наш союз! — они обнялись с Чегодановым. Пили шампанское, глядя друг на друга сквозь золотой напиток.

Среди победителей присутствовал и тележурналист Немвровов, чей вклад в победу был несомненен. Улучив момент, он подошёл к Чегоданову, держа бокал за хрупкую ножку:

— Фёдор Фёдорович, с победой вас! — он скромно поклонился, не позволяя себе вольного взгляда, понимая, какая дистанция между ним и всемогущим президентом, и тот милостиво чокнулся с ним.

Чегоданов поднял руку, прекращая шум. Все замерли, замороженно, влюблённо глядя на своего президента. Чегоданов обвёл всех благодарными глазами, и все знали этот мягкий, вкрадчивый взгляд, суливший высочайшее расположение, милость, воздаяние за верную службу:

— Вы все работали безупречно, друзья мои. Мало кто может похвастаться такой образцовой командой, как наша. Вы все — высочайшие профес-

сионалы, все спаяны одной целью, и эта цель — наша ненаглядная Россия. Будем работать во имя России. За Россию! — он выпил среди бурных рукоплесканий.

Бекетов испытывал утомление и благодное тепло, которое сменило ужасное, длившееся месяцами напряжение. Исчез близкий к срыву мучительный страх перед возможной ошибкой, сулившей катастрофу. Теперь, среди сверкания люстр и нежного стеклянного звона бокалов он оттаивал, наслаждался. Знал, что эта передышка — на час. Уже завтра его вызовет Чегоданов, предложит пост в администрации. Начнутся консультации по составу правительства, утверждение губернаторов, генералов в силовых министерствах.

Начальник охраны Божок перерыве между тостами, спросил:

— Фёдор Фёдорович, а что будем делать с этим разбойником Градобоевым? Мне сообщили, что он созывает народ, хочет вести его к Дому правительства.

— Он не опасен, — легкомысленно отмахнулся Чегоданов. — Он смертельно ранен и уползёт в лес умирать под корягой.

— Может, ему помочь уползти?

— Он больше не волнует меня. Забудем о нём навсегда.

— Будет сделано! Забудем навсегда! — шутовски щёлкнул каблуками Божок, приложив ладонь к виску. И Бекетов вдруг увидел красные угольки жестокости в смеющихся глазах телохранителя. И его пронзила мысль о Елене, о которой он не думал весь этот грохочущий день. И мысль о Градобоеве, который мечется, как подранок, погружаясь во тьму своего поражения. Бекетов отошёл в сторону, стал звонить Елене, но её телефон молчал.

Между тем Чегоданов подошёл к Стоцкому, который мило беседовал с режиссёром Купатовым. Взял его дружески под руку:

— Прости, Валя, я на минуту тебя отвлеку, — и повёл в соседнюю комнату, где можно было уединиться во время ночных неусыпных бдений и оперативных совещаний. Провёл Стоцкого к столику, на котором стоял компьютер. Вернулся к дверям и плотно их закрыл. Убедился, что и вторая дверь, ведущая из комнаты, тоже закрыта.

— Что ты мне хочешь сказать, Федя? — улыбался Стоцкий.

Чегоданов достал из кармана флэшку, вставил в компьютер. Зазвучал голос Стоцкого, дрожащий от страсти:

— Если бы вы знали, господин Градобоев, как вас ненавидит Чегоданов! Как вас боится! Вы для Чегоданова смертельный враг!

— Федя, это ложь, подделка! — воскликнул Стоцкий. — Не верь, Федя! Нас хотят посорить!

— Молчать! — оборвал его Чегоданов.

Стоцкий был бледнее белого листа...

...Позднее Чегоданов увёл Бекетова в соседний кабинет.

— Андрей, — Чегоданов усадил Бекетова на диван с золочёной спинкой, движением осторожным, но властным. — Я должен тебе это сказать теперь, в первые минуты моего торжества. Я безмерно тебе благодарен. Ты пришёл мне на помощь в трудную минуту, позабыв обиду, и тебе были важны не наши с тобой отношения, но судьба государства. Не знаю, одержал ли бы я победу, окажись рядом со мной кто-нибудь другой, а не ты. — В лице Чегоданова была твёрдая ясность, спокойная уверенность, словно и не было недавних бурь, нервных срывов, тоскливого ожидания. Власть, что он получил, разгладила мучительные морщины, наполнила тихим светом глаза. Исполнила сил, которые не таили в себе угрозы другим, а только твёрдое превосходство.

— Но теперь, когда мы победили, и враг повержен, теперь, Андрей, мы должны расстаться. Наступает совсем иная пора, где мне не нужны пылкие поучения и религиозные проповеди, исторические примеры и уверения в моём мессианстве. Мне это будет мешать. Я сам знаю, как управлять государством, как выстраивать отношения с элитами, как ладить с народом, как балансировать среди групп, от которых получил власть и которые наблюдают за каждым моим шагом. Предвыборный театр окончен. Начинается реальное управление, в процессе которого ты будешь мне помехой. Вначале мы ста-

нем сглаживать наши конфликты, но, в конце концов, они обретут открытую форму, наша ссора станет достоянием гласности и пойдёт во вред стране. Совсем как ссора царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона. Поэтому расстанемся сейчас, когда наши отношения безупречны. Я преисполнен к тебе самой высокой благодарности, самого чистого дружелюбия.

Бекетов слушал и удивлялся своему спокойствию. Казалось, он ожидал этого объяснения. Его на время заслонили бурлящие марши и митинги, виртуозные комбинации, дерзкие решения на краю катастрофы, которая, случись она, накрыла бы их обоих вместе с гибнущей страной. Но теперь, когда край беды отодвинулся, наступила пора расстаться. И он, “собинный друг царя”, должен покинуть царский терем. Оставить расписные палаты и удалиться в изгнание, к северным монастырям и озёрам, на которых кричат дикие лебеди.

— Ты можешь обвинить меня в неблагодарности, в вероломстве. Но ты сам говорил, что в политике действует совсем другая мораль. Морально то, что способствует возвышению государства. Мерилом людских отношений является только одно — судьба государства. Поэтому я прошу тебя удалиться. Ты ни в чём не будешь испытывать недостатка. По первому зову я кинусь к тебе на помощь. Но теперь мы расстанемся.

А у Бекетова — сладкое головокружение, упоительное прозрение.

— Я согласен с тобой, Фёдор. Я уеду. Помогай тебе Бог.

Они обнялись и вышли вдвоём в гомон, смех, звон бокалов. Хмельные генералы шли за русскую армию. Министры обсуждали цены на энергоносители.

Бекетов ушёл, не прощаясь.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

...В ночном городе Бекетов искал Елену. Её мобильный телефон не отвечал. Не отвечал и домашний. Он позвонил в штаб Градобоева, но нелюбезный голос ответил, что пресс-секретаря здесь нет. Елена присутствовала в этом ночном, не желающем уснуть городе среди порывов сырого ветра и дождевых брызг. Её кружило в водоворотах, ударяло о выступы зданий, слепило ошалелыми фарами. Её окружало несчастье, ненависть, презрение, и он был тому виной.

Наконец, он решил поехать к её дому на Трифоновской и у ворот караулить её, как бы поздно она не вернулась. Он стоял у чугунной решётки, заслоняясь от дождя, глядя на фасад, где погасли почти все окна. Лишь несколько оранжевых окон — свидетели чьих-то бессонниц — продолжали гореть. В далёком прогале ртутно светила улица. По ней размытые, как шаровые молнии, проносились огни. Он ждал, когда её машина вынырнет из прогала, остановится у ворот, и она, усталая, выйдет открывать замок. Он обнимет её, поцелует любимые глаза, всё объяснит, и они, свободные, любящие, уедут из этого грозного города. Унесутся в лазурь, где их ждет восхитительная бесконечность.

В проёме зажглись фары, надвинулись, ослепили. Знакомая машина остановилась перед воротами. Елена вяло вышла, приблизилась. Бекетов выскользнул из тени, кинулся к ней.

— Это я, не бойся! — он увидел, как она отшатнулась. — Я ждал тебя, волновался.

Он хотел обнять её, но она шарахнулась, отгородилась руками.

— Это я, Лена!

— Не подходи!

— Лена, я тебе всё объясню... Я не мог тебе рассказать... Всё оставалось в тайне...

— Ты поступил, как мерзавец! Использовал меня, низко, гадко.

— Это было необходимо... Не ты и не я... Решалась судьба государства... Но теперь всё кончилось. Мы свободны. Мы можем уехать.

Он попытался её обнять, но она отшатнулась:

— Я тебя ненавижу!..

— Подожди, я всё объясню. Мы свободны. Мы можем уехать, и нас никто не достанет. Только ты и я. Книги, стихи, природа. У нас будет семья, ты родишь мне ребёнка. Нам будет чудесно, поверь!

— Посмотри на себя, ты ужасен! У тебя не губы, а шевелящиеся черви! У тебя не кожа, а чешуя! У тебя на руках — когти, а между пальцев — перепонки! Где ты появляешься, там смерть, разрушение! Ты предал меня, Градобоева, предал множество прекрасных людей. Теперь им грозит арест, тюрьма, даже смерть!

— Подожди! — Бекетов чувствовал, что теряет её. Она удаляется навсегда, и он не в силах её удержать. — Этот Божок, его красные жестокие угольки... Он сказал: “Забыть навсегда”. Градобоев в опасности. Его надо предупредить!

Он обнял её, но она с силой его отшвырнула.

— Ненавижу!

Запрыгнула в машину. Фары ослепили его. Машина попятилась, развернулась и исчезла в проёме, брызнув рубином.

Бекетов стоял ошеломлённый, и дождь наносил ему хлёсткие пощёчины.

Елена мчалась к штабу Градобоева с ужасным предчувствием. Это она, в своей слепоте и доверчивости, стала причиной страшного зла и привела Градобоева к гибели. Эта гибель приближалась к Градобоеву по ночной Москве, и надо её упредить, заслонить Градобоева или погибнуть вместе с ним. Она много раз принималась звонить, но телефон Градобоева был заблокирован. Она представляла, как он мечется в опустелых комнатах, одинокий, отравленный, без недавних друзей и сподвижников. И только она одна может его утешить, вдохновить, вернуть ему волю. Упредить неведомую беду.

Москва в чёрном дожде пылала синей ргутью, брызгала белой плазмой. Дома казались огромными сосудами, в которых полыхал огонь, плескалось липкое пламя. Под колёсами извивались разноцветные черви, из которых струилась красная, зелёная, желтая жидкость. То падало с неба фиолетовое пернатое чудище, то всплывала из глубины огненная, с раскалёнными жабрами рыба. Навстречу летели свергающие медузы, бесшумно расплющивались о стекло. Её опутывали водоросли, ядовитые многоцветные стебли, сочно хрустевшие под колесами. Едкие, с мокрыми лепестками, цветы, бились о стекло, норовили ужалить. Рекламы, как громадные светила, — лиловые, изумрудные, рубиновые — проплывали над крышами. Она не узнавала Москвы, которая казалась бредом, больным сновидением.

Переулок у набережной, где находился штаб Градобоева, был перекрыт полицейскими. Елена бросила машину на набережной, где гигантский Пётр в пятнах туманного света казался колючим перепончатым динозавром, вставшим на задние лапы. Она прошла сквозь кордон полиции. Перед особняком толпился народ. Гудел мегафон: “Градобоев — наш президент!” Под фонарями светлели плакатики: “Чегоданов, ты украл голоса!” Елена, глядя на балкон, на занавешенные светящиеся окна, снова пыталась звонить. И опять безуспешно. Она протолкалась к дверям с кнопкой домофона. Нажала. Голос спросил:

— Кто?

— Я Елена Булавина.

— Приказано не пускать.

— Я пресс-секретарь Градобоева.

— Не велено, — и голос пропал.

Елена в отчаянии отступила. Стояла в толпе, слушая гул мегафона. Всмотривалась в балкон, в занавешенные окна, не скользнёт ли по ним знакомая тень.

Градобоев пережил потрясение, преодолел взрыв, разорвавший на лохмотья его личность. Чудовищным усилием воли он собрал воедино разлетающуюся галактику, вернул на место все её планеты и звёзды. Снова стал её центром. Непокорённый, не сдавшийся, он продолжал сражаться. Был волнорезом, о который расшибался свирепый поток. Вспарывал волны, раздва-

ивал их, укрощал ревущую громаду. Он оставался непобеждённым борцом, идущим к победе через все поражения.

Градобоев не покинул особняк, сидел перед компьютером, набивая в блог послание к единомышленникам.

Он слышал под окнами невнятный гул голосов, вой полицейской сирены. Вошёл телохранитель Хуторянин, осторожный, вкрадчивый, зоркий, с той чуткой бдительностью, которая во всём подозревала опасность.

— Иван Александрович, перед входом собрался народ. И подходят всё новые люди. Ваши сторонники не согласны с итогами выборов. Готовы идти к Дому Правительства. Им надо что-то сказать.

— Правильно, народ не сдаётся! Народ имеет право на восстание! Я сейчас к ним спущусь.

— Мне кажется, Иван Александрович, не надо спускаться. Лучше выйдите к ним на балкон.

— Ещё лучше! В этом есть что-то революционное. Речь Ленина с балкона Кшесинской... Открывайте балкон, Семён Семёнович!

Хуторянин отбросил шторы. Стал открывать балкон. За зиму дверь балкона разбухла, приклеилась к косяку, и Хуторянин дёргал, приподнимал, прежде чем она открылась. В душную комнату пахнул весенний ветер, зашевелились на столе бумаги. Ворвался металлический гул мегафона, рокот толпы. Градобоев встал и, не набрасывая пальто, уверенно, широким шагом ступил на балкон.

Переулочек был полон бурлящих людей. Под фонарями виднелось множество лиц, плакатов, флагов. Вдалеке набережная Москвы-реки мерцала пролётными ночными огнями. В жёлтом зареве, огромный, в забрале и латах стоял великан, и у его ног слабо переливалась ночная вода.

Люди, увидев Градобоева, радостно взревели, выше воздели плакаты и флаги. Вдохновлённый этим приветственным рокотом, он, их вождь, их не сдавшийся лидер, был готов обратиться к ним с пламенными, зовущими в бой словами.

Он схватился руками за мокрую от дождя решётку балкона. Ветер развевал его волосы. Он набрал полную грудь холодного сладкого воздуха. Увидел в доме напротив, в чёрном приоткрытом окне слабую искру. Она увеличивалась, становилась ярче. Наливалась драгоценным светом, начинала сверкать, как волшебный бриллиант. Была упоительной, дивной звездой, озарявшей всю его жизнь. Божественной каплей росы, которую он увидел однажды ребёнком, стоя босыми ногами на влажном крыльце. Среди утренней сверкавшей росы глаза усмотрели сказочную росинку, которая переливалась альми, голубыми, золотыми огнями. А потом исчезла, и всю жизнь его глаза продолжали её искать. Чудная, как путеводная звезда, как несказанное чудо, она манила его. И теперь появилась, летела ему навстречу во всей своей божественной красоте. Ликуя, он ждал её приближения, и она входила в него, сливалась с ним, расцветала в нём, как сказочная радуга.

Пуля врезалась ему в лоб, просверлила лобную кость, рассекла и взорвалась мозг и остановилась внутри, у костяного затылка. Градобоев качался, раскрыв руки, словно собираясь взлететь, а потом перегнулся чрез перила и рухнул на тротуар.

Толпа взвыла. Раздался женский визг. Елена видела, как тяжело падает Градобоев, ударяется с глухим стуком о землю. Вокруг него открылась пустота, блестящий от дождя асфальт, на котором лежало его большое распростёртое тело.

Елена тихо ахнула, выбралась из толпы и, забыв, где оставила машину, заторопилась, слепо побежала среди размытых огней, не замечая, что кричит.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Чудесным майским днём состоялась инаугурация президента. Москва казалась умытой, озарённой, с изумрудом распустившихся лип, с пылающими на клумбах тюльпанами, с бурными фонтанами. Кортёж мчался по Кутузов-

скому проспекту. Пустой и ясный, проспект раскрывал просторную даль. Мотоциклисты, образуя клин, летели, брызгая хрустальными огнями. Мерседес нёсся, едва касаясь земли. В салоне за тёмными стёклами сидел Чегоданов. В его глазах переливалась перламутровая Москва. Она казалась безлюдной — не было на тротуарах толпы, исчезли автомобили. Только виднелись полицейские посты, и на крышах на мгновение возникали снайперы.

Это безлюдье волновало Чегоданова. Город принадлежал только ему, он был единственным его обитателем. И путь, который ему предстояло проделать, был той таинственной и грозной дорогой, которой двигались до него цари и вожди. Избранники судьбы, наделённые властью над огромной страной, которую им надлежало строить и взращивать, подавлять бунты, выигрывать войны, строить дворцы и храмы и, если будет угодно Богу, погибать в закоулках дворца или в пламени взрыва, или в чёрном расстрельном подвале.

Впереди возникла Триумфальная арка в своей ампирной красоте и величии. Кorteж промчался под сводами арки. Колесница на её вершине метнулась вслед за corteжем, и крылатые трубачи гремели победные гимны.

Кремль, торжественный, алый, воссиял куполами, белизной соборов, янтарным солнцем дворца. Чегоданов почувствовал на лице сладкое жжение, словно кто-то восхитительный поцеловал его глаза. Кремль ждал его, выбрав одного из бесчисленных претендентов, чтобы отворить перед ним врата. Впустить в священные чертоги, окружить волшебными силами, от которых воля обретает могущество, а дух соединяется с духом великой, непостижимой страны, с её таинственной небесной судьбой.

Кorteж промчался по набережной, вдоль алой стены, мимо солнечных сияющих вод. Василий Блаженный возник, как чудесный цветок, Чегоданов чуть заметно ему поклонился.

Под колёсами нежно рокотала брусчатка. Спасская башня сверкнула обручальным кольцом курантов. Кремлёвский дворец, как стена лучезарного солнца, предстал перед ним. Чегоданов шагнул из машины. Комендант Кремля отдал ему рапорт. Лёгким упругим шагом Чегоданов стал взлетать по ковровой дорожке среди мрамора, потоков света и певучего пеня фанфар, возвестивших его появление.

Перед ним гвардейцы в киверах и красных мундирах растворяли золочёные двери. Стремительный, лёгкий, почти невесомый, словно подхваченный счастливым порывом, он вошёл в Георгиевский зал. Тесно стояли государственные мужи, явившиеся славить своего президента. Генералы и директора военных заводов, главы академий и научных центров, великие артисты и богословы. Все аплодировали, тянули руки, надеясь на беглое касание, ловили ветер, поднятый его порывистым шагом.

Зал сиял белоснежным мрамором, золотые надписи славили подвиги гвардейских полков, батарей, экипажей. Он миновал Александровский зал с золотыми орлами, с торжественной геральдикой флагов. На возвышении стоял трон, накрытый горностаем, и казалось — над троном витает великая тень.

Андреевский зал огласился фанфарами и встал при его появлении. Патриарх и иерархи, министры, губернаторы и судьи, послы и иноземные гости — все ловили его взор, хотели угадать его мысли.

Он упруго взошёл на подиум, уверенный, лёгкий, с твёрдым светлым лицом, с чуть приподнятой головой. Перед ним, как Евангелие на аналое, лежал том Конституции в переплёте из кожи африканского зверя.

Судья в чёрной мантии, с пергаментным лицом монаха был готов принять от него присягу.

Чегоданов чувствовал, как трепещет воздух над *священной скрижалю*. Как сквозь арку окна падает на него с небес голубой прозрачный луч. И в этом луче звучит неслышная моль, несётся божественное благословение, венчающее его на служение.

Он протянул руку, готовясь произнести слова присяги, сочтаться клятвой с народной судьбой, разделить с народом судьбу. Он чувствовал на своём темени прикосновение луча, прикосновение перста Божия, направлявшего его в русскую бесконечность. В этой бесконечности пленительно и волшебной силой звезда — звезда неизбежной Русской Победы.

— Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина...

И его рука, касаясь кожи африканского зверя, чуть заметно дрожала.

Инаугурацию по телевизору наблюдал Андрей Алексеевич Бекетов, который вновь поселился в провинциальном городке М., в “городе двух царств”. Крохотная квартирка выходила окнами на далёкие поля, в которых весна начертала прозрачные зелёные полосы. Из Москвы он привёз стопку книг и заветный “мамин цветок” в надежде, что, быть может, зимой, среди лютых морозов, мама вновь пришлёт ему подарок из райских садов, и он станет цвеловать белые соцветия.

Он много читал, много гулял, много молился. В монастырском храме среди редких прихожан выстаивал долгие службы, и его рассеянная мысль отвлёкалась от песнопений и летела мимо синих дымов и алых лампад в таинственную бесконечность. Из этой бесконечности смотрели на него любимые лица, звали к себе, и он ещё долгие годы будет терпеливо ждать этой встречи.

Теперь он сидел в архиерейских палатах, у настоятеля отца Филиппа. Тот, глядя в оконце на негасимую зарю, говорил:

— Мы, я помню, Андрей Алексеевич, как-то говорили о том, что Россия — мученица. Наша мысль сводилась к тому, что Россия своими страданиями Богу угодна, и она через свои страдания укажет миру путь к Богу. Россия — миру спасение. Я с этим согласен. Вот только не вижу, как Россия, в которой, как вы говорите, поселился зверь, может стать миру спасением. Кто из нас, на ком грехи неотмолимые, может такое слово сказать, за которым мир пойдёт? Не вы и не я, не схимник, не президент, не художник. Все слова — как перезревшее яблоко: снаружи — румяное, а внутри — червяк. Червяк поселился в России и точит, точит, пока Россия ни упадёт. Как же она, тухлая, станет миру спасением?

— Не знаю, отец Филипп. Это мне не открылось. Я уповаю на чудо.

— И я уповаю, Андрей Алексеевич. Если рассуждать разумно и трезво, Россия погибла. Но если верить в Чудо, то Россия воскреснет. Я верю в Пасхальное чудо.

— Вы сами говорили, отец Филипп, со слов Афонских монахов, что Россию ждёт чудо Преображения: явится дивный царь, который спасёт Россию. Может, он уже здесь, среди нас, только мы об этом не ведаем?

— Я все вглядываюсь, но будущего царя куда не вижу.

Бекетов откланялся и, прежде чем вернуться домой, отправился на вечернюю прогулку. Городок, опушённый зеленью, казался нарядным, милым. Заборы и наличники были покрашены. В палисадниках земля была вскопана, и наружу лезли сочные стебли пионов. У калиток сидели старушки, шумели дети, и матери не могли их загнать домой.

Он шёл по улице Мира со щербатым асфальтом. Когда-то это была улица Сталина, а до этого — улица Троцкого, а изначально она была Воздвиженской, ибо вела за город, к Воздвиженской церкви. Среди домиков возвышался ампириный собор с колоннами, выстроенный в честь победы над Наполеоном. Он был обшарпан, в пятнах и строительных лесах, но купол в вечерних сумерках уже сиял позолотой.

Навстречу Бекетову попался часовщик — молчаливый сутулый мужчина, который раз в неделю карабкался на колокольню и заводил старинные часы. Они молча раскланялись.

В парке в распутившихся берёзах недвижно застыла заря. У оврага, полного фиолетовых сумерек, стояли два алебастровых оленя — памятник жителям, расстрелянным чекистами.

Бекетов прошёл через парк и вышел на улочку, тихую и безлюдную, с домиками, в которых кое-где уже светились оранжевые абажуры. Навстречу ему шёл мальчик. Худой, с нежной открытой шеей, с высоким лбом, на который спускалась светлая чёлочка. Что-то особенное показалось Бекетову в этом мальчике. Они поравнялись. Бекетов уступил дорогу и заметил, что синие глаза мальчика широко открыты, он тихо улыбается своим мыслям, не замечая ни Бекетова, ни высокой берёзы, ни разбитого тротуара, — словно идёт, не касаясь земли. Они разминулись, и Бекетов не мог понять, чем взволновал его этот случайно встреченный мальчик. Обернулся. Мальчик удалялся, и над его головой тихо золотился воздух.

МАРИНА ПОМОЗ-ЛАЙКОВА



ЗЕМЛЕ ИСПОВЕДУЮТСЯ КОЛОСЬЯ...

КОЛОСЬЯ

М. Позднякову

Земле исповедуются колосья.
Высоко плывут облака по-над полем...
Земле исповедуются колосья,
А в шёпоте их нет ни страха, ни боли.

Но тихая-тихая радость лучится,
Как будто открыта им тайна нетленья.
Не грех принуждает к земле клониться,
А спелые зёрна святого смирения.

* * *

Всю ночь бушевала,
Кипела, мела непогода.
По улицам гулким
Неслась кавалькада теней,

ПОМОЗ-ЛАЙКОВА Марина (Лайкова Марина Алексеевна). Родилась в 1975 г. в Борисове. Окончила БГПУ им. М. Танка. Публиковалась в журналах «Нёман», «Немига литературная», «Наш современник». Автор поэтического сборника «Дымчатые кони». Живет в Борисове.

И толпы шатались
Весёлого пьяного сброда —
Иль мокрых деревьев
В мерцании тусклых огней?

Дождливыми крыльями
Кречеты били по окнам,
Быть может, в кого-то
Вселяя тревогу и страх.
А я наблюдала
За этим безумным галопом,
И я лишь, ликуя,
Стояла в открытых дверях.

Всю ночь бушевала,
Кипела, мела непогода.
А я восклицала: “Отныне
Как хочешь, живи!
Тебе и не снится,
Что я отмечаю свободу,
Свободу от страсти своей
И твоей нелюбви”.

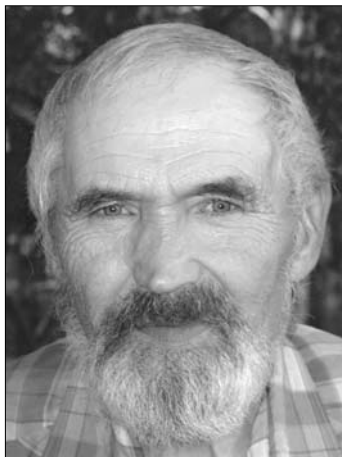
СОСНЫ

Стройные, высокие, печальные
Смотрят на рдеющий закат.
Что им видится? Просторы дальние,
Волн морских жемчужный перекал?

А быть может, снятся им сраженья,
Отсвет факелов, бряцание кольчуг,
Иль луны хрустальное свеченье,
Или завыванье снежных вьюг?

Сосны, сосны, хорошо мне с вами
Здесь стоять и слушать тишину,
Видеть, как заката меркнет пламя,
И мечтать про даль и старину...

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ



ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

ОСЕННИЙ РОМАНС

Твои глаза — пронзительная осень,
Сияй, сияй, прощальный свет любви!
Летит с ветвей осиновая озвень,
Но ты её разлукой не зови.

Перебирает солнечные струны
Задумчиво и скорбно старый лес.
Кружа листву, поют речные струи,
Что создан мир из боли и чудес.

Бессмертна жизнь, а время быстротечно,
Как музыка серебряного дня!
Взойдёт звезда — и ты уйдёшь навечно,
Прощальным светом ослепив меня.

Забуду я о грёзах летней сени,
В чужом краю меня забудешь ты.
Рассеет ночь по травам наши тени —
И нежно вспыхнут поздние цветы.

ГОРБУНОВ Анатолий Константинович родился в деревне Мутино Киренского района Прибайкалья в 1942 году. Стихи стал писать ещё школьником. Рано приобщился к труду: пастишил, пилил лес, плавал на пароходе кочегаром, несколько лет проработал в авиации. Первые стихи А. Горбунова были опубликованы в альманахе "Сибирь", в газете "Литературная Россия", в сибирских журналах. В 1977 году он был принят в Союз писателей СССР. Сегодня А. Горбунов — автор почти двух десятков книг стихов и прозы для взрослых и детей.

ОБЛАКА

Станиславу Куняеву

Как правда жизни роковая,
Как обнажённый нерв земли,
Блестит дорога полевая,
Теряясь в солнечной дали.

Когда-то я ушёл, беспечный,
По ней за дымный перевал...
Осенний ветер птицей встречной
Над полем крылья распластал.

А в небесах, белее стужи,
Качаясь между берегов,
Плывут, плывут живые души —
Лебяжьи стаи облаков.

Кого любил, кто не дождался —
Печальный след моей судьбы...
Спасибо, жизнь, что не остался
Я без родительской избы!

От облаков ложатся пятна
На крыши изб и на луга,
Устанут плыть — и безоглядно
Накроют родину снега.

Вот так и я — отвергну боли,
Роняя перья на жнивье,
В морозный день на этом поле
Найду пристанище своё.

ОСНЕЖЬЕ

Александр Шелаку

Легли снега матёрые,
На волю радость просится!
Над струйчатой Ичорою
Азартный лай разносится.

Знакома песня давняя,
Но ранен ею снова я:
То близкая, то дальняя,
Она всегда, как новая.

То белая, то синяя
Та песня немудрёная,
С ветвей пушистым инеем
Слегка посеребрённая.

Возьму ружьё гремучее,
На лыжи встану каткие,
Уйду в хребты дремучие
Еловыми распадками.

Не надо мне ни соболя,

Ни птицу, ни сохатого,
А плыл бы над сугробами
Дым от костра мохнатого!

Мне счастье — лайки верные,
Ичоры струи длинные
И облака вечерние,
Как лежбища звериные.

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

Николаю Рубцову

Любовь земная, ты неугасима!
Лес, увядая, вспыхнул от мороза.
Гори, гори, осенняя осина,
Гори, гори, осенняя берёза.
В такое время громче зов природы.
Бурлят в реке зловещие закаты.
Как мало вас, оставшиеся годы,
Как много вас, разлуки и утраты.
Ловлю рукой огонь на ветках тонких
И говорю: о, молодость, воскресни!
А мне в ответ, блуждая, как в потёмках,
Выводит ветер жалобные песни.
Но журавлей своих не окликаю,
Их не обманет древняя дорога.
Я всё, как есть, на свете принимаю,
Познав тоску отцовского порога.
Любовь земная, ты неугасима!
Лес, увядая, вспыхнул от мороза.
Гори, гори, осенняя осина,
Гори, гори, осенняя берёза.

СТАРЫЙ СНИМОК

Свадьба. Гости. Мёд и пиво.
Мы в обнимочку стоим,
Улыбаемся счастливо —
Молодая с молодым!
Озаряют наши лица
Глаз венчальные костры.
Я боюсь пошевелиться,
Не дыша, застыла ты...
Разлучат нас злые люди,
Не сведёт судьба опять...
А на снимке так и будем
Всё в обнимочку стоять.

ВАЛЕРИЙ ИСАЕВ



ДОКТОР ФАЯ

БЫЛЬ

...Ухал, вколачивая в людские души отчаяние пузатый барабан. Безбожно фальшивили пронзительные трубы самодеятельного оркестра. Похоронная процессия, выйдя со двора, направилась к кладбищу.

Одетую в чёрное Фаину Михайловну держала под руку дочь.

Фаина Михайловна шла прямо, не опустив головы, а наоборот — подняв её, так что видно было её лицо — бледное, обрамлённое траурным платком. Горе, похоже, не приставало к ней — сильной.

— Хоть бы всплакнула для порядку...

— Куда там. Такая заплачет — как же... Гордячка...

— Такую ничем не проймёшь...

— А вы чего хотели от фронтовички?

— Сердце надо иметь...

— Да она каждого из нас от чего-нибудь да вылечила — вот сердце-то и израсходовала...

— Тихо вы...

— Это ж надо как держится... Молодец эта доктор Фая...

— Да тихо вы, нехристи...

Спихватывается нестройный оркестрик. Люди склоняют головы, мужчины как по команде срывают с голов отсыревшие от пота на июльской жаре кепки, вытирают взмокшие головы.

ИСАЕВ Валерий Николаевич родился в 1941 году в Ленинграде. Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт. Доктор медицинских наук, действительный член Академии медико-технических наук. Работал по профилю в Рубцовске (Алтай) и в Москве. Автор 12 книг прозы и 6 поэтических сборников. Среди них «Огонь плящий», «Первый и последний», «На краю». Лауреат премии Александра Невского. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Неживые цветы подрагивают на длинных негнущихся проволочных стеблях.

— Сильная женщина, что и говорить.

— Жалко её: век с человеком прожила... Осталась теперь одна...

— А дочь?

— А что дочь! Дочь — отрезанный ломоть, известное дело...

...Леониду свою Фаина Михайловна провожала вскорости после похорон. Дочь училась в институте в сибирском городе, спешила на занятия.

— Mam, a mam...

— А? Что доченька? — отзывалась не сразу мать.

— Я говорю, — робко начинала Леонида, — слезами горю не поможешь... Может, хватит убиваться, а, мам?.. Ма-а-м, ты слышишь меня?.. м-а-ам...

— Да, да... Конечно, доченька, — отвечала Фаина Михайловна и даже улыбалась искорёванной вымученной улыбкой.

И опять замирала, глядя в окно, как будто поджидала его — терпеливо, томительно, часами. Она изводила себя этим ожиданием, просиживая сутками у окна, не сводя воспалённых глаз с дороги, с крыльца. Вздрагивала каждый раз, когда набегавший ветер хлопал калиткой или ставнями.

— Ну, я пошла, мамочка... — снова заводила Леонида, прижимая к себе спортивную сумку с огромными буквами на боку "adidas". — Ну, так я пошла, слышишь...

— Конечно, конечно, — отвечала Фаина Михайловна дочери и опять принималась виновато улыбаться.

— Ну, не могу я так. — Леонида возвращалась в дом, валилась на диван, сумка с иностранными буквами падала на пол. Леонида закрывала лицо руками, горько плакала. — Ну, не могу, не могу же я оставить тебя в таком состоянии, не могу уйти, не могу — и всё...

— Конечно, конечно, — безразлично отвечала мать. И снова, уставившись в окно, затихала.

Больничный Фаины Михайловны Леончиковой, первый за всю её жизнь, проделывали несколько раз. Никак не получалось у неё выйти на работу прежней — крепкой, сильной. А другой она не хотела появляться среди своих. Повидимому, опыт и суровая школа фронта, который она прошла от начала и до конца, выучил и сформировал её и как хирурга, и как прооперированного — мало ли что может случиться! Да и вызов возможен в любую минуту — кто, как не дежурный врач придёт на помощь, да и лишняя копейка в семью за ночное дежурство не помешает — про то все хирурги хорошо знают.

Был такой случай: наткнулся на щепу в поле во время уборки урожая человек. Нескладно упал со скирды и наткнулся на торчавшую из земли щепку. А та прямо ему в сердце и воткнулась. Чуть ли не насквозь грудь пропорола. Привезли в больницу в тяжелейшем состоянии. Что было делать? На сердце оперируют только в центре — в Москве да Ленинграде, куда не раз ездила Фаина Михайловна на усовершенствование, видела, как это всё делается, да только думала, что никогда ей не оперировать на сердце — для этого нужна техника современная, аппараты, а разве добудешь их на Алтае, в районной больничке?

А вот довелось-таки.

Человеческая жизнь одинаково ценна — что в центре, что на окраинах страны.

Срочно "вымылась" и — в операционную, куда уже доставили пострадавшего.

Началась операция.

Не было никакой специальной аппаратуры, не было всего того, что видела она когда-то в Московской центральной клинике. Но были заботливые материнские руки и опыт фронтового хирурга.

А ещё было мужество, решительность и ответственность за человеческую жизнь.

Вскрыли грудную клетку, добрались до сердца.

Будто само пришло решение: обтянуть повреждённую мышцу “кисетными” швами, а потом, затягивая “кисет”, постепенно извлекать щепу. Так и сделали. Попытайся кто-нибудь там, в поле, на току под той скирдой извлечь её из груди пострадавшего — человек бы мгновенно погиб бы от сдавления сердца излившейся кровью. Счастье, что никто не сделал этого, хотя первое желание у любого было избавить несчастного от проклятой щепы.

Ассистент, молодой хирург, который никогда и не подозревал, что придётся ему оперировать на сердце в “дыре”, затягивал швы, а Фаина Михайловна медленно извлекала из открытой раны кусок дерева.

Боялись остановить бьющегося сердца, боялись кровотечения... Чего только не боялись...

А операция удалась!

И надо было видеть, сколько счастья было на лице человека, вырвавшегося из страшных объятий смерти!

Спасли!

Потом шутили, что в Рубцовске самое время открывать филиал центрального института усовершенствования врачей.

...Всякое было. Да только вот такого не было, чтобы сама Фаина Михайловна сломалась, чтобы и для неё отыскалась щепка, и не оставалось сил прийти на работу по-прежнему сильной, уверенной, крепкой, надёжной.

— Ну, что ж, — сказала главный врач больницы по фамилии Медведь тому самому ординатору, который оперировал на сердце с Фаиной Михайловной, — придётся теперь вам брать в свои руки хирургическое отделение. Делать нечего, — видно, у Фаины Михайловны это надолго. Скорее всего, с ней что-то такое случилось, что потребует длительного лечения. Мы об этом позаботимся, разумеется, сделаем всё возможное, в беде не оставим... Трудно, конечно, будет без неё, но, как говорится, незаменимых людей не бывает. Словом, мы тут посоветовались и решили, что лучше вас никто с этой задачей не справится. Да вы не бойтесь, всегда поможем, так сказать, посодействуем. Так что вперёд!

— Да я не так беспокоюсь о деле, как мне страшно подумать, что в один прекрасный день выйдет Фаина Михайловна на работу, на своё законное место выйдет — не вечно же ей болеть! — а оно занято, и кем? Вот что меня беспокоит.

— Ну, это как раз меньше всего вас должно волновать, — сказала Медведь, взглянув вопросительно (дескать, какой, однако, шепетильный!) на сидевшую рядом заместительницу, — это мы берём на себя. Ведь согласитесь и поймите нас правильно: нельзя же хирургическому отделению да без хирурга?

— Ну, какой я...

— Не надо скромничать. Не надо. — Строгим голосом оборвала его Медведь. — Ну, и потом не каждый оперирует на сердце... А вы... Доверила же вам Фаина Михайловна.

Врач передёрнул плечами.

— Нехорошо как-то.

— Ну, вот и договорились. Прекрасно!

Дела в хирургическом отделении пошли из рук вон плохо: послеоперационный период у больных протекал беспокойно из-за многочисленных осложнений. Участились случаи смерти. По городу поползли слухи: в больнице творится что-то неладное.

Несколько раз рядовые хирурги ходили к Фаине Михайловне. Благо дом её располагался во дворе больницы... Хотели посоветоваться, порасспросить о предстоящих операциях. Но с чем приходили, с тем и уходили. Она не выходила из дома. Двери на самый настойчивый стук не открывала, на голос не отзывалась. Плотные шторы на окнах надёжно отражали её от окружающего мира.

Но, как говорили, её не раз видели, когда поздно вечером она подставляла кирпичи к стене больницы в том месте, где располагалась операцион-

ная, и вставала на цыпочки, чтобы дотянуться до окна. Долго глядела, прижавшись к стеклу.

А потом она опять пропадала надолго. И никто не видел её неделями.

Наконец, Фаина Михайловна стала появляться в городе. Её видели на улицах. Она исхудала, глаза её сделались огромными, как на картинах Ильи Глазунова, с чёрными серпами под глазами — следами притаившегося горя, вьёвшегося, казалось, навеки в её облик — в лицо, в походку.

Тем не менее, она была приветлива. Улыбалась знакомым людям. А знакомы ей были почти все обитатели Рубцовска.

Останавливалась, говорила спокойно. Люди старались помочь ей, чем могли. Никто не касался её горя. Старались отвести разговор в её прошлую счастливую жизнь — воспоминания лечат. Напоминали о том хорошем, что она сделала для людей. Вспоминали, как приходили к ней на приём, как она всегда решительно бралась за дело, как они верили ей и как она не разочаровывала их, как вместе с ней радовались успехам, как неудачи обходили их стороной. Говорили, что её уверенность в себе передавалась и им, и это придавало сил, помогало там, где всё казалось до встречи с Фаиной Михайловной безнадежным перед лицом тяжкого недуга.

Она слушала с нескрываемым удовольствием. Широко и открыто улыбалась. Стесняясь, трепала собеседника по плечу: “Да будет вам, просто делала свою работу, только и всего... Не заставляйте меня краснеть...” Прощаясь, крепко пожимала руку — по этому рукопожатию, по его силе, по сопровождающей его улыбке чувствовалось, что к ней возвращалась жизнь, что она шла, наконец, дорогу с самой себе.

Пришло время, и Фаина Михайловна вернулась в больницу. Бочком, как будто нехотя (хотя какой там нехотя — спала и видела оказаться снова в больничных палатах, в операционной!) и даже не сразу вошла в дверь (не спугнуть бы, что ли, свою мечту?) в которую входила чуть ли не полвека. И вот вошла-таки снова. Вошла, как первоклассница входит в класс, озираясь по сторонам, отыскивая поддержку в каждом из одноклассников.

Вернулась!

Она стала жадно расспрашивать о делах, об операциях, о тяжёлых больных, об удачах и просчётах, да обо всём, чем жило её отделение последние несколько месяцев.

И всё выходило просто и обыденно, будто она и не покидала хирургического отделения ни на минуту. Когда говорили о предстоящих операциях, Фаина Михайловна с присущей ей страстью давала ценнейшие советы, прикрывала глаза, и сама будто брала в руки скальпель и внедрялась в рассекаемые ткани всё глубже и глубже... И вот уже испарина на лбу, вот уже накладываются швы, и можно, наконец, расслабиться...

И оставалось лишь одно — войти в операционную и уже там не на словах, а на деле, как она это делала раньше, показать своим подопечным, “как это делается с наименьшими потерями, самым кратчайшим путём”. Так она передавала свой драгоценный опыт, накопленный во фронтовых госпиталях, полевых хирургических передвижных блоках. Не зря и училась она на курсах усовершенствования врачей — всё у неё шло в дело, каждое лыко в строку!

— До нас дошли слухи, дорогая вы наша Фаина Михайловна, — главный врач (которая Медведь) была на этот раз излишне улыбчива и приторно внимательна и обходительна, — что вы собираетесь в операционную.

— А почему бы и нет, — отвечала ничего не подозревавшая Фаина Михайловна, привыкшая на улыбку отвечать улыбкой, — стаж почти пятьдесят лет как-никак. Что же тут удивительного?

Главный врач многозначительно молчала, уставившись в лицо собеседнице.

Постепенно с лица Фаины Михайловны стала сползать возвратившаяся было к ней известная всему городу улыбка, потом дрожащие длинные пальцы метнулись к лицу, судорожно стали шарить по нему, будто искали под-

держки, но не находили её, коснулись щёк, слипшихся от подкатившего волнения губ.

— Есть вещи, дорогая Фаина Михайловна, — подлащала и без того приторный голос Медведь, — которыми не шутят.

Фаина Михайловна стремительно выбежала из просторного, как вокзальный зал, кабинета главного врача. Зашаталась, как на ветру, табличка: “Главный врач городской больницы Медведь”.

Встречавшиеся ей прохожие долго смотрели вслед. Задумывались, зная её историю: что бы такое ещё могло случиться с Фаиной Михайловной? Может, хватит уже на её голову “приключений”? Глядели и недоумевали, пожимали плечами: казалось бы, этой женщине и так за последнее время выпало достаточно испытаний.

Вечером пошёл первый снег. Робко, осторожно, с опаской, что ли, — так крадутся к своей добыче хищники. Потом убедился, что *можно*, и повалил изо всех сил, покрывая землю, располагаясь надолго, может быть, по сибирским законам, и сразу до весны.

— С Ищенко нам самим не справиться. Доставлен слишком поздно.. Никто из нас раньше таких операций не делал, — говоривший остановился, обвёл глазами присутствующих и добавил:

— Вот разве что Фаина Михайловна... Если бы она согласилась...

— Да, если бы... Хорошо она это делала в своё время... Мастерница, что там говорить... За какой-нибудь час-два — и полная резекция желудка готова...

— Можем потерять время, пока будем рядиться... Ситуация крайне сложная, операция неизбежна. Счёт идёт на часы. Чем скорее она будет сделана, тем лучше...

— Ну, и что же делать?

В ординаторской воцарилась тишина. Слышно было, как по улице проезжают редкие грузовики, на которых ещё минуту назад никто не обращал внимания.

— Может, ещё раз сходить к ней... Попросить... Объяснить, что да как, так, мол, и так... — Его перебили сразу несколько голосов:

— Да уже ходили, и не раз!

— Так она даже двери не открывает, не подаёт голоса...

За окном сгущаются сумерки, голые ветки раскачивающихся на ветру деревьев скребутся в окно.

— Ну, хорошо, — нарушает тишину чей-то голос, и все, как по команде, поворачивают головы в сторону говорящего, — ну, предположим, нам удастся уговорить её, вернётся она в операционную, ну, удастся нам вложить ей скальпель в руки, но ведь там, — он указал на потолок, — там этого не одобряют...

— Это уже будет потом... Сейчас задача задач — вернуть Фаину Михайловну.

— А дальше идём все вместе к главному и говорим: тогда сами оперируйте! Медведь сама в прошлом — хирург. Она потому и бесится, что никогда не была и не будет такой, как наша Фаина Михайловна. Чужая слава покой не даёт...

Все оживились.

А кардиолог вдруг заявил с серьёзным видом:

— Всё! Можете все идти по домам, кроме дежурных врачей. Я, кажется, кое-что придумал. Так. Больного срочно готовьте к операции.

— Так ведь...

— А вы готовьте, готовьте, — загадочно произнёс кардиолог. — Есть у меня одна идея.

Из всех окон больницы виден дом Фаины Михайловны — он стоит прямо во дворе, окружённый со всех сторон больничными корпусами.

— Это для того, чтобы если что — “Вот она я!..”

С таким расчётом и строилась в своё время.

Хирург, оставшийся в ночь, глядел на её дом. Дежурный врач и операционная медсестра сидели на просторном, выдавшем виды кожаном диване, ждали молча, то и дело поглядывая на кардиолога — пора и назвать его! — на Петра Мартыновича.

В доме Фаины Михайловны погас свет.

— Подождём ещё маленько, — прошептал Пётр Мартынович, будто опасаясь разбудить Фаину Михайловну.

Какое-то время сидели молча, делая вид, что понимают то, чего до конца не понимал никто из присутствующих в предоперационной.

Томительное ожидание затягивалось.

— Пора! — это стало ясно даже не потому, что было произнесено это слово, а по тому, как решительно поднялся со своего места Пётр Мартынович.

— Главное, чтобы она как можно крепче уснула.

Заговорщики, окончательно сбитые с толку, согласно кивнули.

— Так. Значит, как только увидите, что мы с Фаиной Михайловной выходим или даже выбегаем с крыльца её дома, так сразу же делайте местную анестезию и кожный разрез. Кожный — слышите. И чтобы больше крови в разрезе, слышите? Побольше... Ну, всё. Я пошёл. С Богом.

Он взял накрахмаленный заранее хирургический халат с завязками “назад” и белоснежный больничный чепчик Фаины Михайловны.

Ничего не понимая, все поплелись в операционную, где уже всё было приготовлено для операции.

Удалявшийся по длинному больничному коридору Пётр Мартынович, обернувшись, проговорил:

— Как только увидите нас, так приступайте сразу же...

Сколько раз с этим халатом стоял он ночами под окнами дома Фаины Михайловны, которая, едва заслышав шаги, просыпаясь на ходу, “ныряла” в подставленный Петром Мартыновичем халат, который он завязывал ей уже на бегу.

— Ох, и любительница же я поспать! Прямо как девчонка. Давай сюда халат. Чтоб не терять времени зря...

Потом они бежали по больничному двору: она — впереди, поскольку “ей больше всех надо”, следом — Пётр Мартынович или кто другой. И не было случая, чтобы она не успела на помощь.

— Только вышли на малую кривизну, только отсепарировали артерию... Ну, и пошло тут...

— Ах, вы безобразники, — да вы ж забыли про...

— А точно! Даже не подумали...

— Эх, вы, сколько вас учу, а вы всё своё... Ну, ладно, теперь не время, давай скорей... Где раствор муравьиной кислоты?

Громко хлопала дверь больничного корпуса. И на дворе восстанавливалась привычная тишина, а яркое окно операционной в ночи было чуть ли не единственным освещённым окном в уснувшем городе.

Вот и сейчас Пётр Мартынович оказался на крыльце дома Фаины Михайловны. Вот он собирается с духом и сильно и тревожно стучит в окно:

— Фаина Михайловна, Фаина... — он не успевает договорить, как в окне появляется переполошенное лицо Фаины Михайловны, привыкшей за много лет по такому сигналу своих сотрудников, реагировать мгновенно — это уже в крови, врождённый рефлекс настоящего врача.

— Что такое опять? — спрашивает она и подставляется под предлагаемый ей Петром Мартыновичем халат, как это она делала миллион раз.

— Если можно, скорее... Расскажу по дороге.

— Да, да, конечно... Ну, что ты никак не можешь завязать... Давай скорее... Копаются он...

Фаина Михайловна стремительно направляется к больничному корпусу, поправляя на ходу волосы.

— Ну, что там у вас? Кровит?

— Ну, да... Инвагинат...

- Так давай побыстрее...
- Наложили все зажимы, а оно...
- Вот правильно. Прошили — нет?
- Не успели...

Она почти вбегает в предоперационную. Пётр Мартынович едва поспевает за ней.

В зеркальной вогнутости огромной операционной лампы, свисающей с потолка, отражаются три склонившиеся над больным фигуры в белых халатах. И хотя они смешно искажены в отражении, но без труда угадываются: оперирует Фаина Михайловна, ассистируют Пётр Мартынович и дежурный врач.

- Кохер.
- Пиан.
- Ещё кохер...
- Зажим.
- Покрепче. Нет, не надо.
- Пульс?
- Скальпель... другой!

Слова обступают людей в белых халатах. Слова помогают им в их сложном деле.

Идёт операция.

...Вдруг руки Фаны Михайловны останавливаются, недвижно зависают над раной, словно две птицы над гнездом.. Кончики пальцев начинают подрагивать, потом откровенно дрожать. Фаина Михайловна поднимает особенно выразительные над медицинской маской глаза, устремляет их на Петра Мартыновича. На лбу у неё проступают крупные капли пота. Инструменты в её руках замирают. Она даже покачнулась, что не могли не заметить и её коллеги.

— Что с вами, Фаина Михайловна?

Фаина Михайловна только сейчас, когда бóльшая половина операции уже позади, вдруг поняла, что сделал этот “хитрован” Пётр Мартынович: она снова у операционного стола, она уже оперирует, она заканчивает операцию... А ведь ещё с вечера, перед сном она сомневалась, сможет ли когда-нибудь ещё встать к операционному столу, удержит ли скальпель в руке? И ей тогда казалось, что нет, не сможет, и не зря люди запрещают ей входить в операционную... Может быть, они правы? Скорее всего...

И вот она у стола, она заканчивает дело. Рядом надёжные люди.

— Фаина Михайловна!, — раздаётся голос Петра Мартыновича в густой тишине операционной, — давайте-ка продолжать! — и добавляет уже ласково:

— Вы же видите сами — всё уже позади, все ваши страхи, все ваши опасения... Так что вперёд!

— Ну, и хитёр же ты, Пётр Мартынович, сыграл на чём... Ловко! Ничего не скажешь.

— Да так уж вышло, Фаина Михайловна.

— Да, вышло всё просто здорово! Сама я никогда бы не переборолась, не выбралась бы из этой ямы — сил бы не хватило. Спасибо тебе! Спасибо вам...

- Ну, вот и прекрасно..
- Вязать. Ещё вязать...
- И не надо больше волноваться. Никогда!

ГЕННАДИЙ ФРОЛОВ



НЕ В СВОЕ ВРЕМЯ

* * *

Убегают к лесу провода,
В пятнах снега мартовское поле.
Родина моя, моя беда,
Не свободы ищем мы, а воли.
Ну, а воли хватит у тебя,
Разве жаль тебе её для сына! —
Родина моя, моя судьба,
В сумрак уходящая равнина.
Там, где рельсы осветил закат,
Где торчит шлагбаум одноруко,
Снова видит пристальный мой взгляд
С фонарём стоящую старуху.
По ветру седая вьётся прядь,
Гнётся воротник её шинели.
Ей ли о грядущем горевать,
Прошлое оплакав еле-еле!
Налетит грохочущий состав,
Торопливо мусор закружится.
Хорошо, от странствий приустань,
Никуда душою не стремиться.

ФРОЛОВ Геннадий Васильевич родился в 1947 году в Курске. Детство и юность прошли в Орле. В 1971 году закончил Литературный институт. Работал редактором в нескольких издательствах. Первые стихи были опубликованы в 1965 году в газете "Орловский комсомолец". Печатался в журналах "Юность", "Новый мир", "Наш современник", "Мы" и других. Автор поэтических книг "Сад", "Месяцеслов", "Бьющий свет", "Невольные мысли" и "Погост". Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Тонет поле вязкое во мгле,
Тонет радость краткая в печали.
Вот уже, как уголья в золе,
Над землёю звёзды замерцали.
Ничего не пожелаю вновь —
И былых желаний слишком много.
Родина моя, моя любовь,
В никуда ведущая дорога.
Добреду до мокрого леска —
Все свои припомню пораженья.
Родина моя, моя тоска,
Нам и в воле нет освобожденья.
 Попрошусь к старухе ночевать,
Встану на бессолнечном рассвете.
Ничего не надо понимать,
Ни за что не надо быть в ответе.
Надо в печь поленья подложить —
Пусть займутся в пламени и дыме.
Невозможно в мире заслужить
Благодать деяньями своими.
В жажде справедливости о зле
Что твердить с отчаяньем и жаром!
Ведь совсем недаром на земле
Всё, что надо нам, даётся даром.
Выйду, сном коротким освежён,
И пойду на дальние берёзы.
Родина моя — несмолкший звон,
Ветром осушаемые слёзы.
Как с тобою песню мне допеть,
Как высокий голос твой дослушать,
На твоём просторе умереть,
Одинокой думы не нарушить?
Не боюсь ни жить, ни пропадать,
Мы с тобою оба одиноки.
Родина моя, больная мать,
Ни к чему загадывать нам сроки.
Или небосвод над нами пуст,
Чтоб была погибель нам случайна?
Родина моя, нелгущих уст
Словом заповеданная тайна.

1990

* * *

Начинаю словно об одном,
А кончаю чем-нибудь другим.
Вот опять я вижу этот дом,
Странные скульптуры перед ним.

Девушка с винтовкою в руке,
Юноша с отбойным молотком.
Дай мне, моя Родина, в тоске
Выплакать все слёзы о былом.

Дай мне вынести новую беду,
Не одну, пожалуй, не одну!
Я сейчас на Обуха сойду,
В Троицкую лавку загляну.

Дамаскина книгу я куплю,
Отрывной куплю я календарь.
Боже, Боже, я Тебя люблю,
Может быть, острее в эту хмарь,

В эту склизь январскую и муть,
В этом зле, попущенном Тобой,
В грудь пытаюсь воздух протолкнуть
От бензина грязно-голубой;

Выхлопными газами дыша,
Посреди истерзанной страны,
Неумело высказать спеша
Покаянья слово и вины.

Это я, никчёмный и пустой,
Может быть, последний из людей,
На московской грязной мостовой
Вопию о милости Твоей,

Словно опасаясь не успеть
Все провалы вычистить души,
Боже, я готов бы умереть —
Лишь бы только больше не грешить.

Лишь бы только снова этот край
Прадедов, и дедов, и отцов
Стал — не раем — здесь не нужен рай! —
Колыбелью для его жильцов.

1993

* * *

Вишня на склоне июньского дня,
Нежного клевера сонный трилистник.
Радуюсь я: они лучше меня!
Равенства требует только завистник.

Я ж не завидую ни соловью,
Ни золотому спокойствию сада.
Разве стесняет свободу мою
Сбитая мною из тёса ограда?

Нет, не стесняет! Я к птицам в родство
Не набиваюсь. И так в этот вечер
Мне хорошо под густой листвой
Яблонь, вздымающих пышные плечи.

Всем нам даны и призванье, и труд:
И соловью, и цветам, и деревьям;
Солнцу и звёздам, что скоро взойдут
На небосводе и юном, и древнем.

Нет одиночества в мире живом,
Если несёшь с ним единую ношу
Песней весенней, осенним плодом,
Лётом семян в ледяную порошу.

Новым побегом взойти ли в золе,
Стать ли золою, питающей корни:
Бог в небесах, государь на земле —
Мир и в домах, и в обителях горних.

Только один есть у каждого путь,
Всё остальное — окольные тропы.
Да не дозволит на них мне свернуть
Доброго дела спасительный опыт.

Да уведёт от пустой суеты,
Воли не дав непомерной гордыне.
О, да вовеки минуй меня ты,
Ревность к отцу, недостойная в сыне.

Вот и закатное льётся вино
В ночи узорной горящую чашу.
В каждом мгновении жизни дано
Нам охватить всю вселенную нашу.

Что тут прибавить и что тут отнять!
Без старшинства невозможно и братство.
Лишь полнота нищеты нам понять
И позволяет ущербность богатства.

Всё есть у вишни и у соловья,
Всё есть у ветра и дальней зарницы.
Лучше меня они: радуюсь я!
Есть мне пред кем в восхищеньи склониться.

Есть и молчать, и сказать мне о ком
С тихой улыбкой любви неслучайной
Словом, на землю упавшим легко,
В небо растущей безмолвною тайной.

1992

КРЫМ

Синее небо, лиловое море,
Серая галька с потёками соли,
Лозы, сплетённые в грубом узоре,
Снова припомнились мне поневоле.

Всё же для русского сердца, признаюсь,
Странно родны эти дальние дали,
Чайки стремительной тень вырезная,
Грохот лебёдки на близком причале.

Нет, не о неге я тёплого рая,
Не о цветущих магнолиях парка,
Не о закате, что, нежно сгорая,
Встал над водою, как пёстрая арка.

Нет, не о ночи, пробитой, как сито,
Золотом звёзд, не о блеске рассвета,
Не о беспечности той, что сокрыта
В каждом мгновении южного лета.

Все это тысячу раз воспевали:
Горы и небо, и пену прибоя...
Нет, я о том, что мы их потеряли,
Сами отдали без всякого боя.

Что же ты, Миних, не встанешь из гроба,
Что ж ты, Потёмкин, горящей глазницей
Не обернёшься к нам, гневаясь, чтобы
Пламя стыда опалило нам лица!

Где ж вы, Нахимов, Корнилов, Тотлебен,
Где ж ты, Истомин! — восстаньте из праха.
Нет у ни Крыма, ни моря, ни неба —
Нет ничего, кроме жалкого страха!

Заняты внуки иными делами,
В правнуках нет ни любви их, ни силы.
Господи, Боже мой! что ж это с нами,
Что ж сотворили мы с родиной милой!

И понапрасну я к предкам зываю —
Некому взять их оружие в руки,
Некому больше — от края до края —
Снова пройти сквозь страданья и муки.

Армий победных не встанут солдаты,
Нет, неподъёмен им гнёт отвращенья
К слабым потомкам... Позор — нам расплата!
Предали мы их — и нет нам прощенья!

Пить нам теперь чашу Божьего гнева,
Желчью давиться до смертного пота,
Слушая скрежет иудина древа —
Мачты последней Российского флота!..

1992

* * *

Слева — сосны, а справа — кладбище,
Хвоя падает на траву.
Я на свете пожить был бы рад ещё,
Да, быть может, и поживу.

Поживу ещё, мысль додумаю,
Что назвать пока не могу.
В старость старую юность юную,
Как сумею, поберегу.

Вечер полон осенней сырости,
Электричка гудит во мгле.
Дай по милости, Господи, милости
Уходящей во тьму земле.

Всё едино и всё — единственно.
За оградой — кресты могил.
“Я емь Жизнь, Я емь Путь и Истина!” —
Сам когда-то Ты говорил.

И я верую, Боже, верую, —
Укрепи ж меня, просвети! —
Что ещё сквозь распад и скверну я
Из себя смогу прорасти.

Как весною трава-муравушка,
Перетлевший прах отряхнув,
Сам себя потихоньку за ушко
Да на солнышко потянув.

Оттого б и хотел жизнь долгую,
Хоть и малой не заслужил,
Что теперь лишь понял, как многое
Переживши — не пережил.

Ибо знаю душой отныне я,
Что по воле Твоей готов
В миг любой уже без уныния
Отойти от земных даров.

От пространств этих сине-пепельных,
Где закат ещё не погас.
От всего их великолепия,
Так любимого мной сейчас.

1991

НАКАНУНЕ ПАРАДА

У памятника Пушкину

И разные стояли люди,
И наблюдали сотни глаз,
Как зачехлённые орудья,
Качаясь, плыли мимо нас.

Как вырастали в мраке тайны,
Как стадо мамонтов сопя,
Самоуверенные танки,
Тремя глазами слепя.

Как в бликах мертвенного света,
Не зная ни добра, ни зла,
Изящно двигались ракеты,
По-рыбьи вытянув тела.

Как проходили ряд за рядом
Машины, полные солдат, —
Как ты и я, и все, кто рядом,
Мы в этот миг дышали в лад.

Как мы смотрели в сумрак стылый,
До боли стиснув кулаки,
Когда со сдержанною силой
Пред нами двигались полки.

.....

.....
Так я писал тому уж боле
Лет двадцати. Но понял вдруг,

Что прославляю поневоле
Коммунистический недуг.

Весь бред интернационала,
Души растлившейся грехи! —
И омерзительно мне стало:
Я эти выбросил стихи.

Но вот сегодня на рассвете
Открыл глаза и в тот же миг
Нежданно вспомнил строки эти
И вновь записываю их.

Нет, не в порыве жалкой лести
Они мной были сложены.
Я пел о доблести и чести
Моей любви, моей страны.

Я пел о прежней громкой славе —
И были помыслы чисты! —
Стараясь сквозь гримасы яви
Прозреть бессмертные черты.

И ныне, ставя к старым строфам
Строфу за новою строфой,
К Америкам или Европам
Я обращаю голос свой.

Да, вы сейчас нам не грозите,
Но, с похвалою на устах,
Вы к нам по-прежнему таите
Всё те же ненависть и страх.

Я знаю цену вашим дружбам
И миротворческим словам.
О, как — бессильным и недужным! —
Вы аплодируете нам.

О, как сияют ваши лица,
Как размягчаются черты,
Когда сползаем мы к границам
Времён Ивана Калиты.

Когда Россию рвут на части,
Как штуку красного сукна,
Народы, кои в час несчастья
Спасла от гибели она.

Как будто бы безгрешны сами,
На нас одних взвалили грех!
.....
Иль тем виновны мы пред вами,
Что пострадали больше всех?

Иль, может быть, в азарте мнится
Вам всем, что из небытия
Уже вовек не возродится,
Не встанет родина моя?

Напрасны эти обольщенья!
Распад, сумятицу, разброд,

И нищету, и униженья —
Всё русский вынесет народ.

Я говорю кавказским звёздам,
Я говорю якутским льдам,
Что снова — рано или поздно! —
Но мы ещё вернёмся к вам.

Не в ярости, не мести ради,
А лишь на ваш призывный глас,
Ибо не в силе Бог, а в правде,
А правда Божия — у нас!

И что́ мечтания Китая,
Европ, Америк ли возня,
Когда воскреснет Русь Святая,
Как птица Феникс из огня.

1967; 1992

ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВ



ОТПЕВАЮ ПОЗДНЮЮ ЛЮБОВЬ...

* * *

Дремучая осень — не жизнь и не смерть.
Уже не смеёшься, и только: “Не сметь!
Всё прошлое — миражи!”
Наверное, впадаем в анабиоз.
Пришёл я с букетом, —
От пламенных роз
Остались шипы да листы.
В раскрытой ладони, как бусинки, — кровь.
По рифме выходит — осталась любовь!

Но разве останешься ты...

* * *

Прощай, посёлок! Пьяненький сосед
Опять с утра ласкает злую суку.
Ему теперь, наверно, дела нет,
Что сад без яблок предвещал разлуку.

ВАСИЛЬЕВ Ярослав Иванович родился в 1950 году в г. Молотов (ныне Пермь). Окончил Московский геологоразведочный институт, работал в Республике Коми, печатается в центральных изданиях с начала 70-х годов. Автор нескольких поэтических сборников, член Союза писателей России.

И ты прошла в сиреновом платке,
Не замечая ледяные гроздья,
И долго было слышно вдалеке,
Как будто заколачивают гвозди.

* * *

Может быть, расставались пространство и время,
Или ветер срывал запоздалое семя,
И ложились оно на снега.

И простые слова были мне непонятны,
И всё чаще кровавились винные пятна
На рубашках, надетых с утра.

Утро вечера стало казаться глупее,
Ты молчала, холодная, словно камей.
Ледяные стихи я слагал.

Так бывает, что любишь, а на сердце — больно,
За холодным столом от обиды — раздольно,
Потому что я душу отдал.

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА

Как княжий флаг, чернеет осень,
И рядом дух холодный сосен
И синий шёлк в твоих глазах.

Когда везде разлад и тленьё,
Храни, Господь, твоё уменье
В России жить и умереть,

И гордо чёрное надеть
На светлый праздник Воскресенья.

ПОЭТ

Круг от лампы настольной
Размывает заря.
Так уйди же достойно,
Ничего не беря!

Даже стихотворенье, —
Путеводную нить, —
Оборви на мгновенье,
Где хотел разлюбить.

* * *

Весенние цветы везде на косогоре,
Они, как мотыльки, выпархивают в свет.
Им ветры нипочём, они с судьбой не спорят,
И нежно льнёт к земле весёлый первоцвет.

Осенние цветы насыщенной и строже,
В глазах у них закат и жёсток стебелёк.
И мне от них грустней, и мне они дороже —
Ведь люди, как цветы, утрачивают сок.

И только про тебя я не скажу ни слова —
Про летние цветы мне нечего сказать,
Я рвал тебе цветы, а ты была сурова.
Ведь летом так легко цветы не замечать...

ЖЕНА

На всё отвечала мне коротко “да”
И мне улыбалась печально.
Я думал, что знаю тебя навсегда,
А вышло, что знаю случайно.

Уже не поможет семейный уют,
Прощение — после прощанья.
Наденешь платок, а ветра разметут
Твой локон, как было вначале.

Уже не надежда по жизни ведёт,
Не строгость, не злое раздолье,
А то, что когда-нибудь нам повезёт,
На воле, а может, в неволе.

* * *

Я тебе наливаю в железный бокал,
И в железный бокал — для себя,
Чтобы Ангел на небе уже не считал,
Как любили мы, души губя!

Как вино оставалось, спекаясь на дне,
Нас хмельных обличая при всех.
А ночами мы плавали на глубине
Самых плотских и нежных утех.

У тебя навсегда голубые глаза,
Даже слёзы — не сталь, а вода.
С каждым днём всё труднее железно сказать:
— Не расстанемся никогда!

* * *

Молюсь по-своему, несмело.
Кому на этом свете дело,
Когда повинна голова?!

Прошу Его! Ведь Он прощает!
Болезни даже исцеляет —
Он знает правду и права!

А в храме утром плачут камни.
Монах спокоен — просьбы давни,
Как древни мысли и слова.

* * *

Замело на бумаге. Наверное, букв никогда не собрать!
Мы заложники этих багряных по-царски равнин,
Нам любимого проще обидеть, чем крепко обнять,
Ветер только люблю, рваный ветер в убранстве осин.

Да, никак не могу наклоняться под ветром, терпеть.
Им, деревьям, не снится, как мне, по ночам бурелом,
Им не стыдно зимою дурнеть, а весной — молодеть,
Ведь не могут они обернуться, заплакать, что скрылся их дом.

* * *

И этот год уходит в штопор.
Казалось мне — любовь заштопал,
А вышло — стёр до пустоты.

Напрасно лёд рождает пламень,
И жар спекает сердце в камень,
И камень рвётся с высоты.

Да, с неба падают не звёзды.
Я помню, Вы сказали: “Поздно”, —
И перешли со мной на “ты”.

И перечёркнут плащ косынкой,
Вы поутру исчезли дымкой,
И где следы?

* * *

Не с осенним холодом и свистом —
Тихо-тихо остывает кровь.
Ухожу отпетым эгоистом,
Отпеваю позднюю любовь.

И когда иду под листопадом,
Выше поднимаю воротник.
Молодых и опытных — не надо,
А к седой и верной — не привык.

Только сожаленье обнимает —
Бабье лето наступает в срок.
А мужского лета — не бывает,
Сразу лезет осень между строк.

* * *

Хотел попросить Богородицу,
И сразу притихла печаль.
Она и за грешников молится,
А я — никого не прощал.

Любимую бросил за праведность,
Неправедных бросил — за злость.
Как будто бы кончились проводы,
Где я не хозяин, а гость.

К Ребѣнку склоняется Светлая,
Казалось, не видит меня..
И только в душе, неприметная,
Затягивалась полынья.

* * *

Её я нашёл на иконе..
О, как навсегда непреклонен,
И как же открыт этот взгляд!

Во мраке моём не споткнётся,
И, Светлая, светом прольётся,
Когда маяки не горят.

ВОСПОМИНАНИЕ

“Хорошая девочка Лида...”
Я. Смеляков

Стихи, как сорняки,
Но сердцу не в обиду,
Я помню детский лик
И даже имя — Лида!

Молчала — не прощу!
И улыбалась — брошу!
А было-то, прости,
Лишь платьице в горошек.

И город Ленинград,
Своей имперской мощью,
Тогда не мог разжать
Девчоночью ладошку.

Ты женщина теперь,
Но, кулаки сжимая,
Забудь про серый день,
Но помни ночи мая.

АНДРЕЙ ФЕДАРЕНКО



ДИКИЙ ЛУГ

ПОВЕСТЬ

1

Урочище называлось Дикий Луг. Находилось оно километрах в двадцати от деревни, за Наровлей, на другом берегу Припяти. Каждый год в июле туда вербовали косцов и женщин, потому что местных рук не хватало, и травы переставали.

Готовились к поездке основательно. Бригадир, поляк Масловский, даже делал обход каждого двора, проверял, всё ли в порядке. Мужчины клепали косы, вставляли зубья в грабли, вырезали из сырых осин менташки*, запасались новенькими зернистыми брусками. У каждого было специальное поленце с вбитой бабкой, чтобы там, на месте, поклепать косу. Женщины собирали в котомки закуску, готовили фляги, бидоны, баклажки под воду, а некоторые, самые экономные, — под хранившийся ещё с весны берёзовый квас, перестоявший, сивушный на вид и на вкус.

Особенно много радости было детям. “Дикий Луг” в их понятии значило “рай земной”. Там ночуют в шалашах из сена, едят около костров, рассказывают разные истории, там Припять, в которой столько рыбы, что она сама выпрыгивает из воды на берег. Дети мастерили удочки, плавил в ложках олово для грузил, учились на выгоне забрасывать донки, собирали под

* Менташка — наждачная лопатка для заточки косы.

ФЕДАРЕНКО Андрей Михайлович родился в 1964 г. в д. Березовка Мозырского района. Окончил Мозырский политехникум, Минский институт культуры. Прозаик. Автор книг прозы “Гісторыя хваробы”, “Смута”, “Шчарбаты талер”, “Афганская шкатулка”. Лауреат Литературной премии им. И. Мележа. Живет в Минске.

колодами толстых червяков в жестянки из-под халвы, не позабыв пробить в крышке дырочки, чтобы доставить червяков живыми: путь неблизкий!

Выезжали затемно, часа в четыре утра на двух грузовых машинах. Люди набивались в кузова: мужики, дети, бабы, которая и с ребёнком. В кабину рядом с шофёром садился Масловский. Дома оставались только старики и подростки — смотреть за хозяйством.

Машины ехали с включёнными фарами. Дорога вела через поле ржи, через песчаные заносы, где колёса буксовали и надо было выгружаться и толкать, через лес с корнями, от которых кишки из тебя вытряхивало, и, наконец, катилась гладким, ровненьким шоссе. В июле светает рано. Солнце ещё не встало, а уже около Наровли светло, только над рекой белый туман, словно вода кипит. Приткнутый к берегу, людей ждал моторный паром. На берегу возле него топтались целых три начальника, все в белых рубашках, без пиджаков, штаны заправлены в сапоги, и у всех троих на ремешках — офицерские планшеты. Когда начали грузиться, увидели на пароме старуху с коровой — верёвка наброшена на рога. На ногах у старухи — кирзовые сапоги с белыми протёртыми дырочками на голенищах, на плечах — военный китель, за спиной горбом — платок с припасами, на лице — суровая окаменелость.

“Большая корова, — пронеслось между людьми. — На травы ведёт...”

Это было не редкостью: если у местного люда болела скотина и не помог ветеринар, так шли в Дикий Луг с надеждой, что животное само отыщет нужные травы и вылечится.

Застопорили колеса машин, отвязали канат, завёлся мотор. Корова поворотила голову и стала смотреть на свой берег.

...Плывёт, кришит паром. Плещется снизу в доски вода. Над рекой — туман. В тумане на середине реки — одинокая лодка с рыбаком. И так приятно пахнет бензинчиком и дымом от папиросок!..

II

Паром с разгона уткнулся тупым носом в песчаный пляж. Мужчины перебросили на берег деревянный настил. Старуха, ни на кого не глядя, сошла по нему со своей коровой и направилась в приречные заросли, растирая в труху сапогами стебли болголова. Выгрузился народ, уехали машины.

Нигде не было ни знака дороги. Широкая, длинная заводь с ивами уходила от Припяти. За ней, на пригорке в тумане, и был Дикий Луг. Люди со своими котомками, граблями, косами и вилами на плечах, в тумане похожие на повстанцев Калиновского, гуськом потянулись на пригорок, стараясь шагать след в след, чтобы лишний раз не топтать траву. Пока добрались, передние вымокли с головы до пят, а хитрому начальству, которое замыкало колонну, — хоть бы что, только сапоги от росы блестя.

Отсюда начинались участки. Вся просторная оболонь лежала перед глазами. Клин нетронутой, белой от мокрой паутины травы расширялся на пригорке, сужался к заводу и упирался в берег. Слева, внизу, его границу обозначала Припять, а справа, на возвышении, — неровная стена кустарника. Кустарник то влезал в травяное поле, то отступал, образуя прогалины. А дальше, за пригорком и вокруг, простирались сплошные полесские джунгли, непроходимые заросли, пышная сень лозняка и ольшаника, крушины и ольхи, краснотала и ивняка; и среди всего этого бескрайнего зелёного простора редко встречались клинки чистой травы, и ещё возвышались, как маяки, то там, то здесь одинокие дубы с гнёздами аистов.

Это было полное владычество дикой природы, отданной самой себе, царство почти не тронутой человеком первобытности, чудесное запустение, непроходимая низинная глушь. Только река связывала с цивилизацией, и единственный способ связи, если, не дай Бог, что случится, — кричать, звать через реку, чтобы прислали с того берега паром или лодку.

Давно, лет десять назад, людей привезли сюда впервые, каждому отмерили надел, обозначили вбитыми в землю колками, на затёсанном месте химическим карандашом вписали фамилию косца. Колки давно пустили кор-

ни, стали большими вербами. Уже не надо было каждый год перемерять по-новому. Каждый знал свой куст и свой надел до последней кочки, как собственный лужок дома в огороде.

Пока люди привычно разбредались и разбирались, раскладывали котомки, бабы ладили шалашики из постилок, мужчины постукивали молотками — насаживали косы, а более расторопный уже и клепал, — три начальника тоже не теряли времени. Один показывал пальцем направо, второй рукой махнул налево, третий приставил ладонь ко лбу, хотя солнце было в стороне от него и ещё не светило в глаза... И на том их миссия закончилась. Повернулись и степенно пошли протоптанной тропой вниз к парому. Масловский на ходу дал последнее необязательное распоряжение Кулиничу, которого ещё в деревне назначил вместо себя: “Ну, смотрите тут”, — и поспешил за другими. Хлопотный день у него впереди: суета, беготня, контора, бухгалтерия... Одному угоди, с другим подхалимствуй, на третьего прикрикни, с четвёртым через силу выпей... А всё для людей, чтобы денег побольше выцганить.

Ещё тяжёлая от росы трава колыхалась за начальством, а мужики уже махали отлаженными косами. Трава по пояс, ровная, не перезревшая, дождём и ветром не побитая, косится легко; только слышно: жих! жих! Физическое наслаждение слышать этот звук: как подсекает тонкая сталь уступчивые стебли, бросает их справа налево. Туман опал на землю. Росистая паутина блестит на солнце. Хотя солнце уже хорошо припекает, меж косцами не увидишь голого тела. Единственная вольность — закатать у сорочки рукава. Маленькие жабки так и джигают из-под кос. С ближних дубов слетели аисты и ходят каждый за своим косцом, долбят недорезков. Вперемешку с аистами сзади бабы с большими детьми растрясаят траву; меньшие не отходят от шалашиков. Оказывается, им запрещено даже смотреть в сторону реки, не то чтобы к воде спускаться: Припать настолько непредсказуема, что, если захочет, может утопить даже на сухом берегу. Вот тебе и рыбалка, вот тебе и желанный Дикий Луг! Хотя, если честно, и самих туда не больно тянет, они ещё на пароме увидели, что это действительно опасная, глубокая, широкая, большая река, особенно здесь, перед впадением в Днепр. Так что теперь только и забавы, если кто-нибудь из косцов захочет пить, — и поднесёшь ему воды, или нарочно, по доброте душевной, попросит прикурить папироску, — прикуриваешь, мать видит, но ничего не говорит.

Мужчины косят сверху вниз. Покосы длинные, заканчиваются у самой заводи. Под ивами, спрятавшись в тени, стоят машины. Ивы тут такие старые и толстые, что в объёме не уступят дубам. В трещинах их шероховатой коры легко прячется ладонь. Сами деревья стоят на берегу, а корни перепутанными веревками крутятся по земле и спускаются в воду. Вода у этого берега глубокая, тёмная, холодная, если опустить руку, и чистая — ни травинки, даже ряски нет. Зато противоположный берег — пологий, низкий, изобилует растительностью. Он весь зарос ситником, айром, рогозом, а ближе к середине — трилистником, и там, на воде, нежатся жёлтые кувшинки и необычной белизны крупные лилии. И, конечно же, всюду — и на берегу, и в воде — знакомый камыш со своими коричневыми и чёрными початками. Из его стеблей получают неплохие шпаги, на которых можно биться, пока лишний пух не начнет лезть в глаза и в рот, щекотать в носу. А ещё, чтобы подобраться к матери, его можно срезать, штуки три-пять, и поставить в банку на столе — красиво...

Там, у того берега, полно рыбы. И замирает у косца душа, когда доносится оттуда сладкий всплеск... Но знают из горького опыта: нелегко добыть припятающую рыбку, из-за камышей не забросишь ни удочку, ни донку, не влезешь с топтухой или “кобылюю”, которые годятся только для болот, канавок, прудов глубиной жабе по колено, а тут нужны особые снасти, названий которых они даже не знают, только видели, как местные ловят...

Остаётся только с завистью на тот камышовый рай поглядывать.

Докашивая до заводи, мужчины болтают с берега косами в воде. А кто-то спускается к Припяти, на пляж, куда утром причалил паром. По свежим и высохшим зеленоватым полоскам тины, как по годовым кольцам, можно определить, какой величины бывают волны в ненастье, или если расплеска-

ет их буксир с тяжёлой баржей или пассажирская “Ракета” на своих крыльях. Тут среди разного нанесенного водой друза попадаются раковины — чёрные, тяжёлые, а внутри, если створки её раскрыть ножиком, — с перламутровым отливом и с острым запахом свежей рыбы. Косцы мочат в воде менташки, шлёпают ими по белому мелкому песочку, чтобы набился в поры, — и лучше любого бруска.

III

— Давай, давай, давай! — подгоняет Кулинич, если видит, что кто-то или пристал, или остановился вытереть пот, или коса не так ходит в руках, или слишком медленно поднимается на пригорок.

— Ниже! ниже! ниже! — покрикивает он, когда не к чему придаться. Во рту его поблескивает золотой цыганский зуб, давно докуренная, потухшая беломорина прилипла к губе.

Сам он худой — кожа, кости и мускулы. Таких обычно никакая усталость не берёт. Лесничевская фуражка с зелёным околышем ухарски сдвинута набок, из-под козырька вылезает чёрный чуб с белыми паутинками седины. С голенища свешивается ремешок менташки. Ему уже за сорок, но он только недавно, в прошлом году, женился; взял не из своей деревни, а аж из Махнович — тоже, правда, не молодую, зато какую удалую! В свои тридцать она выглядит как девочка-подросток. Такая весёлая, проворная, со стройной фигурой и с милым наивным личиком. Есть у них уже маленький сынок. И он с ними тут, на дугу, спит в шалаше под покровом из марли. Спокойный, хоть бы пискнул. Махновочка время от времени втыкает грабли в мягкую землю и бежит смотреть, выдувает из шалаша комаров, которые шьются в тень от солнца. Она сама вся — как солнце. Всё для неё в новость: и её роль замужней женщины, и молодой матери, и заботливой хозяйки... Она никогда не знала самостоятельной жизни, всё время жила с родителями, и теперь жадно, с жаром отдаётся этим новым обстоятельствам своей жизни, которая, оказывается, может быть такой полной, огромной!.. Счастливая! И как ни старается притушить блеск в глазах, а всё равно исходит от неё сияние и вокруг разливается: только посмотрите, люди, какой я умею быть! И разве что изредка, как облачко на солнце, набегаёт на лицо виноватость за то, что ей повезло, и даже лёгкий испуг: а вдруг возьмёт и случится что-нибудь, и исчезнет так внезапно свалившееся на неё счастье...

Кулинич до женитьбы был тихим, спокойным человеком, “добрячий”, так характеризовал его младший брат Петро. Работал в лесничестве. За порубки крепко не гонял, напротив, когда натькался в лесу на свежий пень, так закрывал мхом и притаптывал тыреу. Только если уже совсем внаглую, просто на улице сваливали машину ворованных дров, так предупреждал, чтобы спрятали на задворки и не шмыгали двухручкой, а его, Кулинича, с бензопилюю позвали. Никогда не брал ни денег, ни магарычей. “Отдашь какой день”, — бурчал, что значило, чтобы баба помогла жать или картошку копать, молотить ли или сечки нарезать, капусту ли осенью нашинковать. Причём, как некоторые из восточных полешуков, он не смягчал “ц”, и у него звучало: “капац, резац, шаткавац”. Удачливый охотник, он часто приносил из леса то зайца, то лису, а бывало, глухаря, тетерева, один раз даже енота. К нему в дом нарочно приходили подивиться, качали головами, шёлкали языками да так и не верили, что добыча из их леса. Местный народ, веками живущий в своих лесах и болотах, в большинстве нелюбопытный, флору и фауну знает слабо: привычка видеть вокруг себя одно и то же притупляет внимание. Им легче поверить, что в Дальних Ставах живёт что-то, огненным шаром горит и пугает, чем в настоящие, реальные вещи, в то, что под носом.

“Нет, то не у нас... У нас не водится, у нас бедненько... Куда-то ездил, да ведь не скажет...”

Это правда, он немногословен был. Даже когда мужчины собирались зимою выпить, в карты поиграть — выпивал немножко, сидел молча, смотрел, как другие играют, сам же отмахивался: ай! они снятся ночью!..

Стоило же только человеку жениться, как его словно подменили. Задрал Кулинич нос! Набрал в голову, что он уже неизвестно кто. Стал лезть вперёд, вмешиваться в разговор, перебивать, даже командовать... Как и теперь на лугу. Только слышно: “Давай-давай” и “Ниже-ниже!”

Впрочем, никто не обижается. Сами заинтересованы, чтобы сделать лучше, ведь будет проверка. Приедут чужие люди, увидят неважный покос, скажут: “Брак”.

Соседей у Кулинича трое. По правую руку — младший брат Петро, тот самый “добрячий”; по левую — два бобыля, старый и молодой: дед Николай Мирон и девятнадцатилетний Гриша Игнатов. Они вдвоём косят одну деланку. За ними некому растрясать, и проворная Махновочка успевает и на своей полосе, и на их — усердствует, старается, только икры незагорелые из-под юбки мелькают.

Этот Григорий Игнатов, пока его сверстники служили в армии, отсидел в тюрьме за драку год и полтора месяца. Теперь он чувствует себя будто зарванным, отверженным, гонимым — и стесняется всего до неприличия. Даже косит он, вогнув голову, глаз не поднимает, словно крадёт. На голове у него пилотка из газеты, серые от старости резиновые сапоги заклеены кружками, вырезанными из велосипедной камеры, брусок у него не целый, а половина, потому он держит его не в голенище, как нормальные люди, а запикивает в карман штанов... И всё у него как-то не по-взрослому, не по-хозяйски, не серьёзно.

Григорий стесняется своей с молодых лет запятнанной судьбы и того, что косит не один, а с дедом, потому что ему, как шуту, не дали своего собственного целого участка... Стыдно, что он уже взрослый парень, а такой некрасивый: круглое с веснушками лицо, оттопыренные уши, короткая шея и на удивление длинные — как выпрямится, до коленей — руки. Ко всему прочему, он сын настоящего колдуна. Его отец Игнат был огромного роста мужчиной, с бородой до пояса, зимой и летом ходил босой и только в белом — как призрак; большую часть жизни прожил один в лесу, в землянке, зимовал чуть ли не вместе с медведями в одной берлоге, знал язык зверей, птиц, деревьев (известно же, что берёза и осина по-разному шелестят листьями под ветром), а когда умирал — три дня и три ночи не мог отойти, пока не догадались заслонку в печи снять, дверцы в грубке отворить и вьюшки пооткрывать — тогда только в трубе загудело, будто в сталеплавильной домне, и дух его отлетел.

— Гриша, сынок, не лети так, ты ж деда загонишь! — просит Махновочка.

Петро со своей полосы тоже подаёт голос:

— Григорий, у травы ног нет, не убежит!

Они с дедом вместе работают на железной дороге, и у Петра как бы обязанность о нём заботиться.

— Дед, иди отдохни, я докошу...

— А я не устал! — молодым голосом, бодро отвечает Николай Мирон. Где у человека имя, где фамилия, не разберёшь, и его называют кто Николаем, кто Мироном, как языку удобнее. Ему семьдесят лет. Взяли его не столько косить, сколько помогать: где подгрести с бабами, где косу помочь подладить...

Однако пока дед ни в чём не уступает молодым. На два Григорьева маха он делает один, а интервал между ними не сокращается. Притом он успевает ещё периодически пить соду от изжоги, которую называет “жога”. Останется, достанет пакетик из газеты, высыплет в горсть, запьёт водой из солдатской баклажки... На нём чёрная форма железнодорожника. Алюминиевые пуговицы стёрты до того, что уже даже не отражают солнце. Душно ему, и он выдумал вентиляцию: сорочку сбросил, а пиджак надел на голое тело, и теперь из-под пиджака кустится на груди седой мох. И сам он похож на седой пенёк. Бывают в лесу такие пни: старый, но ещё сильный, летнее солнце и зимний мороз выпарили из него влагу, ветра высушили, отполировали, и стал он твёрдым, как железо, стоит и будет стоять ещё неизвестно сколько времени, пережив и своих истлевших сородичей, и хилый молодой.

— Дед, попей ещё соды, — не унимается Петро. — Я докошу за тебя, помогу!..

— А ты всем помоги, — советует сзади жена Петра Валя. — Иди ещё брату помоги — его забыл. Потом иди тюремщику помоги...

Петро и вправду уж чересчур ко всем “добрячий”. У него слащавое, странное для деревенского мужчины прозвище — Цветок. Это местный красавчик, который по ошибке родился в крестьянском доме. С такой внешностью ему бы надо сниматься в кино или работать спецгентом в каком-нибудь неприметном уголке буржуазной Европы, понемногу укореняться, понемногу собирать нужные сведения... Армию он отслужил в Средней Азии. В его альбоме красуется молодой, красивый, как цветок, шляхтичок; на голове вместо шаблонной фуражки с кокардой — щегольская симпатичная панاما. Она и сейчас на нём. В отличие от Кулинича, Петро женился рано, сразу после службы, взял старше себя на пять лет Валю — эту самую, что теперь, работая сзади граблями, ворчит под нос, не утихает. Хотя прожили они уже немало, трое детей-девочек у них: Вера, Надя и четырёхлетняя Любка, — а лада нет и не было между ними. Дело в том, что Петро — горький пьяница. Валя его слабость объясняет так: конечно, он красивый, “цветок”, а она некрасивая, он молодой, а она вымотанная детьми, старая, он хороший, особенно к чужим, а она плохая... С другой стороны, и Петро в долгу не остаётся. Он никогда не называет жену по имени, а только “моя”: “Ты моей не видел?”

У него у пьяного есть привычка шататься по чужим домам и рассказывать, как Валя его на себе насильно женила: “Если бы моя тогда не затащила на себя, так я бы, может, на машиниста пошёл учиться”. Его несбывшаяся заветная мечта: ездить далеко на поезде, видеть новые места, знакомиться с разными интересными людьми... И запах тепловозного уголька. Вместо этого он как пришёл из армии, так вот уже десять лет в мазутной спецовке вместе с пенсионером Николаем Мироном гайки на железной дороге крутит, меняет рельсы и шпалы, а когда мимо пронесется скорый, Петро только смотрит вслед, придерживая от ветра панаму...

Пьяному Валя метит ему иезуитским способом: вечером выгребает все деньги из карманов, а утром не даёт опохмелиться. И только когда видит, как ему плохо, у неё на душе становится веселее, мягче. “Болит? — ласково-злорадно спрашивает она. — Пускай поболит. А не шлейся по домам. А не говори, что у тебя жена плохая”.

— Тебе нужен тот дед, — ворчит Валя. — Тебе нужен тот тюремщик... Тебе нужны чужие люди... У тебя своя семья, трое детей, дом, жена...

Вместо ответа Петро вытирает панамой мокрую шею и смотрит на солнце. Его русые волосы кольцами прилипли ко лбу, а на подбородке подсыхает мутная капля.

— От жарит! Как в барханах!..

И впрямь, давно полдень. Чаше звонкое шарканье брусков и наждаков о стальное полотно. Очень звонко стрекочут кузнечики. Сытые аисты то один, то другой забрасывают головы на спины и клекочут. От солнца в глазах на зелёной траве — белые пятна. Всё: оболонь, Припять, заводь, покосы — видно не отчётливо, а через дымку. Жёлто-чёрные слепни выются над людьми роем; от запаха людского пота они одурели до того, что некоторые садятся на косовьё или черенок и, растопырив от экстаза крыльца, впиваются вместо тела в горячее дrevко.

IV

В обед все потянулись в тень, в прохладу — туда, где заводь, ивы и машины. Некоторые сразу попадали от усталости на мягкую мураву под ивами, большинство стало спускаться к воде: как это — быть на Припяти и не искупаться?

Купание людей, что родились, выросли и живут среди леса и болот, вдалеке от большой реки — это что-то. Все они боятся большой воды, которая движется, плывёт, у всех на генетическом уровне страх перед нею, тем бо-

лее перед такой, как Припять. Они привыкли к воде стоячей, прудовой, карьерной, плавать умеют в лучшем случае по-собачьи и на неглубоком месте, чтобы в любой момент можно было достать ногами дна. Да и слово “купание” они употребляют неохотно, это святотатство, для малышей, а взрослый, степенный человек скажет не “пойду купаться”, а “пойду мыться”.

У каждого в руке кусок мыла. Женщины не идут в воду вовсе, моются с берега. Что до детей, так тем уже и приказывать не надо, сами боятся, и купание для них — лечь в прибрежную воду на живот, а головой — на мелкое: вроде бы и купаешься, волны тебя с головой накрывают, ногами в воде болтаешь, и, вместе с тем, в омут не затянет.

Мужчины с красными загорелыми шеями, с белыми животами и ногами, все в одинаковых чёрных трусах, брызгают себе под мышки, горстями черпают воду, смывают немного пот — и давай скорее тереться мылом. Мыло не хочет давать пену в речной воде. Долго и старательно, по несколько раз, натирают головы. Всё это после будет называться: “А что мне твоя Припять, я в ней сто раз плавал!”

Самые смелые заходят по шею: постоит немного, не зная, что делать дальше, голова над водой, сам кричит, будто от удовольствия: “Ух ты! хорошо!” — а в глазах тревога... Постоит — и назад, на берег, а оттуда скорей за ивы, в лозняк, выкручивать трусы — обязательный ритуал! — купаешься ли ты, моешься или рыбу ловишь — это самое первое, необходимое дело.

В стороне от купальщиков, выше по реке, Григорий, очень осторожно переставляя ноги, как на лыжах, зашёл по колени, потом по пояс, по шею и размашисто поплыл. С берега на него смотрели с осуждением. Он заплыл на самую середину, нырнул, высунулся по грудь, постоял так, помогая себе руками, затем, видно, застенялся того, что все на него смотрят, лег на спину и медленно поплыл к берегу.

Тем временем на берегу у заводи, под ивами, женщины ладили полдник. Тёплое молоко в бутылках с газетными затычками, жестянки рыбных консервов, сало, мясо из сычуга, огурцы, свежие и варёные яйца, зелёный лук, хлеб — у каждой семьи одно и то же, как солдатский продпаёк, а всё равно кажется, что у соседа вкуснее. Не успели наесться, как на реке затарахтел мотор, показалась синяя лодка с тремя мужчинами. Проехала мимо берега и завернула в заводь. Причалила как раз к тому дальнему, камышовому берегу.

По белорусской заведёнке, их сначала дружно осудили: мы тут работаем, а они среди бела дня рыбку ловят... Потом так же дружно оправдали:

— Пусть ловят на здоровье, они вреда не делают...

— Разве мы для них косим? — для себя...

— Видишь, ночью их гоняют, так они днём...

— Наловят, в Киев повезут...

— А что тут моторкой до Киева?

Дети собрались в стайку и пошли смотреть. Кулинич, на ходу дожевывая, тоже.

Людам с этого берега, из-под нависших над водой ив, видно, как они там ловят втроем удивительной снастью — таким широким треугольным бреднем. Двое с боков за полки тянут, третий сзади прижимает комель ко дну.

— Ниже, ниже, ниже! — доносится знакомое Кулиничево.

— Это “крига”, — объясняют несведущим знатоки.

Видно, как сводят вместе полки, вытаскивают ту “кригу”, низ смыкается — и весь улов твой. Как в огромном меху. Блестит серебро в сети, золотятся линии, бьют хвостами, выгибаются зелёные щуки — ходуном всё ходит! Так, не перебирая, вместе с мальками и раками несут и ссыпают в лодку.

Люди завидуют, удивляются:

— Во как ловить надо...

— А мы с “кобылами”...

— Сидим в болоте, ничего не знаем...

Теперь уже и детям понятно: смешны они со своими примитивными донками, грузилами и издохшими на жаре червяками в жестянках. Конечно же,

и они до обеда пытались, но ничего не забрасывается, не хочет лететь, запутывается, рвётся, а если что и вытащишь, так клубок “бороды”, корень айра или ком придонной травы. Теперь они всё знают. Конечно же, дело в снастях. Да если бы нам... Дайте такую “кригу” и моторку, мы бы!..

Всего раза три затанули браконьерчики, и больше не надо: пол-лодки рыбы. В мутной воде со дна поднимаются пузыри, всплывают на поверхность притоптанные растения, перепуганные рыбы, которым повезло выжить, пускают круги.

— Хоть бы детям дали по рыбке...

— Кто ж даст?

— Где же тут на всех напасёшься...

— На нас, на такую прорву две лодки дай — мало будет...

Повесив носы, дети пошли назад. Кулинич остался, прикурил с видом человека, который свои обязанности исполнил, а вы уж тут сами разбирайтесь. На лодку он даже не смотрит: рыбы я вашей не видел, счастье такое...

— Эй, помощник! Лови!

Две щуки метровой длины одна за другой шлёпнулись на берег, как две пленницы, забились в траве — толстые, в жёлто-зелёных крапинках, с белыми животами и чёрными спинами. Кулинич даже спасибо не сказал. Равнодушно, на колене, со страшным хрустом — на другом берегу слышно было — переломал рыбам хребет, слупил карманным ножиком кору с лозы, вддел рыбам через жабры да так и потащил хвостами по траве к своему табору. Бросил — и тут же отвернулся. Коса его заинтересовала, кольцо стал проверять, цевьё шупать, ручку подтягивать.

Махновочка сияет от гордости. Укачивает Василька:

— А где наш папочка, покажи... А вот наш папочка, рыбку поймал... Посмотри какую... И ты, когда вырастешь, будешь рыбку с отцом ловить... На моторочке будете ездить... Сейчас мы хвороста насобираем... Чистить начнём с хвоста...

— Почистить и я могу, — ни к кому не обращаясь, предложил дед. Потому что, честно говоря, какой бы ни был, а устал он. А так занятие: с рыбой возиться, с хворостом, с костром, с юшкой...

После обеда солнце стало опускаться. Ивы уже не дают тени машинам, и два шофёра, что вместе со всеми махали косами, пошли в который раз заводить моторы и искать новую тень.

Росы нет в помине, трава тяжёлая, шершавая, косы скользят по ней, а где просто шаркают, как по проволоке. Всё чаще перекуры. Всё больше надобность промочить водой горло и заодно лишний раз посмотреть на солнце, которое из красного превращается в малиновое, мягкое; лучи не светят, а стелются. Вот половина его уже спряталась за дубы с гнёздами аистов. Ещё немного — и совсем исчезло. Тень от ближнего кустарника, от дубов легла на луг.

Люди засобирались у своих шалашиков. А три косы всё ещё посвистывали: Кулинич, Петро и Григорий заканчивали дедову часть.

V

Какой долгий был день!..

Около костра у Кулинича на юшку и на стопку собралась целая компания. Только Петро Цветок отмахнулся: “Мне с вашей капли только рот промочить, а крика от моей будет...” Там у него свой огонёк, и Валя топчется.

Юшку едят из одного ведра согнутыми в крючок алюминиевыми ложками. Слышатся только мирные звуки сербания, обсасывания косточек и шлепки ладоней то по лбу, то по плечу, то по шее. Комары! Дед сварил без картошки, зато лука, листа, перца и соли напёр... Но юшку ведь ничем не испортишь: рыба всё лишнее вберёт.

Григорию досталась, то ли сам по скромности выбрал, щучья голова — зубастая, как акула, с твёрдыми жаберными пластинами. Он её старательно по косточке разбирает, и когда огонь в костре вспыхивает веселее, видна на его безымянном пальце скромная татуировка: маленький, расплывчатый,

будто шариковой ручкой нарисованный, крестик. Выпить ему не налили, просто забыли, а он, конечно, промолчал. В общем, Григория не замечают, не обращаются к нему, не говорят с ним, будто его и нет.

Поел чуток, голод утолил и молча подался к своему шалашику. Хоть бы позвал его кто, предложил остаться. Так и лежит где-то один, в темноте, с комарами, позабыт-позаброшен...

Махновочка, которая к тому времени покормила и укачала сына, незаметно взяла недопитую бутылку, пошла туда.

— На, выпей, сыночек, пускай и тебе посчастливится... Не смотри на них, не слушай, пусть себе ругаются, а ты живи, такой молодой...

Ночь, звёзды, тёплая земля...

По всему дугу рассыпались красные точки костров. Слышно, как внизу вода ластится к берегу. Тонко, сладко пахнет привяленная, а к ночи снова воспрявшая трава. Шипит сало, капает с него и потрескивает жир на угольях.

Размягчённые от спиртного, от такой чудесной ночи, люди ощущали одно и то же: полноту жизни, которой так много вокруг, которая и в стрекотании кузнечиков, и в этой луковице, и в хрусте, с которым её грызут, и в том, как рюмку передают из рук в руки, и в костре, который горит себе, поднимается дымок над ним, а пламя бросает отблески на лица и выхватывает из тьмы неровный круг покоса.

Говорят они обо всём на свете.

— Он был человек сильный, — рассказывает Кулинич про кого-то из своего лесничества. — Звали его Василь. Уехал на север.

Кулинич, когда выпьет, говорит короткими предложениями, словно через сжатые жабры, потому слышится: *сыльны, Васыль, сэвр*.

— Поступил на лесосплав. Там его били. Порвали лёгкое. Заболел, работац не мог. Лёг помирац. Дали грушу.

И всем жалко стало того незадачливого Василя, которого и в глаза никогда не видели. Кто-то вспомнил утреннюю старуху с коровой. Где она теперь в темноте, пускай бы подошла к людям, погрелась, поужинала... И как это корова, будто кот или собака, умеет отыскивать целебные травы?

— Человека припечёт — он найдёт, а то корова...

— Свет велик, всякое бывает...

Посмотрели на тёмное пятно шалашика Григория. Снизили голоса. Выпили ещё. Заговорили про космос, что вот слетали туда, а Бога не нашли. И хотя все единодушно, даже старый Николай Мирон, сошлись на том, что Бога, конечно, нет, но всё-таки что-то есть. И надо было послушаться совета старых мудрых людей и в полночь вбить в могилу Игната-колдуна осиновый кол, ведь не успел он умереть, как начались одна за другой сухие грозы; без дождя, без туч, среди ясного дня молнии били во что ни попадя, и это большое чудо, что уцелела деревня; правда, пастуха Козю на поле гром убил, сторел весь, только обутленная головешка в гробу лежала.

— Нет, Бог — не Бог, а что-то есть...

— А что, разве нет того, что пугает?

Словом *пугает* называется всё невероятное, мистическое, необъяснимое. Чаще оно существует почему-то в виде огненного шара размером с футбольный мяч. У каждого в запасе есть история.

— Как-то веду велосипед ночью... Катится клубок огненный! Жаром горит! Пугает! Я подпрыгнул, как врезал ногой! Клубок как взвизгнет и давай ходу!.. Я тебя научу!.. Я тебе попугаю!..

По Припяти во тьме, внизу, не спеша движется ряд огней — буксир тащит баржу. Когда они проплыли, оживился старый Николай Мирон.

— А то один раз было... Я в войну иду с железной дороги... Иду. Едет мадьяр на велосипеде... Я сперва подумал — немец. Винтовка за плечом болтается. Я шапку снял... Он едет. Я здравствуйте дал... Он едет. Я смотрю — мадьяр! Надел шапку. Он едет... Винтовка, правда, за плечом. Я соступил с дороги... Он едет...

Николай Мирон родился в 1900 году и как в четырнадцать лет пошёл работать на железную дорогу, так и свековал на ней. Власть менялась, а он один был неизменный. Без железной дороги ни одна власть не обойдётся. Он

и служил каждой власти: царской, пролетарской, польской, немецкой, советской, — а уже какие там были поезда, чьи они, и что на вагонах написано, какие штемпеля стояли, ему было всё равно. Казалось бы, какая судьба! какая богатая на события жизнь! чего только человек не повидал! сколько всего может рассказать! А ничего подобного. На самом же деле он никогда не был дальше своего райцентра: ни служить, ни воевать железнодорожников не брали; всё его мировоззрение ограничивалось двумя перегонами в два конца от станции возле деревни. Даже когда однажды мужчины подняли вопрос на такую, казалось бы, близкую ему тему: почему поезда с гладкими колесами не сползают с гладких рельсов? — и тут он ничего не смог ответить, промямлил, что, может, потому, что колёса магнитные и прилипают к рельсам.

— ...Я иду. Мадьяр едет...

Вдруг возникла во тьме очень высокая фигура и стала приближаться к костру. Все притихли. Фигура приблизилась, вдвое уменьшилась, и все увидели, что это их бригадир, Стас Масловский. И очень обрадовались ему. Каждый сделал жест, что хочет подвинуться, хотя места хватало.

— Садитесь, Стас Касперович!

— Сюда, здесь мягче...

— Юшка осталась, хотя остыла...

— Зато шучья...

Бригадир покачнулся, видно, оттого, что вышел из тьмы на свет.

— А я лодкой... Попросил рыбака. Лодкой перевёз меня. Речное такси! — и расмеялся немножко громче, чем надо, и лицо его показалось более красным, чем обычно. Но это, конечно, от огня у всех лица красные.

Масловского любили, хотя немного и побаивались, — всё же, что ни говори, а он поляк. С другой стороны, приятно, что он хотя и поляк, а такой же, как все: ест, штаны носит, водку пьёт. И всё же оттого, что он поляк, было почему-то жаль его. Любому человеку, наверное, стыдно жить не на родине. Неуютно. И поэтому Масловского всегда старались ободрить, лишний раз сказать хорошее слово — известная белорусская черта, это преувеличенное гостеприимство к инородцам, чтобы, не дай Бог, не чувствовали себя здесь хуже, чем дома.

Масловский вытащил из кармана бутылку водки, бухнул на траву.

— Ну, хлопцы, денег вам будет... Не будете знать, куда складывать! В Наровлю три раза мотнулся... С бухгалтершею... Ну, Зося называют, которая замуж вышла...

Как ушлышали о деньгах, как увидели ещё выпивку — оживились! Загордились! Стали набивать цену себе, своей работе. Когда так хорошо платят, так, пожалуй, есть за что!

— Теперь косилки, косилки... А корова не ест из-под косилки сено!

— Только из-под косы!..

— Нет, ну, может через силу, когда изголодается, но что там за молоко будет...

Тем временем у костра Петро Цветок не идёт спать, собрал вокруг себя детей, курит, развлекает их баснями, сылет такими словечками, как аксакал, саксаул, сакля, рахмет, саялам... Всю Среднюю Азию он называет Узбекистаном, а всех без исключения азиатов — узбеками.

— Дядя Петро, а киргизы? — тешатся, хихикают умные дети. — Казахи разве тоже узбеки?

— И азербайджанцы, дядя Петро?

— И японцы?

— Все подряд, — подтверждает Цветок. — Очень добрячие люди!

Валя крутится в шалаше, и злость в ней растёт: на комаров, на ночь, на тело, что зудит, на руки, что гудят, а особенно на смех, который мешает думать и спать.

— Вот ненавистный, — ворочается она.

Она завидует чужому смеху, радости, не понимает, почему люди к нему тянутся, а к ней — нет. От малышни отбою нет, он и сам любит детей, только почему-то не своих, а чужих.

— Там шакалы живут... Собачки такие... Выйдешь из сакли в барханы, настреляешь шакалов...

Дети переглядываются, перемигиваются — такой стрелок... Все прекрасно знают, какой он жалостливый, он даже траву косить жалеет, шихает осторожно, внимательно глядяется, чтобы не цапнуть какую-нибудь жабку, а когда увидел перерезанного надвое молодого ужика, то побелел, руки затряслись, и жена на весь луг кричала о его никчёмности.

— Заходим в кишлак, прямым ходом — в чайхану. Духан, по-ихнему. Там из чайников вино в пиалы наливают... От души. Нет денег — бесплатно налыот. Такие уже добрячие люди...

Наконец, Валя не выдерживает и тумаками гонит его спать.

Гаснут понемногу один за другим костры, а на небе, напротив, больше звёзд, и ярче разгораются они. И где-то здесь, поблизости, ночует одинокая старуха с коровой...

Завтра к обеду скосили, к вечеру высушили и в аккуратные копны сложили. Клин был чистый, убранный, приятно глазам смотреть, а ногам — ступать, и самим не верилось, как такие маленькие муравьи смогли управиться с такой массой травы.

Больше работы не было. Подпыл паром. А люди не торопились, всё стояли, говорили... Хотелось ещё хотя бы немного здесь побыть, в этом чудесном месте.

— Поехали! — звала-упрашивала Махновочка, боясь за ребёнка. — Ну, поехали уже!..

И когда шли к парому чистым покосом, невольно оглядывались, и все, даже взрослые мужчины, в мыслях благодарили свой луг, уже не дикий, и прощались с ним, как думали, до следующего лета.

VI

Прошло шесть лет. У Кулиничей подрос сынок — этакий херувимчик с белыми, как льняное полотно, волосами, и с синими, как цветки льна, глазами — весь в своего дядю Петра.

Почему-то поздние дети всегда немного не такие, как все. Василька больше тянуло к взрослым. С детьми он не очень любил играть в “наших и немцев”, в прятки, в хоккей-футбол. Единственное, на что соглашался, — постоять в воротах или, как он говорил, “на вороцах”. Ему интереснее было с отцом подвигать по клеткам шашки, складывать домино или перекидываться с матерью картами в “пьяницу”. Часто под вечер около Кулиничевой хаты можно было наблюдать такую картину: сидят на лавке деды с палками, и с краешка — маленький Василёк с палочкой, пальчики сцеплены на коленях.

Кулинички не жалели для него ничего. Больше детей у них не было, и Васильку доставалась вся ласка.

В деревне не понимали этого. Деревня всё прячет, здесь не принято показывать, что ты что-то или кого-то сильно любишь, здесь не до муси-пусей, не до телячьих поцелуев, не до церемоний; всё это вырабатывалось веками, передавалось из поколения в поколение, как оберег, было неписанным кодексом.

Вот классический диалог матери с сыном: “Иди есть, ирод!” — “Ай, не хочу!” — “Я тебе не захочу!.. я с тебя шкуру сущу!..”

У Кулиничей всё по-другому. Махновочка выплывет на улицу, медовым голосом: “Василёчку, иди, сыночку, естачки!” — “Иду, мамочка. А где папка?”

Родители с малых лет приучают детей к скрытности: идёшь играть, так смотри — никому не говори, что ел, в чужом доме не садись за стол, не смотри, как чужие едят, — самый большой стыд, если подумают, что голодный.

— И сохрани Бог, ничего никому не рассказывай! Молчи, и всё!

Василёк охотно шёл в любой дом, как в свой собственный. Лез за стол, если приглашали. И отвечал на любой вопрос. Хитрая баба переймёт, заманит конфетами или грушей, и начинается: “А что ты сегодня ел, Васильку?”

- Колбасу из косули. И ещё мамка фарша накрутила.
- О, брат! А где ж вы мясо берёте?
- Лесничий привёз, — беззаботно говорит Василёк, сидя на скамейке, болтая ножкою.
- А мать тебя бьёт когда-нибудь?
- Не-а.
- Ты, наверное, когда вырастешь, будешь лесничим?
- Не-а.
- Так, может, бригадиром? Масловский скоро на пенсию, так, может, ты вместо него будешь?
- Не-а.
- А кем ты будешь?
- Матросом на корабле.
- Ты посмотри! — даже остолбенела баба от удивления. — Кто же это тебя учит? Мамка?
- Не-а. Дядька Петро.
- А сколько тебе мамка денег на книжку положила? Может, уже тысячу?
- Не-а. Сто миллионов.
- А, брат!.. Так Махновочка научила...

Впрочем, все подобные спектакли заканчивались одинаково: после бабы вслух одна другой говорили (зная, что каждая донесёт Махновочке):

- Не люди, а золото! И Кулинич, и дитяtko, и жёнушка его!..

А Кулинич между тем выматывался в своём лесничестве; всё зарабатывал и копил. Не отставала и Махновочка: и в колхозе, и в городе на базаре, и огород вела. Много помогал лес-кормилец. Зимой, растянутые на рожках перед печкой, всегда сушились заячьи шкурки или смердела на весь дом лиса. Не стеснялись детского заработка: собирали и сдавали в заготовительную контору сосновые и берёзовые почки, умудряясь надрать их целые вёдра, а осенью теми же вёдрами в ту же контору тащили ягоды рябины. Про лето нечего и говорить. Летом чуть ли не ночевали в лесу. Драли кору с крушины и лозы, гребёнкой собирали ягоды, обрывали орехи или, как говорил Василёк, арах — “арахов техник дал!” Кору он называл — *кóра*. В общем, Василёк, благодаря матери, обогащал местную лексику. Все произносили — “во он”, Василёк — “во се то во он”; все — “давно”, Василёк — “во се пора”...

Крепло хозяйство. Появлялись новые вещи. И всё было как бы в квадрате, имело свою маленькую копию — с прицелом на Василька. Была кобыла — и жеребёнок, ружьё-двустволка — и тульская одностволочка, мотоцикл “Урал” — и тележка к нему... Был чёрно-белый телевизор — Кулинич съездил в город, возвратился с цветным.

Махновочка на улице прижимала Василька к себе и в зависимости от того, как росло их благополучие, меняла будущее сына:

- Скоро будешь с нами в колясочке в лес ездить, кору драть...
- Будешь с ружья зайцев бить...
- Вырастет жеребёночек — поскачешь на нём в лесничество, отцу помогать...
- Вот выучишься — будешь в цветном телевизорику выступать...
- Вот продадим мотоцикл, купим машинку — будешь руль крутить...

Все эти вещи не могли не настораживать. Нельзя хвалиться счастьем, оно не любит публичности, его надо прятать, даже стесняться его; счастливые должны отгородиться от остальных дубовыми дверями, железными замками — хотя бы ради того, чтобы не слезили.

И был ещё один момент. Очень уж красивая у Кулиничей под окном росла калина. А по деревенским неписаным законам калину (как и ёлку или сосну) нельзя сажать близко. Обычно она растёт на задворках, прячется в глухом конце огорода. А у них росла на виду, сразу перед верандой, в компании только ломоносов — эти обвивали и калиновый куст, и верёю, и саму веранду, и ещё ползли вверх, цепляясь усиками за натянутые хозяйкой нити, к самому фронто́ну. Кроме этих безобидных ломоносов, ничто больше

не мешало калине; она тут расположилась, как хозяйка: роскошная, породистая, весной облитая белым цветом, летом — даже издалека красная от крупных, крупнее вишен, ягод.

VII

Перед тем, как зайти к Кулиничам, Петро Цветок останавливался под калиной, доставал из вечно оттопыренного — даже когда там ничего не было — кармана пиджака бутылку “чернильца”, промачивал горло, срывал горсть ягод вместе с листвой, зажёвывал, отплёвывался, посмеивался:

— От души... Добрячая закуска!

Петро понемногу превратился в тихого, пропащего пьяницу. Это просто был какой-то эксперимент с предопределённым финалом: “Кто кого, я водку или она меня?” Со временем у него снизился барьер воздействия спиртного — его никогда не тошнило. Однако даже в те редкие дни, когда он не пил, у него всё равно путались и мысли, и ноги.

Он давно оставил мечту стать машинистом, уже не провожал с завистью глазами скорые поезда; теперь его интересовали только “медведи” — товарняки с вином из Молдавии, которое экспедиторы с красными носами за копейки продавали на разлив. Не рассказывал он уже и про свой Узбекистан: панамы изнашивались, а альбом сточили в труху мыши.

Жена кляла его: “Где это видано, где это слыхано, чтобы так человек дома чурался! Доски в заборе шатаются, как зубы, а ему некогда. А он ползает и ползает по чужим домам, кто ему там каким мёдом мажет...”

И правда, хозяйство он не любил, тут Валя была права. Уже тогда обозначился крах деревни — задолго до Чернобыля и перестройки начинались первые её предсмертные судороги. Поколение Петра было последним поколением, связанным с землёй; они знали, что последние, что на них всё закончится, их дети уже не выберут их долю, да никто и не хотел, чтобы они её такую выбирали.

Петро, как маленький, убегал из дома при каждом случае. Сначала выдумывал причины, потом и выдумывать перестал — просто уходил со двора и шёл к чужим. Чужие его жалели, наливали, выпытывали, и он хотя бы частично получал то, чего был лишён дома.

— Петро, мне не водки жалко, — сочувствовала ему Махновочка, — тебя жалко! Они же тебя затолкнут! — озвучивала она то, что знала вся деревня.

Дома у Петра уже не обходилось тем, что денег на похмелье не давали. Если раньше Валя стегала его словами, так теперь перешла к делу. Тем более, девки подросли и стали активно помогать матери. Все они пошли в Валю: и внешнеюстью — такие же некрасивые, и душой — так же ненавидели отца. Пьяного, жалкого Петра связывали на полу и били: всерьёз, изо всей силы, чем попало... Даже маленькая Любка в сторонке топтала шапку. Затем оставляли лежать связанным до утра.

— Это ж надо так человека ненавидеть! — удивлялась Махновочка.

— От души ненавидят, — подливал масло в огонь Цветок.

— Хоть ты подавай в какую милицию...

— Какую милицию...

— Может, разведись. Теперь же не как раньше. Возьми Галю Миронову. Она сама побегит, в Архангельск на сплав уедете...

— Какой Архангельск, какой сплав... Она ж девка, а мне бы молодницу! Такую, как ты...

Кулинич повернул щекой к зеркалу лицо с белой бородой — он сейчас брился, поставив перед собой миску с горячей водой, и крикнул. Из-под лезвия выступила кровь. Обычно он, когда был дома, слушал, но не вмешивался.

— И не кормит, — жаловался Петро. — Дома сало и на работе сало... И то — так посолила, что в шкурке белые такие как бы проточинки.

— Ты посмотри — соли пожалела! — Махновочке, как и любой женщине, приятно было слышать, что есть хуже, чем она.

— Я ей говорю — недосолила. А она — сам Масловский ел! Кричит: “Масловский ел, а он же не ты!” Масловский карманным ножиком обрежет — это, говорит, ничего, это сольнички... Для неё Масловский — пуп земли. Масловский скажет, что теперь зима, так она будет повторять: “Зима”. Чая попросил утром, так она голый кипяток посолодила...

— И чая не бросила щепоть?

— И не бросила.

Махновочка млела от удовольствия.

— И мало ей всё, мало... У Масловского, кричит, полный дом добра. Так Масловский же крадет в колхозе. И я бы воровал бурак, картошку...

— То то, то сё...

— А что я с путей принесу? Болт в кармане? Гайку?

Кулинич, который закончил бриться и вытирался полотенцем, воспринял это как намёк. Конечно, он давно мог бы пристроить брата в лесничество. Но не делал этого, боясь скомпрометировать себя.

— Э-х, — только крикнул он и вышел из дома.

— Говорю, костюм надо купить. Как подняла крик! А у меня один костюм: и на работу, и на выход. Вот этот самый. Расписывался в нём когда-то.

— Не даёт?

— Слушать не хочет.

— Это так боится, чтобы красивым не был, — сообразила догадливая Махновочка. — Чтобы на нищего был похож. А наденешь костюм, да побрешься...

— Я всё равно куплю.

— А и купи!

— Я уже присмотрел в городе в “Промтоварах”. Добрячий такой... В серенькую полоску. Даже мерил — как по мне шитый.

— А и купи!

— Я и куплю.

— Поставь перед фактом. Ну, покричит, побьёт немного, не порежет, не сожжёт ведь...

— Я так и сделаю. Она дождётся.

— А и сделай!

— Куплю с получки — и всё.

Выговорившись, излив душу, Петро поднимался и шёл к Грише Игнатову.

Григорий за это время успел второй раз отсидеть в тюрьме и второй раз жениться. Первая его жена с ребёнком жила в городе, а вторая — Сюзанна — пока с ним.

К дому вёл узкий длинный двор. Сам дом стоял далеко от улицы, словно прятался, стесняясь своего вида. Это была маленькая дореволюционная халупа. И это при том, что Гриша работал на лесопилке и при желании мог бы выписать любые материалы, да хотя бы и наворовать, и выстроить терем с балконами. Но в доме не было даже деревянного пола — был глиняный. Когда Петро переступил порог, Сюзанна готовила ужин на газовой плите. В доме стоял приятный запах жареного мяса. Шланг от баллона с надписью “Пропан” от плиты был всего в полуметре. Баллон стоял так близко, что его бок доставали огоньки конфорки, и краска там почернела и немного облупилась. Кроме жаркого, пахло сырой глиной и большим человеком. Закуток за печью завешен был постилкой. Там жила Гришина мать. Ещё при живом Игнате она повредила умом и перестала выходить на улицу. Когда твой человек — колдун, значит, ты, автоматически, — ведьма, тут уж ничего не поделаешь. Так и жила за печкой, там ела, спала, а про то, что ещё не конец света, знала от сына и снохи.

Обычно когда заходил Петро, — а он один и заходил, люди по-прежнему избегали Григория, да и сам он не больно любил чужих, а Петра принимал, может, только потому, что помнил, как когда-то его, загнанного зверька, Петро пожалел на косьбе, — когда Петро, входя, стучал дверью, всегда повторялось одно и то же. Из-за печи слышался старушечий голос с капризными интонациями маленькой девочки.

“Гриша, кто-то пришёл!” — “И что?” — “Я боюсь!” — “Чего ты боишься?” — “Людей!”

— Так умирай, — отвечал сын. — Теперь не зима, яму выкопаем.

Григорий в ожидании ужина сидел в углу, сложив на столе руки, как школьник за партой. Глава семьи, мужчина, хозяин. С первой женой он тоже не порывал; она работала на мясокомбинате, и Григорий минимум раз в неделю ездил в город и возвращался с сумкой бесплатного свежего мяса.

Это был уже не *затюканный апостол* времен Дикого Луга. И знака не осталось от его застенчивости. Он поплотнел, возмужал, вытянулся в рост, руки пришли в норму — не короткие, не длинные, а обычные, — мускулистые, мужские. Татуировок на них стало больше: на одной появилась русалка, на другой — стопка на тонкой ножке, оплетённая гадюкой с короной на голове, и в короне числа — номера колоний. Он давно не краснеет — теперь тюрьма в деревнях не редкость; сутулится только тогда, когда на ветру прикуривает, а так смотрит открыто людям в глаза, грудь расправлена — ухарский, наглый, умный, двумя женами ухоженный, на мясе откормленный, мордастый, гладкий мужчина. Говорить он стал с иронией: гы-гы, хи-хи, ха-ха... Словно он один знает что-то такое, о чём другие и не догадываются.

Петро пристроился к столу с края. Сюзанна по-свойски подтолкнула его поближе к сквороде и выпивке. Петро пить не стал, а накрыл свою рюмочку дрожащей, с синими венами и всё равно не деревенской, нежной рукой. Ему хотелось поговорить. Григорий сам выпил, подцепил вилкой кусок душистого мяса с поджаристо-золотистой корочкой сала.

— Я костюм, Сюзанна, собрался купить...

— Костюм? Тройку?

— Да нет, куда там, простой... Штаны, пиджак. В полоску такой...

Гриша работал честными, слушал со снисходительностью человека, которому всё удаётся и у которого таких проблем не может быть в принципе.

— Запомни, — проглотив, сказал он, — не в костюмах счастье. Я могу три костюма купить. А толку?

— Ну, ты меня с собой сравниваешь...

— А Валя биться не будет? — поинтересовалась Сюзанна.

— А я и спрашивать не буду. Поставлю перед фактом!

— Герой. Я всяких посмотрелся... И в костюмах и без костюмов. У нас вон тоже один. Приезжает из города в цех в костюме, в цехе переодевается в робу и брёвна под диск подсовывает. Так мы ему опилок в карманы насыпаем — выгребай...

Сюзанна рассмеялась. Полноватая, с неторопливыми, плавными движениями, очень красивая. Молодость и свежесть так и выширала из неё. Только немного удивительно было, как она, городская девка, симпатичная, с хорошим характером, вписалась сюда, как умудряется ужиться среди этой разрухи и ещё так смотрит за собой. Или, может, напротив, это на фоне убогости и разрухи она так хорошо выглядит?

— А возьми моего отца — светлой памяти Игната, — важно сказал Григорий. — В одной рубашке век проходил, а умнее всех был!

Теперь он не стыдился своего отца, а при каждом случае подчёркивал, что, хотя и с опозданием, а, конечно же, сработали отцовы чары — иначе разве был бы он, Григорий, таким удачливым?

VIII

С полочки Петро купил в городе костюм и двадцать пачек “Примы”. Пересчитал сдачу. Остался такой мизер, что и расстроился. А нужен ему был тот костюм, помирал он без него, что ли? Захотелось даже возвратиться и попросить, чтобы забрали назад. Но стыдно стало. Вот купи — плохо, и не купи — тоже плохо.

Зашёл в столовую, выпил винца, занюхал рукавом — в последнее время он совсем перестал закусывать, не лезло ничего. На станцию поехал дизелем. Солнышко сентябрьское грело, мухи зумкали около мутного стекла. Убаюкало, развезло Петра. На станции стал переходить рельсы, заплелись

ноги, брякнулся, как стоял — вперёд, переносицей на стальной рельс. Кровь так хлынула, что пакет с костюмом вымок, а “Прима” в сетке из красно-белой превратилась в красную. В больнице посмотрели, что пьяный, бедно одетый, никто ничего не исправлял, кое-как на скорую руку зашили, как сапожник штопает дырявый сапог... Так и срослось. Переносицы не стало совсем. Вместо ровного симпатичного носа теперь торчал между щеками утиный сплюснутый клюв, а на том месте, где была переносица, среди проваленных морщин, светили две маленькие, как иголкой проткнутые, дырочки. Когда Петро курил, дым шёл через рот, через ноздри и струился через эти дырочки. Ещё они посвистывали. Петро скажет слово — свись! На сочувствие — мол, черти, не могли зашить по-человечески — отвечал:

— Такая уже женщина была добрая (свись дырочками!)... От души!

— Она же тебя изувечила!

А он своё:

— Если бы не моя, я бы с нею ещё (свись!)...

Он ещё не вполне понимал, что случилось, думал, что он по-прежнему Цветок. Как-то пришёл к Махновочке.

— Дай машинку, Сюзанна подстричь обещала.

— Петро, — сказала Махновочка, доставая из ящика в столе продолговатый футлярчик, стараясь быть строгой. — Ты ж смотри... Люди без рук, без ног цепляются... Ну, что же это — стакан и папироса... Ты же раньше как-то не так сильно пил... Подожди, возьми конфеты Сюзанне...

Сюзанна прорезала дырку в газете, одела Петру на голову, застрикала около уха машинкой.

— А почему же вы костюм не носите?

— Он мне как бы в плечах широковат, — Петро осторожно повернулся под газетой, чтобы показать, и свистнул носом.

— А не ругались?

— Не.

— Ну, правильно... Ревновала. А теперь кому вы нужны?

— Гриша, что там стрякает? — капризничал голос за печкой. — Чего тут люди? Я боюсь!..

Григорий что-то думал, поглядывая на Петра.

— Слушай, — сказал он, — я не могу на тебя смотреть без смеха. — Снял со стены продолговатое зеркало с воткнутой в раму новогодней открыткой. — На, сам посмотри. Ну, какой ты Цветок? У нас один был такой, на тебя похожий, так мы его дразнили Носор. Я тебя теперь тоже буду называть Носор, хорошо?

Так понемногу Петру стало открываться, что он уже не тот, каким был. Тяжело было смириться с этим. Конечно, привык человек к красивой внешности, думал, она вечно будет с ним. Пил он по-прежнему, так, что Валя уже махнула рукой и даже бить перестала: без толку это, он всё равно не ощущал боли.

Прошла осень, наступила зима. Прошёл декабрь, а в январе Петро взял костюм под мышку и понёс по домам продавать. Никто не купил. Зато напoили так, что вечером Петро упал на пол, во рту у него оказался синий огонёк, как из газовой конфорки. На этот раз всерьёз напуганная Валя разослала дочек во все концы: Любу — за Махновочкой, Веру — к Масловскому, вызвать “скорую”, Надю — к Сюзанне, потому что в таких случаях, когда пьяница “горит”, надо, чтобы молодница помочилась в рот. Сюзанна набросила пальто без платка, пока добежала — Валя с Махновочкой уже голосили на всю улицу.

Хоронили Петра в мороз. Деревья стояли в белом инее. Николай Мирон в кожаных перчатках, в толстых рукавицах, в шапке с опущенными ушами смотрел, как на кладбище копают яму, и давал советы.

— Оно только кажется, что мороз, а в мороз земля не твёрдая... Да, сверху, сантиметров двадцать пять-тридцать, — снимал рукавицу, нагбался, шупал, а земля и правда чем глубже, тем теплее была.

На поминки Кулинич привёз откуда-то лосиное бедро. Махновочка надевала котлет, сварила холодец. Впрочем, и так всего хватало, ведь тогда ещё

была традиция обязательно приносить на поминки кисель, бутылку, миску с вишнегретом, курицу или кусок мяса.

Составленные столы пересекали весь дом. Но места всё равно всем не хватало, ведь людей на кладбище было много. Решили поминать сменами: одни выйдут — другие займут их лавки.

— Когда-то так — если сел, то сел, — воспоминал Николай Мирон. — А поднялся — больше не сядешь. А теперь же курят. Вышел, покурил, опять воротился...

Из чужих приехали из города далёкие родственники по Валиной линии, муж с женою. Жена была местная, её знали, а мужа в первый раз видели. Скромненький, культурненький, в костюмчике-галстучке, маленького роста, аккуратно подстриженный, похожий на учёного или на учителя математики. Он не курил и от спиртного отказался категорически, махнув в сторону кладбища: “Свежий пример!” Его сразу зауважали.

Только начали рассаживаться, как вдруг Сюзанна навзрыд заплакала:

— Я виновата!.. Если бы быстрее успела... Жил бы!

Валя, поджав губы, упрямо смотрела перед собой в тарелку. Весь её вид говорил: да, виновата. И ты, и все за этим столом, только не я.

Махновочка даже руками всплеснула:

— Ещё чего выдумай! Тебе здесь совсем быть не надо! (Сюзанна была беременна.)

И повела её домой. А за столом вышла новая заминка. Люди переглядывались, перешёптывались. Надо было что-то сказать, и так сказать, чтобы не обидеть вдову, а это было практически невозможно. Любые слова воспримутся как обвинение Вале. Например, если начать жалеть покойника: “Чего он умер, мог бы жить да жить...” Или если, например, посочувствовать ему: “Вот и отмучился...”

— Ну, кто скажет тост? — громко спросил Григорий, который копал яму и поэтому здесь, за столом, чувствовал себя свободно. — Ну, так и быть, давайте я скажу тост.

Но тут встал Кулинич.

— Брата моего Петра уже не поднимешь — ему пусть земля пухом. А что с его работы никто не приехал, — злорадно повысил голос Кулинич, — венка не прислали — так пусть они когда-нибудь побачац сами!.. — торжественно, мстительно окончил он.

Вот это слова! Так сказал, что позавидовать можно. И виновных нашёл, и Валу не обидел.

В конце стола сидели две осиротевшие Петровы дочки, Вера с Надей, уже большие девки. На их некрасивых, нахмуренных, с красными глазами лицах выразительно читалась досада, недовольство: и без того им с таким отцом жизнь не была мёдом, а теперь и вообще что выдумал, показал фокус: взял и умер!.. Маленькие Люба с Васильком честно копировали взрослых, компотом в рюмочках не чокались, лобики наморщили, в руках — носовые платочки, на коленях — полотенчики... Только раз поднялась в их уголке возня, и послышался шёпот Любки на весь дом:

— Не трогай, мой папа умер, а не твой!..

Сначала немного стеснялись чужого человека за столом. Но этот городской родственник, этот учёный или учитель, вёл себя, как мышь. Не пил, мало ел. Что-то ему заминало. Прятал под скатёрку руки. А жена его как-то умоляюще, растерянно смотрела на земляков, словно загода прося за что-то прощения. Терпел он терпел — и всё же не выдержал: скоро кувыркнул пятьдесят граммов, потом, не закусывая, подряд одну за другой — ещё три раза по пятьдесят. Решительно отвёл женину руку с котлетой на вилке. Поднялся, звонко постучал рюмкой о бутылку, требуя тишины, и повёл такой разговор.

— Я объездил всю Беларусь и должен признаться, что такой дичи, как у вас, нигде больше не увидишь. Богатейшую историю, традиции, обычаи вы умудрились опустить до примитива. В Малоритском районе (граница с Украиной) дед ползёт раком, а всё равно по-украински: “Доброго ранку!” А у вас? Слышали ли вы про такую традицию, как голошение? Мужчины не

голосят никогда, — он начал загибать пальцы. — Плач старухи более важен, чем молодой женщины, а голошение дочери по отцу более важно, чем жены по мужу. С кладбища возвращаются — надо три раза печь погладить и сказать: “Пусть умирают тараканы, а не люди”. А вы руки сполоснули — и всё? Скорей за стол!

Бедная жена, красная от стыда, шмыгала, тянула его за полу. Но лектор только входил в роль, поставил рюмку и загибал пальцы уже на второй руке.

— Три блюда: кутья, кисель, холодец... За траурным столом все должны быть печальными, никаких оговоров, шуток. А вы — тост, — посмотрел строго на Григория. — Говорить надо сдержанно, тихим голосом и только о покойнике, — посмотрел на этот раз на Кулинича. — А не о тех, с кем он работал, не про венки... От прадедов покоя веков нам засталася спадчына — кому это было сказано? Вам? Кто это услышит? Вот девушка была, здесь сидела... Плачет, что не помочилась в рот. Дичь! Суеверия, наговоры, колдуны... Самое обычное язычество, поганство!..

Все и раньше чувствовали, что что-то не то. А тут просто разобиделись. Слово “поганый” знали все. Какой бы ни был учёный, а обзываться за столом... Это же не свадьба... Тихо загудели, несмело зашумели — вроде “выпил — так будь человеком”... Опытный Гриша давно не ел, слушал настроженно. Особенно его задело слова про колдунов. Он понял это как намёк на отца. Никто до этого времени не имел права усомниться в том, что Игнат и в самом деле был человеком необыкновенным.

— А в рог? — спросил Григорий. Его глаза ничего хорошего не обещали, правая рука сжалась в кулак, синий от татуировок. — Если я тебе в рог дам?

Тут, как раз вовремя, вошла Махновочка, мгновенно оценила ситуацию. Бросилась разнимать. Как птица крылья, растопырила руки:

— Всё, будет, будет! На поминках долго не сидят!.. Гриша, пошли... А вы — поехали!.. — и стала толкать к дверям учёного вместе с женой. — Поехали, слышите!.. — забыв, что никуда они не могут уехать, просто не доберутся в такое время до города.

Так Махновочка повела домой Гришу. И Василёк пошёл с ними.

Была зима, январь, колодец с оплывшим, намёрзшим льдом, звёздное небо, тишина, синий снег и голубые, очень уютные окна домов. Ровно пересекала деревню улица. Тёмные заборы, тени от них и от домов только ещё больше подчёркивали красоту ночного снега. Он искрился и скрипел под ногами. Василька держал за одну руку Гриша, за другую — мать, и он не столько шёл, сколько ехал по скользкой, как каток, дороге, а то поджимал ноги и висел между взрослыми.

— Мама, а дядя — учёный?

— Учёный, сынок. И ты, когда вырастешь, станешь учёным... Только водки берегись, видишь, что от водки бывает...

— Ну, и что, что учёный? — сказал Гриша без злости — остыл на улице, смягчился. — Если он учёный, так пускай сперва пить научится. Я ещё не таких учёных видел. Целую академию прошёл.

— Ох, прошёл, Гришечка, прошёл, не дай Бог никому пройти... Ты на них не смотри. Они сами по себе, а ты тихонько сам по себе. Он сказал по учёности, а ты стерпи, промолчи, отойди в сторону... Разве ты чужому человеку свои мозги вставишь?.. У них учёность, а у тебя тоже и ум, и Сюзанна, и работа... Сам добился, никто не помогал...

— А кто мне помогал? Сам!

— Ох, сам, Гришечка, век сам, и не пропал, в люди вышел, и мать несчастную смотришь, не бросил, и всё у тебя ладненько-складненько...

Со стороны если бы кто чужой услышал, так можно было подумать, что Гриша две аспирантуры закончил, а не две ходки имел за плечами. Где-то далеко, на другом конце деревни, прозвенело ведро у колодца, а казалось, будто совсем рядом. И таким близким было небо, что звон ведра долетел до него, и звёзды, большие и маленькие, тоже прозвенели тихим эхом в ответ.

— Так тёпленько сидеть дома, телевизор смотреть, а ему холодно, — забывалась Махновочка и говорила про Петра, как про живого. — Так уж

жалко его, так жалко! Такой хороший был... А что видел на своём веку? Ничего. Хорошие все несчастные, а злые — счастливые.

Здесь Григорий не согласился. Он считал себя и счастливым, и не злым. — А чем он несчастливый? Яму выкопали, гроб сделали, венки купили... Всё как у людей. Лежи себе.

— Он не в земле лежит, а висит на небе, — сказал вдруг маленький Василёк, поджимая ноги. — Видит нас и всё слышит.

И правда — такая красота была разлита вокруг, что не допускала она мысли о смерти; не бывает её! не может её быть в этой звёздной бесконечности, среди вечной гармонии, где всему своё место, где ни одна космическая пылинка не возникает и не исчезает сама по себе, без чьей-то на то воли!..

А звёзды всё перемигивались, всё тоненько звенели, словно и вправду это были бесчисленные души давно от нас отошедших, которые теперь там, вверху, продолжают жить, переговариваются между собою на своём языке, посматривают на нас и сочувствуют нам.

IX

Петра похоронили зимой, а летом к Вале посватался вдовец из соседней деревни, тоже, как и покойник Петро, моложе неё. Нормальный человек. Не пил, не курил. Имел бензопилу и сына такого возраста, как Любка. Валя пошла за него. Он продал свой дом, перебрался к ней, и они стали жить, как так и надо.

Почему таких мужчин тянет к таким, как Валя, что они в них находят — большая, вечная загадка, и разгадки ей пока нет в этом мире. Дело вкуса? Кому нравится поп, а кому попадья? А может, ещё проще, и здесь обычный трезвый расчёт: возьму такую ведьму — благодарна будет, больше любить будет, изменять не будет, а я, наоборот, под всю эту вольнку развернусь, под шумок начну делать, что хочу... А дудки. Никогда так не получится. И разве под старость, когда уже, собственно говоря, поздно, спохватится такой мудрец — так что же это вышло? Не я её, а она меня под себя подмяла, не я на ней, а она на мне всю жизнь проездила...

В конце умиротворённого, тихого августа, когда летали серебряные нити с чёрными паучками, калина гнулаась от тяжёлых гроздей, а под окнами вдоль стены кипели в самом цвету георгины, мальвы, и выбрасывали свои высокие стрелы “школьные” цветы гладиолусы, вечером Махновочка собирала сына в первый класс. Василёк был рад: он уже умел читать, писать и знал таблицу умножения. Махновочка даже присмотрела и подвязала ниточками лучшие цветы, чтобы срезать их завтра свежими в букет. На диване лежали костюмчик, рубашечка, стояли сандалии — всё новенькое. Кулинич специально возил сына в город на примерку. На столе — учебники, и тетрадочки, и ранец. Махновочка собралась сына мыть. Затошила печь, наставила горшков, лоханей, корыт... Мысли роились весело и беспорядочно. Она представляла, как они с отцом будут проверять дневник, помогать делать уроки; или как он вырастет и женится, а они с мужем будут любоваться на них, молодых, и только жаль, что нельзя в церкви, ведь сами они с Кулиничем расписались в сельсовете — так себе, не очень торжественно...

Она наставила горшков, сын был уже голенький, как-то оступился и сел в кипяток. После Махновочка рассказывала, что он не успел даже вскрикнуть, но она сама тогда взревела так дико, что никакой другой звук просто не мог быть услышан. У сына задок и всё, что можно, было сварено вкрутую, до синей черноты. Он умер, не доехав до больницы. Кулинич сам сделал маленький гроб, выгесал невысокий дубовый крест. Постоял с топором в руке, посмотрел на двор. Потом пошёл и под корень стал сечь калину. Падали на забор, разбивались, лопались красные крупные ягоды. Куст сопротивлялся смерти. Топор спружинил на неожиданно твёрдом стволе, рука вздрогнула, и удар пришёлся по ноге. Кулинич обеими руками зажал рану и проговорил: — Болищ!..

Вот так оно сработало, это подлое, безжалостное, отвратительно-жестокое правило: а не забывай, кто ты в этом мире, не люби сильно, не привя-

звжайся к кому бы то ни было, не привыкай, будь всегда наготове, чтобы не застигло врасплох, умей защищаться, держи про запас все варианты — вплоть до самого худшего... А позабудешь, расслабишься, захочешь посмотреть на этот мир широко раскрытыми васильковыми глазами — так мы напомним!..

Горе Кулинички переносили мужественно. По крайней мере, внешне. Только появились некоторые новые черты в их поведении, характерах, привычках, и это новое удивляло.

Например, Махновочке всё время нужно было, чтобы у неё были заняты руки. Доходило до того, что — всё равно не спала! — полола ночью огород, в темноте, на ощупь, отделяя картофельную ботву от травы.

— Чего ты опять ночью в огороде? — злились на неё.

— То я котика искала... Котик в борозду забежал, мяукает, — врала она, оправдываясь.

— Грех так сильно переживать! Ещё беду на деревню накличешь!..

Смерть сына выявила не худшие качества Кулиничей, а лучшие. Их стало тянуть к людям, этим они думали спастись. Махновочка куда бы ни шла, как увидит кого на огороде или во дворе — бежит, спотыкается:

— Хоть немножечко помогу...

— Иди! — гнали её. — Не надо твоей работы!

У Вали у ворот рос молодой дуб. Примак, чтобы показать свою хозяйственность, начал с того, что бензопилой его свалил, чтобы сделать новую вереву. Очесал. Шнур натёр углём, гвоздиком прибил, натянул на струну, приподнял — шпок! — отбилась ровная чёрная отметка, по которой можно долбить пазы. Кулинич издали усмотрел, идёт, торопится, ногой загребаёт — всё-таки повредил топором. В руке пешня тянется по земле, как щучий хвост.

— Куда ты идёшь, куда? — сердито кричит примак. — Чего ты идёшь, чего?

— Памагац!

Ещё Махновочка полюбила ходить в гости. Каждый вечер брала гостинец и шла к кому-нибудь. Как увидят через окно, что она идёт, так убегали или закрывались, затаивались, будто бы нет дома. Прошёл слух, что она ходит воровать. И как-то так получилось, что стали называть её уже не Махновочка, а Махновка, и вместе с этим ласковым суффиксом действительно как бы пропала, исчезла обаятельность, а осталось только что-то от нелюдиного, неприкаянного батеньки Махно.

Махновка поняла, что её просто чуждаются, когда пришла как-то к Вале, принесла жёлтых тыквенных семечек девкам.

— Знаешь что, — сказала Валя, — Петра больше нет, не ходите сюда. Ни ты, ни Кулинич. Я тебя слушать не хочу. А за ту лосятину отдам как-нибудь... У меня человек умер, так меня никто не пожалел, моего горя никто не видел, а у тебя уж такое горе, что только на руках носить.

Однажды утром Махновка собралась и пошла пешком за десять километров в город в церковь. Что там было, что она у кого просила, неизвестно, но возвратилась она и вправду другая, как бы отстранённая от людей.

До её души теперь добраться было невозможно. Ей скажешь: "Дождь идёт", — она в ответ: "Пускай идёт!" — а глаза застывшие, неподвижные.

— Селёдку в магазин привезли...

— Пускай везут.

— Сюзанна Гришина девочку родила...

— Пускай рожают.

— И что же это за муки такие... Ты же ещё не старая, сходи в поликлинику, проверься, теперь же и в пятьдесят рожают, не то что в сорок...

— Пускай рожают.

— Коли уж так невыносимо, так усыновите! Сходите в органы опеки, — советовали ей.

— Пускай усыновляют!

— Сходи ты, я тебя ещё научу, в молитвенный дом. Попы не помогли, так, может, баптисты помогут...

— Пускай помогают, — сворачивала она на битую дорогу: голос — сам по себе, а мысли — в другом месте.

Этим поведением, как ни странно, стала она напоминать Григория. Одна я знаю что-то такое, читалось по ней, чего вы не знаете. Только у Григория было это с вызовом, с гаганьками, а у неё — с каким-то нехорошим самоуглублением.

А Грише, новоиспечённому отцу, уже начинала надоедать его степенность, и все чаще тянуло его на холостяцкие гульбища. И он рассказывал нам, подросткам, что облепили его лавку, слушали его, набираясь блатной мудрости, — рассказывал, как ночью прибежала к ним Махновка, помешанная, седая, страшная, покатила в ноги: “Гришечко, сыночек, отдайте мне девочку, вы себе ещё родите!”

Мы хохочем...

Х

Ещё года через три, в июле, Кулинич с Николаем Мироном пришли на мост посмотреть, как мы, уже большие парни, после школы, ловим рыбу.

Николай Мирон каким был, таким остался, ходил без палки, и если бы и теперь ездили в Дикий Луг, так и он бы поехал. Но давно уже никто куда не ездит.

Не такой Кулинич. Сгорбленный, с палкой — покалеченная нога перестала сгибаться. У него сделался тик на глазу. Когда он говорил, веко начинало дергаться, и вместе с ним — щека, а со щекой задиралась верхняя губа, и все зубы с той стороны были видны. Гриша прозвал его за это Скалозуб.

День был тёплый, душный. Николай Мирон посидел немного и пошёл домой пить соду. Мы вылезли из воды, поделили улов. А Кулинич, опустив голову, всё сидел и что-то бормотал. Подкрались сзади подслушать, что он там говорит. А он даже не услышал шагов, не заметил, что уже не ловят. Сидел, смотрел вниз на воду; и губы его шептали:

— Ниже, ниже, ниже...

Наверное, в мыслях он был далеко отсюда, где-то там, на Диком Лугу, в том времени, когда он был ещё никакой не Скалозуб, а молодой, сильный, весёлый, удачливый до такой степени, что даже рыбу мог поймать, не замочившись; когда всё было так светло, счастливо, и верилось, что впереди — только лучшее.

А может, он хотел сказать: так что же это за штука такая — жизнь, как же она умеет обмануть человека, вознесёт высоко, а затем неизбежно опускает всё ниже, ниже, ниже?..

*Перевод с белорусского
Натали КАЗАПОЛЯНСКОЙ*

ТАТЬЯНА ШПАРТОВА



ЧЕМ НЕ БЛАГОДАТЬ?

НАБРОСОК

Облака стоят на рейде, в путь готовые пуститься.
Тихо мелом под линейку самолёт провёл черту.
Словно брошенные зерна, промелькнули стайкой птицы,
Где-то в глубине бездонной растворились на лету.

И покуда горожанин сны досматривает в койке,
Бесприютная собака по своим спешит делам,
Да бездомный терпеливо производит смотр помойке,
Беглый завершив набросок ночи с утром пополам.

ВЕЧЕР В ДЕРЕВНЕ

Слишком быстро, в одночасье, погрузился в сумрак двор.
Прошмыгнув бесшумной тенью, кот отправился в дозор.
В синей мгле циклопым глазом смотрит дальнее окно,
Да за полем, там, где запад, — золотистое пятно.
Комары не донимают, тихо... Чем не благодать?
Нам от бабьего от лета лучше многого не ждать.
Изредка ударит глухо оземь яблоко в саду...
Я и так себя смиряю, я и так давно не жду.
Вон уже озноб по коже... Видно, зря передо мной
В лунном свете мечет бисер невесомый дождь грибной.

ШПАРТОВА Татьяна — член Союза писателей Республики Беларусь. Окончила МГЛУ (бывш. МГПИИЯ). Автор сборника “Стихи и песни”, сценариев и стихов к песням. Живёт в Минске.

СОКОЛ (песня)

Приручили сокола
Люди для забав —
С неба он высокого
Падает стремглав.

Он добычу-горлицу
Видит за версту
Бьёт её без промаха
Прямо на лету.

На скалистом берегу
Дом его родной.
Я желала б соколу
Участи иной —

В небе солнцу одному
Сокол бы служил.
Только раньше срока б он
Голову сложил.

У него на голове
Шелковый клубок,
Чтоб не знал по воле он
Нестерпимых мук.

И сидит на рукаве
Сокол удалой
Царскою игрушкою —
Верною стрелой.

НАТАЛЬЯ КОСТЮК



ПРО ЛЮБОВЬ

РАССКАЗ

В маленьком городе Кобрине, в северной его части, именуемой Лепесы, семейная жизнь у людей складывается точно так же, как и на всём белом свете. Счастливые семьи соседствуют с несчастливymi.

Баба Люба и дед Ксаверий в своём приземистом домике у самой дороги однажды сочли за ничто те нелёгкие сорок лет своей жизни, в течение которых согласно делили меж собой и хлеб на столе, и кров над головой. В шумной семейной ссоре по пустяковому поводу они, забыв Бога, не стали терпеть друг друга с любовью и покорились злу, себе в поругание, а душе — в погибель. Баба Люба, обычно осмотрительная и сдержанная на язык, неожиданно впала в тяжкий грех злословия. А дед Ксаверий, омрачившись разумом, — как был в тапках на босу ногу и красных спортивных штанах — так впервые в жизни и покинул родной дом на ночь глядя, чтобы бесследно раствориться затем в стыллой февральской тьме.

— Глаза б мои тебя вовек больше не видали! — успела через форточку бросить ему вдогонку раздосадованная супруга.

Но пришлось бы слишком откровенно пренебречь истиной, чтобы всю вину в этой размолвке возложить целиком на её слабые женские плечи. Мно-

Костюк Наталья Вениаминовна окончила филфак Брестского пединститута имени А. С. Пушкина. Работала учителем русского языка и литературы в школе, переводчиком в Северной группе войск Советской Армии, воспитателем в дошкольном детском доме. Любимая писательская тема — дети, обездоленные судьбой, словом, те самые дети, работе с которыми отдала четверть века своей жизни. В 2010 году "Детдомовские рассказы" вышли сборником в издательстве Белорусской Православной церкви по благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета. Публиковалась в журналах "Нёман" (Минск), "Фома" (Москва) и др. Член Союза писателей Беларуси. Живет и работает в Кобрине (Брестская область).

гие из претензий бабы Любы к мужу все-таки имели под собой некоторое основание. Водопроводный кран на кухне, например, действительно протекал не менее трех дней кряду. А старая тощая крыса, с осени поселившаяся под полом дома и благосклонно принявшая от хозяев звучное имя Барракуда, давно уже в открытую позволяла себе ночами как ни в чём не бывало прогуливаться по их чистенькой супружеской спальне.

Супруги со скандалом расстались. В их опустевшем нетопленном доме царилась сугубая, гнетущая тишина. Старенькие настенные часы в спальне — и те лишь с большим запозданием решились, наконец, скрипуче отсчитывать полночи. Да чуть позже громко разбилась о немытую обеденную посуду капля воды, оброненная неисправным водопроводным краном на кухне.

— Истинно, что всё злое и скорбное в жизни приключается за возношение наше, — вздохнула баба Люба. Искося бросив взгляд на цветной фото-портрет мужа, торжественно установленный не так давно на верхней полке громоздкого серванта, она мимо воли вернулась в памяти к тому роковому событию, которое нежданно-негаданно послужило началом всех её нынешних бед.

Ровно неделю назад, хмурым морозным днём, в магазине, иронически именуемом лепесовцами “Прощай-Кобрин!” за его максимальную удалённость от благ городской цивилизации, баба Люба как раз присматривалась к вновь поменявшимся ценам на хлеб, когда две малознакомые ей молодые особы в своём слишком оживлённом разговоре у кассы приватно упомянули имя деда Ксаверия.

— Хоть и старик уже давно, а ведь вот до чего ж хорош ещё собою, чертяка этакий! — намеренно громко говорила одна из них, закатывая под выщипанные бровки круглые водянистые глаза. — Толковый, справный, руки откуда надо растут... Такие, как он, промежду прочим, на дороге не валяются!

— Что-что, а так оно, в сущности, и есть! — щебетала другая, кивая непокрытой, по-модному стриженной головой в сторону бабы Любы. — На руках её носит! А она его как есть в чёрном теле держит. Ни вздохнуть, ни выпить-курнуть нипочём не даёт. Да и дитёнка ни единого за всю свою жизнь, уже старости дождалши, так и не удосужилась ему родить. С чего бы, кажись, такая непомерная любовь-морковь!

Молодицы, обе пышнотелые и разгорячённые, в искусственных под норку шубках, с откровенным любопытством разглядывали старенький пуховый платок на седовласой голове бабы Любы и её удобные для похода в магазин, но отнюдь не праздничные сапоги. Забыв о хлебе насущном, ради которого и выбралась из дому, баба Люба, не приняв вызова, но пылая лицом, малодушно поспешила покинуть поле несостоявшейся битвы.

— Тыщу лет ношу-ношу этот чепуховый платок, и всё сносу ему нет! — чуть не бегом вернувшись домой, с порога обвинила она изумлённого супруга во всех смертных грехах. — А если б у тебя руки и вправду росли откуда надо, то давно бы провёл газ в хату, чтоб о печке можно было и думать забыть!

Целую неделю дед Ксаверий отмалчивался в ответ на её попреки, тайно курил в рукав при открытой форточке и, уповая на Бога, по-мужски терпеливо дождался скорейшего возвращения жены в разум истины. По всему, ей следовало бы, конечно, вознести смиренную молитву ко Господу об укреплении немощных сил и произволения, которая в таких случаях единственная только и может угасить в душе всепожирающий пламень страстей. Но, намеренно избегая встречаться взглядом с кроткими глазами Христа на иконе в простенке между окнами спальни, баба Люба демонстративно перенесла свою постель в другую комнату, на узкий неудобный диван, втайне отстаивая для себя право на безраздельное владение мужем по своему, женскому, усмотрению и, разумеется, до скончания времён.

— Да сколько ж, Любаша, может продолжаться такая свистопляска! Какому лихому бесу взбрело на ум вселиться в тебя, неумёмную? — не сдержался, в конце концов, дед Ксаверий. Его нервный срыв, несомненно, и вверх бабу Любу в тот душепагубный грех злословия, из-за которого тотчас разгорелся весь сыр-бор внутрисемейного конфликта. А самочинный уход деда

Ксаверия из родного дома подвёл уже окончательный итог их семейному союзу, заключённому, между прочим, на Небесах.

...Для внезапно осиротевшей бабы Любы настал тот миг, когда многого уныния надлежало исполниться душе её. Не сводя глаз с фотопортрета мужа, она вдруг отчётливо поняла, что ужином кормить сегодня ей доведётся лишь то единственное живое существо в доме, которое, возможно, отныне и навсегда будет делить с нею её вынужденное одиночество.

— На, поешь, Барракудка! Может, как налопаешься от пуза, так меньше будешь шастать по хате да ножищами своими топотать, — предложила она скромное угощение “квартирантке”, выставя на полу у входной двери остатки посиневшей перловой каши в старой алюминевой миске.

Эта пятидесятикопеечная миска, кстати сказать, была первой семейной покупкой супругов, совершённой, по словам деда Ксаверия, чуть ли не на заре советской власти, а точнее — в те первые дни после их свадьбы, когда баба Люба ещё могла похвастаться осиной талией, а сам он — белозубой улыбкой и немереной силой большого крепкого тела.

— Вербочка моя синеглазая! — любил в те поры говаривать он, легко перехватывая её талию пальцами обеих рук. Воспитанный в патриархальном духе старой деревни, он принципиально не позволял жене работать нигде, кроме огорода, и самостоятельно содержал семью на свою скудную зарплату дорожного рабочего. Из года в год Лепесы с затаённым интересом ожидали финала их бездетного и финансово не обеспеченного супружества. Но время шло, а финал всё откладывался по не совсем понятным для заинтересованной общественности причинам.

— Всю жизнь жалеет тебя, как незнамо кого! — бывало, не раз удивлялась ближайшая соседка бабы Любы, бывшая машинистка городской газеты “Кобринский вестник” и местная знаменитость — красавица Клара. Смолodu причисливши себя к тонкой прослойке лепесовской интеллигенции и лишь недавно выйдя на пенсию, она навсегда осталась непреклонной в том пункте своего жизненного *credo*, который касался неизменности её возраста и скептического отношения к мужчинам.

— Пойми, подобная жалость унизительна! — снисходительно поучала соседку Клара и, хоть догадывалась, сколь болезненной может оказаться для собеседницы тема их разговора, всё же настаивала на необходимости сиюминутного разрешения наболевшей проблемы. — Чем так жить, как вы с Ксаверием живёте, без детей да без гроша денег в кармане, то расстаться — в сто раз лучше! Отпусти ты мужика на волю!

Клара знала, о чём говорила. Она в разное время, но последовательно и безо всяких сожалений *отпустила на волю* всех своих троих мужей и, оставив каждому из них на память о пережитом по ребёнку, отвоевала, в конце концов, для себя вожделенное право на финансовую независимость и строго индивидуальный образ жизни.

Баба Люба не всегда умела уберечься от нежеланных встреч с Кларой. Дружеские назидания учёной соседки часто влекли за собой боль сердечную и рой мучительных мыслей по ночам. После тягостных разговоров с нею трудно было найти в себе силы для противостояния злу. И, за неимением конкретного, ярко обозначенного противника, баба Люба, впадая в грех, часто обрушивала всю свою неутешную женскую боль на седую голову ни в чём не повинного супруга.

— Утомонись, Любаша! Перетершим... — увещевал в таких случаях жёну дед Ксаверий, осушая носовым платком её синие заплаканные глаза. Сидя обнявшись под образами на скрипучей супружеской кровати, оба вслед за тем долго молчали и вздыхали о множестве своих невзгод, попущенных им Господом, который, говорят, ради долготерпения во скорбях и злостраданиях прощает человекам все их грехи. Но в тот день, когда баба Люба, пламенея, вернулась из “Прощай-Кобрина”, где две пышнотельные молодки перемывали её белы косточки, у деда Ксаверия, как на беду, не оказалось под рукой подходящего носового платка. Эта досадная оплошность и лишила супругов тепла их домашнего очага, тем более что о нетопленной с самого утра печке в пылу жаркой ссоры никто так и не вспомнил.

...По-зимнему поздний тоскливый рассвет белёсым неясным пятном отметился на занавешенном окне спальни, которая ещё накануне вечером имела основания именоваться супружеской. Баба Люба, лёжа одетой на неразогланной кровати и прислушиваясь к ноющей боли в груди, перебирала в уме возможные варианты местонахождения мужа.

— Лишь бы к куму не пошёл, — озабоченно вздыхала она. — Если к куму в такую стужу посунулся за тридевять земель в одних тапках, то как пить дать по дороге всё на свете себе поотморозил!

Кум Алексеич, до пенсии водитель местного дорожного управления, жил тремя улицами дальше, у самой городской черты, и на этом основании был однажды бесцеремонно отнесён городскими властями к разряду рядовых сельских жителей. Дед Ксаверий крестил всех детей Алексеича и всегда был желанным гостем в его добротном бревенчатом доме, крытом в пику властям — на городской манер: красной металлочерепицей.

Твёрдо решив с утра пораньше проведать Алексеича в его загородном доме, баба Люба засобиралась в дальнюю дорогу.

В сумеречном свете уличных фонарей она не особенно поглядывала по сторонам, а всё своё внимание сосредоточила на крыше кумова дома, красным цветом обозначавшей далеко впереди плавный переход Лепесов в непосредственно сельскую местность.

— ...Нам бы давно пора всё расставить по местам в наших с тобой межличностных взаимоотношениях! — неожиданно переступила ей дорогу, дыхнув в лицо морозным паром, чем-то крайне озабоченная Клара. В наспех накинутом на плечи полушубке и со следами вчерашнего макияжа на увядшем лице, она диковинным привидением возникла перед бабой Любой из-за снежного заноса у самого края дороги. Судя по плотно утоптанной в снегу тропинке к её небольшому ухоженному дому, который, между прочим, по-свойски когда-то помогал строить безотказный дед Ксаверий, она дожидалась здесь соседку уже давно.

— Потом, — отмахнулась от неё баба Люба, не выпуская из виду красную металлочерепичную крышу кумова дома вдали.

— Нет, сейчас! И здесь! И без того давно жду! — рывком развернула её лицом к себе Клара. — Между нами отныне не должно оставаться никаких недоговорённостей! — и она ненадолго задержала дыхание, чтобы справиться с чуть дрогнувшим голосом, но вслед за тем продолжала уже в ровной и всегда свойственной ей назидательной манере: — Согласись, что Ксаверию было бы лучше жить со мною! С тобой он всю жизнь промаялся. А я — и красивее тебя, и значительно моложе!

— Как моложе? — не поняла поначалу опешившая баба Люба, но в следующий миг и впрямь, как ей показалось, расставив всё по своим местам, рванулась из рук новоявленной соперницы к калитке в металлической ограде её дома.

— Ксюша, Ксюша, прости меня, треклятую! — захлёбываясь слезами, закричала она в глубину тёмного двора, но, удержанная Кларой за полу старомодного зимнего пальто, со всего размаху упала лицом в снег, так и не успев добежать до калитки.

— Послушай, недопустимо же так унижать себя! — грузно перепрыгнув через павшую и загородив собой проход в сугробе, зло выкрикнула Клара, однако, не лишённая способности к состраданию, добавила, строго глядя на неё сверху вниз: — Посмотри, на кого ты похожа! Чучело какое-то огородное, честное слово!

Заплаканная, в съехавшем на плечи пуховом платке и с растрёпанной седой косичкой вокруг головы, баба Люба беспомощно ползала в снегу у Клариных ног. Силясь встать с колен, она всё пыталась ухватиться за железные прутья ограды, но ничуть не преуспела, а лишь в кровь изранила себе примерзающие к металлу руки.

— Ксюша, живи, где хочешь, коли тебе без меня лучше, — только прости! — вновь закричала она, тяжело привалившись обмякшим телом к решётке ограды. — Всю жизнь тебе испортила, греховница злоязыкая!

Подождав немного, насколько позволила хлопотавшая вокруг неё Клара,

баба Люба поднялась, наконец, с колен и, тяжело переступая с ноги на ногу, медленно двинулась прочь от постылого дома. Что-то вслед ей ещё кричала удивлённая Клара; о чём-то, смеясь, громко судачили соседки из-за ближайших заборов — она не различала долетавших до неё слов. Уже дома, сбросив с больших ног сапоги, в безвременье лежала, вытянувшись, на кровати и слушала, как капает вода из протекающего кухонного крана да ближе к вечеру устраивается в подполье на ночлег объевшаяся перловой каши старая одинокая крыса Барракуда.

...В сгустившихся февральских сумерках особенно отчётливо и неспроста полыхнул несколько раз и тотчас же погас огонёк лампы у иконы Спасителя в протекше между окнами.

— О Господи! — испуганно прошептала баба Люба и приподнялась на кровати, словно поддёргнутая внезапной, долго таившейся от неё мыслью. — За последнюю неделю ни единого разу лба своего медного крестным знаменем себе не осенила, окаянная!

В потёмках, не включая света, торопясь и спотыкаясь о собственные сапоги, она вторично на дню засобиралась в путь.

— Молитву пролию ко Господу и возведу ему печали моя! — сквозь одышку, словно в забытии, вполголоса подбадривала она себя, с трудом пересекая пустынную заснеженную дорогу и длинный ряд сугробов позади бывших солдатских казарм военного городка. Сюда в это время всё отчётливей доносились размеренные удары колокола Свято-Введенского храма, некогда напутствованного на служение благочестивыми афонскими старцами.

Вечерняя служба в церкви ожидалась с минуты на минуту, тотчас по приезде настоятеля, отца Виктора, который, как было слышно, уже разворачивал во дворе свой автомобиль. Но баба Люба, вдруг утратив решимость, так и осталась стоять в притворе, пока стремительно и шумно вошедший с мороза отец Виктор по-хозяйски не распахнул перед нею внутреннюю дверь храма.

...Что за чудо — эти незатейливые провинциальные церковки! Равно чуждые и ослепительному блеску обманчивой роскоши, и многоголосому шуму столичной суеты, они являют благодарному взору мир, именуемый горним. Длинная полосатая дорожка домотканого половичка по свежeweымытому полу от самого порога; жар оплывающих воском свечей в восходящей дымке кадильного ладана; скорбные лики святых, исчезающие в трепетном мерцании одиноких лампад, и незримое, но почти осязаемое реяние Божества, благорастворённого в молчаливом сумраке субботнего полиелея...

— Нет, недостойна я, батюшка, зрети эту чистоту небесную... грешна... — мягко отстранилась от священника баба Люба, не решаясь переступить порог храма.

Но отец Виктор, вторично приглашая пройти, лишь шире раскрыл перед нею двери в храм и с улыбкой провозгласил нараспев нарочито низким голосом:

— Дерзай, чадо, дабы благих сподобиться надежд!

— Ах, батюшка... — в глубоком поклоне, по-детски укрывая ладонью исказившееся лицо, попыталась она приложиться к его руке. Но он, поспешно сбросив с себя меховую куртку, в развевающемся подряснике, уже вошёл в алтарь, откуда вскоре и возвестил, торжественно и протяжно:

— Благословен Бог наш всегда-а...!

В немногочисленном, уютом храме прямая, как свеча, баба Люба стояла у престола Божия, не смея ни переступить с ноги на ногу, ни прислониться плечом к стене. Привычно крестясь и вторя певчим, она всё более и более вверяла себя тому тёплому чувству умиротворения, которое на молитвенном стоянии неизбежно объёмлет всякую смиренную душу, уповающую на скорое утешение и покой. Лишь единожды запоздалое рыдание пресекая ей горло — когда при взгляде на образ Богородицы “Взыскание погибших” она отважилась едва слышно попросить:

— Застушница Усердная, помилуй мя... и помоги... если можно, конечно...

В высоком ночном небе над Лепесами мерцали холодные февральские звёзды. Где-то у самого горизонта, ближе к земле, должно было бы светить-

ся окно родного дома бабы Любы тем тёплым немеркнущим огоньком, который всегда прежде зажигал для неё по вечерам предусмотрительный дед Ксаверий. Она и не удивилась поначалу, когда, отворив калитку, увидела привычный свет в крохотном окошке своей кухни, где его со вчерашнего вечера зажигать, казалось бы, было решительно некому.

— Ксюша, ты ли? — беспомощно застыла она у порога, пока дед Ксаверий, как и встарь не раз бывало, с трудом стаскивал с её уставших ног сапоги.

Это действительно был он — в тапках на босу ногу, красных спортивных штанах и длинном клеёнчатом фартуке, предназначенном для растопки печей и починки протекающего водопроводного крана.

— Знаешь, — невольно поёжился он от неприятных воспоминаний, — ещё б одна такая ночь у Алексеича, и можно было бы запросто в ледяную глыбу превратиться. Он, видишь ли, среди зимы придумал на топливе экономить, артист! Вот так, без носков, и пришлось от него сбежать без оглядки.

— Так ты у кума ночевал? — быстро переспросила баба Люба, чтобы раз и навсегда закрыть для себя эту скользкую тему, после чего не колеблясь извлекла из потаённых глубин своего стародавнего платяного шкафа пару новых шерстяных носков и, усадив мужа на диван, собственноручно надела их ему на ноги. — Ну, вот, может, будет тебе теперь хоть немного теплее.

— Мне возле тебя всегда тепло, печечка моя синеглазая. Не могу без тебя, Любаша, никак, хоть ты меня убей! — дрогнувшим голосом засвидетельствовал дед Ксаверий неизменность своих нежных чувств к жене и впервые за последнюю неделю бережно обнял её за податливые тёплые плечи...

В наступившей вслед за тем тишине было отчётливо слышно, как, приближаясь к полуночи, скрипуче отсчитывали время старые настенные часы. Потрескивали, осыпаясь пламенеющими искрами, дрова в раскалённой гудящей печке. Безмолвствовал один лишь отремонтированный водопроводный кран на кухне. Да вызывала немое удивление непочатая пачка дешёвых сигарет в мятой алюминиевой миске у порога. Обронила ли её туда баба Люба, очищая, как обычно, утром от табачной скверны карманы старой мужниной куртки; или это было благодарное приношение крысы Барракуды, которой посчастливилось обнаружить один из полузабытых дедовых тайников?.. Достоверно известно лишь одно: дед Ксаверий с того дня начисто охладел к табаку. А Барракуда, нагулявши себе на перловой каше круглые бока, внезапно ощутила тягу к дальним странствиям. Приняв однажды непростое решение расстаться с гостеприимными хозяевами, она более уже никогда не возвращалась в их маленький приземистый дом у самой дороги.

ТАМАРА КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО



ПРАВДУ О ЖИЗНИ СКАЗАТЬ

* * *

Пришли времена: обступают нас маски, не лица:
Предательство — нормой считается, доброе — злом,
И силы иссякли, осталось одно лишь: молиться,
И биться со злом, что уселось за нашим столом.

Унять своё сердце, что слова не знало “измена”.
Мы жизнью своею построили наши пути,
Мосты и дороги крепили идущим на смену,
Но “смена” пришла и спешит уничтожить мосты.

Беда, коль вандалы глумятся над воином, павшим
В бою за Отчизну, и ворон уже за спиной,
А “наши”- то, где? И вокруг почему-то “не наши”?
И дом разделился на части, мой дом — не чужой.

Как выжить, не сдаться, ведь если — не вор ты, то — жертва,
И, коль не подлец, суждено тебе жертвою стать.
Одно только держит так крепко ещё среди смертных,
Что я не успела всю правду о жизни сказать.

КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО Тамара Ивановна родилась в деревне Щепятино Брянской области. Окончила педагогический институт. Автор семи поэтических сборников. Лауреат литературной премии Симеона Полоцкого. Председатель Витебского отделения Союза писателей Беларуси. Живет в Витебске.

* * *

Да что ты сомневаешься, не спишь?
Вслед — силам светоносным я не внемлю.
Прислушайся: сквозь заревую тишь,
Кто так поёт? Кто нашу славит землю?!

Среди зелёнки нежной — соловей,
Невзрачный, серый, маленький комочек,
Всё покоряя песнею своей,
Поёт свою весну, бурлит, клокочет,

Звенит над миром, снова молодым
От этой песни, созданной зарёю.
Не ждёт он платы, и — рассеян дым
Над грешною и нежною Землёю.

* * *

Этот ветер, и ночь, и метель — всего
Повидала, по сердце в снегу я.
Так случилось: всю жизнь я любила его,
А он любит всю жизнь — другую.

Как сказать и кому: васильки и луга,
И берёзы из самого детства,
Всё, что помню, что знаю, ему берегла,
И куда теперь всё это деть мне?

Я читаю тебя между знаков и строк,
Я давно о тебе всё знаю,
Как заученный с детства священный урок,
Потому что — я — замерзаю.

Я спасусь, только надо всю жизнь забыть,
Золотые её крупинки
Подвели меня: свили канат, не нить,
Привязали к Брянским тропинкам.

Что за люди идут по твоей судьбе?
Что за души — все нараспашку?
Я поеду, поеду домой, к себе,
Погадать на белой ромашке.

Я УЕЗЖАЛА...

Мне не спасти заболоченных
Брошенных сёл, деревень,
Хат и окон заколоченных,
Где дикий хмель на плетень
Лёг всей тропической силою,
Спутал лианами грудь.
Милая, милая, милая,
Невыразимо любимая,
Как из забвения вызволить,
Как тебя заново выстроить?..
— Эй, кто-нибудь, кто-нибудь!.. —

Что ж я кричу, окаянная,
Где тут такой кто-нибудь?
Выйдет из чащи поганая
Сила какая-нибудь.
То-то ей выпадет радости
Всласть над бедой хохотать,
Лучше травую мне стать,
В землю корнями вращать.
Ни молодой, ни здоровою,
Сильной, богатой и умною
Новою буйной весной
Я не вернулась домой.
Не привезла я сокровища,
Силушку не привезла.
Новых земель не прибавила,
Всё, что имела, оставила,
И никого не спасла.

Я уезжала...

МИХАИЛ ПОЗДНЯКОВ



КАКАЯ СЛАДОСТЬ В ТИШИНЕ!

* * *

Какая сладость в тишине!
И в той, что чутко правит бором,
И в той, что в самой глубине,
Где невозможно быть актёром.

Где думаешь светло о тех,
С кем сводит непреклонный случай,
Где вдалеке от всех утех
Тебя святые тайны учат.

* * *

Нашёл льняное покрывало,
И всколыхнулась боль во мне.
Его когда-то мама ткала...
Я кросна вспомнил, как во сне.

ПОЗДНЯКОВ Михаил Павлович родился в 1951 году в деревне Забродье Могилёвской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт. Автор более 30 книг. Работал главным редактором издательства "Юнацтва", журнала "Нёман". Председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси. Лауреат литературных премий. Живёт в Минске.

Земное чудо здесь рождалось...
Челнок сновал туда-сюда...
Но уж и цвета не осталось
За эти долгие года.

Где перезвон пречистый самый,
Где синь бездонная течёт, —
В раю моя сияет мама,
Покровы ангельские ткёт.

* * *

Догорает костерок, и зыбко
Дым уходит в темноту елин.
Подари мне, солнышко, улыбку.
Я в лесу задумчивом один.

Больше нет родной, любимой мамы...
Чтоб душа моя не умерла,
Одинокий, грустный, верно, самый,
У тебя прошу теперь тепла.

Уж неделю под дождём бедую,
Вспоминаю светлые деньки.
Знаю, не заменишь ты родную,
Так хотя б немного помоги.

И неожиданно туча посветлела,
Приоткрыла солнца закуток,
Будто мама кротко посмотрела,
Прошептала: “Не горюй, сынок...”

*Перевод с белорусского
Глеба АРТХАНОВА*

ВИКТОР СУПРУНЧУК



ДЛЯ ТЕБЯ Я ГОТОВ НА ВСЁ...

РАССКАЗ

Я стоял на самом краю света. За мной громоздились поросшие мхом огромные валуны, а чуть дальше чернели кривые, словно обгрызенные скалы. Несмотря на тёплый солдатский бушлат, меня пронизывал, казалось, насквозь бешеный ветер, дувший с моря и сыпавший соленую крупу. Но я не уходил с берега.

У ног тёрлись о камни волны холодного моря. Тёмного, бесконечного.

Я стоял и плакал. Мои слёзы смывал мокрый ветер. От холода я постепенно успокоился. Мне стало легче. Никто не видел моих слёз. Я, как всегда, — спокойный, весёлый парень. Такой же, как мои товарищи, с которыми изо дня в день проходит моё время.

Нас немного на этом маленьком острове в холодном, очень далёком от моей деревни море. Спрятавшись за чёрной горой, на которой машут крыльями локаторы, стоят пять зелёных домиков и жёлтый, — видимо, чтобы было веселее, — двухэтажный барак. В домиках живут семьи офицеров, в бараке — солдаты. Мы — особая рота. Километров в двух от нас, тоже за горой, ещё одна особая рота. И там несколько домиков и барак. Наш командир — высокий седой майор Кириллов — начальник этого гарнизона. У него есть заместитель — капитан Гризюк, широкий, как печь. У него унылое выражение лица и короткая рыжая борода. Он отвечает за воспитательную работу с нами. Каждое воскресенье на втором этаже барака капитан Гризюк показывает нам кино. Репертуар небольшой: “Чапаев” или “Бриллиантовая

СУПРУНЧУК Виктор Петрович. Родился в 1949 г. в д. Селец Березовского района Брестской области. Окончил Белоозерское училище электротехники, факультет журналистики БГУ. Автор более десяти книг прозы. Лауреат литературной премии и.м. Ивана Мележа. Живет в Минске.

рука”. Эти фильмы мы будем смотреть до тех пор, пока не придёт корабль. Он бывает раз в два-три месяца.

Посмотреть кино порой приходят жёны офицеров с детьми. Тогда зал полон. Все свободные от службы солдаты ходят в кино. Теперь я понимаю: чтобы поглазеть на красивых женщин, празднично нарядных, от которых пахнет духами. Чьи голоса — словно волшебная музыка. Обычно мы видим жён офицеров у их домиков, в халатах или спортивных костюмах. У всех этих женщин одно “обыкновение” или, лучше сказать, забава — куры. Их они с утра до вечера кормят, за ними ухаживают, и иногда слышно, как хвалятся одна перед другой прибылью — количеством яиц.

В тот день я сидел в зале совсем близко от жены капитана Гризюка. Моё колено почти касалось её спины.

Она была в белом платье. На плечах — красная кофточка. Густые чёрные волосы завивались и спускались почти до пола. Так мне казалось, потому что через минуту, после того как я сел сзади на стул, уже ничего не видел. Только её белую, как сметана, прикрытую чёрными волосами тонкую шею. Немного оттопыренные, маленькие уши с золотыми серёжками, а в них прозрачные, как колодезная вода, маленькие камешки. Чувствовал тонкий аромат мягких сладких духов.

Звучала музыка, туда-сюда слонялись дети офицеров. Я сидел, как прикованный к стулу, смотрел на эту бело-розовую шею и боялся, что мне станет плохо. Её запах издевался надо мной. У меня было ощущение, будто я попал в ловушку. Я жадно глотал тот ароматный воздух, видел волну чёрных волос, которые переливались медью под светом электрической лампочки.

Она несколько раз оглянулась, внимательно посмотрела на меня. У неё были весёлые глаза. Губы шевелились в игривой усмешке. Меня осматривали, словно какую-то неизвестную вещь или игрушку.

Фильм закончился очень быстро. Я сидел бы в этом зале ещё час, два, лишь бы только видеть её перед собой. Смотрел бы, смотрел... Но зажгётся свет, и она с соседкой, женой командира взвода Деркуса, весело переговариваясь, двинулась к выходу в зелёном потоке солдатских шинелей. Я ожидал, что она оглянется, снова посмотрит на меня своими весёлыми глазами-уголками. Никто на меня не посмотрел. Настроение испортилось надолго, и я, словно в тумане, шёл на вечернюю поверку, ложился спать. Ничего не слышал и не видел. В голове, как в кино, без конца прокручивались кадры с женой капитана Гризюка. Она садится на скамейку, смеётся, оглядывается, расстёгивает пальто. На ней чёрные блестящие чулки, как я замечаю — с рисунком. На ногах совсем маленькие, словно детские, красные остроносые туфли на высоком каблуке. Её улыбка...

Я засыпаю где-то под утро. Мне душно и горячо, болят бока. Наконец, снится, что она с мужем, капитаном Гризюком, за столом сидит, завтракает. Потом он целует её, целует... Звучит музыка, и они начинают весело танцевать. Неожиданно спотыкаются и падают на пол, а длинные чёрные волосы поднимаются, как столб дыма.

Я хочу помочь ей подняться, протягиваю руку — и не хватает силы, потому что мешают борода капитана Гризюка. Я толкаю его, а передо мной стена, которая зажимает меня в угол. И нет оттуда выхода...

До армии я даже не смотрел в сторону девушек. Как говорил наш сосед в деревне, дед Мянтуз, ещё не созрел. Мало каши съел. При чём тут каша, кто его знает? Каждый по-своему начинает взрослую жизнь. Что-то происходит внутри, когда вдруг начинает нравиться девушка, лучше которой, кажется, нет ни одной на свете.

Я увидел жену Гризюка и будто сошёл с ума. Мне хочется по несколько раз в день пройти мимо их домика, посмотреть, как она разговаривает с соседками, возится с курами. У меня сразу поднимается настроение, и я чувствую радость. И служба кажется мёдом. И мокрый ветер с моря уже не такой холодный. Утром я бегу кросс по каменистому острову с удовольствием, не прячусь у широкой тёплой трубы гарнизонной котельной.

Я с нетерпением жду субботы, когда опять будет киносеанс, и жёны офицеров будут сидеть вместе с нами в зале. Дни идут невыносимо медленно, тя-

нутя, словно резиновые. А в четверг старшина роты с грустью сообщил, что капитан Гризюк, который поехал на Большую землю в политотдел, вернётся только на следующей неделе, а значит, новых фильмов не будет. На “Бриллиантовую руку” и “Чапаева” уже никто не пойдёт: кому охота смотреть их третий месяц?.. Теперь суббота для меня — обычный день, унылый, будний. Ощущение, будто у меня украли что-то очень дорогое и близкое.

Я угрюмо чистил на кухне картошку, не слушая, о чём галдят рядом мои товарищи, не воспринимая их анекдоты, байки. В голове жила только одна мысль, которая волновала моё существо и днём и ночью. Я подумал, что так бывает у людей с не совсем здоровой психикой. Но всё же одно — думать так о ком-то, и совсем другое — о себе. Что я должен делать, если все время перед моими глазами стоит Ольга Ивановна, жена капитана Гризюка? Её чёрные волосы, пухлые губы и бело-розовая шея...

Стукнула дверь, и на кухню залетел дежурный по роте, с порога уже заорал:

— Дубицкий, Дубицкий! Что, оглох, салага?

Какой я ему салага, если прослужил больше года? Но я смолчал. Дежурному по роте через два месяца домой, а мне ещё много раз чистить картошку на солдатской кухне, ходить в караул и смотреть по субботам кино.

— Дубицкий! — опять заревел дежурный.

— Что такое? — наконец, подал я голос. — Видишь: картошку обдираю...

— Давай быстренько к командиру роты, иначе он обеспечит тебе кухню до дембеля.

Я не спеша сполоснул руки, привёл себя в порядок и пошёл в канцелярию. Не меньше получаса простоял, ожидая, пока майор Кириллов закончит разговор по телефону. Впрочем, мне спешить некуда: меньше останется чистить мелкой, как горох, картошки. Где её только набрали? Мои родители более крупной картошкой свиней кормят. Я так думал, но никому не говорил.

Справа от стола майора стоял высокий, как шкаф, с большой ручкой железный сейф. Видимо, все знали, что там командир роты хранит деньги офицеров и солдат. Это была гарнизонная касса, откуда майор Кириллов один раз в месяц под роспись выдавал нам зарплату. Говорили, что в этом сейфе некоторые офицеры держали свои деньги несколько лет, собирали, чтобы поехать с семьями в отпуск на Большую землю. На острове был маленький магазин, в котором мы покупали сгущённое молоко, печенье, сигареты, конфеты и разную мелочь. Колбаса, сыр, сладости появлялись там тогда, когда раз в месяц с Большой земли приходил катер.

— Так, Дубицкий, так, — отклеил, наконец, своё ухо от телефона майор Кириллов. — Ты же, кажется, до армии учился на электрика. Правильно?

— Так точно!

— Значит так, Дубицкий. Пойдёшь к капитану Гризюку. Его жена Ольга Ивановна теперь дома. У них что-то случилось с электричеством, испортилось что-то. Какая-то авария. Ольга Ивановна скажет, что делать. Понял?

— Понял.

— Ещё передашь ей этот конверт, — майор Кириллов достал из ящика стола ключ, отомкнул сейф и передал пухлый конверт. — Смотри, чтобы мне потом не было стыдно...

Ольга Ивановна стояла на крыльце и разговаривала с соседкой. На ней был красный, в цветочек, почти до пят халат. Она весело смеялась. Удивлённо посмотрела на меня и пригласила в дом.

Я быстро исправил аварию, если так можно назвать то, что я сделал, — не работали две розетки, — и присел у стола, дожидаясь хозяйку, всё ещё болтавшую с соседкой во дворе. На стене напротив меня в деревянной рамке висела большая чёрно-белая фотокарточка Ольги Ивановны и капитана Гризюка, на которой он был без бороды и в лейтенантских погонах. У него были весёлые наглые глаза. Казалось, он обращался ко мне: “Видишь, какая моя жена красавица?! У тебя такой никогда не будет...” Будто стоял рядом. Я даже оглянулся, тряхнул головой, прогоняя наваждение.

Стукнула дверь, неспешные лёгкие шаги всё ближе и ближе. Она осмотрела меня, усмехнулась:

— Так это ты — Дубицкий, специалист по электричеству?

— Как видите...

— Кириллов сказал: “Пришло Дубицкого”. А я думаю: что за Дубицкий... Всё сделал?

— Сделал. Холодильник работает, телевизор тоже. Ой, простите, — я вспомнил о конверте и передал его Ольге Ивановне. Она разорвала его: там были деньги. Пересчитала их и положила в буфет.

— То, что нужно, а то Гризюк забрал с собой последние. Ну, спасибо, спасибо, — она вновь заулыбалась, постукивая ногтем по столу.

— Не за что. Тогда я пошёл, — я поднялся, не зная, как держать свои руки, и чувствуя, что краска заливает мне лицо, шею. Мне одновременно хотелось и побыстрее выйти на улицу, и остаться в доме.

— Посиди, посиди. Успеешь в свою казарму. Покормлю тебя чем-нибудь вкусным.

— Понимаете, Ольга Ивановна...

— Ничего не понимаю. Никакая я тебе не Ольга Ивановна. Называй меня просто Олей. Если хочешь — Оленькой, но только не при муже. Он у меня очень ревнивый, — она захохотала и провела рукой по моей голове, лохматя волосы. Мне стало совсем горячо. Я боялся поднять глаза от пола, посмотреть на Ольгу Ивановну. У меня язык не повернется назвать ее Оленькой.

Она уже хлопотала у плиты, поставила на огонь сковороду. Запахло жареным салом и луком.

— Слушай, Тарас... Тебя ж Тарасом зовут? Подрежь рыбы, а то она твёрдая, как железо. У меня силы не хватает её разделявать. Так ты — Тарас. Тарасик. Тарасик, где твой матрасик? — она опять захохотала и добавила: — Да не стесняйся ты. Я нормальная женщина. Если жена капитана, так что — не человек? Я вас, солдат, понимаю: вокруг одна вода. Ни танцев, ни девушек. Только “Чапаев” и “Бриллиантовая рука”. Мне самой иногда так грустно, что, кажется, вот-вот завою, как волчица. Каждый вечер считаю дни, когда мы, наконец, переедем на Большую землю. Осталось ещё сорок пять дней. И всё. А тебе много ещё?

— Почти четыре месяца...

— Ничего, пролетят. Мы здесь уже пять лет. Сначала казалось, что никогда не закончатся. Садись ближе к столу! Не стесняйся и никого не бойся. Тем более, что Гризюк вернётся только через неделю. Раньше нет катера. Пусть отдохнёт, а я — от него...

Стол был шикарный. На всём свете не было, пожалуй, лучшего: потрескивали на горячей сковородке шкварки, накрытые жёлто-белыми яйцами, в трёхлитровой банке, словно клюква, красным светом сверкала икра, на тарелке пластинами лежал палтус. Солёные помидоры, огурцы, капуста, сыр. В центре возвышалась бутылка “Столичной”.

Солдату всегда хочется есть, а тут ещё такие лакомства, — и я ел, как говорится, от души. Выпили по рюмке, по второй. Ольга начала расспрашивать меня о родителях, откуда родом, есть ли девушка. Обычные вопросы, которые мы время от времени задаём друг другу.

Лицо у неё порозовело, она ещё похорошела. В чёрных, как смоль, глазах появился лихой огонёк. Она встряхнула головой, и волосы закрыли лицо, плечи.

— Ну, как? Нравилось тебе? — кокетливо спросила, прижмурив правый глаз.

— Очень...

— Я это в кино заметила. Ты мне сразу бросился в глаза. Высокий, плечистый, и волосы — как лён... — она положила мне на тарелку шкварок, рыбы: — Ешь. Кто хорошо ест, тот хорошо и работает.

После третьей рюмки я осмелел и начал расспрашивать её. Она была, как и Гризюк, с Украины. Окончила педучилище, но ни одного дня не работала. Вышла замуж за Гризюка и через неделю уже была на этом острове.

— Грустно мне. Скучотища. Но если подумать, что ждёт там, на Большой земле, то тоже никакой радости. Денег мало. Ни нормальной одежды

не купишь, ни обуви. Не говоря уже о машине или квартире. За туманом, за туманом ничего не видно... — затынула она высоким сочным голосом и вдруг резко оборвала песню. — Разбередил ты мне душу, Тарасик...

Неожиданно Ольга наклонилась ко мне и поцеловала в губы. Словно обожгла огнём, и я, как сумасшедший, опьянев от этого поцелуя, потянулся к ней, обхватил двумя руками. Но она оттолкнула меня. Да так, что я ударился затылком о стену.

— Извини. Всё. Иди!.. Скажешь Кириллову, чтобы отпустил тебя завтра после обеда. У меня ещё две розетки испорчены...

Всю ночь я не спал, лежал без мыслей, представлял, как после обеда иду к Ольге, стучу в дверь. Она на пороге улыбается мне. Потом целует. Сильно. Чувствую, как начинают гореть губы и становится горячим лицо. Не могу дожидаться, когда наступит утро. Мне тесно в казарме, не хватает воздуха. Рядом храпят такие же солдаты, как я. Но им далеко до меня. Никого из них не целовала Ольга, самая красивая женщина на свете, и никого не приглашала после обеда к себе. Сейчас я способен подпрыгнуть до неба, доплыть с острова до Большой земли. Пусть она меня только попросит! Какие у неё вкусные губы! От одного её прикосновения, казалась, перевернулся мир. И я забыл обо всём и обо всех на свете. Вот она какая — любовь! Значит, я люблю её! О Боже, а какой запах от волос, от рук!.. Глаза необыкновенные... Они зовут к себе, в них ласка и нежность...

Перед обедом меня остановил майор Кириллов. Ветер притих, солнце смотрело прямо вниз, заставляя жмуриться. Жмуриться и радоваться последним тёплым дням перед наступлением осени. Командир роты стоял у казармы с непокрытой головой, курил, подставив широкую блестящую плешь под солнечные лучи.

— Будто в Сочи. Правда, Дубицкий?

— Не знаю, товарищ майор. Никогда там не был.

— Ну, ну... Когда-нибудь побываешь. Звонила Ольга Ивановна Гризюк. Благодарила за качественную работу. Просила, чтобы опять после обеда пришёл. Ещё у неё две розетки испорчены, — майор прикрыл глаза от солнца. — Смотри, аккуратно, замыкание не сделай...

Кириллов усмехнулся, но глаза были хмурые, недовольные. Он бросил окурок в мусорку, сплюнул и пошёл в канцелярию. Уже на крыльце, не поворачивая головы, буркнул:

— Смотри, аккуратно...

В столовой я съел только рыбу и выпил компот. А остальное не лезло в горло. Ноги, не подвластные разуму, несли меня к офицерским домикам. Я обошёл их несколько раз, осмотрелся. На улице никого не было видно. Чей-то мальчуган на велосипеде пролетел мимо по дороге в сторону второй особой роты. За перегородками возились куры. Изредка драл горло петух майора Кириллова. Один на всех офицерских кур.

Я решительно взойшёл на крыльцо. Не успел постучать, как дверь отворилась. Через мгновение я стоял в тёмных сенях, и меня жадно целовали горячие губы. Я, казалось, тонул в ароматных густых волосах Ольги, пил сладкую кожу, чувствовал руками совершенство её тела.

В казарму я вернулся, когда уже стемнело. Тихонько разделся и лег спать. Заснул, как только накрылся одеялом. И вскоре проснулся: всё тело было пропитано Ольгой. Ею пахли руки, одежда и даже кровать. Я дышал этим воздухом, не мог без него жить. Оленька была нужна мне, как вода, солнце, небо.

Теперь, где бы я ни был, рядом незримо присутствовала она. А ночью, когда засыпала казарма, я, словно вор, залезал через окно в квартиру к ней, жене капитана Гризюка. Возвращался под утро перед побудкой. Я полз, будто зверь, по траве, по полу, взбирался по стене казармы, вспоминая всю науку, которую получил в специальных войсках под командованием майора Кириллова, благодаря которому и очутился на этом острове.

Два дня оставалось до возвращения капитана Гризюка с Большой земли. Я ни о чём не думал, я был счастлив. Забыл о небе и земле, забыл, что службу на острове, что отсюда можно добраться только на катере, либо, если Бог даст, на самоходной барже. Я был счастлив...

Я проснулся от того, что она заплакала. За окном было темно, слышалось мощное дыхание моря. Я обнял её, прижал к себе и тоже заплакал. Не знал, что меня ждёт и что мне делать. Оленька... Оленька... Как ты могла выйти замуж за этого бородатого толстяка Гризюка?.. Ну и что, что он капитан? Может, придёт время, когда я буду полковником либо генералом. Главное — я люблю тебя, Оленька. Для тебя готов сделать всё, что пожелаешь... Готов на всё...

— Вскоре придет Гризюк, и закончится наша любовь. Напрасно я всё это начала. Ничего хорошего у нас впереди нет. — Ольга тяжело вздохнула, поднялась с постели, закурила сигарету. Я и не знал, что она курит. — Месяц назад от мамы было письмо. Будто бы подходит очередь на кооперативную квартиру, а денег нет. Вот тебе и вся любовь. Ты — солдат, я — воспитательница детского сада, которая не работала ни дня. А если б и работала?.. Ты знаешь, Тарасик, какие зарплаты у воспитательниц детского сада? Слёзы... Так что нужно мне держаться моего Гризюка. Может, ещё подполковника получит.

Она погасила сигарету о блюдце, склонилась надо мной, поцеловала. Я обхватил её, прижал к себе. Не мог представить, что через два дня Ольга будет вместе с Гризюком. Он её целует, обнимает... А я кто? Куда мне податься? Как мне дальше жить? А деньги... Деньги — не проблема. Есть у меня руки, ноги, голова. Заработаю. Лишь бы Ольга была со мной. Без неё я не смогу жить. Они поедут на Большую землю. Мне служить ещё четыре месяца. Может, мне сбежать? Но как отсюда убежишь? Я верю, что она меня будет ждать. И мы будем вместе. Что такое четыре месяца? Ничто. Мы встретимся на Большой земле и будем жить вместе. Я её очень люблю. А она меня? Тоже... Что нам ещё нужно? Ничего. Всё остальное я добуду сам.

В канцелярии у стола майора Кириллова стоит сейф, полный денег. Ключ от него — в верхнем ящике стола. Я будто вживую увидел, как командир роты достаёт ключи, открывает сейф. Кстати, завтра я дежурный по роте. И, когда все спят, никто не помешает мне отомкнуть тот железный ящик. Я принесу деньги Оленьке, помогу ей, и она будет меня любить. Оставит Гризюка, чтобы быть только со мной. Мы поедем ко мне на родину. Я устроюсь электриком на завод или в колхоз. Ольга будет работать в детском саду. Мы построим дом. Большой, из красного кирпича, как у председателя колхоза. Посадим сад. Десять яблонь, четыре груши, вишни, сливы... Всё будет хорошо, Оленька. И деньги тебе я найду...

Той ночью был сильный шторм. Шумело, грохотало море. Ещё немного — и волны, казалось, накроют казарму, прямо стонавшую под натиском ветра. И если бы не гора, возвышавшаяся поперёк острова, была бы беда. Но солдаты, уставшие за день тяжёлых военных трудов, спали. Отдыхал и дневальный — ефрейтор Марару, курносый молдаванин, мечтавший после армии пойти служить в милицию участковым в своей деревне. Я нагнулся над ним. Что-то, видно, ему снилось, потому что Марару улыбался, а из полуоткрытого рта текла слюна.

Минуту-другую я слушал дыхание большого количества людей. Потом вышел на крыльцо. Было темно, хоть глаз выколи: ни одного огонька. Бесперывно стучал по освещённой мачте кусок железа. Офицерские домики пропали на чернильных просторах ночи, насыщенной густым холодным дождём.

Я взял из ящика ключи от канцелярии и, дрожа от страха, отомкнул дверь. Отступить уже не мог. То, что задумал, — выполню. Дневальному спать ещё час. Никто не должен меня увидеть. Боже, помоги мне! Я это делаю не для себя, а для Оленьки, за которую, если понадобится, отдам жизнь. Эта мысль придала мне сил и уверенности. Шаг, второй, третий. За окном воет ветер, скулит, стонет, и кажется, кто-то подглядывает за мной, следит за каждым шагом.

Я нашёл ключи в ящике стола... Будто сомнамбула, брал из сейфа деньги, складывал их за пазуху, по карманам. Вытащил ключ из замка, вытер его о гимнастерку, чтобы не осталось отпечатков пальцев. В коридоре я постоял, прислушиваясь, настороженный, как зверь, готовый к неожиданностям.

И куда мне деть эти деньги? У меня ещё полчаса. Все спят. К Оленьке бежать пять минут. К Оленьке, к Оленьке... Для неё обокрал я кассу, открыл сейф. Забрал все деньги. Сколько их? Всё равно. Хватит Оленьке на квартиру и на будущее... Беги, беги, отдай ей. Быстрее, быстрее...

Не обращая внимания на дождь, шлепнувшись дважды на расползающуюся глине, мокрый и грязный, я добрался до Ольги. Ещё немного — и, наверное, выломал бы дверь, молотя сапогом. Она, наконец, открыла, перепуганная, с ружьём в руках.

— Ты?! Сдурел?..

Я вошёл в сени, вывалил на пол деньги, поцеловал Ольгу и бегом назад. Крикнул только, закрывая за собой дверь:

— Спрячь!

Прошла неделя. Всё благоприятствовало мне. Майор Кириллов заболел гриппом, и пока вместо него ротой командовал капитан Гризюк, который вот уже два дня как на торпедном катере вернулся с Большой земли.

Катер стоял в бухте, и капитан-лейтенант Гарбузь, мой земляк с Могилёвщины, пока не выходил из домика майора Кириллова. Они гуляли, потому что Изя Жердич из Одессы, окончивший перед армией три курса консерватории, со вчерашнего дня не ночевал в казарме вместе со своим баяном. И весёлые песни плыли над островом.

Когда заснула рота, я выскользнул из казармы. Осторожно шёл, держась тени, где видел необходимость — полз. Так, как нас учили в Центре подготовки младшего комсостава.

Я хотел увидеть Оленьку. Хоть на минутку. Да и поговорить с ней нужно, обсудить нашу жизнь. Я напишу письмо родителям, чтобы ждали нас с Оленькой, потому что сначала будем жить у них. А если вдруг родится ребёнок? Мальчик или девочка. Девочка будет красавицей — такой, как Ольга. С длинными чёрными волосами. Мальчик будет похож на меня: светловолосый, высокий и сильный.

Что сделать, чтобы позвать Оленьку? Кого попросить? Я сидел полночи перед домом Гризюка в зарослях и ждал, надеясь на помощь небес, потому что ни один человек на острове не мог услышать голос моего сердца. Разве только Ольга...

Утратив всякую надежду увидеть любимую, я едва успел вернуться в казарму до подъёма. На разводе уже был майор Кириллов. Я слабо слушал, о чём говорил командир роты. У меня дрожали руки и ноги от мысли, открывал ли Кириллов сейф. Наверное, ещё не открывал. Иначе бы начался кавардак. Майор — эмоциональный мужчина, командный голос выработал, и если кричит, так слышно далеко от казармы. Но развод закончился спокойно, без криков и ругани.

У меня был очередной наряд на кухню, и я пошёл со своими напарниками к столовке, от которой, словно на ладони, видны тёмно-свинцовые волны моря, бухта с торпедным катером...

Бухта. Пустая бухта... Без катера, который уже возвращался на Большую землю. С Ольгой на борту. Об этом я узнал в конце дня. А через четыре месяца я тоже плыл на торпедном катере к Большой земле в качестве подследственного, признавшись в краже денег из гарнизонного сейфа... А Гризюка и Ольгу так и не нашли.

*Перевод с белорусского
Никиты СУПРУНЧУКА*

ВИКА ТРЕНАС



НАЙДИ МЕНЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ

Встали деревья вдоль местных дорог,
словно подростки с серьёзными лицами,
ссорятся с ветром, тусуются с птицами,
ждут долгожданных небесных даров.
Тёплый весёлый стремительный дождь
встретит объятаями пыльные листья их,
и неизвестно: мне раны зализывать
или от дождика прятаться в дом...

* * *

Найди меня среди вещей забытых,
слепи меня из всех несчастий быта,
и я приду, и смолкнет всё вокруг,
и я приду, и вновь замкнётся круг.
Но как понять, как в темноте не спутать
хозяин ты или такой же путник?..

ТРЕНАС Вика (Лейковская Виктория Александровна). Родилась в 1984 г. в Минске. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэтесса, литературный критик. Автор сборников поэзии «Цуд канфіскаванага дзяцінства», «Экзістэнцыйны пейзаж». Живет в Минске.

* * *

Будь боязливым, мне лентой глаза завяжи,
Будь осторожным и раны мои не трогай.
Будто по лезвию, шла я небесной дорогой,
Птицам бросая стихи, как частицы души,

В их опустевшие, в их разорённые гнезда.
Бог да простит тебя, я же тебя не прощаю.
Высохшей ниве я горсть своих слёз обещаю.
Шла среди звёзд — только лезвия это, не звёзды...

Там, где ты встретишь, тебя никогда не встречают,
Где позовёшь ты — молчаньем тебе отвечают.

* * *

Буду речкой, той, что течёт назад,
буду словом, но слово это сказать
ты не сможешь — уста онемели...

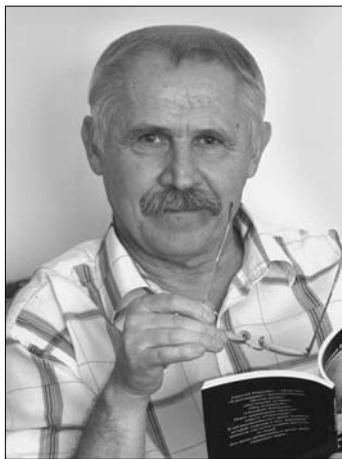
Сердце билось в окошко моей души,
журавлям отлетающим надо спешить —
ибо следом приходят метели...

Как приятно теперь быть безмолвной рекой,
подо льдом сознавать тишину и покой,
засыпая в морозной постели;

как приятно теперь словом трепетным стать
и стихи свои в памяти перелистать,
что тебя удержать не сумели...

*Перевод с белорусского
Геннадия АВЛАСЕНКО*

ГЕОРГИЙ МАРЧУК



ТРАГИКИ И КОМИКИ

РАССКАЗ

Кто среди театрального общества не знает повсеместно распространённой в театре болезни “кто кого съест”: или главный режиссёр — труппу, или труппа — главного режиссёра. Причём режиссёр, с точки зрения актёра, — всегда самоуверенный, чванливый и бездарный, а труппа, по мнению режиссёра, — непрофессиональная, проалкоголенная и продажная.

Не обошёл этот вирус и относительно молодой, недавно созданный театр крупного индустриального города Беларуси. Театр этот мало чем отличался от других театров, но всё же был известен тем, что тут (а не в каком-нибудь областном!) творил один из последних народных артистов Советского Союза, 73-летний украинец Иван Сильвестрович Грива.

Талантливый самородок за тридцать лет переиграл на сцене всё: от чегара до Ленина. Привезла его в город юная актриса, с которой он “прелюбодействовал”, как после похвалялся, на борту самолёта. Местные власти пестовали свою знаменитость, зрители любили, а жёны — не уживались. Любил Иван Сильвестрович покрасоваться в разных президиумах, на слётах пионеров, комсомольцев, пожарников, милиционеров, учителей. Обычно своим густым приятным баритоном читал он в оригинале какой-нибудь патристический стих. Голос его и правда зачаровывал. Какую бы ерунду он ни нёс, его всё равно все с умилением слушали. Особенно женщины. Удивля-

МАРЧУК Георгий Васильевич родился в 1947 г. в Давид-Городке Брестской области. Окончил Белорусский театрально-художественный институт и Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве. Прозаик и драматург. Автор многих книг прозы и пьес. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Секретарь правления Союза писателей Беларуси. Живёт в Минске.

лись даже, откуда у этого худощавого, среднего роста, конопатого (а с возрастом рыжая копна волос на голове не поседела и не поредела) такой “обворожительный баритон”.

Сам же Иван Сильвестрович после таких сходов, митингов, банкетов говорил следующее:

“Или я старею, или народ мельчает. Поверите ли, за год у меня примерно сотня встреч разных. Сижу на сцене, всматриваюсь в зал и не нахожу приличной женщины, чтоб сотворить с ней прелюбодействие”. Под этим словом он обычно понимал и любовные романы, и лёгкий флирт, и отношения любовников. У самого Ивана Сильвестровича за его актёрскую карьеру было четыре официальных жены. Про неофициальных он говорил: “Давайте умолчим, дабы не разжигать зависть у молодёжи”. В самый разгар оптимистического возрождения капитализма и пессимистических похорон социализма Министерство культуры властной рукой, ещё по старинке, назначило в театр Гривы нового главного режиссёра — Марата Ворошилова, которого откопали где-то аж в Петропавловске-на-Камчатке.

Свои “местные корифеи” в закулисных интригах перессорились и проспали эту должность. Перво-наперво труппа предвзято посмотрела на жену главного — будущую “прима-балерину”, исполнительницу главных ролей — и ахнула...

— Не будут на неё ходить зрители, как ходят на Гриву. Не будут!

— Внешность для актёра ещё не всё, главное — талант, — пробовал кто-то взять под защиту пухленькую, небольшого росточка, с курносым носиком и маленькими глазками жену главного. — Главное же — талант!

— За таким бюстом я не вижу души. В наше время для героинь требуется сексуальность, рост, страсть, энергия. А этой только разве Пульхерию гоголевскую играть, — сделал вывод Грива. — Это первый шаг к смерти театра.

После первого же спектакля, который поставил новый главный по малоизвестной, но американской пьесе, — была тотальная мода на всё американское, — все согласились с пророчеством Ивана Сильвестровича: не тянет жена главного на героиню, и всё тут! Но голос протеста никто из труппы не подал. Каждый боялся попасть под сокращение штатов, держался за свой небольшой заработок — на хлеб, молоко, кильку, бутылку пива на неделю хватает, — и гори оно, искусство, синим огнём. А хочешь мяса, фруктов, вина, обновку какую — крутись; смельчаки некоторые гримировались и возили домашний товар на базары Могилёва и Гомеля. Только Грива, новый главный да его пухленькая жена, которая ещё больше раздобрела на белорусском сале, жили одним театром.

Иван Сильвестрович в обычной своей иронической манере в пух и прах разнёс постановку нового режиссёра и исполнительницу главной роли. Жена режиссёра всю ночь проплакала. Там, в Петропавловске-на-Камчатке, за эту же роль ей когда-то дали звание лауреата премии обкома комсомола.

Муж поклялся люто отомстить нахальному старцу. Хитрый и опытный матадор закулисных интриг решил на протяжении сезона заменить почти весь репертуар — те спектакли, в которых блистал Иван Сильвестрович, любимец города. Сам главный, одновременно репетируя две пьесы, позволил молодому артисту самостоятельно поставить спектакль для детей и пригласил на постановку ещё одного режиссёра из столицы. Экспериментатор и новатор Марат Ворошилов, который от волнения начинал заикаться, теперь носился по театру, как демон, и заикался постоянно.

Но и Грива, раскусивши подлость пришлого режиссёра, и не думал сдаваться. Последняя его прелюбодейка, с которой он вот уже пять лет не поддерживал связь, — костюмерша Ирина Анатольевна — вернулась к нему, чтобы поддержать морально и хлебно своего бывшего ухажёра и кумира: сердце у неё всё же было доброе. Приятные воспоминания, солидарность в борьбе с *культурой личности* нового режиссёра, предчувствие старости, которое подгачивало оптимизм, когда стали жить по отдельности, заново сблизили высокомерного народного артиста и хрупкую, ревнивую когда-то, заядлую курильщицу костюмершу.

— В районном музее, на стенде, посвящённом мне, попрошу оставить только твоё фото, Ирэн, — говорил невесёлым вечером своей компаньонке Иван Сильвестрович.

— А можно помириться с ним, Ваня, — предложила Ирина Анатольевна. — Он же глуповатый и слегка маньяк. В каждой пьесе заставляет актрису или голую задницу, или грудь выставлять всем напоказ. Говорит, мы отстаем от европейской цивилизации — без эротики никто даже не пойдёт на спектакль. Но, однако же, свою кикимору не оголяет.

— Подонок, — затынул Грива, — что он знает о возвышенном искусстве? Поколение калек, кого они воспитывают? Таких же дегенератов, как они сами. Шекспир в гробу перевернулся бы, если б узнал...

Тут костюмершу и осенило.

— Ваня, а подай заявку на “Короля Лира”! Ты же двадцать лет мечтаешь об этой роли. Он не посмеет отказать!

— Идея гениальная, но... скажи, где взять миллионы — это ж дорогая постановка, — оживился Грива.

— Пойдём на шинный завод. Мой брат там в отделе маркетинга, хорошо зарабатывает... Доллары даже имеет.

— Зачем же тогда Лира играть? Давай возьмем доллары и будем спокойно доживать, — как бы пошутил Иван Сильвестрович.

— Нет, ну, я серьёзно. Все поддержат. Мэр города. Это же будет сенсация!

— Силы уже не те. Я с этим подонком так нервничаю, что всё тело бьётся в конвульсиях. Моча, понимаешь, не выходит. Стою в туалете по полчаса.

— Театр для города — это, прежде всего, Грива. Ты перед историей не имеешь права распоряжаться так своим талантом — он принадлежит народу.

— Я пока не думал про свою лебединую песню.

— Не иди же на площадь — отгонять голубей от памятника вождя! Подавай заявку, — решительно настаивала Ирина Анатольевна, — не хватало ещё, чтобы эта толстозадая вертихвостка пожинала твои лавры! Для чего ты тогда самоотверженно служил сцене — чтобы с позором ее покинуть?

— Ладно. Не дави на психику. — Грива надел на голову свою ковбойскую шляпу с очень широкими полями. — Дуй, ветер, дуй! Завтра же директор подпишет приказ о репетициях Лира. Хватит прелюбодействовать, пора и о вечном подумать!

Счастливая Ирина Анатольевна, даже не обувши от волнения туфли, пошла с Иваном Сильвестровичем из театра в домашних тапках на босу ногу.

Удивлению женщины не было предела: директор дал согласие, более того, главный режиссёр сам взялся за постановку трагедии, отложив работу над пьесой “Приключения Швейка в гареме”. Это пахло сенсацией ещё до поднятия занавеса. Но они по-прежнему ненавидели друг друга, не здоровались даже.

Навалились на спектакль всем миром, чтобы обязательно выпустить премьеру в конце сезона. У Ивана Сильвестровича было намерение пригласить на своего “Короля” представителя европейского театра. Было своё намерение и у главного, но он его тщательно скрывал от всех.

Примирения не произошло: Иван Сильвестрович готовил свою роль почти самостоятельно. Главный работал с остальными, и больше всего — с исполнительницей роли Корделии, своей женой.

— Я — актёр школы Станиславского, — говорил Грива. — Авангард, сюрреализм, поп-арт, ползучий театр (Грива никогда не катался по сцене) оставьте другим, а Лира будем ставить возвышенно, традиционно-реалистично, — предупредил он всех, в том числе и режиссёра.

На что Марат, не пряча своей лисьей усмешки в коротко подстриженные усы, ответил:

— Не отступишь от текста ни на йоту, обещаю.

“Нахальная лиса. Он считает, что если мне за семьдесят, так я не способен выучить на память весь текст, — негодовал Иван Сильвестрович. — Да я в пивной лет десять все монологи читаю”.

Репетиции шли и утром, и вечером. Все работали согласованно, с удвоенной энергией; а когда узнали, что едет всё же на премьеру представитель

Европы — какой-то господин Дечарка, — так готовы были ночевать в театре.

Но тут наблюдательная и осторожная Ирина Анатольевна, которая не верила в добрые намерения главного, сделала открытие и ахнула:

— Ваня, ты читал финал трагедии?

— Ирэн, это что, такая шутка?

— А ты почитай, Ваня, — она открыла книгу, — вот... Лир выносит на руках тело мёртвой Корделии и ещё говорит монолог. С телом на руках!!!

— Ну, и что? А что ж ему — петь?

— Наивный! Разве ж тебе по силам удержать женщину весом в семьдесят кило? Одумайся. Сегодня же попроси, чтобы заменили актрису кило на пятьдесят. Я знаю, что и А не доедает, и Б похудела. Или проси, чтобы изменили мизансцену.

— Я? Милочка, ты меня не за того принимаешь? Пусть он лучше задушится, чем Грива будет просить, — завёлся Иван Сильвестрович.

— Вот его коварное намерение! Я раскусила! Ты наживёшь грыжу или бухнешься с инфарктом...

— Типун тебе на язык, — слегка притих народный.

— Попробуй. Возьми меня на руки и донеси... до постели.

— Ирэн, не шути...

— Тогда... хоть до дверей.

— Давай!

Иван Сильвестрович легонько так подхватил бывшую любовницу, сделал несколько шагов и остановился.

— Ну, что?.. Что? А я всего 65 килограммов! Из трагедии и выйдет трагедия. Смех сквозь слёзы... Он Яго, коварный Яго!

Иван Сильвестрович побледнел весь, сел и всё никак не мог отдышаться. Давно он не носил женщин на руках. Отвык.

— Ничего. Меня голыми руками не возьмёшь! Буду тренироваться. Подкачаю мышцы.

— Если бы какой хитрый домкрат придумать или что? И почему ты отказался от авангарда. Так бы вывезли Корделию на электрокаре, — рассуждала упавшая духом Ирина Анатольевна.

Утром Иван Сильвестрович, как обезумевший, ринулся увеличивать свои силы. Бегал, спал, качал в спортивном зале мышцы исхудавших рук и ног, потратил на мясо последние 200 долларов, которые приберегал на самый, самый, самый чёрный день. Таскал на руках Ирэн по квартире каждый день.

— Не всё решают мышцы. Возьму на премьере силой духа, — утешал он и её, и себя.

В день последней генеральной репетиции все ахнули. Строители привезли новую деталь декорации — лестницу и подиум, на который, по задумке режиссёра, король Лир должен вознести Корделию, и оттуда, из-под небес, бросать в зал филиппики, вскрывающие “язвы и пороки гнусного общества”. Такой вот апофеоз всего спектакля. Это была жестокая, ювелирная месть трагику. Иван Сильвестрович посчитал ступеньки: их оказалось ровно тридцать.

Хитрый режиссёр во время генерального прогона деликатно предупредил:

— На самую верхотуру не нужно нести. Покажем всё на премьере, а пока что донесите на одну треть лестницы.

Грива ничего не ответил и попробовал дотянуть мощную Корделию на эти десять ступенек.

“Прелюбодейка. Видно, чёрную икру месяц ела”, — подумал он, тяжело дыша, но отступать было не с руки: все билеты были давно проданы. Город жил в нетерпеливом ожидании премьеры.

Ходили слухи, что приезжает кто-то из НАТО, из Испании, чтобы оценить: достойны ли мы этой организации. Столичные телевизионщики брали интервью на улицах. Все хвалили и гордились народным, верили в успех. Ирина Анатольевна одолжила у знакомой акушерки бандаж своему кумиру, дабы тот не надорвался. И вот, наконец, настал день премьеры! Час пик! Иван Сильвестрович, проникшись талантом и величием Шекспира, забыл про свою нелюбовь к жене главного и к нему самому; играл с такой силой

таланта, как никогда в жизни. Вот и последняя сцена. И тут собака-режиссер выдал сюрприз: придумал смертельную находку для своего обидчика — одел Корделию в кольчугу. Говорил, что всё по тексту: она из Франции на войну приехала.

“Боже, это же лишних двадцать килограммов, — только и успел прикинуть Иван Сильвестрович. — Если жив останусь, придушу гада”.

Совсем рядом, за кулисами, стоял главный и издевательски улыбался.

Зал притих. Казалось, было слышно, как барабанит с каждым новым шагом сердце Лира. Где-то на пятнадцатой ступеньке Иван Сильвестрович почувствовал, что не дотянет до подиума. Ноги ещё держали его с тяжёлой ношей, а руки затекли. Схватило поясницу — проклятый радикулит.

Он на какую-то секунду остановился, и все сразу почувствовали, как деду тяжело нести Корделию. И тут произошла метаморфоза: кто-то из зала, большой поклонник таланта Гривы, зычно крикнул:

— Держись, Иван Сильвестрович! Не сдавайся!

Этот клич послужил сигналом для зрителей, которые охотно, в знак солидарности, стали аплодировать и скандировать:

— Иван Силь-вес-тро-вич! Иван! Силь-вес-тро-вич! Да-вай! Да-вай!

Ревели, как на хоккейном матче.

И он, окрылённый бурной овацией, понёс “металлолом” на верхотуру. Двадцать восемь, д-в-в-вадцать дев-вять... Тридцать! Все закричали: “Ура”!

Эдгару не дали договорить последние слова. Иван Сильвестрович положил Корделию на подиум и упал рядом с ней сам. Корделия тихо спросила:

— Может, вам вызвать “скорую”?

— После, деточка, после. Пусть дадут занавес.

Всех артистов и ошеломлённого Марата раз пять вызывали *на бис*, а Иван Сильвестрович всё лежал на подиуме. Наконец, он встал во весь рост, поднял слабую руку — и снова овации.

Ирина Анатольевна плакала навзрыд.

— Bravo! Bravo, Лир! Bravo!!!

И это мощное “браво”, казалось, вот-вот разорвёт стены. Это был его звёздный час: и победа над режиссёром, и триумф, и лебединая песня народного артиста.

Увлечённый зрелищем заграничный гость, который прилип к молодым артистам на банкете и всё как бы нечаянно трогал их то за талию, то за плечи, то за колени, объявил, что приглашает труппу в Англию на фестиваль.

Все так и ахнули. Но судьба распорядилась иначе. К большому сожалению, стресс от огромных переживаний, а может, и прожитые годы или чрезмерная радость загнали великого артиста Гриву: не выдержало его впечатлительное сердце. Похоронили Ивана Сильвестровича в костюме Лира, со всеми почестями, как хоронили ещё совсем недавно партийную элиту города. Марата Ворошилова после этой знаменитой премьеры затребовали в столицу и предложили возглавить солидный столичный театр. Вдохновлённый этой неожиданной приятной новостью, режиссёр так мчался к жене на своем стареньком “Москвиче”, что не совладал с управлением и попал в аварию. Жив остался, но получил увечье и пожизненную пенсию. Пухленькая жена посадила его, бедолагу, в инвалидную коляску и увезла к себе на родину, говорили, в Барнаул.

Ещё через год всё внезапно начало вдруг разрушаться. Половину театра откупили фирмачи, создали там манеж и наладили торговлю разными товарами. Труппа разбежалась. Осталось человек двенадцать из тех, кому некогда было деться. Кто-то стал удачно торговать бензопилами, мазутом, памперсами. Ходили упорные слухи, что театр расформируют на добрые пятьдесят лет. Бывшие театралы, безработные, просто бездельники, бомжи, собираясь возле пивной, нет-нет да и вспоминали своего народного артиста Гриву и его Короля Лира.

— О, как играл наш Иван Сильвестрович! Чудо! Легенда!

— И не говори. Был народный артист СССР — и был театр, а теперь одни шины в городе и остались.

— А помнишь, как тащил на верхотуру бабу в кольчуге? Концерт, ей-Богу, цирк! Дед был что надо.

Ещё через год общественность потеряла театр. Времена наступили дикие, первобытные, когда люди стали убивать друг друга за бутылку водки, курицу. В квартирах, как в казематах, появились металлические двери, на окнах — решётки. И всё же многие тосковали по театру. Но было поздно: каждый уже был занят только самим собой, готовясь к худшему.

Было ли так или не было, а может, всё это только приснилось старенькой и слабой Ирине Анатольевне, которую на свой манер Иван Сильвестрович прозвал нежно и артистично — Ирэн.

В это же самое время от Земли убежала комета Хейла-Боппа. Говорят, она должна возвратиться обратно через две тысячи лет. Жаль... так долго ждать...

* * *

Расскажу о водителе троллейбуса, к которому собирался приехать в гости престарелый отец из Челябинска, да так и не приехал.

Высокий, худощавый Вася — у него открытое лицо и приятная бесхитростная улыбка — живёт с женой, сыном и дочерью в маленькой двухкомнатной квартирке-хрущовке и всё ещё надеется получить от государства трехкомнатную, недаром же стоит в очереди целых семнадцать лет! Вася ещё живёт с верой, что кто-то где-то о нём и его семье позаботится. Он не делит людей на богатых и бедных, на элиту и скот. С детства он умеет держать слово, добросовестно трудится, согласовывает свои поступки с совестью и Божьими заповедями. В разные времена о таких людях говорили: царегугодник, законопослушник, верный ленинец, настоящий коммунист! Правда, Вася никогда не был членом партии. Он был несколько добрее остальных, несколько дисциплинированней и несколько больше других, особенно в последнее время, верил, что правда победит и что добрый человек будет в милости у Бога.

Он, когда служил в армии и влюбился в свою будущую жену Тонию, в саволюку убежал, может, раз или два, и то перед дембелем. Тоня не хотела выходить за него, но обстоятельства вынудили.

Она, егоза-смуглянка, была прописана у тётки в частном домике. Дом сносили, и всем давали квартиры. Тогда-то и расписалась она с Васей и не пожалела. Его чуткость, незлобивость, природная интеллигентность нравились ей. Она на нём могла, как говорят, не то что воду, а атомный реактор возить. Он всё успевал делать в доме, в сберегательной кассе платил за квартиру, посещал родительские собрания, ремонтировал радиоприёмники, телефон, утюг, холодильник и даже телевизор. Он самозабвенно любил футбол. Друзей у него не было — ведь все одноклассники остались в Челябинске. И поэтому он имел добрых знакомых, тоже футбольных болельщиков. Иногда с ними и выпивал. Тогда выходил в майке на балкон, много курил и обсуждал с соседом-отставником все футбольные новости Европы. И вообще — больше интересовался жизнью других стран.

Была у него одна тайная мечта — поехать болельщиком на чемпионат мира по футболу. Вася и в сорок пять ещё не устал мечтать, лелеял свою мечту по-детски наивно и непосредственно. Тем временем правда пробудила стыд, стыд разбудил смелость, смелость возвысила достоинство. Было такое чувство, что все жалуются друг другу и друг на друга. Установилось время торжества недоверия, унижения и ненависти.

Многие не захотели жить вместе на корабле; каждый начал искать для себя средства спасения. Люди стали удирать с общего лайнера в разные стороны. Отец Васи, напуганный хаосом и всеобщим отчаянием, просил сына возвратиться в Челябинск, ссылаясь на то, что множество людей из стран Прибалтики вернулось на Урал.

Но Вася успокоил отца, пригласив его к себе в гости, чтобы он собственными глазами убедился в сдержанности и доброжелательности белорусов. Отец не приезжал... год... два... три.

Он перенёс обширный инфаркт и после лечения как-то потерял интерес к гласности, забастовкам, инфляции, тайнам КГБ и партийного золота, при-

ватизации, капитализации. Он понял, что жить ему осталось совсем немного. Твёрдо решил навестить единственного сына, поцеловать внуков, благословить их на счастье и вернуться в Челябинск помирать. Больше у него не осталось никого на свете.

Вася собирался на работу так. Будильник ставил в ванной, чтобы его резкий звук не будил Тоню и детей. Умывался, пока варилось яйцо. Ел, пил крепкий кофе, выкуривал сигарету, проветривал кухню и одевался в тёмной прихожей, чтобы свет не падал на пол в спальне, не резал глаза жене. Тихо заперев дверь, выходил из квартиры, укутывая шею шарфом. Шёл мимо школы, переходил мостик через канаву, шагал по пустынному скверу минут семь и выходил в конце широкой улицы, где их, работников трамвайно-троллейбусного депо, ждал дежурный автобус. Вставал он с постели в четыре часа двадцать минут, а без пяти шесть уже выезжал на линию. И ничто не могло нарушить режим его работы на протяжении последних двадцати пяти лет. Его не интересовало, сколько денег получает премьер-министр и кто сейчас председатель профкома. Его больше интересовала погода и состояние тормозов. За праведность Бог миловал Васю: не было у него на сороковом маршруте ни одной более или менее серьёзной аварии. Особенно он любил ходить на работу в зимнюю гоголевскую ночь.

Вокруг безмолвие, на небе, как белый кожан капюшон, — луна, на земле — скрипучий снежок. Легко было в такие минуты единения с природой изгонять из души пессимизм и неуверенность, которые всё больше и больше обволакивали души его знакомых. Вася, как белая ворона, не верил, что обществом стали управлять насилие, мгла и воровство.

Временно безработный двадцатитрёхлетний Алик и его семнадцатилетние друзья Майкл и Шкет были приглашены в гости к “бригадиру” Матросу. Скользкий и всегда небритый Алик привёл своих более хлипких друзей в дни неудач и долгов к знаменитому рэкетиру.

Майкл со Шкетом накануне закупили сигарет, напихали полный багажник и погнали на стареньком “Запорожце” в Брянск. Прикинули, что хотя и не круто, но вернуться с наваром — отдадут долг и себе останется.

Однако в Брянске насобирались конкурентов, как менял возле валютного киоска. Толкнули свои “ЛМ” за бесценнок и вернулись домой мрачные и злые с пятью долларами в кармане. Слава Матроса действовала на них, как наркотик. Двухметровый верзилка выбивал из неплательщиков долги и всегда был при деньгах.

Алик водил Майкла и Шкета целых два месяца на курсы какой-то борьбы, самой жёсткой и кастовой, о которой даже в монастырях Тибета не знали. Окрылённые тем, что Матрос позвал их на деловую встречу, растроганные парни не знали, как угодить своему спасителю. Шкет уговорил взять в компанию одноклассницу, немного экзальтированную и алчную Щучку, обрадовавшуюся приглашению, как обезьяна банану.

Щучка немного стеснялась своих тонких ног, однако имела и существенную приманку — большую грудь, казалось, росшую прямо от шеи. Щучка нравилась Майклу, и он ездил с ней во все модные дискотеки, тайно от родителей увеличивая свои долги.

В трехкомнатной квартире Матроса собралось довольно много людей разного возраста. Пили дорогой импорт. Играли в карты на деньги. Лихой Алик сразу просадил сотню долларов и прекратил игру, нервно грызя ногти. Где-то около полуночи уже никто ни на кого не обращал внимания. Матрос взял за руку Щучку, привёл в спальню, позвал Майкла и Шкета и приказал, чтобы стояли у дверей, пока он поиграет с подарком (имелась в виду Щучка).

— Надо, чтобы двери всегда были открыты, — поучал он их, — надо контролировать всё пространство вокруг. Таков закон рэкетира.

Майкл и Шкет, преисполненные чувством преданности, стали на вахту. Щучка аж визжала от восторга, не стыдясь одноклассников.

“Ай, ох... классно. Какой мужчина! Ах!”

Майкл и Шкет стояли, как вкопанные, и смотрели на эти ожившие сцены из порнофильма, не зная, как себя вести. У Майкла только нервно дрожала нижняя губа. Щучка решила остаться у Матроса до утра.

Возвращались домой молча. Их трясла обида и злоба. Матрос твёрдо не сказал, что берёт их к себе в бригаду, обещал подумать. Если бы не встретился им на свою беду Вася, они, без сомнения, подрались бы друг с другом.

Водитель троллейбуса даже уступил им дорогу — сошёл с тропинки в снег. Алик даже не искал видимой причины, чтобы прицепиться к Васе. Сразу, как только поравнялись, сильно ударил в лицо. Было ещё темновато.

Град свинцово-сильных ударов посыпался на его голову. Васю сбили с ног и продолжали без передышки дубасить по чём попало. Добивали ногами с какой-то лютой, нечеловеческой ненавистью. Алик бил за то, что проиграл сто долларов; Майкл сгонял злость, что Матрос, а не он забавлялся со Щучкой; Шкет (и он осмелел!) добивал наполовину живое тело, бил ногами в живот за то, что дрянная Щучка не обращает на него внимания, за то, что Алик владеет приёмами лучше него, за то, что у Майкла было сто долларов...

Сняли с Васи куртку, свитер, часы (армейский подарок), старую пыжиковую шапку, отобрали кошелек с деньгами (денег было всего на три буханки хлеба, на бутылку кефира и пачку сигарет).

Вася потерял сознание и так без движения пролежал в снегу больше часа. Кроме сотрясения мозга и воспаления лёгких, у него было сломано ребро, выбиты два зуба, обнаружился разрыв мочевого пузыря. Вася, конечно, не успел их разглядеть. Следствие прекратили за недостатком улик.

В больнице Вася лежал очень долго. Истощал, осунулся. Лицо стало жёлтым, донимала головная боль. Отца обманывали, придумывая в письмах причину, чтобы он не приезжал пока, да и вообще не советовали ехать в Минск. Так несчастный отец и не успел попрощаться с единственным сыном — умер. Тоня одолжила у трёх соседок денег, съездила на похороны и в тот же день вылетела самолётом назад, к Васе. Боже праведный, сколько же раз Вася ждал Алика, Майкла и Шкета, бегущих с рюкзаками к его троллейбусу, показывающих, чтобы он не закрывал двери! Парни были Васиними соседями, жили в доме напротив и часто ездили сороковым троллейбусом. Если бы они знали, кого превратили в инвалида! Но это, видимо, для них большого значения не имело. Они жили в страшной зависимости от всех и вся и не знали, как сопротивляться этому. Вот и всё.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас...

ЮЛИЯ ЗАРЕЦКАЯ



ЖИВАЯ ВОДА

РАССКАЗ

В нашей жизни чудеса случаются нечасто. Хотя разве сама жизнь не есть величайшее чудо? Видимо, так, но всё же... Всё же хочется чуда. И человек ждёт. Но разве он способен только ждать? Нет, он сам может создать чудо. Лишь бы захотел.

Лёнька Малец, например, не хотел. Само получилось. Да и не считал он это никаким дивом. Так, обычный пример химической реакции. В школе когда-то проходили. Электрический ток, электроды, электролит, катод, анод — всё просто!..

...Лёнька-школьник на отличника никогда не тянул. Честно говоря, не очень и хотелось. Не любил он эти морфемы с пунктуациями, путал палеолит с мезолитом, скучал на ботанике с анатомией, а физику — любил. Ему нравилось доходить своим умом до сути законов Архимеда и Ньютона, представлять молекулы с атомами, натирать эбонитовую палочку о шерсть, пока не начнёт проскакивать искра, слушать о вращении Земли вокруг своей оси, а затем устраивать на перевёрнутой табуретке маятник Фуко, и узнавать о многом другом, интересном и до того неизвестном.

От той весёлой и беззаботной школьной поры осталась у Лёньки непреодолимая тяга к физическим опытам. Искоренить её не могли ни насмешки жителей местечка, ни ворчание жены, ни годы, что седыми птицами незаметно пролетали над головою...

ЗАРЕЦКАЯ Юлия Францевна родилась в 1978 году в деревне Дуниловичи Поставского района Витебской области. Окончила филологический факультет Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка. Главный редактор журнала сатиры и юмора "Вожык". Автор книги "Шчаслівыя людзі" (2011). Живёт в Минске.

— Лёнька, ты слышал, что умные люди живую воду делают? — спрашивал у него утром Чесь, с которым они вместе работали в интернате. — По телевизору вчера до ночи показывали.

— Чудо, да и только! — вмешалась в серьёзный мужской разговор старая Франя, уборщица.

— Этакое там чудо, — хмыкнул Лёнька. — Так и я могу.

— Разве ты сможешь? — Франя аж скривилась. — Там же люди учёные делали, в какой-то лапратории...

Ну, лабораторией Лёньку было не удивить. Он там, считай, жил. Мастерская, что размещалась поодаль от дома, была и столяркой, и кузницей, и пилюрамой, и тем местом, где проводились кустарные, но от этого не менее серьёзные научные опыты. Как и всякого чудака, Лёньку не понимали. Сельчане изредка подтрунивали над ним, а то и подшучивали. А жена так и вовсе плешь проела, упрекая за прожжённые штаны и замаранные рубашки.

Старой Фране, которая, однако, верила в Божии чудеса, Лёнька ничего не ответил. Зато, придя домой с работы, даже не поужинав, закрылся в своей исследовательской мастерской. Вышел он оттуда тёмной ночью, и разве только тоненький месяцик заметил на его губах лёгкую, почти неуловимую улыбку...

Прошла неделя — и Лёнька, подойдя к Фране, что привычно перетира-ла пол в интернатском коридоре, протянул ей торбочку:

— Держи, тётка Франя. Это тебе.

— Что это? — оторвалась от работы и с недоумением глянула на Лёньку Франя.

— Чудо! — весело хохотнул Лёнька. — В банке.

— Ты что, напился? Или головой где тюкнулся? — выпрямилась старая уборщица и пристально стала вглядываться в Лёньку.

— Напьюсь потом, когда ты зафундуешь, — по-прежнему ухмылялся Лёнька. — А голова моя — о-го-го! Ей тюкаться ни в коем случае нельзя. Я её берегу, как ты — хлеб освящённый.

— Всё-таки правда напился! — укоризненно закивала головой Франя. — С утра уже, чтоб ты лопнул!

Лёньке эта склока начала надоедать, он мигом посерьёзnel, даже немного плечи расправил:

— Ну, полно, тётка Франя, пошутили. А живую воду забирайте себе — дарю. Хочешь — вазоны полей, хочешь — огурцы... — и, поставив торбочку на пол, пошёл восвоюся.

Франя задумалась. “Смеётся он надо мной, глупой старухой, или что? Вроде не должен. Да откуда у него, чудака, живая вода взялась? Да и вода ли там?” Она достала из торбочки банку. “Будто бы вода”. Приставила швабру к стене, тихонько посунулась к окну. “Попробовать нужно”, — мелькнуло в голове. “А если там что-нибудь такое?... Ну, и что ж такое, жидкое и прозрачное, кроме воды, там может быть?” — возразила она сама себе. Сняла крышку и осторожно поднесла банку к носу, понюхала. Никакого духу. Тогда, оглянувшись по сторонам (вдруг какие баловники попрятались по углам да только этого и ждут?), Франя перекрестилась и глотнула из банки. Затаила дыхание. “А чтоб ты лопнул — вода! — разочарованно плюнула Франя и сама над собою подсмеялась: — А ты чего ждала? Может, водки?..”

Она прикрыла банку, спрятала её в торбочку и в задумчивости стала до-тирать пол...

— Не поверила я ему ни капельки! Ну, если только на одну, — доказывала Франя своим подругам, низенькой, сухой Альбинке и круглой, как арбуз, Маньке. — Но дай, думаю, посмотрю. И начала справа, как захожу в парник, — и даже повела рукой, показывая, — поливать одно растеньице той водою. Понемногу. Ну, где-то по стаканчику в день. Вчера ровно неделя минула, как...

— Ну, и что случилось? — перебила её нетерпеливая Манька. — Пропало то растеньице?

— Тыфу-ты, — вспыхнула Франя. — Пропа-а-а-ало! Если бы у меня все помидоры так пропали, как это растеньице! Чего бы я тогда и говорила-то

вам? Только чтоб вы посмеялись надо мной, старой балдой? — и улыбнулась. — Выросло оно в два раза больше, чем другие. И завязи — весь куст обсыпан!

— Ты, Франька, сказки какие-то рассказываешь, ей-Богу, — пробубнила Альбинка, которая внимательно слушала Франин рассказ. — Так уж и вымахало.

Франя сверкнула глазами, поджала пересохшие губы и сказала решительно:

— Пошли, бабы! Что вам толковать — сами увидите!

Описывать то, что увидели в самодельном, невысоком парничке низенькая Альбинка и круглая Манька, напрасно. Это уже за нас сделала взволнованная Франя. Куда интереснее увидеть картину, которую наблюдали в то летнее июньское утро работники и жители интерната. (Это специальное учреждение размещалось километрах в двух от местечка.)

Из автобуса, который привёз людей на работу, проворно высыпали взволнованные бабульки в цветастых, лёгких платках, с узелками в руках. Как их ни расспрашивали в автобусе, зачем это они такой дружной компанией катят в интернат, те по-деревенски *дипломатично* уклонялись от ответа (да и что можно услышать в такой барбухайке, которая грохочет по ровненькому асфальту, да если ещё и слух стал подводить, и зрение, и поясницу что-то ломит, и в груди отдаёт, а ноги болят — не ступить!..) и переводили разговор в другое русло или сосредоточенно замолкали. Цветастую вереницу, едва не наступая друг другу на пятки, бабульки устремились в глубь интернатских построек...

Если бы Лёнька знал, какая толпа стремится проникнуть в его мастерскую и какой умысел держит в своих седеньких старушечьих, на удивление сообразительных головах, то он... Нет, не спрятался бы. Разве можно спрятаться от яркого солнца в пустыне или от студёного ветра на севере? Жди — не жди, пока иссякнет, а должен с этим жить...

Лёнька дождался. Первой к нему дошла немного расплывшая (это если по городским меркам, а если по-деревенским, так ладная) Вертя.

— Лёнька, голубок, я к тебе! Как здоровычко?

— День добрый, Лёничек! — примкнула к Верте невысокая Антя. — Как детки? А я же помню, как тебя ещё маленького качала. Хорошенький был такой, толстенный!..

— Ах, вы, верхивостки! Куда вперёд влезли? — накинулись на них Альбинка с Манькою. — Мы первые!

Лёнька улыбнулся и заговорил с ними дружелюбно:

— И вам день добрый, бабки! Спрашиваете, как здоровычко моё, как детки? Ну, тогда слушайте. Почему же не рассказать, если бабки ради этого аж сюда добрались. Так вот, — и он вздохнул, — мать моя, сами знаете, молодой замуж вышла. В давнишние же времена не так, как теперь, сидят в девках до тридцати лет!..

Старушки заволновались, стали переглядываться.

— Да вы садитесь, бабки, садитесь! Я вам сейчас всё как есть расскажу. Так на чём я остановился?

Вертя толкнула в бок Антю. Та огрызнулась: сама, мол, спросила о здоровье, я — о детках спрашивала. На помощь им пришла Манька:

— Знаешь, Лёничек, я тебя послушала бы, да у меня старый мой ещё не завтракал, ждёт, пока я приеду, драников ему напеку...

— А я, голуба, только теперь вспомнила, что кур закрыть забыла. Подерут, холера, мне весь огород! — подхватила Альбинка.

— Ай, бабы, у меня же тесто, видать, подошло. Попрёт сейчас через дёжку! — замахала руками Вертя.

Лёнька пожал плечами.

— Что ж, бабки, бегите домой, а то бед сейчас богато делается! И я пойду, работы хватает, — и повернулся к ним спиной.

— Так мы, Лёничек, банки свои в углу оставим, хорошо? В торбочках, чтобы не перепутать потом, — кротким голоском проговорила Антя.

— Ты уж уважь нас, старых. Мы же с твоей матерью подругами были, — закивала головою Вертя.

— Какие банки, бабки? На кой чёрт они мне? — обернулся к ним Лёнька. — Что-то я ничего не понимаю...

— Ты, хлопёц, брось над нами смеяться. Хватит уж, — поджала губы Антя. — Мы и заплатим тебе хорошо. Правда, бабы?

— А как же, заплатим!

— Есть деньги!

— Бабки, родненькие! — попробовал перекричать их Лёнька. — Не нужно мне ваших денег! — и схитрил: — Гляньте, вон машина во двор приехала, сейчас на Дуниловичи пойдёт. Вам же домой нужно было — бегите скорее, пока не уехала!

— Нет, Лёнька, ты нам слово дай, что сделаешь! — ухватила за него Альбинка. — Пообещай!

— Я же тебя маленького ещё помню! — опять завела Вертя. — Толстячок такой был!..

Не секрет, что иной муж со своею женою и неделю живёт, и полвека, а справляется с трудом. Что же говорить, если на одного Лёньку набросилось столько женщин? Капитуляция в данном случае представлялась единственно верным решением...

Нет в нашей жизни ничего тайного. Спрячешь в сердце грусть — а она на лице выступит да и выдаст тебя с головой; вроде и глаза спрячешь, чтобы не увидел кто в них тихой радости, а дрожащие руки все равно подведут тебя... Не приходится удивляться и тому, что о цветастой процессии скоро узнала и директор интерната, Зинка Качкина. Строгая начальница не на шутку рассердилась на своего мастеровитого, рукастого подначального и распорядилась передать ему устный, но твёрдый приказ: “Изготовить для нужд интерната сто литров живой воды!”

И если Лёньку такое распоряжение чрезвычайно огорчило и прибавило на лице его пару тоненьких морщинок-ниточек, то некоторых завистников (не они ли и набрехали директорше про водяные фокусы рабочего Мальца?) очень обрадовал. Вишь, ты, умник нашёлся, и чего ему спокойно не работалось, как иным добрым людям, опыты всё какие-то затевал, вечный двигатель изобретал — вот и дождался. А не выполнит приказ — дебелая хмурая Качкина, и ойкнуть не успеешь, вытурит с работы.

Уныние есть страшный грех. Лёнька это твёрдо знал. Да и когда деревенскому человеку при его каждодневных хлопотах и беспокоествах впадать в отчаяние? Должен был он выполнить указание, неизбежно и неотменимо. И напрасно объяснять, что производство живой воды требует много времени, что над той злосчастной банкой, которую подарил он старой Фране, неделю корпел. А здесь — сто литров! За три дня! Смешки слабые... Поэтому и не доказывал никому ничего, не спорил, не жаловался. Молча кивнул головой, выслушав такой приказ, и поплёлся в мастерскую...

А ровно через три дня Лёнька стоял в директорском кабинете перед дородной Качкиной, которая подозрительно поглядывала на него через стёклышки очков, сдвинутых на толстый нос, и докладывал:

— Готово, Зинаида Феликсовна. Ночей не спал, обессилел, едва не надорвался, а сделал, как вы приказали. В мастерской у меня стоит, в бочке. Можете забирать.

Качкина передёрнула плечами, подвинула очки ещё ниже на нос, будто хотела собственными глазами, без всяких оптических уловок, рассмотреть Лёньку, будто видела его впервые.

— Живая вода?

— Живая вода, — подтвердил Лёнька.

— И помидоры ей поливать можно?

— Можно.

— И огурцы тоже?

— Тоже.

— И что, даже баклажаны?

Лёнька хотел было возразить, что такого овоща в интернатских теплицах сроду не выращивали, но сдержался:

— А как же! И их поливайте...

Качкина довольно кивнула головою и, бросив вслед мягко-угрожающее: “Если что какое, то...”, — махнула рукой в сторону двери...

Куда более кротко разговаривали с Лёнькой бабки, что вновь дружной, цветастою вереницею притащились за своими торбочками. И как ни допытывались они, сколько денег стоит эта вода или чем другим тогда отплатить мастеру за такую милость, Лёнька наотрез от всякой благодарности отказался. А когда растроганная Антя, которая вновь завела: “А я тебя, Лёничек, еще маленьким помню. Толстенный такой был, крикливый!..” — и собралась было завсхлипывать, даже цыкнул на неё. Этого хватило, чтобы старушки проворно подхватили свои торбочки и, слегка кланяясь и желая Лёньке всяческих благ в жизни, высыпались из мастерской...

И хоть те самые недоброжелатели и завистники перешёптывались, что не мог Лёнька за три дня изготовить столько живой воды, что где-то схитрил и в чём-то сплутовал, и этот обман быстро обнаружится, и тогда ему хорошо попадёт от разгневанных женщин, вскоре вынуждены были прикусить свои ядовитые языки. Та часть интернатских огурцов с помидорами, которую поливали *живой* водою, на глазах вытянулась, кустики значительно прибавили в росте, появилась и завязь...

На радостях Качкина выписала Лёньке двойную премию и дала три дня отгулов. Она натешиться не могла своими любимыми баклажанчиками, что стали расти с большой скоростью, и в мыслях уже прикидывала, что если полить этой водою небольшой (сотки три всего) участок возле дома да клин клубники, да ещё лук с чесноком, да...

После отгулов Лёнька вернулся на работу понурым, хмурым. Он долго мялся перед начальнической дверью, а затем решительно открыл её. Отрывисто, коротко (разве словами горю поможешь?) и с грустью в голосе он сообщил ей невесёлую весть: аппарат для изготовления живой воды сломался, ремонту не подлежит. Я, мол, и так, и этак, как ни старался, сколько усилий ни прилагал — всё напрасно. Как говорят, колесо лопнуло — и велосипед стал.

Вид у него был такой печальный и несчастный, что никто, даже Качкина, и не подумал усомниться в правдивости Лёнькиных слов. А тот, едва ли не впервые по-крупному солгав начальству, даже не почувствовал угрызений совести. Он справедливо рассудил, что чудо потому и чудо, что случается редко и неожиданно, когда его никто и не ждёт, когда в него даже не сразу и поверишь. А если чудо сделать повседневным делом, если изумление и восхищение от него станут неутолимой алчностью и корыстолюбием, оно исчезает, как пугливая падающая звезда. Было — и нет...

Да и, правду говоря, где он, Лёнька, наберёт столько селитры, чтобы сыпать её в обычную колодезную воду, превращая тем самым в необычную, живую? Да, постарался один раз, сделал живой воды, но это всё же — вода. Как говорят, была — да сплыла...

Может, и случится когда ещё такое чудо, а пока... Поживите простой земной жизнью да помечтайте о чуде! Вдруг и дождётесь когда...

Доклад Сергея Глазьева, прочитанный в январе 2013 года на заседании научного совета РАН, успел стать своего рода легендой. На него не раз ссылались как патриоты-государственники, так и противники динамичного развития России. К тезисам доклада обращались на самом высоком уровне — и те, кто “грозился” выдвинуть Сергея Юрьевича на ключевой пост директора Центробанка, и те, кто буквально костями ложился, чтобы не допустить его назначения.

Сам по себе этот интерес превращает текст Глазьева из документа сугубо экономического в общественно значимый, политический. И всё же, признаюсь, далеко не сразу я решился опубликовать его, пусть даже в сокращении. Нет, дело не в трудной для понимания научной лексике. Как раз в этом плане доклад безупречен: досконально изучив экономику, Глазьев говорит о ней просто и ясно. Затрудняет чтение обилие предлагаемых автором мер. Но тут ничего не поделаешь: недостаток читабельности компенсируется серьёзностью разговора. Доклад Глазьева не чета брошюрам политических пустозвонов, предлагающих в качестве панацеи пару-тройку популистских мер.

Честно предупреждаю: предлагаемый текст — нелёгкое чтение. Но, вникнув в него, читатель поймёт, какие меры необходимо предпринять для вывода страны из тупика пресловутой “стабильности”.

А. Казинцев

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ
академик РАН

ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ

В настоящем докладе обосновываются предложения по системе мер государственной политики в области экономического развития и интеграции. Их набор не претендует на полноту — речь идёт о минимально необходимых мерах для решения ключевых макроэкономических проблем. Они должны быть дополнены соответствующими мерами в области институциональной, социальной, образовательной, научно-технической, промышленной, сельскохозяйственной и других составляющих единой политики социально-экономического развития, которую ещё предстоит выработать на основе междисциплинарных исследований.

1. Проблемы социально-экономического развития

Наиболее очевидной проблемой является нарастающее расхождение между желаемой и действительной траекторией роста экономики, его замедление. Фактически развитие экономики скатывается на инерционный сценарий с падением темпов роста до 2–3% в год (согласно инерционному сценарию, динамика ВВП в 2013 году ожидается на уровне 3,3%, в 2014 году — 2,7, в 2015 году — 2,2% [1]). Это касается не только фактических, но и прогнозируемых правительством показателей.

Хотя подобное расхождение между целевыми ориентирами, прогнозами и фактическими показателями стало привычным (завышение долгосрочных и занижение краткосрочных ориентиров, что позволяет иметь ненапряжённый бюджет при сохранении образа желаемого будущего), оно не может считаться приемлемым, так как удерживает экономику в ловушке инерционного развития.

Откладывание мер, необходимых для достижения целевых ориентиров “на потом” является традиционной тактикой доминирующих сил влияния, не

заинтересованных в изменениях, угрожающих сложившемуся равновесию. Но в рамках этого равновесия не удастся даже удержаться на имеющемся уровне экономического развития – траектория инерционного развития характеризуется деградацией сохраняющегося научно-производственного потенциала на фоне формирования новых направлений роста мировой экономики. В её структуре в ближайшие 3–5 лет сформируются новые технологические траектории, которые закроют существующие сегодня возможности.

Дело в том, что происходящая в настоящее время смена доминирующих технологических укладов открывает “окно возможностей” для успешного выхода на новую, длинную волну экономического роста, которое закрывается после перехода ведущих стран мира к новому технологическому укладу. После этого отстающим странам приходится довольствоваться ролью сырьевого придатка государств-лидеров. Если же переход к новому технологическому укладу отстающей стране удаётся совершить раньше, то она совершает рывок на гребне длинноволнового подъёма. Именно так совершались экономические чудеса в США и Германии в конце позапрошлого века, в Японии и новых индустриальных странах – в середине прошлого века. Сейчас на наших глазах такой рывок совершает Китай [2].

Несоответствие между официально декларируемыми целями и достигаемыми результатами является типичным недостатком сложившейся системы управления. Этот недостаток приобрёл черты катастрофы в 90-е годы, когда все официально продекларированные цели радикального реформирования экономики обернулись резким падением её эффективности и криминализацией отношений собственности, глубоким разрушением научно-производственного потенциала и обнищанием населения. Провалами завершились и секторальные реформы: реформа электроэнергетики – многократным повышением тарифов и резким ухудшением условий электроснабжения (по условиям подключения к электросетям, согласно рейтингу Мирового банка, Россия скатилась на последнее место); реформа лесного хозяйства – легализованным захватом и хищнической эксплуатацией лесных угодий, что привело к катастрофическим пожарам вследствие фактической ликвидации системы безопасности лесного хозяйства; земельная реформа – взвинчиванием цен на городскую недвижимость и обезземеливанием крестьян; либерализация валютного регулирования – огромным вывозом капитала с уклонением от уплаты налогов.

Этот перечень разительных несоответствий между декларируемыми целями реформ и их результатами можно долго продолжать, но и сказанного достаточно для констатации очевидной проблемы в государственном управлении – отсутствия системы научного обоснования и экспертизы проектов принимаемых решений. К чести научного сообщества следует отметить, что как по упомянутым, так и по всем другим значимым реформам учёные РАН неизменно занимали критическую позицию, своевременно предупреждая органы государственной власти об ожидаемых последствиях. В отличие от реформаторского пиара, прогнозы учёных всегда подтверждались на практике (в частности, учёными РАН с математической точностью заблаговременно был предсказан мировой финансовый кризис 2008 года и дефолт в августе 1998-го). Это вызывает раздражение “реформаторов”, наиболее невежественные из которых настойчиво требуют погрома Академии. Неудовлетворительный уровень образованности и некомпетентность значительной части чиновников и бизнесменов является ещё одной серьёзной проблемой системы государственного управления. Обе указанные проблемы являются следствием общей причины – отсутствия механизма ответственности в системе государственной власти, следствием чего становится коррупция и некомпетентность, доминирование частных и корпоративных интересов при подготовке многих важных решений. Без её устранения решение перечисляемых ниже проблем, как и реализация предлагаемых в докладе мер государственной политики развития не представляется возможными.

Следствием “перекладывания” целевых ориентиров, достижение которых может нарушить баланс интересов доминирующих сил влияния, на будущее становится нарастающая дезинтеграция российской экономики и её технологическое отставание не только от передовых, но уже и от ведущих развивающихся стран. Следование интересам экспортеров сырья (снижение экспортных и импортных пошлин, льготы по налогообложению, мягкость экологических ограничений, фактическая отмена валютного контроля) усиливает сырьевую ори-

ентацию экономики, её офшоризацию и переориентацию на иностранную технологическую базу, провоцирует утечку капитала, влечёт за собой деградацию научно-производственного потенциала. Осуществлявшееся длительное время скрытое субсидирование экспорта сырья путём соответствующего таргетирования обменного курса рубля с привязкой денежного предложения к притоку иностранной валюты привело к тому, что внутренне ориентированные сектора экономики не имеют источников получения необходимых для развития кредитов и инвестиций. Запредельный износ их основных фондов и нехватка современного оборудования наблюдаются на фоне неспособности существующей системы управления хозяйством “переварить” накапливающиеся в стране сбережения, величина которых намного превышает объём инвестиций.

Пассивность проводимой денежно-кредитной политики, её ориентация на ограничение количества денег, привязка их эмиссии к приросту валютных резервов и к удвоительности спроса коммерческих банков на краткосрочную ликвидность сопровождается завышением процентных ставок по сравнению с рентабельностью внутренне ориентированных отраслей. При этом недостаток долгосрочных кредитных ресурсов частично замещается иностранными источниками, доступными только крупным экспортно-ориентированным и торговым предприятиям. Следствием этого становится неконтролируемый рост внешнего долга и чрезмерная зависимость российской финансовой системы, негативным проявлением которой стало рекордное падение фондового рынка, инвестиций и производства вследствие мирового финансового кризиса. В сочетании со стерилизационными механизмами налогово-бюджетной политики это оборачивается неэквивалентным внешнеэкономическим обменом, в котором Россия теряет до 100 млрд долл., в том числе 30–35 млрд – на разнице процентных ставок между привлекаемыми из-за рубежа ссудами и размещаемыми за рубежом средствами. Основным результатом проводимой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики становится искусственное сдерживание экономического роста.

Реализуемые в настоящее время Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Основные направления) направлены не на достижение указанных выше целей развития страны, а на соблюдение ограничений бюджетной политики (стабильность, сбалансированность и устойчивость) и инструментальных требований к ней. Эти ограничения реализуются за счёт снижения инвестиционной и инновационной составляющих бюджетной политики. Так, замораживание посредством “бюджетного правила” до 7% ВВП нефтегазовых доходов в резервном фонде означает соответствующее снижение нормы накопления и увеличение вывоза капитала за рубеж. Тем самым искусственно ухудшается инвестиционный потенциал экономики, усугубляется диспропорция между сбережениями и инвестициями, затрудняется достижение установленного Президентом России целевого ориентира нормы накопления в 25% ВВП.

В настоящее время бюджетное правило исходит из теоретически неверной и практически вредной методологической предпосылки, согласно которой “расходование накопленных в суверенных фондах нефтегазовых доходов якобы негативно влияет на макроэкономическую стабильность страны (инфляцию, валютный курс) и является фактором, непосредственно влияющим на привлекательность российской экономики для иностранных инвесторов” [3]. Эта предпосылка игнорирует то обстоятельство, что суверенные фонды по своему макроэкономическому смыслу являются составной частью валютных резервов страны. Их объём должен быть достаточным для обеспечения устойчивости валютного курса и макроэкономической стабильности. Нарастание этого объёма сверх необходимой величины за счёт доходов правительства влечёт искусственное сокращение спроса, соответствующее снижение деловой активности, сужение инвестиционных возможностей и, в конечном счёте, – снижение темпов экономического роста и ухудшение возможностей развития экономики.

Кроме того, являясь, по сути, формой вывоза капитала, чрезмерный резервный фонд свидетельствует о недостаточности инвестиционного потенциала экономики и никак не может стимулировать привлечение заёмных ресурсов на “благоприятных” условиях. Эти условия заведомо будут менее благоприятны, чем те, на которых размещаются российские резервы. Прекращение этой саморазорительной политики позволит разорвать сложившийся порочный круг неэквивалентного внешнеэкономического обмена.

Накопленный в России объём валютных резервов намного превышает все известные нормативы достаточности, и его наращивание посредством увеличения Резервного фонда (до 5,3 трлн рублей к 2015 году) не имеет стабилизирующего значения. Наоборот, изъятие значительной части нефтегазовых доходов создаёт искусственный дефицит бюджета и влечёт за собой бессмысленное наращивание государственного долга (на 4 трлн рублей). Это, в свою очередь, сокращает возможности финансирования производственных инвестиций и приводит к удорожанию кредита. Планируемые поступления в резервный фонд позволяют отказаться от государственных заимствований и обеспечить бездефицитность бюджета, что подняло бы доверие к бюджетной политике и высвободило бы значительные финансовые ресурсы для повышения инвестиционной и инновационной активности, способствовало бы снижению процентных ставок и повышению доступности кредита для реального сектора экономики.

Имеющийся в стране производственный, научно-технический, человеческий, природный, оборонный и валютно-финансовый потенциал позволяет проводить самостоятельную политику и обеспечивать успешное развитие экономики. Однако неэффективное управление этим потенциалом приводит к его недоиспользованию – около 100 млрд долл. вывезенного за год капитала свидетельствуют о крайне низком коэффициенте полезного действия сложившейся системы регулирования экономики, допускающей потерю трети инвестиционного, большей части инновационного и значительной части человеческого потенциала.

В условиях глобального экономического кризиса, для выхода из которого передовые страны прибегают к безбрежной денежной эмиссии в целях долгосрочного кредитования своих корпораций и банков под символический процент, проводимая макроэкономическая политика ставит российские предприятия в неконкурентоспособное положение, влечёт за собой неэквивалентный внешнеэкономический обмен и обрекает экономику на колонизацию иностранным капиталом.

Ниже обосновывается возможность переориентации макроэкономической политики на социально-экономическое развитие страны.

2. Стратегия опережающего развития

Политика модернизации и развития российской экономики должна исходить из чёткого понимания структурных изменений и перспектив глобального социально-экономического развития и выявления национальных конкурентных преимуществ, активизация которых способна обеспечить устойчивый и быстрый рост производства на формирующейся сегодня новой волне экономического подъёма. Важно понимание структурной составляющей глобального кризиса, которая определяется сменой технологических укладов и соответствующих им длинных волн экономического роста. Выход из этого кризиса связан со “штормом” нововведений, прокладывающих дорогу становлению нового технологического уклада. Без кардинального повышения инвестиций в структурную перестройку экономики на его основе происходящая в настоящее время денежная накачка экономики создаёт лишь ловушку “отложенной рецессии” ценой нарастающих инфляционных рисков саморазрушения финансовой системы. Кризис закончится с перетоком оставшегося после коллапса финансовых пузырей капитала в производство нового технологического уклада [4].

В настоящее время новый технологический уклад переходит из эмбриональной фазы развития в фазу роста. Его расширение сдерживается как незначительным масштабом и неотработанностью соответствующих технологий, так и неготовностью социально-экономической среды к их широкому применению. Кроме того, сталкиваясь с технологическими ограничениями роста устаревшего технологического уклада, высвобождающийся капитал не реинвестируется в утратившие перспективу производства, а втягивается в спекуляции, образуя финансовые пирамиды. В такие периоды в экономике исчезает состояние равновесия, она переходит в турбулентный режим, в котором теряются долгосрочные ориентиры для инвесторов.

Для преодоления возникающей депрессии государству приходится стимулировать спрос и инвестиционную активность. Исторический опыт свидетельствует об исключительной масштабности и драматичности организации такого стимулирования крупномасштабных технологических сдвигов. До сих пор

оно принимало форму резкого увеличения государственных оборонных расходов, вылившихся в гонку вооружений в космосе в 70-е годы в ходе прошлого структурного кризиса такого рода и в катастрофу Второй мировой войны в ходе позапрошлого кризиса, обусловленных сменой технологических укладов.

В ходе предыдущей смены доминирующих технологических укладов в 70–80-е годы прошлого века развёрнутая в США стратегическая оборонная инициатива дала мощный импульс развитию информационно-коммуникационных технологий. Последующий рост этого комплекса на 25% в год в течение двух десятилетий обеспечивал устойчивый экономический рост ведущих стран.

В определённой степени милитаризация экономики в периоды смены технологических укладов является следствием доминирующей во властвующей элите ведущих стран мира либертарианской идеологии, которая ограничивает участие государства в экономике вопросами правопорядка и безопасности. В результате объективная потребность в резком повышении роли государства в этот период, включая обеспечение как спроса, так и предложения новейших технологий, принимает форму милитаризации экономики и провоцирует усиление международной военно-политической напряжённости.

Немалое значение в её эскалации имеет то обстоятельство, что смена технологических укладов сопровождается изменениями в составе не только лидирующих отраслей, корпораций и производств, но и стран и регионов. Лидирующие страны, сталкиваясь с перенакоплением капитала в устаревших производствах, стремятся сохранить доминирующее положение, прибегая к военно-политическому давлению в целях сохранения выгодной им системы международных экономических и политических отношений. Одновременно решаются задачи увеличения спроса на продукцию нового технологического уклада посредством наращивания военных расходов.

Происходящее в настоящее время нагнетание военно-политических конфликтов связано с фундаментальными закономерностями механизма смены длинных волн в глобальном развитии [5]. Происходящая смена технологических укладов сопровождается масштабным геополитическим сдвигом, обусловленным перемещением центра деловой и инвестиционной активности в азиатско-тихоокеанской регион. В этих условиях эскалация военно-политических конфликтов по всему миру имеет задачу сохранить “статус-кво” – ведущую роль США и их союзников по НАТО.

Для предотвращения угрозы очередной “холодной” или “горячей” войны необходимы серьёзные усилия ведущих стран мира, включающие согласование национальных антикризисных политик и стратегий развития. Спасительную для мира роль могли бы сыграть крупномасштабные международные программы развития, способные стимулировать в необходимых масштабах спрос на продукцию нового технологического уклада и связать свободные капиталы в долгосрочных инвестиционных проектах. В числе таких программ может быть предложено создание глобальных систем предупреждения, нейтрализации и преодоления последствий глобальных катастроф, вызываемых угрозами экологического, технического, космического характера. Для нейтрализации последних необходимо развёртывание наукоёмкой и технологически передовой системы мониторинга угроз столкновения Земли с космическими объектами и разработки средств их нейтрализации. Весьма полезными для облегчения перехода к новому технологическому укладу мерами могли бы стать глобальные программы развития здравоохранения и образования, модернизации транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Для реализации крупных международных программ развития необходимо формирование глобальной системы стратегического управления, которая должна строиться под эгидой ООН на основе норм международного права и опираться на соответствующие национальные системы ведущих стран мира. К этому сегодня имеются объективные предпосылки.

В периоды экономической турбулентности и крупномасштабных структурных изменений, когда рыночные механизмы дают сбой, государство вынуждено принимать на себя роль основного субъекта развития. При этом, как показывает исторический опыт, наряду с соответствующим усилением регулирующей воздействия, государства часто прибегают к прямому управлению ключевыми для модернизации субъектами хозяйства, национализируя их и вводя механизмы планирования. Так было во всех капиталистических стра-

нах в 30–50-е годы, во всех новых индустриальных странах в послевоенный период. Многие передовые страны прибегали к национализации базовых отраслей экономики и в предыдущем структурном кризисе 70–80-х годов.

Из этого опыта не следует необходимость его буквального повторения в настоящее время. Выбор форм государственного воздействия на развитие экономики зависит от множества факторов и должен совершаться на сугубо прагматичной основе. Волны национализации и планирования объясняются стремлением государства не допустить нецелевого использования гигантских ресурсов, выделяемых для модернизации и структурной перестройки экономики. Как правило, к этой мере прибегают для форсированного выращивания нового технологического уклада посредством кредитования государственными банками государственных предприятий. После формирования соответствующей технологической траектории и вывода созданных при поддержке государства хозяйствующих субъектов в режим расширенного воспроизводства на основе рыночных механизмов, они приватизируются и мобилизующая функция государства сворачивается.

В последнее десятилетие, несмотря на кризис, расходы на освоение составляющих новый уклад технологий и масштаб их применения растут в темпе около 35% в год [6]. Устойчивый и быстрый рост применения ключевого фактора нового технологического уклада – нанотехнологий – не оставляет сомнений в быстром формировании новых направлений экономического роста. После структурной перестройки экономики ведущих стран на его основе, которая продлится ещё 3–5 лет, начнётся новая длинная волна экономического роста. При этом баланс негативных и позитивных эффектов будет определяться скоростью роста новых производств, компенсирующих сжатие устаревающей части экономики.

Именно в подобные периоды крупномасштабных глобальных технологических сдвигов возникает “окно” возможностей для отстающих стран вырваться вперёд и совершить “экономическое чудо”. Для этого необходим достаточно мощный иницирующий импульс, позволяющий сконцентрировать имеющиеся ресурсы на перспективных направлениях становления нового технологического уклада. Как показывает опыт совершения подобных прорывов в новых индустриальных странах, послевоенной Японии, современном Китае, да и в нашей стране, требуемое для этого наращивание инвестиционной и инновационной активности предполагает повышение нормы накопления до 35–40% ВВП с её концентрацией на прорывных направлениях глобального экономического роста. При этом, чтобы “удержаться на гребне” новой волны экономического роста, инвестиции в развитие производств нового технологического уклада должны увеличиваться ежегодно не менее, чем в 1,5 раза. Для этого общая доля расходов на НИОКР в ВВП должна достигнуть 4%.

Для выхода на требуемые параметры инвестиционной и инновационной активности требуется резкое увеличение масштаба и качества государственного участия в развитии экономики. Несмотря на многократное повышение эффективности, достигаемое при использовании технологий нового уклада, их широкое распространение сдерживается как неготовностью производственно-технологической среды к их восприятию, так и недоверием инвесторов к их коммерческой привлекательности. Для преодоления порога синхронных затрат на создание производственных систем нового технологического уклада необходим достаточно мощный иницирующий импульс в форме инвестиций в прорывные НИОКР, новые виды инфраструктуры, освоение новых специальностей.

Ключевая идея стратегии опережающего развития заключается в опережающем становлении базисных производств нового технологического уклада и скорейшем выводе российской экономики на связанную с ним новую длинную волну роста. Для этого необходима концентрация ресурсов в развитии составляющих его перспективных производственно-технологических комплексов, что требует целенаправленной работы национальной финансово-инвестиционной системы, включающей механизмы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, промышленной и внешнеэкономической политики. Их необходимо ориентировать на становление ядра нового технологического уклада и достижение синергетического эффекта формирования кластеров новых производств, что предполагает согласованность макроэкономической политики с приоритетами долгосрочного технико-экономического развития. Последние

должны формироваться исходя из закономерностей долгосрочного экономического роста, глобальных направлений технико-экономического развития и национальных конкурентных преимуществ.

С научно-технической точки зрения выбираемые приоритеты должны соответствовать перспективным направлениям становления нового технологического уклада. С экономической точки зрения они должны создавать расширяющийся импульс роста спроса и деловой активности. С производственной точки зрения приоритетные производства, начиная с определённого момента, должны выходить на самостоятельную траекторию расширенного воспроизводства в масштабах мирового рынка, выполняя роль “локомотивов роста” для всей экономики. С социальной точки зрения их реализация должна сопровождаться расширением занятости, повышением реальной зарплаты и квалификации работающего населения, общим ростом благосостояния народа.

Научно-техническое прогнозирование позволяет определить ключевые направления формирования нового технологического уклада: биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и геной инженерии, нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. К ним следует добавить направления-носители нового технологического уклада, предъявляющие основной спрос на его продукцию: космические технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, авиационная промышленность, атомная промышленность, солнечная энергетика.

Имеющиеся заделы в сфере атомной, ракетно-космической, авиационной и других наукоёмких отраслях промышленности, в молекулярной биологии и геной инженерии, нанотехнологиях дают России реальные возможности для опережающего развития нового технологического уклада и шансы на лидерство в соответствующих направлениях формирования новой длинной волны экономического роста. При их реализации необходимо учитывать, что особенностью базисных технологий нового технологического уклада является их высокая интегрированность, что требует комплексной политики их развития, предусматривающей одновременное создание кластеров технологически сопряжённых производств, соответствующей им сферы потребления и состава трудовых ресурсов.

Разумеется, при выборе приоритетов необходимо исходить не только из прорывных технологий, которыми обладает Россия, но и учитывать её нынешнее положение в мировом разделении труда. Значительная часть российской промышленности, в том числе высокотехнологичной, в обозримой перспективе будет работать на обеспечение потребностей добычи и переработки природного сырья. Модернизация добывающих отраслей, топливно-энергетического и химико-металлургического комплексов стимулирует развитие многих смежных высокотехнологических отраслей. В большинстве отраслей целесообразна стратегия динамического навёрстывания, предполагающая широкие заимствования новых технологий за рубежом и их освоение с дальнейшим совершенствованием [7]. О возможном влиянии этой стратегии на экономическое развитие страны можно судить по потенциалу увеличения выхода готовой продукции с единицы используемого сырья, который для лесоперерабатывающей и нефтехимической промышленности составляет десятикратную величину, для металлургической и химической промышленности — пятикратную, для агропромышленного комплекса — трёхкратную.

Становление нового технологического уклада будет сопровождаться интеллектуализацией производства, переходом к непрерывному инновационному процессу в большинстве отраслей и непрерывному образованию в большинстве профессий. Совершится переход от экономики массового производства к экономике знаний, от общества массового потребления к обществу развития, в котором важнейшее значение приобретут научно-технический и интеллектуальный потенциал, а также требования к качеству жизни и комфортности среды обитания. Резко снизятся энергоёмкость и материалоемкость ВВП. В структуре потребления доминирующее место займут информационные, образовательные, медицинские услуги. Это предопределяет ведущее значение модернизации экономики науки, образования и здравоохранения, которые являются базовыми отраслями нового технологического уклада. И наоборот: нынешние локомотивы роста российской экономики утратят своё

значение – в среднесрочной перспективе ожидается насыщение рынков углеводородов и металлов.

Становление нового технологического уклада требует освоения новых технологий управления, опережающее овладение которыми и подготовка кадров соответствующей квалификации также являются приоритетом политики развития. Дальнейшее развитие получают системы автоматизированного проектирования, которые позволяют перейти к автоматизированному управлению всем жизненным циклом продукции, сократив до минимума фазы внедрения и освоения новой техники. Особенностью базисных технологий нового технологического уклада является их высокая интегрированность, что требует комплексной политики их развития, предусматривающей одновременное создание кластеров технологически сопряжённых производств, соответствующей им сферы потребления и состава трудовых ресурсов.

Реализация стратегии опережающего развития предполагает проведение системной научно-технической и структурной политики по выращиванию составляющих новый технологический уклад научно-производственных комплексов. Её реализация невозможна без национальной финансово-инвестиционной системы, способной обеспечить переток капитала в развитие новых производств и опирающейся на внутренние источники кредита. Для её формирования необходимо:

- создание системы стратегического планирования, способной выявлять перспективные направления экономического роста, а также направлять деятельность государственных институтов развития на их реализацию;
- формирование институтов финансирования проектов создания и развития производственно-технологических комплексов нового технологического уклада и сфер потребления их продукции;
- обеспечение необходимых для опережающего роста нового технологического уклада макроэкономических условий.

3. Меры государственной политики развития и интеграции

3. 1. Создание системы стратегического планирования

Методология стратегического планирования предусматривает наличие системы долго-, средне- и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития, выбор приоритетов технико-экономического развития, инструменты и механизмы их реализации, включающие систему долгосрочных концепций, среднесрочных программ и индикативных планов, институты организации соответствующей деятельности, а также методы контроля и механизмы ответственности за достижение необходимых результатов [8].

Принимаемый в настоящее время законопроект “О государственном стратегическом планировании” предусматривает создание лишь некоторых элементов этой системы, главным образом – процедур подготовки соответствующих документов в рамках органов исполнительной власти. Необходимо предусмотреть активное участие научного сообщества в разработке долго-, средне- и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития. Наряду с учёными важно предусмотреть участие деловых кругов в выборе приоритетов технико-экономического развития, в определении инструментов и механизмов их реализации.

Должны быть установлены интерактивные процедуры разработки долгосрочных концепций, среднесрочных программ и индикативных планов достижения согласованных и утверждённых целей развития. Необходимы законодательно установленные методы контроля и механизмы ответственности за достижение необходимых результатов. Следует также установить целевые показатели работы государственных институтов развития, корпораций и агентств по направлениям их деятельности, предусматривающих создание конкурентоспособных на мировом рынке производств нового технологического уклада, и ввести механизмы реальной ответственности за их своевременное достижение.

Стратегическое планирование должно включать активную промышленную политику, поддерживающую расширение несущих отраслей нового технологического уклада и стимулирующую “точки роста” в различных отраслях экономики. При этом наибольшее значение имеют высокотехнологические отрасли с большим мультипликатором, стимулирующие экономическую и инновационную активность в сопряжённых производствах.

Важным элементом политики развития, наряду с формированием поддерживаемых государством крупных интегрированных корпораций, должно стать стимулирование спроса на отечественное оборудование посредством соответствующего регулирования госзакупок и закупок контролируемых и поддерживаемых государством предприятий. Целесообразна разработка 5-летней программы модернизации экономики на основе нового технологического уклада, предусматривающей меры по опережающему развитию составляющих его производственно-технологических комплексов, созданию благоприятной для этого макроэкономической среды и формированию соответствующих институтов и контуров управления.

3. 2. Ориентация налогово-бюджетной политики на цели развития

Переориентация системы налогообложения на цели развития предполагает снижение налоговой нагрузки на все виды инновационной и высокотехнологической деятельности, включая отмену НДС с замещением выпадающих доходов налогом с продаж, налогообложением вывоза капитала, приведением экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых, на природный газ, энергоёмких и углеводородных сырьевых товаров в соответствие с налогообложением нефти в расчёте на единицу условного топлива. Немалые дополнительные доходы бюджета могут быть получены за счёт перечисления в полном объёме прибыли Банка России, восстановления прогрессивной шкалы подоходного налога; установления прогрессивного экологического налога (платежей за загрязнение окружающей среды сверх установленных норм).

Одновременно следует расширить финансовые возможности предприятий: предоставить им права по переоценке основных фондов по восстановительной стоимости и установлению нормы ускоренной амортизации на вновь вводимое оборудование; восстановить в бухучёте накопительные счета по амортизационным отчислениям и ввести обязательный контроль над их целевым использованием; освободить предприятия от уплаты налога на имущество с активной части приобретаемых основных фондов в течение первых трёх лет их эксплуатации; установить нормы возврата им налога на прибыль, уплачиваемого в текущем периоде в части средств, направленных на техническое перевооружение.

В целях восстановления отраслевой и заводской науки целесообразно все затраты на НИОКР зачислять в себестоимость продукции и предоставлять возможность соответствующих вычетов из налогооблагаемого дохода будущих периодов. Возможно также использование опыта ряда передовых стран, в которых разрешено относить на издержки 120–150% вложений в НИОКР. Причём эти льготы дифференцируются по наиболее важным для той или иной страны секторам экономики [9]. Помимо такого косвенного (через налоговые льготы) оправдано и прямое софинансирование государством корпоративных исследований по приоритетным направлениям.

Переориентация бюджетной политики на цели развития предполагает изменение бюджетного правила в части использования нефтегазовых доходов. Их следует направлять не в “суверенные фонды” для размещения в зарубежных бумагах, а на инвестиции в целях повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики: развитие инфраструктуры, стимулирование инновационной активности, расширение институтов развития. Для этого резервный фонд следует преобразовать в бюджет развития.

Важно предусматривать приоритетное выделение бюджетных ассигнований на поддержку критически значимых для становления нового технологического уклада государственных расходов. Необходимо существенное относительное и абсолютное увеличение расходов на здравоохранение, науку, образование, поддержку инвестиционной и инновационной активности, модернизацию инфраструктуры. При этом увеличение финансирования следует концентрировать на тех перспективных направлениях развития нового технологического уклада, в которых российские организации имеют конкурентные преимущества.

3. 3. Переход к суверенной денежно-кредитной политике

Главной причиной хронической нехватки средств для развития экономики является ориентация финансовой политики на имеющиеся возможности государственного бюджета, которые не позволяют одновременно решать задачи поддержания текущей социально-экономической стабильности и структурно-технологической модернизации. Решение последней задачи возможно только посредством развития банковского кредита. Для активизации и развития кре-

дита необходимо широкое использование процедур целевого рефинансирования коммерческих банков в увязке с задачами бюджетной, промышленной и структурной политики при кардинальном повышении роли внутренних источников денежного предложения.

Как было показано выше, вследствие слабости внутренних механизмов кредитования российская экономика не может самостоятельно развиваться, следуя за внешним спросом на сырьё и иностранными инвесторами. Для формирования внутренних источников долгосрочного кредитования модернизации и развития экономики необходим переход к принципиально иной политике денежного предложения, обеспеченной не покупкой иностранной валюты Центральным банком (ЦБ), а внутренним спросом на деньги со стороны реального сектора экономики и государства, а также национальными сбережениями, как это делается в развитых и успешно развивающихся странах. Инструменты денежно-кредитной политики должны обеспечить адекватное денежное предложение для расширенного воспроизводства и устойчивого развития экономики. В цели государственной денежно-кредитной политики и деятельности Банка России должны быть включены обеспечение экономического роста и занятости, реальное выполнение функции кредитора последней инстанции.

Из теории экономического развития и практики развитых стран следует необходимость комплексного подхода к формированию денежного предложения в увязке с целями экономического развития и задачами бюджетной, промышленной и структурной политики, с опорой на внутренние источники денежного предложения и механизмы рефинансирования кредитных институтов, замкнутые на кредитование реального сектора экономики и инвестиций в приоритетные направления развития. Это можно сделать путём использования хорошо известных и отработанных в практике развитых стран косвенных (рефинансирование под залог облигаций, векселей и других обязательств платежеспособных предприятий) и прямых (софинансирование государственных программ, предоставление госгарантий, кредитование институтов развития, проектное финансирование) способов организации денежного предложения. При этом ставка рефинансирования не должна превышать среднюю норму прибыли в обрабатывающей промышленности, а сроки предоставления кредитов должны соответствовать типичной длительности научно-производственного цикла в реальном секторе экономики (3–7 лет). Не следует также исключать возможность направления денежной эмиссии на государственные нужды, как это делается в США, Японии и в ЕС путём приобретения центральными банками государственных долгосрочных долговых обязательств.

Разумеется, при формировании денежной политики Банку России следует проводить оценку макроэкономических последствий эмиссии рубля каждым из перечисленных способов, также как и по ныне используемому каналу приобретения иностранной валюты в валютный резерв. Важно при этом оценивать инфляционные последствия расширения денежного предложения для разных секторов экономики: внутренней и внешней торговли, обрабатывающей и добывающей промышленности, развития инфраструктуры, валютно-финансового рынка, формирования рублёвых резервов зарубежными заемщиками и др.

Исходя из вышеизложенного, для переориентации денежно-кредитной политики на цели модернизации и развития экономики предлагается следующий комплекс мер.

1) Настройка денежно-кредитной системы на цели развития и расширение возможностей кредитования реального сектора.

1.1) Переход к гибкой системе денежного предложения с существенным повышением регулирующего значения ставки рефинансирования и смягчением количественных ограничений. Денежную эмиссию проводить преимущественно для рефинансирования коммерческих банков под залог кредитных требований к производственным предприятиям, облигаций государства и институтов развития.

С учётом рентабельности ведущих отраслей обрабатывающей промышленности ставка рефинансирования Центробанка должна удерживаться в пределах 4–6% с удлинением предоставляемых ЦБ кредитов под залог облигаций производственных предприятий – минимум до 3–5 лет, а под инфраструктурные облигации – до 10–15 лет.

1.2) Удержание ставки рефинансирования ниже уровня инфляции является

ся обычным явлением в условиях структурного кризиса, для выхода из которого необходимы структурные изменения экономики. Во избежание перетока эмитируемых таким образом кредитов на финансовый и потребительский рынки необходимо активное использование соответствующих норм валютного регулирования и банковского контроля.

1.3) Дальнейшее существенное расширение ломбардного списка Центрального банка, включение в него платежных требований (векселей) крупных производственных корпораций, перспективных предприятий, работающих в приоритетных направлениях формирования нового технологического уклада, а также системообразующих и градообразующих предприятий (определяемых федеральным правительством), поручительств организаций-заказчиков федеральных целевых программ, а также облигаций институтов развития и госкорпораций. При этом, во избежание стимулирования вывоза капитала и валютных спекуляций, приём иностранных ценных бумаг и иностранных активов российских банков, обязательств иностранных и офшорных компаний в качестве обеспечения ломбардных и иных кредитов ЦБ следует постепенно прекратить.

1.4) Смягчение требований к рейтингам заёмщиков, обязательства которых принимаются Банком России при операциях рефинансирования по договорам РЕПО с переходом к использованию российских рейтинговых агентств. При этом требуется снижение минимального уровня кредитного рейтинга, необходимого для включения бумаг в ломбардный список. Необходимо также установить, что обязательства заёмщиков, имеющих требуемый уровень кредитного рейтинга, включаются в ломбардный список Банка России автоматически, без специального принятия решения по каждому из заёмщиков.

1.5) Существенное увеличение ресурсного потенциала существующих и создание новых институтов развития за счёт их фондирования ЦБ под инвестиционные проекты, одобряемые правительством в соответствии с установленными приоритетными направлениями развития. Размещать такие кредиты институты развития должны на принципах целевого кредитования конкретных проектов, предусматривающих выделение денег исключительно под установленные ими расходы без перечисления денег на счёт заёмщика.

1.6) Запуск масштабной государственной программы льготного кредитования среднего и крупного бизнеса на осуществление инвестиционных проектов и ускоренную модернизацию основных фондов. Для облегчения компаниям доступа к долгосрочным кредитным ресурсам под финансирование инвестиционных проектов и проектов модернизации крупных промышленных предприятий необходимо предусмотреть снижение или субсидирование существующих процентных ставок по долгосрочному проектному финансированию до уровня не выше 5%. Фондирование программы может осуществляться за счёт средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (в виде целевых депозитов) и средств институтов развития под рефинансирование данных кредитов в Банке России.

1.7) Увеличение объёмов финансирования инфраструктурных проектов и программ стимулирования жилищного строительства как имеющих наиболее выраженный синергетический эффект для экономики посредством расширения практики предоставления госгарантий, субсидирования процентных ставок для генподрядчиков и субподрядчиков по строительству инфраструктурных объектов, льготного кредитования строительных компаний, возводящих жильё экономкласса как в городах, так и в сельской местности, обеспечения приоритетного доступа к инструментам рефинансирования для банков "второго эшелона", занимающиеся кредитованием инвестиционных проектов и строительства, широкого использования механизма ссудо-сберегательных чеков наряду с ипотекой.

2) Увеличение ресурсной базы и мощности отечественной банковской системы, повышение её конкурентоспособности.

2.1) Увеличение сроков сделок РЕПО как минимум до трёх лет при наличии возможности осуществления сделки на срок закладываемого финансового инструмента (облигации или кредита).

2.2) Расширение доступа к кредитным ресурсам Банка России. Необходимо предоставить возможность коммерческим банкам привлекать заёмные средства в Банке России в размере до 100% собственных средств с возможным последующим залогом активов банков до трёх лет.

2.3) В целях расширения ресурсной базы банковской системы отменить обязательное резервирование долгосрочных вкладов физических лиц, подлежащих обязательному страхованию.

2.4) Изменить стандарты оценки стоимости залогов, используя средневзвешенные рыночные цены среднесрочного периода и ограничить применение маржинальных требований. В том числе предусмотреть отказ от маржинальных требований к заёмщикам со стороны Банка России, банков с государственным участием и получателей субординированных кредитов. При этом предоставить банкам возможности перевода торгуемых ценных бумаг (акций и облигаций) в инвестиционные портфели по цене приобретения.

2.5) Повышение величины государственных гарантий по вкладам физлиц с действующих 700 000 до 3 000 000 рублей.

3) Соблюдение антиинфляционных ограничений.

Предлагаемая политика денежного обращения включает соблюдение антиинфляционных ограничений, которые должны реализовываться в рамках комплексной системы мер по модернизации и развитию экономики, включая обеспечение высоких темпов экономического роста, благосостояния и уровня занятости населения. Имеющиеся в распоряжении государства инструменты регулирования денежно-кредитной и валютной сферы экономики позволяют вести работу по одновременному согласованному достижению всех указанных целей.

В контексте этой системной политики денежное предложение должно определяться спросом на деньги со стороны реального сектора экономики и государственных институтов развития при регулирующем значении ставки рефинансирования. При этом не предусматривается использование количественных ограничений денежного предложения, которые, как показали многочисленные статистические исследования соответствующих зависимостей во многих странах, не обеспечивают снижения инфляции, но подавляют деловую и инвестиционную активность [10]. Переход к предлагаемой модели денежного предложения не связан с повышением инфляции, так как увеличение денежного предложения нейтрализуется ростом предложения товаров, а инвестиции в обновление основного капитала и освоение новых технологий ведут к снижению издержек, появлению новых потребительских качеств и, соответственно, падению цен.

В целях нейтрализации рисков, связанных с неконтролируемым переток эмитируемых для рефинансирования производственной деятельности и обновления основного капитала денег на финансовый рынок необходимо, наряду с широким применением норм банковского регулирования и контроля, обеспечить целевое использование таких кредитов. В дополнение к этому целесообразно распространить систему регулирования финансового рычага (левериджа – соотношения заёмных средств и собственного капитала) на небанковские компании, ограничив его 2-кратной величиной, а также соотношения финансовых активов (ценных бумаг, денежных средств, иностранной валюты, требований к должникам и т. д.) и собственного капитала небанковских компаний, которое не должно превышать половины.

Вместе с тем, в целях подавления инфляционных ожиданий, необходимо активизировать применение хорошо известных мер по государственному регулированию монопольно устанавливаемых цен, улучшению конкурентной среды и нейтрализации монопольных злоупотреблений.

Реализация охарактеризованного выше подхода к монетарной политике, предусматривающего существенное увеличение денежного предложения, требует кардинального повышения эффективности антимонопольной политики как важнейшего фактора сдерживания инфляционных процессов. Наряду с активизацией применения её стандартных мер по пресечению ценовых сговоров требуется проведение системной политики, опирающейся на законодательно установленные нормы пределов и процедур регулирования цен.

Особенно важной для подавления инфляции является борьба с монополизацией сырьевых, продовольственных и финансовых рынков. Для обеспечения конкурентного ценообразования в сырьевом секторе следует сформировать биржевые центры ценообразования на экспортные товары, объединяющие все сегменты товарного и финансового рынков. Необходимо принять кардинальные меры по обеспечению конкуренции в розничной торговле, где идёт бесконтрольный процесс объединения розничных сетей. Для демонополизации

продовольственного рынка целесообразно создание каналов прямых поставок сельскохозяйственной продукции посредством создания межрегиональных торгово-закупочных компаний с участием субъектов федерации. Для развития конкуренции в банковской сфере следует прекратить политику искусственного укрупнения банков, сосредоточив внимание Центрального банка на повышении качества банковского обслуживания и эффективности системы финансового посредничества.

В целях защиты отечественных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных стран необходимо активно использовать меры технического регулирования, тарифных и нетарифных ограничений, антидемпинговые и специальные пошлины, прибегая к инструментам регулирования Таможенного союза.

Важнейшей задачей является обеспечение добросовестной конкуренции во взаимоотношениях бизнеса и государства. Механизмы частно-государственного партнёрства не должны превращаться в симбиоз коррумпированной бюрократии и олигархического бизнеса. Для этого должны обеспечиваться прозрачные и конкурентные условия доступа предприятий ко всем видам государственного воздействия: госзакупкам, субсидиям, предоставлению лицензий и пр.

4) Обеспечение стабильности и безопасности валютно-финансовой системы Единого Экономического Пространства в рамках ЕврАзЭС.

4.1) В условиях продолжающегося глобального финансового кризиса необходимо существенно увеличить ёмкость рублёвого рынка, стимулируя использование рублей в международных расчётах, включая экспорт энергоносителей и сырьевых товаров, военной техники, а также замещая инвалютные займы государственных компаний рублёвыми кредитами через государственные коммерческие банки. Следует организовать биржевую торговлю нефтью, нефтепродуктами, лесом, минеральными удобрениями, металлами, другими сырьевыми товарами в рублях, обязав производителей биржевых товаров продавать через зарегистрированные Правительством России биржи не менее половины своей продукции, в том числе поставляемой на экспорт. При этом необходимо номинировать в рублях цены на экспортируемые из России газ, нефть, лес, минеральные удобрения, металлы и другие биржевые товары.

4.2) Необходимо сделать использование рублей более предпочтительным по отношению к инвалютным операциям, повысив резервные требования к российским банкам по инвалютным активам, которые должны быть выше, чем по рублёвым.

В целях обеспечения беспрепятственного осуществления валютных операций банками государств ЕврАзЭС на территории Сообщества целесообразно создание при поддержке Межгосударственного банка СНГ расчётно-платёжной системы ЕврАзЭС. В том числе в целях обеспечения финансовой безопасности и гарантированного проведения расчётно-платёжных операций в любых внешних условиях необходимо сформировать на евразийском пространстве транспортно-расчётную систему, альтернативную системе SWIFT. Данная система платежей могла бы быть сформирована в короткие сроки на базе Межгосударственного банка СНГ с использованием передовых технологий и информационно-технической базы Банка России и других заинтересованных центрбанков.

4.3) Переход к политике стабильного курса рубля в реальном выражении. Недопущение роста курса рубля в периоды притока спекулятивного капитала и роста цен на нефть на мировом рынке. В случае, когда на рынке, напротив, наблюдается давление на курс рубля в сторону его снижения, необходимо сглаживание этого процесса и недопущение резких скачков курса. Наряду с продолжением тактики увеличения валютных резервов в периоды благоприятной конъюнктуры рынков энергоносителей и их расходования в другие периоды с целью обеспечения стабильности реального курса рубля необходимо расширить инструменты регулирования спроса и предложения иностранной валюты, предусмотрев возможность взимания экспортных пошлин в иностранной валюте с её аккумуляцией на валютных счетах правительства в случае избыточного предложения валюты и введения Банком России правила обязательной полной или частичной продажи валютной выручки экспортеров на внутреннем рынке в случае её недостаточного предложения.

4.4) Осуществление суверенной денежно-кредитной политики, включаю-

щей механизмы долгосрочного рефинансирования банковской системы под низкопроцентное кредитование производственной деятельности и инвестиций, предполагает повышение эффективности валютного регулирования и контроля, а также проведение деофшоризации российской экономики. Последняя должна включать перевод конечными бенефициарами регистрации прав собственности на российские активы в российскую юрисдикцию, возвращение капиталов в российские банки, предоставление преференций со стороны государства исключительно российским заемщикам. Эффективной мерой могло бы стать предоставление доступа к недрам, лесным и сельскохозяйственным угодьям, прав на обладание значимыми массивами недвижимости исключительно резидентам России.

В целях предупреждения дальнейших потерь отечественной финансовой системы вследствие коллапса финансовых пузырей и пирамид зарубежных эмитентов необходимо ввести ограничения на объёмы забалансовых зарубежных активов и обязательств перед нерезидентами по дериватавам российских организаций; отказаться от тех видов страхования, обязательства по которым невозможно исполнить в случае наступления макроэкономического кризиса. Необходимо также рассматривать вложения российских предприятий в иностранные ценные бумаги, включая государственные облигации США и других иностранных государств с высоким дефицитом бюджета или государственно-го долга как крайне рискованные.

Для защиты стратегических активов в экономике и гарантированного выпуска продукции жизнеобеспечения (электроэнергия, топливо, связь, транспорт, инфраструктура продовольственного рынка и др.) необходимо блокировать возможности установления зарубежного контроля за системообразующими предприятиями. Нельзя допускать покупки системообразующих и критически важных для страны предприятий иностранным капиталом (или конверсии их долгов в собственность), а также перевод прав собственности на них в офшорные зоны.

4.5) Россия, формируя как председатель саммита G20 в 2013 году, глобальную “повестку дня”, может взять на себя инициативу первопродводства в реализации ряда мер по стабилизации глобальной финансовой системы, включая:

- исполнение Центральным Банком РФ мер контроля и регулирования капитальных операций с офшорными зонами, рекомендованных G8 и G20;
- регулирование Центральным Банком РФ и ФСФР всех забалансовых операций российских банков и компаний с целью предупреждения дефолтов и обращения взысканий на залог стратегических активов;
- активизацию мер по пресечению операций по нелегальному вывозу капитала, отмыванию незаконно полученных доходов, обеспечению “прозрачности” сделок.

5) О формировании механизмов инновационного развития.

5.1) Объективные особенности инновационного развития.

Результаты множества исследований свидетельствуют о критической роли генерирования и накопления новых знаний в обеспечении современного экономического роста. Наряду с ростом показателей экономики знаний (объёма расходов на НИОКР и образование, количества учёных и студентов и т. п.), эта роль проявляется в ключевом значении институтов, обеспечивающих материализацию знаний в новых технологиях, а также социально-экономической среды, благоприятствующей инновационной активности.

В силу объективной неопределённости результатов нововведений, нелинейности связанных с их внедрением экономических эффектов, значительная часть которых является экстернальными, механизмы рыночной конкуренции не обеспечивают оптимизации использования имеющегося научно-технического и интеллектуального потенциала. Это предопределяет критическую зависимость процессов накопления и реализации интеллектуального потенциала от общей культуры хозяйственной деятельности, политики государства, на которое приходится большая часть расходов на науку и образование, финансирование долгосрочных инвестиций в развитие инфраструктуры, а также поддержание благоприятного инновационного климата.

Последние десятилетия во всех странах мира, кроме постсоветских, последовательно увеличивается роль государства в финансировании НИОКР и стимулировании инновационной активности. Современное государство фи-

нансирует от трети до половины расходов на НИОКР, при этом половина этих средств осваивается в негосударственных структурах. Государственные расходы на науку и опытно-конструкторские разработки растут в передовых странах опережающим образом, достигая 3–4% ВВП. После распада СССР финансирование НИОКР в России снизилось на порядок, едва превышая 1% ВВП.

Наряду с ростом ассигнований на поддержку инновационной активности усложняется процесс управления и возрастает роль государства в координации этой деятельности. При этом особое значение приобретают методы косвенного стимулирования инновационной активности – налоговые льготы, госзакупки, формирование инновационной инфраструктуры [11].

Исследования свойств инновационной экономики, основанной на знаниях и НТП в качестве ведущего фактора экономического роста, позволяют выделить следующие её свойства, отличные от традиционных представлений неоклассической парадигмы. Во-первых, в качестве основного ресурса экономики знаний используется информация, которая, в отличие от обычных сырьевых ресурсов, не исчезает и не отчуждается. Во-вторых, рост объёма информационных услуг характеризуется законом повышающейся отдачи вместо характерного для традиционной экономики закона убывающей отдачи с ростом масштабов производства. В-третьих, инновационная экономика характеризуется снижением длительности научно-производственных жизненных циклов продукции. В-четвёртых, ей свойствен глобальный масштаб производства и глобальная инфраструктура, важнейшим элементом которой является интернет. В-пятых, развитие инновационной экономики сопряжено с формированием соответствующих институтов: венчурных фондов, специализированных рынков ценных бумаг, интеллектуальной собственности и пр. [12].

Требования инновационной экономики привели к коренным качественным переменам в самом государственном управлении, которое взяло на себя функции интеллектуально-информационного центра регулирования и стратегического планирования развитием экономики.

5.2) Ключевая роль Российской академии наук в восстановлении научно-технологической среды инновационной активности.

Необходимым условием поддержания должного уровня инновационной активности (не менее 2/3 предприятий в передовых странах осваивают инновации) является поддержание соответствующей научно-технологической среды, включающей развитую базу фундаментальных знаний и поисковых исследований, институты прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, сеть опытных производств и механизмы внедрения новых технологий.

В советское время эта среда функционировала следующим образом. РАН отвечала, в основном, за проведение фундаментальных исследований, передавая получаемые знания для прикладных исследований в отраслевые НИИ и КБ. Последние входили в научно-производственные объединения и воплощали научные знания в новых технологиях, отработавшихся на опытных предприятиях и внедрявшихся затем на серийных заводах. В плановой экономике работал непрерывный конвейер создания новых знаний, их воплощения в новой технике и её внедрения в производство, организованный по схеме: фундаментальная наука (РАН) – прикладная наука (отраслевые НИИ и КБ при поддержке РАН) – опытные производства (заводская наука при поддержке отраслевых НИИ) – серийные заводы.

В результате массовой приватизации юридических лиц в начале 90-х годов научно-производственная кооперация была полностью разрушена. Раздельная приватизация научных институтов, опытных производств и серийных заводов привела к переориентации всех участников этой кооперации на коммерческую деятельность с целью максимизации текущих доходов их руководителей. В результате обвального сокращения финансирования научных исследований и заказов на их проведение 80% отраслевых НИИ и КБ изменили свой профиль и прекратили существование. Отраслевая наука сохранилась только в госсекторе, главным образом, в оборонной, аэрокосмической и атомной промышленности.

Сложившаяся ситуация напоминает положение российской науки в 20-х годах, сохранившейся в основном в Академии наук. Тогда, в целях научного обеспечения индустриализации, было принято единственно возможное решение – создание АН СССР. В последующем, по мере вызревания прикладных научных направлений, из Академии наук выделялись отраслевые институты,

бравшие на себя роль организаторов разработки и внедрения новых технологий. Академия наук, сохраняя свою нацеленность на фундаментальные исследования, одновременно клонировала и передавала в отраслевые министерства научные коллективы, нацеленные на решение соответствующих технологических задач [13].

Разумеется, в современных условиях этот опыт может быть применён в иных формах, соответствующих механизмам открытой рыночной экономики. В академических институтах могут создаваться ориентированные на проведение прикладных исследований лаборатории, на основе которых в последующем формироваться внедренческие фирмы, вырастающие в случае успеха в коммерческие предприятия. На основе договоров с корпорациями, венчурными и инвестиционными фондами академические институты могут создавать специализированные подразделения, которые в последующем, приобретая форму венчурных кампаний, выходили бы на рынок с коммерчески успешным продуктом.

Форм коммерциализации научно-исследовательских разработок может быть множество. Главным условием их успешного создания является наличие дееспособных исследовательских коллективов, обладающих глубокими знаниями и крылёнными перспективными научно-техническими идеями в своей области. В Академии наук имеется благоприятная среда для выращивания таких коллективов. Многие из них уже добились значимых коммерческих успехов, отпочковавшись в своё время от академических институтов.

Особенностью нынешнего этапа экономического развития, как уже говорилось, является смена доминирующих технологических укладов. В этот период формируются новые технологические траектории, происходит становление новых лидеров развития экономики. Он характеризуется резким сокращением времени между прорывными фундаментальными исследованиями и успешными инновационными проектами практического освоения их результатов. В ключевых направлениях становления нового технологического уклада – нано-, био- и информационно-коммуникационных технологиях – нередко коммерчески успешные фирмы рождаются из научных лабораторий.

Не случайно исследования выявили однозначную зависимость между эффективностью инвестиций и зрелостью соответствующей инновационной среды. Предпринимаемые сегодня попытки создания новых центров инновационной деятельности “на пустом месте”, как правило, заканчиваются неудачно. В лучшем случае, они наполняются жизнью за счёт проектов, привлекаемых из академических институтов. Обычно же выделенные на них ресурсы осваиваются исходя из текущей рыночной конъюнктуры – под видом технопарков создаются обычные офисные здания, а инновационные центры становятся формой трансформации бюджетных ассигнований в частные девелоперские проекты.

Международный опыт успешной инновационной деятельности свидетельствует о том, что организовать её можно только в благоприятной для коллективного научно-технического творчества среде. Самая большая в России среда такого рода поддерживается институтами Академии наук. Именно в ней достигается максимальная отдача от государственных средств, выделяемых для стимулирования инновационной деятельности. Десятилетиями успешно работающие и концентрирующие научно-исследовательский потенциал мирового уровня наукограды являются естественной площадкой для создания мощных инновационных инкубаторов.

Академия наук является крупнейшим в стране экспертным сообществом, потенциал которого используется государством в незначительной степени. В отличие от бизнес-сообщества, оно ориентировано на создание и использование новых знаний и технологий, а не на максимизацию прибыли. Как свидетельствует вся история РАН, это сообщество учёных и специалистов способно выдвигать и реализовывать крупнейшие инновационные проекты, в результате которых в стране имеется надёжный ракетно-ядерный щит, авиационная промышленность и атомная энергетика, разведаны запасы природных ископаемых, созданы системы связи, передовые медицинские и образовательные центры. Ориентация на высшие научно-технические достижения, фундаментальные знания и решение сложных проблем общегосударственного значения делает научное сообщество РАН надёжной опорой в реализации президентского курса на новую индустриализацию экономики и её перевод на инновационный путь развития.

Критическое отношение академического сообщества к разрушительным реформам 90-х годов, сопровождавшимся многократным сокращением финансирования науки и разрушением научно-технического потенциала страны, повлекло отлучение РАН от участия в процессах государственного управления. Совершая многочисленные ошибки, чиновники с раздражением воспринимали критику учёных, наиболее невежественные и агрессивные из них неоднократно инициировали попытки дискредитации и ликвидации РАН. Это отношение со стороны ряда высокопоставленных чиновников, отвечающих за научно-техническое и социально-экономическое развитие страны, сохраняется вплоть до настоящего времени, что снижает качество государственного управления и наносит непоправимый ущерб развитию страны. Вовлечение РАН в подготовку важных государственных решений обеспечило бы их объективную экспертизу исходя из национальных интересов, позволило бы избежать ошибок и выработать оптимальные пути достижения поставленных главой государства целей развития России.

Перечень использованной литературы:

1. Расчёты Института народнохозяйственного прогнозирования. РАН. 2011.
2. Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М., Экономика. 2010.
3. Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. М., 2012.
4. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика “пузырей” и периодов процветания. М., Дело. 2011.
5. Пантин В. И., Лапкин В. В., Политическая модернизация России: циклы, особенности, закономерности. М., 2007.
6. Глазьев С. Ю., Харитонов В. В. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. М., Тривант. 2009.
7. Деметьев В. Е. Длинные волны экономического развития и финансовые “пузыри”. М., 2009.
8. Глазьев С. Ю., Яковец Ю. В. Зарубежный опыт государственного прогнозирования, стратегического планирования и программирования. М., 2008.
9. Дынкин А. Мировой кризис – импульс для развития инноваций//Проблемы теории и практики управления. 2009, № 4.
10. Глазьев С. Ю. Обучение рынку. М., 2004.
11. OECD Work on Innovation – A Stocktaking of Existing work – OECD Science, Technology and Industry working papers. 2009/2.
12. Теория и практика экономики и социологии знания // Научный совет по Программе фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук “Экономика и социология знания”. М., Наука. 2007. С. 153.
13. Угрюмов М. В. Модернизация Российской академии наук на основе исторической преемственности, или “До основания, а затем...”? Вестник Российской академии наук. 2008. Т. 78, № 7. [17] www.hsbc.research.com.

ОЛЕГ ПРОЛЕСКОВСКИЙ, ЛЕВ КРИШТАПОВИЧ

МИФ О “БЕЛОРУССКОЙ” ШЛЯХТЕ

В последние годы журналисты, издатели, историки много и, как правило, восторженно пишут о “белорусской” шляхте. То и дело мелькают имена польских князей и графов, которых, вопреки очевидности, именуют “белорусской элитой”.

Ладно бы речь шла о культурологическом феномене, восхищении чужой роскошью и чужеродной ментальностью. Так нет же! Поклонники польской знати и на родную белорусскую историю смотрят, будто из Варшавы. К примеру, шляхетские восстания против России они рассматривают как выступления белорусского народа. А отсюда недалеко и до взгляда на русских как на “оккупантов”, “колонизаторов”.

Но вся закавыка в том, что никакой “белорусской” шляхты ни в XVIII, ни в XIX веке на территории Беларуси не было. Что такое шляхта? Высшее привилегированное сословие, характерное для феодального общества. Оно включает помещиков, чиновников, разорившихся землевладельцев, так называемое образованное общество – преподавателей Виленского университета, Полоцкой иезуитской академии и других образовательных учреждений, писателей, музыкантов, католических священнослужителей. По своей национально-культурной идентификации это были поляки, которые ментально были абсолютно чужды коренному населению, то есть белорусам. Даже если отдельные представители этой шляхты сочувственно относились к белорусским крестьянам, занимались собиранием белорусского фольклора и называли себя литвинами, а не поляками, сущность данного сословия от этого нисколько не менялась. Белорусский историк Михаил Коялович в 1884 году отмечал, что поляки стремятся сойтись с местным народом и привлечь его на свою сторону. Они говорят о своём уважении к белорусской народности и желают, чтобы эта народность развивалась и создала свою письменность, печатала книги на своём языке. Но в то же время они говорят, что только поляки являются творческим народом и должны двигаться на Восток, а белорус, получая образование, должен делаться поляком. В этом плане показательны откровения польского этнографа Александра Рыпинского, который в своей работе “Поэзия простых людей нашей польской провинции”, изданной в Париже в 1840 году, призывал белорусских матерей “первой своей обязанностью учить своих детей произносить святое имя Польши ещё до того, как ребёнок научится выговаривать слово “мама”. “Рука матери, – требует польский автор, – не должна давать ребёнку необходимую пищу до того времени, пока он не попросит её по-польски”. Таким образом, за всей этой мнимой заботой польской шляхты о белорусах скрывался всё тот же польский шовинизм с его антибелорусской политикой восстановления Польши в границах 1772 года.

*ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович — министр информации Республики Беларусь.
КРИШТАПОВИЧ Лев Евстафьевич — доктор философских наук, заместитель директора Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь.*

Отсутствие собственно белорусской шляхты как высшего сословия в тогдешнем обществе на территории Беларуси обусловлено своеобразием исторического развития. Здесь необходимо сделать следующее пояснение. Дело в том, что на протяжении XIII–XVII веков, когда территория современной Беларуси и Украины входила в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, белорус, точно так же, как и украинец, выступают не столько под своими современными этническими обозначениями, сколько под общим названием древнего русского народа. Слово “русский” было синонимом слов “белорус” и “украинец”. Все историки того периода, подчёркивая особенность национальности коренного населения на территории современной Беларуси и Украины, говорят о древнем русском народе, сохранившем в первозданной чистоте свою веру, полученную от восточных патриархов.

Отождествление белорусов и украинцев с русскими постоянно присутствует на страницах исторических источников. Например, в послании киевского воеводы, князя Константина Острожского епископу Ипатию Потюю от 21 июня 1593 года по поводу замышляемой унии с Римской Церковью говорится: “Донести князю великому Московскому и московскому духовенству, какое гонение, преследование, поругание и уничтожение **народ тутошний Русский** в порядках, канонах и церемониях церковных терпит и поносит”. Эта же мысль звучит и в выступлении на Варшавском сейме в 1620 году депутата земли Волынской, члена Виленского православного братства Лаврентия Древинского, который, описывая положение своих соотечественников, горестно констатирует: “Кто же явственно не видит, сколь великие притеснения и несносные огорчения **сей древний русский народ** претерпевает? Уже в больших городах церкви запечатаны, имена церковные расхищены, в монастырях вместо монахов скот запирают. В Могилёве и Орше церкви также запечатаны, священники разогнаны. В Пинске монастырь Лещинского в питейный дом превращён; тела умерших без церковного обряда из городов, как падаль, вывозятся; народ без исповеди, без приобщения святых тайн умирает”.

В процессе дальнейшего исторического развития Белой Руси происходит разделение древнего русского народа, как именовали себя белорусы в XIII–XVII веках, на два, хотя и родственных, но отдельных народа. Более или менее завершающим этапом в этом процессе складывания собственно белорусского народа можно считать XVIII век. В этом плане симптоматично высказывание белорусского епископа Георгия Конисского на коронации Екатерины II: он прямо говорит о православном белорусском народе, ожидающем избавления от национально-религиозных гонений польской шляхты.

Специфика формирования белорусской народности на протяжении длительного исторического развития выразилась в том, что на рубеже XVI–XVII веков белорусский народ состоял лишь из низшего сословия – крестьян и мещан – и потерял высшее сословие – шляхту. Речь идёт о насильственном введении в 1596 году церковной унии, которая привела к окончательной денационализации местной шляхты. Она ополячилась и окатоличилась. Уже в челобитной Львовского православного братства русскому царю Фёдору Иоанновичу от 15 июня 1592 года с печалью говорится о денационализации православной шляхты: “Поелику в Польских странах в великих печалях обретаемся, а **все благородные в различные иноверия пали**”. А знаменитый автор “Славянской грамматики” Мелетий Смотрицкий в своём известном “Фриносе” или “Плаче восточной церкви” (1610) окончательно констатирует смерть высшего сословия, погибшего в полонизме, латинстве и иезуитизме. “Где теперь, – вопрошает Мелетий Смотрицкий, – дом князей Острожских, который превосходил всех ярким блеском своей древней православной веры? Где и другие славные роды русских князей – князя Слуцкие, Заславские, Вишневецкие, Чарторыйские, Соломерецкие, Соколинские, Лукомские и другие без числа?” Высшее сословие денационализировалось. Русскими по своей ментальности остались лишь крестьяне и мещане. Им противостояла лишь этнически чуждая и культурно несовместимая шляхта, которая экономически, административно, идеологически господствовала на Белой Руси вплоть до Октябрьской революции 1917 года.

Статистика свидетельствует, что землями в белорусских губерниях владели польские помещики. К примеру, в Гродненской губернии они держали в своих руках 95% земли, в Минской губернии им принадлежало 94% земли. Александр Цвикевич, который являлся идейным руководителем национального движения в Беларуси в конце XIX – первой четверти XX века, в своей книге “Западно-русизм: нарысы з гісторыі [...]” отмечал, что Польша душила Беларусь своим зе-

мельным капиталом с такой силой, что даже Российская империя со всей своей государственной машиной ничего здесь не могла поделаться. Польскость — как проявление польской экономической силы в крае — всегда побеждала и сводила на нет все официальные наскоки российской политической власти. “Экономика, культура, администрация, — подчёркивал Александр Цвикевич, — всё находилось в руках польской интеллигенции, всё управлялось ею”. Сами белорусы указывали, что виленский поземельный банк принимает под залог исключительно польские именные, держит в руках все земельные богатства девяти западных губерний и стоит на страже польских интересов в Беларуси.

Представляется необходимым адекватно оценить роль религиозного фактора как в процессе формирования национального самосознания белорусов, так и в ходе государственного строительства. Данный тезис может быть сформулирован следующим образом: выбор Православия был обусловлен, среди прочих факторов, ментальностью народа, однако, в свою очередь, Православие закрепило и сохранило тот исторический тип самосознания белорусов, который сегодня можно охарактеризовать как современный. Рассматривая данный вопрос, нельзя не коснуться и униатства, которое некоторые белорусские писатели и политики по недоразумению зачисляют в разряд национальной религии белорусов. Здесь важно отметить, что в то время, когда в Беларуси вводилось униатство (XVI–XVII века), меняли вероисповедание не простые верующие (крестьяне), а их патроны (паны, шляхта, церковные иерархи). В тот период считалось: чья власть, того и вера. Поскольку привилегированное сословие (шляхта) окатоличилось или приняло униатство, то оно заставляло и своих подданных (крестьян) принимать новую веру, механически переводило православные приходы в униатские путём навязывания православным униатских священнослужителей. “Загоняемый подобными насилиями в унию русский (белорусский. — Л. К.) народ не мог, конечно, искренно держаться унии, — писал церковный историк Г. Киприанович. — В глубине своей души он продолжал хранить старые свои верования, старые православные убеждения и искал только случая избавиться от насильно навязанной ему унии. Сами защитники латинства сознавали, что все униаты или открытые схизматики (православные), или подзреваются в схизме”. Поэтому, когда говорят, что в XVIII веке 80% белорусов были униатами, то это относится не столько к белорусским крестьянам, сколько к формальному количеству униатских приходов на Беларуси. Крестьяне, как и раньше, так и в XVIII веке оставались верными вере своих предков, то есть Православию. Не случайно переход из унии в Православие для белорусов был осуществлён без больших затруднений, поскольку всё дело свелось к формальному переводу священников из унии в Православие. И об унии в народном самосознании не осталось никакого воспоминания.

Историко-культурологические усилия некоторых историков, направленные на то, чтобы из аббревиатуры ВКЛ (Великое княжество Литовское) вывести некую белорусскую идентичность, носят сугубо софистический характер. Никакого отношения к реальной белорусской государственной традиции подобные попытки не имеют.

Исторический путь развития Беларуси проходил в русле национального, культурного, цивилизационного союза с Россией. Для белорусского и русского народов характерны языковое родство, единство образа жизни и территории, одна и та же система социальных ценностей, одни и те же мировоззренческие и политические убеждения, общность исторической судьбы.

Объективно белорусское самосознание сформировалось в условиях восточнославянского цивилизационного пространства. Такова специфика исторического формирования и белорусской государственности.

Существует расхожее мнение, что национальная культура сводится к реставрации исторических памятников, возрождению фольклористики, старинных ремёсел и обрядов, — так сказать, к некоему внешнему этнографическому антуражу. Всё это, безусловно, входит в содержание национальной культуры, но не образует её смысла. Смысл же культуры выражается в самосознании нации.

Нетрудно заметить, что белорусская национальная культура формировалась как культура высокого патриотизма, где не было места ни мракобесному национализму, ни раболепному космополитизму. Наша задача в области культурной политики в том и состоит, чтобы укреплять и развивать патриотическую линию в белорусской культуре.

С формированием настоящего патриотизма, укреплением национального самосознания тесно связан и вопрос о сохранении исторической памяти наше-

го народа. История народа — это продолжение прошлого, наполнение реальными делами настоящего и послание общества в будущее. Только уважение к своей истории, своим национальным ценностям и традициям является основой процветания страны. Ибо лишь одна история народа может объяснить его истинные потребности и идеалы. Но говоря об уважении к своей истории, надо иметь в виду именно историю белорусского народа. Почему это важно? Потому что под видом национальных ценностей нам стремятся навязать ценности какой угодно истории, но только не нашей, белорусской.

Надо честно признать, что некоторые работники культуры и журналисты не понимают взаимоисключающих вещей. Им кажется, что если государство реставрирует Несвижский замок, то это означает и реставрацию образа жизни польских магнатов, включение его в каталог белорусской истории. Именно такое ложное отождествление является причиной предательства нашей истории в искажённом виде, где жестокая и необузданная польская магнатская анархия преподносится как проявление белорусского самосознания. Фабрикуется иллюзорная картина: будто бы польские магнаты заботились о процветании белорусских крестьян.

Возьмём, к примеру, жизнь польского аристократа Ошторпа, который был предводителем дворянства Минской губернии. В своём имении в Дукоре он завёл театр, картинную галерею, шляхта, по свидетельству очевидцев, пировала неделями у гостеприимного хозяина. Но за счёт чего и кого просвещалась и веселилась польская шляхта? За счёт нещадной эксплуатации белорусских крестьян. Когда Ошторп умер, то польский поэт-юморист Легатович в язвительной эпиграмме метко подметил:

Smierc Osztorpa w Dukorze zrobi zmianie znaczna:
Panowie pic przestana, chlopi jesc zaczyna!

В переводе на русский:

Смерть Ошторпа в Дукоре произведёт большую перемену:
Господа перестанут пить, а мужики начнут есть.

Нужно чётко понимать, что это не некие абстрактные исторические дискуссии, не имеющие отношения к настоящему. Проталкивая польскую панскую культуру, её апологеты делают это для того, чтобы подчеркнуть неправильность избранного белорусами пути развития, пытаясь навязать чуждые нашему народу ценности, а значит — в корне пересмотреть политику государства! Именно этим объясняются лозунги об исключительно европейском характере Беларуси и игнорирование её древнерусских корней. Отказ от древнерусских корней белорусского самосознания — это отказ от союза с братской Россией, а шире — от участия в каких-либо интеграционных процессах на постсоветском пространстве, смена геополитической ориентации нашей республики.

Вот почему совершенной софистикой являются попытки некоторых, так сказать, *продвинутых* учёных и писателей зачислить в разряд белорусских князей Миндовга и Витовта, втащить в белорусскую историю Радзивиллов, Сапег, Огинских и так далее как видных представителей белорусских знатных родов, выразителей белорусского самосознания. Это не только насмешка над белорусской историей, но и прямое оскорбление национального достоинства нашего народа, потратившего немало сил и времени, чтобы освободиться от подобных «благодетелей».

Чтобы нас признавали в современном мире, надо, прежде всего, беречь свою национальную историю. Отказываться же от неё или подменять её чужой историей — значит, отказываться от своей идентичности, то есть исчезнуть как народ, как нация.

К сожалению, до сих пор нет целостного видения истории Беларуси, нет целостной единой концепции. В учебниках, особенно вузовских, каждый пишет на свой лад. Историей Беларуси занимается кто угодно и как угодно. Нужно чётко себе уяснить: формирование истинного патриотизма — это залог крепости государства, стойкости нации, своего рода иммунитет от внутренних и внешних потрясений.

Мы должны с уважением относиться к историческому выбору белорусского народа как результату многовекового формирования общерусского национального самосознания, в рамках которого вызрела и приобрела силу белорусская государственность.

ЯКОВ АЛЕКСЕЙЧИК

ВАРШАВА И БЕЛОРУССКИЙ ВОПРОС — БЕК XX

Белорусский вопрос во второй Речи Посполитой, как историки часто называют возродившуюся в 1918 году Польшу, возник под громкие заявления польских политиков о том, что на самом деле такого вопроса не существует. Сами же “польские роды” были довольно сложными. Перед Первой мировой войной появилось несколько проектов восстановления польского государства. Одним из них предполагалось объединить польские земли под эгидой русского царя. Другим был проект немецкого кайзера, но немцы на сей счет высказывались весьма туманно. Проектом австро-венгерского императора предполагалось провозгласить Герцогство Краковское. Уже само наличие такого числа проектов говорит о том, что вопрос о восстановлении государственности Польши с началом Первой мировой войны встал в полный рост, а к тому, что ответ на него придётся давать, пришли все три империи, разделившие в конце восемнадцатого и переделавшие в начале девятнадцатого века первую Речь Посполитую — Речь Посполитую Обоих Народов, объединявшую Королевство Польское и Великое Княжество Литовское, Русское и Жмудское. Однако после войны к реализации был принят четвёртый проект, сформулированный президентом США Вудро Вильсоном в одном из его знаменитых “Четырнадцати пунктов”. По иронии судьбы это был тринадцатый пункт. Он предусматривал воссоздание Польши на сугубо этническом принципе и включение в неё только тех территорий, на которых “преобладание польского населения было бы бесспорным”. В соответствии с этим положением Версальская конференция, подводившая итоги Первой мировой войны в 1919 году, направила своих делегатов на земли уже развалившихся России, Германии и Австро-Венгрии, чтобы установить, где именно преобладают поляки. Посланные констатировали, что в большинстве своём обитают они на землях, входивших в Российскую Империю, а в Австро-Венгрии и Германии — уже, по преимуществу, онемечены. Делегаты обозначили восточную границу преимущественного обитания поляков — линию Керзона. Она, в основном, совпадала с нынешней границей между Беларусью и Польшей, а на некоторых участках проходила ещё западнее. Кстати, западнее Бреста и Белостока в своё время проходила и граница между Великим Княжеством Литовским, Русским и Жмудским и Польской Короной в первой Речи Посполитой.

Но был и ещё один план — собственно польский. Он предусматривал восстановление Польши в границах 1772 года, и для его реализации новые поль-

ские власти приложили немало сил. А начиналась вторая Речь Посполитая с того, что в ноябре 1916 года Австро-Венгрия и Германия, оккупировав польские земли, входившие ранее в состав России, провозгласили самостоятельность Польши без указания её границ. В то время по Европе даже ходила шутка, что Польша является самым большим государством в мире, так как никто не знает, где заканчиваются её пределы. Вполне возможно, что эту шутку запустили сами поляки, которым никогда не отказывало чувство юмора. В качестве органа управления объявленным государством был создан Временный Государственный совет. В сентябре 1917 года вместо Временного Государственного возник Регентский совет.

После февральской революции в России уже 27 марта 1917 года по новому стилю Петроградский совет декларировал право наций на самоопределение, которым, как подчеркивалось в той декларации, могла воспользоваться и Польша. Через два дня Временное правительство, в свою очередь, выступило с заявлением, согласно которому должно быть создано польское государство, находящееся в союзе с новой Россией. Правда, реализация этого вопроса откладывалась до окончания войны и принятия соответствующих решений Учредительным собранием России. Позицию Временного правительства России одобрил и Регентский совет Польши, однако при этом подчеркнул, что границы между Польшей и Россией должны стать предметом выяснения интересов, а не простого размежевания, сформулированного Учредительным собранием в Петрограде.

Между тем в Люблине 7 ноября 1918 года возникло “народное правительство”, которое заявило о роспуске Регентского совета. В результате трений между этим советом и *правительством 14 ноября* власть была передана организатору польских легионов, воевавших против России в составе австро-венгерской армии, Юзефу Пилсудскому. Притом передана была вся полнота власти – законодательной, исполнительной, военной, а сам он был назначен временным Начальником государства. И в обиходе, и в прессе его стали называть Комендантом.

Уже 16 ноября 1918 года Пилсудский уведомил все страны о создании независимой Речи Посполитой. Все, кроме России. О том, что новая власть в Варшаве не собирается разговаривать с новой властью в Петрограде, красноречиво свидетельствовал и расстрел поляками миссии Русского Красного креста, случившийся 2 января 1919 года. Она направлялась в Польшу для установления политических контактов, а также по делам русских военнопленных, находившихся в то время в лагерях на польской территории. Не помогло миссии даже то, что возглавлял ее поляк Бронислав Весоловский, кстати, один из соавторов программы партии польских социал-демократов – Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПил). В некоторых публикациях встречаются утверждения, что Пилсудский не желал разговаривать с большевиками потому, что не считал их власть законной, забывая, что сам он стал Начальником тоже не в результате всенародного голосования.

Германо-российский фронт в то время проходил восточнее белорусского Минска – по линии Полоцк–Орша–Могилёв. Но в ноябре 1918 года в Германии тоже случилась революция, немецкие войска стали возвращаться домой. Освобожденные ими территории занимали советские части. В Минск они вступили 10 декабря 1918 года, в начале января 1919 года – в Мозырь, Гомель, Слоним. Пинск красные заняли 24 января, выбив оттуда отряды Украинской Народной Республики, которая тоже стремилась распространить свою юрисдикцию как можно дальше на север, включая Кобрин, Пружаны, Жабинку, то есть почти на всю нынешнюю белорусскую Брестскую область. Аппетиты тогда разгорались не только у поляков! А 28 января советская власть пришла в Гродно. Варшава немедленно заявила Москве, что наступление Красной Армии в Литве и Белоруссии является агрессивным актом в отношении Польши, поэтому “польское правительство будет готовиться к защите территорий, заселённых польской нацией”.

Москва ответила, что её войска нигде не вступали на территорию, которая мола бы быть “рассматриваема как принадлежащая Польской Республике”. К этому времени уже была провозглашена Литва, затем Литовская ССР, всего два дня оставалось до провозглашения ССРБ, как поначалу называлась Советская Белоруссия. Заседания по этому поводу в Смоленске уже шли. О создании Советской Белоруссии было объявлено 1 января 1919 года,

но в этот же день польские войска заняли Вильно, откуда их красноармейцы выбили 6 января. Однако ещё в марте 1918 года заявило о себе руководство Белорусской Народной Республики. Её провозглашение, как и Польши, тоже произошло в условиях германской оккупации. Руководители БНР успели даже послать верноподданное письмо немецкому кайзеру, чего не делали поляки, правда, кайзер к тому времени уже был смещён и укрылся в Голландии.

Появление новых государственных образований к востоку и к западу несколько не смутило Пилсудского. Польская армия двинулась на восток. 9 февраля 1919 года она заняла Брест, 2 марта – Слоним, 5 марта – Пинск. К 15 марта советско-польский фронт проходил уже по линии Лида–Барановичи–Лунинец. На политическом фронте Варшава продолжала хранить абсолютное молчание, считая, что любые переговоры с большевиками засвидетельствовали бы признание ею советского правительства. Между тем, народный комиссар иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин 10 февраля 1919 года направил в Варшаву министру иностранных дел Польши И. Падеревскому – политику и композитору – специальную ноту с предложением установить нормальные отношения и урегулировать спорные вопросы мирным путём. “Российская Советская республика, – говорилось в ноте, – стремящаяся жить в неизменной дружбе со всеми народами, всегда желала и горячо желает сохранить мирные и добрососедские отношения с польским народом. Русское Советское правительство ясно обнаружило своё желание оказать услугу и быть полезным польским народным массам тем, что оно тщательно оберегало находящиеся в его руках польские национальные сокровища, польские древности, неоценимые произведения искусства, картины знаменитых художников, рукописи польских композиторов, вообще унаследованные от исторического прошлого Польши сокровища, в числе которых одних лишь колоколов, представляющих значительную художественную и историческую ценность, насчитывается несколько тысяч. Русское Советское правительство с неизменным вниманием сохраняет эти ценности с той целью, чтобы возвратить их, когда настанет момент, братским народным массам Польши”.

Конечно же, наивно было бы думать, что Г. В. Чичерин, подписавший эту ноту, руководствовался только побуждениями, связанными с возвращением польских ценностей. Нарком обращал также внимание Варшавы на то, что “отряды польских легионеров продолжают участвовать в военных действиях, ведущихся контрреволюционными белогвардейскими бандитами против Российской Советской республики в Мурманском крае, в Сибири и других местах”. Нота требовала, чтобы польское правительство “положило конец этому недопустимому положению дел”. В ней сообщалось, что “горячо желая устранить и теперь всякую причину конфликтов с правительством Польской республики и установить с ним нормальные отношения, русское советское правительство примет, исходя из этого стремления, делегата правительства Польской республики”. Более того, подчёркивал Г. В. Чичерин, оно “вошло в сношения с братскими рабоче-крестьянскими правительствами Литвы и Белоруссии, чтобы гарантировать делегату правительства Польской республики беспрепятственную поездку до Москвы и выяснить наиболее подходящий для него маршрут”. Советский нарком обращал также внимание своего польского коллеги на то, что некоторые вопросы, в частности, “те, которые относятся к территориальным соглашениям, должны будут разрешаться путём переговоров с правительствами Советских республик Литвы и Белоруссии, которых они касаются непосредственно”.

Польское руководство скрыло эту ноту от своей общественности, а когда её опубликовала газета “Пшелом” и поставила вопрос, почему нота утаена, сама газета была конфискована, издательство закрыто. Точно так же не была доведена до сведения польской общественности и посланная шесть дней спустя в Варшаву совместная нота Временного революционного правительства Социалистической Советской Республики Литвы и Центрального Исполнительного Комитета Советов БССР. В ней тоже содержался протест против “попытки со стороны Польской республики насильственным путём разрешить территориальные споры”. Варшава продолжала действовать так, словно никакой власти ни в Минске, ни в Вильнюсе не существует. А к тому времени польские дивизии под командованием генералов В. Ивашкевича и А. Листовского оккупировали Волковыск и западное Полесье. Вот что о доминировавших в Польше настроениях говорилось в датированном 11 апреля 1919 года конфи-

денциальном донесении американского представителя при миссии государств Антанты в Польшу генерал-майора Дж. Кернана президенту Соединённых Штатов Америки Вудро Вильсону: “Хотя в Польше во всех сообщениях и разговорах постоянно идёт речь об агрессии большевиков, я не мог заметить ничего подобного. Напротив, . . . стычки на восточных границах Польши свидетельствовали скорее об агрессивных действиях поляков и об их намерении как можно скорее занять русские земли и продвинуться насколько можно дальше. . .

Никто в настоящее время не нападает на Польшу. Наоборот, грустно смотреть, что в стране, где такая нужда, где все усилия правительства и все источники дохода должны были бы быть направлены на улучшение положения населения и государственного управления, всем завладел военный дух. Этот военный дух является для будущего Польши большей опасностью, чем большевизм. При хорошем правлении и создании равных возможностей для всех граждан с большевизмом можно справиться, а военную чуму, если она проникла в государство, выкорчевать значительно труднее. Существует опасность, что с прибытием (из Франции. – Авт.) армии Галлера будут предприняты агрессивные военные действия на русском, литовском и украинском фронтах. . .”. В этом же донесении сообщается, что “Польша стремится создать армию численностью до 600000 человек”.

Последующие события показали, что американский генерал не ошибся. Вскоре польская армия развернула наступление на три столицы – Вильнюс, Киев, Минск – и все три оккупировала. На белорусской территории были заняты Борисов, Молодечно, Бобруйск, Калинковичи, Мозырь и другие города, расположенные значительно восточнее Минска. На 1 июня 1920 года польские части стояли у Речицы, что на Днепре, а в районе Дрисы – теперь Верхнедвинск – они вышли на Западную Двину, всего ничего оставалось до Полоцка. Под оккупацией оказались почти все земли современной Белоруссии.

Видный немецкий дипломат Герберт фон Дирксен, как раз в те годы возглавлявший германскую миссию в Польше, в своих мемуарах впоследствии написал, что нападение на восточных соседей было абсолютно немотивированным, а захват Киева – это “старая мечта польского империализма”. В весьма резких выражениях отзывался о “польском империализме” и британский премьер Ллойд Джордж, причисляя его к самым воинственным, а его министр иностранных дел лорд Керзон прямо советовал Польше “удерживать свои притязания в разумных пределах, не стремясь поглотить народности, не имеющие с Польшей племенного родства и могущие быть лишь источником её слабости и распада”.

Однако в самой Польше к этому времени уже активно формулировались концепции, обосновывавшие претензии Варшавы на все земли первой Речи Посполитой, границы которой до первого её раздела в 1772 году проходили около Смоленска и Киева. Для понимания этих претензий и концепций лучше всего обратиться к трудам идеолога польского национализма начала прошлого века Романа Дмовского, который сыграл значительную роль в возрождении Польши и даже побыл некоторое время её министром иностранных дел. Важнейшим тезисом, которым Дмовский руководствовался, является следующий его постулат: “Между сильной немецкой нацией и русской нацией нет места небольшой нации, мы должны стремиться к тому, чтобы стать нацией большей, чем мы являемся”. Дмовский был уверен сам и убеждал европейских политиков в том, что возрождённая Польша по территории должна быть больше Германии и Франции вместе взятых и играть ведущую роль на континенте. Квинтэссенцией его подхода являлось убеждение в цивилизационном превосходстве поляков над всеми, кто живёт к востоку от Буга. В том, что он исповедовал именно такое кредо, легко убедиться, ознакомившись с содержанием двухтомника “Польская политика и восстановление государства”, изданного в Варшаве в 1989 году. Автором всех материалов в нём является сам Роман Дмовский. Кое-что из них стоит процитировать.

В “Памятной записке о территории польского государства, переданной министру иностранных дел Бальфуру в Лондоне в конце марта 1917 года” один из разделов озаглавлен словом “Россия”. В нём утверждается, что русские, к которым, по Дмовскому, относятся и предки нынешних белорусов, – это недотёпы, которые даже государства сами создать не смогли. Он убеждает Бальфура, что “восточные славяне, которые позже получили имя русинов и россиян, изначально (киевский период) политическую организацию получи-

ли от скандинавов”. Дмовскому в данном случае “не до головы”, что у самих скандинавов во второй половине девятого века, когда на Русь был призван Рюрик, государственности ещё не было, что шведское, норвежское и датское королевства появились лишь на исходе десятого и в начале одиннадцатого веков, о чём свидетельствует любая энциклопедия. А далее пан Дмовский попросту оставляет за пределами своего внимания то, что Русь-Россия уже в XI–XII веках была высококультурным государством, и входившие в её состав земли теперешней Беларуси не являлись исключением. Авторитет Полоцкого и Туровского княжеств был весьма высок, о чём говорит хотя бы то, что победитель тевтонов на Чудском озере Александр Невский в “жены себе поял”, как тогда говорили, дочь полоцкого князя Брючислава Васильковича. Василий – первенец Александра Невского – до пяти лет рос в Витебске, а княжеских детей в захолустье на воспитание, можно не сомневаться, не отдавали.

С великими и просто князьями Руси желали породниться все европейские династии, включая польские. Туровский князь Святополк был женат на дочери польского короля Болеслава. Бывало, что туровские владетели женились и на греческих царевнах. Дочери Ярослава Мудрого выходили замуж исключительно за европейских монархов. Анна Ярославна – жена французского короля Генриха I – до сих пор почитаема французами как просветительница, высокообразованная правительница, много сделавшая для новой родины, – она даже правила Францией в малолетство своего сына Филиппа I.

Касаясь того времени, академик Б. Д. Греков подчёркивал, что в XI веке Русь не была культурно отсталой страной. Наоборот, она шла впереди многих европейских государств, превзошедших её позднее, когда Русь “оказалась в особо тяжёлых условиях, приняв на себя удар монгольских полчищ и загорюродив собою Западную Европу”. Европа до эпохи Ренессанса значительно отставала в своём культурном развитии не только от Византии, с которой тесно сотрудничало русское государство, но и от Арабского халифата. По поводу замужества Анны Ярославны американский историк Роберт Месси пишет, что “от киевской княжны требовалась определённая жертва, чтобы покинуть родной город, находившийся тогда в расцвете своей цивилизации, и выйти замуж за представителя более грубой и примитивной французской культуры. Разница в культурном уровне обоих супругов видна из того факта, что Анна умела читать и писать и подписала своё имя под брачным документом, в то время как ее жених мог только нацарапать крестик”. С малых лет “прилежаниям”, Анна знала латынь и греческий язык, быстро усвоила французский и принимала деятельное участие в управлении государством. Вскоре сам Папа Римский Николай II прислал ей письмо, в котором писал о том, что “...с великой радостью слышим мы, что вы выполняете свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом”. Все последующие французские короли были её потомками. Между тем отцу Анна писала, что Париж – город хмурый, некрасивый, сетовала, что попала в деревню, где нет дворцов и соборов, которыми был богат Киев.

Серьёзная наука, основываясь на археологических находках, в частности, берестяных грамотах, которых только в Великом Новгороде обнаружено около тысячи, давно уже доказала, что на Руси письменностью владели не только члены княжеских семейств. Если вести речь о её городском населении, то оно обладало грамотой во всей своей массе. В городах же проживала примерно четверть русичей. Не зря в других краях, например, в Скандинавии, Русь называли Гардарикой – страной городов. На найденных берестяных грамотах содержатся не только государственные тексты, но и бытовая переписка, даже любовные послания. В каждой их строке – не “высокий штиль” профессиональных писцов, а обычная жизнь. Так, в конце XIII века витебский житель Степан писал своему знакомцу Нежилу: “Если ты продал одежду, купи мне ячменя на 6 гривен. Если же чего-нибудь ещё не продал, то пошли мне сами эти вещи. Если продал, сделай милость, купи мне ячменя”. Также абсолютно конкретен документ о “взаимозачёте” обид и компенсаций Якова с Гюргием и Харитоном в Новгороде за ущерб, нанесённый посевам: “Вот расчёлся Яков с Гюргием и с Харитоном по бессудной грамоте, которую Гюргий взял по поводу вытопанной при езде пшеницы, а Харитон – по поводу своих убытков. Взял Гюргий за всё то рубль и три гривны и коробью пшеницы, Харитон взял десять локтей сукна и гривну. А больше нет дела Гюргию и Харитону до Якова, ни Якову до Гюргия и Харитона. А на то свидетели Давыд, Лукин сын,

и Степан Тайшин”. Приведённая запись говорит и о высокой правовой культуре населения. А сколько боли сердечной в любовном письме девушки начала XII века: “Я послала тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что ты в эту неделю ко мне не приходил? Я к тебе относилась, как к брату. Неужели я задела тебя тем, что послала? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под глаз и примчался...”. Получи нынешний молодой человек такие слова на свой мобильник, точно помчался бы...

В то далёкое время прихожане писали священникам, дети – родителям и наоборот, заказчики – своим мастерам, крестьяне – владельцам сёл, ростовщики – должникам. Среди древних берестяных посланий много писанных женщинами, что тем более свидетельствует о распространённой среди населения грамотности. А граница между бесписьменностью и письменностью и теперь считается границей цивилизованности.

Что касается земель нынешней Беларуси, то некоторые авторы утверждают, что они входили в круг наиболее культурных и экономически развитых в древнерусском государстве. В книге историка Г. М. Филиста “Введение христианства на Руси”, изданной в Минске в 1988 году, говорится, что “в X <еке>, благодаря многочисленным судоходным рекам, развитому земледелию и ремеслу, край являлся своеобразным центром торговли всей Киевской Руси. Здесь проходили основные торговые пути из Новгорода в Киев и с Запада на Восток. Об этом свидетельствуют многочисленные находки римских, германских, восточных кладов. С развитой торговлей были непосредственно связаны успехи материальной и духовной культуры”. Не грех об этом помнить ещё и потому, что та цивилизованность, та культура, та грамотность потом стали “цементом”, который надёжно скрепил фундамент и стены Великого Княжества Литовского, Русского и Жмудского.

Само за себя говорит и то, что преобладающее большинство белорусских городов имеет многовековую историю. Бресту, Пинску, Новогрудку, Лиде, Минску, Орше, Борисову, Гродно, Гомелю и другим скоро “стукнет” по тысяче лет. А Полоцк, Витебск, Туров давно переступили этот рубеж. Наберётся ли такой список в Польше, Швеции, Норвегии? А ведь к некоторым белорусским городам судьба не была благосклонна. Деревней стало Крево, в котором обсуждалась уния между ВКЛ и Польшей в 1385 году, а ведь оно в то время являлось центром удельного Нальшанского княжества. Символом власти в том княжестве был огромный Кревский замок. Это в нём по приказу Ягайло был задушен его дядька Кейстут – претендент на великокняжеский трон. Туров – теперь посёлок в Житковичском, Друцк – деревня в Толочинском районе, а они тоже были центрами княжеств. Здитову, который Ипатьевской летописью упоминается под 1252 годом, повезло ещё меньше. Теперь никто точно не знает даже о том, где именно город находился. Возможно, там, где нынче лежит деревня Здитово Берёзовского района. Раскопки, проведённые здесь сорок лет назад, показали, что материальная культура этого поселения близка к культуре Турова и городов Понемонья.

Один из белорусских историков, имя которого называть не буду, потому что речь идёт о давно состоявшейся частной беседе, говорил, что Русь, в состав которой входили и нынешние белорусские земли, демонстрировала высокие стандарты уже в то время, когда западноевропейские короли позволяли себе в одном углу комнаты есть, в другом – справлять естественную нужду: отхожими местами служили балконы, беседки, укромные комнаты.

Исследователь Э. Фукс пишет, что в Лувре в XVI веке можно было увидеть кучи экскрементов. В Лувре не было ванн. О французских королях тогда говорили, что их моют два раза в жизни: после рождения и после смерти. В книжках о “куртуазном обхождении” в кругу французских дворян писали, что если во время беседы с дамой на её лицо выползет вошь, не стоит обращать внимания, а если клоп – надо помочь ей сняться и раздавить насекомое. Главным изобретением против дурных запахов стал одеколон... “Куртуазные” шевалье не читали Геродота, потому не знали, что ещё в V веке до новой эры он писал о наших предках: “льют воду на камни и моются в хижинах”. Легенды утверждают, что даже Апостол Андрей Первозванный, в I веке ходивший далеко вверх по Днепру и далее до самого Новгорода, был встречен баней. И потом в Риме рассказывал об увиденном, а его слушатели “дивяхуся”. Баня считалась настолько важным элементом культуры наших предков, что было даже особое языческое божество – Банник, который терпеть не мог лоды-

рей и тех, кто редко его проводит, то есть не моется. Насельники, жившие по берегам Припяти, Днепра, Сожа, Двины, пишет белорусский историк “банного дела” А. Бирюков, приносили ему хлеб и соль и в обязательном порядке после мытья оставляли воду и веник. Одеколону они не знали, так как он при наличии бани не был нужен: чистое тело и так пахнет приятно. Историк Георгий Вернадский отмечал, что в шестнадцатом веке в наших краях общественные бани были ещё серьёзным источником дохода для бюджетов городов и местечек. Любили попариться наши предки и на жалели денег на гигиену...

Но пану Дмовскому надо было доказать, что до поляков и в отрыве от поляков говорить о какой-либо культуре и цивилизованности на наших землях просто невозможно, потому он рисовал собственные картины, которые с каждой страницей становились всё ужаснее. Если ему верить, то с восточными славянами, особенно с теми, которые после монголо-татарского нашествия ушли на территории между Окой и Волгой, вообще произошла настоящая этническая катастрофа. Там они смешались с “местными туранскими и финскими” племенами, и это слияние привело к появлению новой расы – так называемой великорусской, которая была лишена европейского влияния и стала развиваться как государство восточное. А вот западная часть Руси, “захваченная литовскими князьями, после унии Литвы с Польшей была постепенно включена в польское государство и, таким образом, попала под сильное западное влияние. Значительная часть её населения, в том числе вся шляхта, приняла от Польши её религию (римско-католическую), её язык, её обычаи и понятия и, усиленная польской колонизацией, стала частью польского народа”. Этим, по его мнению, повезло.

В разделе “Польская проблема” Роман Дмовский приводит дополнительные доводы: “...На всей той территории польская цивилизация до сих пор имеет преимущество, а польское меньшинство, многочисленное или нет, представляет там богатство, культуру и прогресс”. На этом основании Дмовский убеждает Бальфура, что этнографический принцип при возрождении польского государства не может быть применим. Взять тех же литовцев, развивает он свою мысль. Их слишком мало, чтобы они могли создать своё государство, потому будущее литовского народа может быть обеспечено только включением в состав польского. При этом, правда, Дмовский не смог умолчать о том, что сами литовцы не горят желанием стать подданными Речи Посполитой и что существует серьёзный антагонизм между литовцами и поляками, поскольку главными земельными собственниками в Литве являются поляки, а литовцам, значит, оставалось быть батраками.

Ещё в середине девятнадцатого века поляки резко противились всяким попыткам литовского национального возрождения, особенно использования в общественной жизни литовского языка. Поляков это явление во многом застало врасплох, тогда в полный голос стали говорить даже о “разводе Ягайло с Ядвига”. Что касается белорусов, то Дмовский утверждал, что этот деревенский народ вообще “находится на очень низком уровне просвещения и не высказывает сформулированных национальных устремлений”.

Спустя полгода – 8 октября 1918 года – многостраничный специальный “Мемориал о территории польского государства” Роман Дмовский представил и президенту США Вудро Вильсону. В нём Виленщина, Ковенщина, Гродненщина, Минщина, Витебщина, Могилёвщина вновь названы “давними территориями польского государства”. И вновь утверждалось, что единственной интеллектуальной и экономической силой на тех землях являются поляки, “русское (украинское), белорусское, литовское большинство”, по словам Дмовского, состоит “почти исключительно из мелких крестьян и духовенства”, а “белорусы представляют элемент расово абсолютно инертный. Нет среди них никакого национального движения, а также даже начал белорусской литературы”. Между тем, к этому времени уже в полный голос заявили о себе Янка Купала и Якуб Колас, Франтишек Богушевич, Дунин-Марцинкевич, Максим Богданович, Алоиза Пашкевич, Аlesь Гарун – классики белорусской литературы. Поляки, настаивал Дмовский, представляют единственный культурный элемент и главную экономическую силу всего восточного края. Правда, на этих землях есть евреи, которые “добились значительного прогресса в экономической и умственной жизни края и как сила стоят на втором месте после поляков”. Но они “частично приняли русский язык и культуру” и настроены “скорее враждебно по отношению к полякам”.

Дмовский “пояснил”, какие земли следовало бы включить в состав Польши. Это Виленщина вместе с Вильно, Гродненская губерния, в которую в то время входила нынешняя Брестчина и часть украинской Волыни, например, нынешний Ковель, а также Минская губерния вместе с Минском, Слуцком, Пинском и другими городами. А ещё он высказал сожаление, что на Киевщине “элемент польский является довольно значительным, но не настолько сильным, чтобы эффективно руководить тем краем”, потому придётся от него отказаться. Правда, добавил при этом, как бы с опаской, что включение в состав Польши всех территорий, которые она может пожелать, поставило бы польское государство перед непосильной задачей, лишило бы его внутренней спаянности и устойчивости, что для Польши очень важно, поскольку она является соседкой Германии. Но создание отдельного литовского, белорусского и украинского государств “означало бы либо анархию, либо чужеземные правительства немцев”.

Надо сказать, что Роман Дмовский не был одиночкой. Любопытна в этом смысле и секретная “Записка начальника политического отдела департамента восточных земель М. Свеховского об основах польской политики на литовско-белорусских землях”, датированная 31 июля 1919 года. Она содержится во втором томе “Документов и материалов по истории советско-польских отношений”, изданном в 1964 году в московском издательстве “Наука”. Оставив за рамками своих размышлений интересы населения, принадлежащего к другим нациям, пан Свеховский проявил полную солидарность с паном Дмовским и к основным принципам польской политики на востоке отнёс следующие:

“1. Защита, и притом самая надёжная, от России, а следовательно, перенос границ с ней как можно дальше от центра Польши.

2. Создание условий для свободного и гарантированного самостоятельного национального развития польского населения на восточных землях, там, где это население выделилось компактными массами на небольших пространствах.

3. Сохранение вообще в сфере польского влияния всех тех земель, которые ощущали это влияние в период своего исторического развития”.

В том, что касалось бывшего ВКЛ, “мы должны будем констатировать... необходимость отрыва всех земель б. Великого Княжества Литовского от России...”. О белорусах же вновь говорится совершенно пренебрежительно: “Белорусы представляют собой наиболее неопределённый элемент...”. Требования независимости и неделимости белорусских территорий, которые были сформулированы белорусскими политическими деятелями, оказавшимися на территории, занятой польскими войсками, названы “скорее теоретическими”. И вообще, мол, “белорусский вопрос тесно связан с развитием наших военных действий на востоке и зависит от того, как далеко могут продвинуться наши войска”. Автор записки тоже убежден, что “Виленская и Гродненская губернии должны быть оставлены исключительны в сфере польского влияния, и белорусское движение на этих территориях... поддерживать не следует”.

Не дремали и поляки, проживавшие в то время непосредственно на белорусских землях. Они создавали национальные советы, ставившие перед собой задачу подчинить эти земли Польше. Их делегаты были даже посланы на Версальскую мирную конференцию. В упомянутом уже втором томе “Документов и материалов по истории советско-польских отношений” содержится протокол заседания Польского национального комитета в Париже от 2 марта 1919 года. Председательствовал на нём все тот же Роман Дмовский. Вот что тогда говорил граф А. Лубеньский – крупный представитель польских помещиков в Беларуси: “Мысль о присоединении к Польше и полном отрыве от России является общераспространённым стремлением и одной из кардинальных задач местного населения (польского. – Авт.). Поэтому следовало бы восстанавить здесь историческую границу как можно скорее, и не только потому, что это наше желание и исконное право, но и по другим причинам... Наша... линия идёт вдоль реки Двины, на определённом расстоянии от неё, сворачивает за Витебском к югу, направляется к реке Сож и соединяется с Припятью. Пространство между этими двумя реками представляет собой открытые ворота в Польшу, оно всегда было местом борьбы между Россией и Польшей... За ней расположены самые значительные железнодорожные узлы, а именно Витебск, Орша, Жлобин, Гомель, то есть вся коммуникационная железнодорожная сеть, которая представляет собой основу безопасности Польши.

Кроме того, за этой сетью железных дорог располагаются все водные пути; здесь находится канал между Березиной и Двиной, .. здесь протекает Припять с протоками... Кроме того, эта часть страны (Бобруйск, Пинск и т. д.) в целом слабо заселена белорусами. Она представляет собой ценный лесной массив. Мы не располагаем точными цифрами, определяющими его ценность, но приблизительно, по довоенным ценам и в довоенной валюте, она составляет около 2,5 миллиарда рублей. О современной стоимости судить гораздо труднее. Таким образом, для нашей казны этот лесной массив представляет особый интерес. Если мы не получим его, — я подчеркиваю это, — то лишимся возможности получать лесоматериалы для шахт, в которых они нуждаются... Вся эта территория, несмотря на её слабую эксплуатацию в настоящее время, может служить колонией, дающей важное сырьё”.

Насчёт малой заселенности граф врал. Фактически дело обстоит как раз наоборот. Именно Брестчина, Пинщина всегда отличались большими деревнями, в которых средним, нормальным количеством домов считалась цифра 500, а некоторые села насчитывали более тысячи дворов, например, Мотоль в нынешнем Ивановском районе, Белоуша, Рубель — в Столинском. Деревня же в семьдесят домов, как моя родная Переспа, называлась маленькой. Кстати, тогда же А. Лубеньского, надо полагать, не умышленно, опроверг сам председательствующий Роман Дмовский, сказав, что территория к востоку от Бреста заселена как раз густо, но не польским населением.

Другой участник этого заседания, близкий к Пилсудскому географ Суйковский, тоже признавал, что “польское влияние в этих землях в определённой степени является скрытым”, что “большая часть населения имеет явно выраженные белорусские черты даже тогда, когда оно католическое”, поэтому “мы понимаем, что на конгрессе нельзя приводить тех доводов, которыми мы оперируем здесь. Эти земли необходимы нам для расширения наших владений, но об этом мы не можем заявить на конгрессе”. Он сформулировал два вопроса: первый — что можно выторговать на конгрессе; второй — что можно защитить в случае войны. И добавил: “Надо стремиться к тому, чтобы и тот, и другой вопросы были решены в нашу пользу”. Пан Суйковский предостерег единомышленников, что “требование поляков присоединить белорусов к Польше может повлечь за собой, если учесть нескрываемое желание Англии ограничить аппетиты Польши, обвинение нас в империализме, так как в данном случае мы требуем присоединения непольских земель”. Это “особенно угрожает нам со стороны американцев, которые считают этнографические условия решающим доводом”. А американские представители, оказываясь, знали значительно больше, чем “это для нас было бы желательным”.

Суйковский предложил обсудить принцип федеративного устройства польского государства, однако не скрывал, что федеративность должна быть только видимой. Главное для него состояло в том, что “провозглашение самостоятельности Литвы (речь идёт о бывшем ВКЛ. — Авт.), пусть даже самостоятельной лишь по видимости, сняло бы с Польши обвинение в империализме, — только такая постановка вопроса позволит нам проникнуть за Днепр, за Двину с целью создания огромной стратегической Польши...”. Этот политик тоже осознавал зыбкость своих суждений, потому открыто заявлял: “...Осуществление программы присоединения Литвы к Польше, — путём ли инкорпорации или образования федерации, — мы будем вынуждены провести при помощи польских штыков”. Касаясь волеизъявления литовского и белорусского народов, он говорил вполне недвусмысленно: “Надо быть чрезвычайно осторожным при организации выборов, так как выборы... могут дать просто смехотворные результаты, .. если их внезапно попытаются провести там на демократической основе...”.

Но идею федерации не принимал Дмовский, поскольку был обуян желанием создать Польшу, на которую европейцы будут смотреть “как на самый сильный элемент в Восточной Европе”. Он считал, что “на нас падает небывалая ответственность за будущность всей Европы”, потому полагал, что федерация — это “слабость, а не сила”.

Федерация, по мнению Дмовского, невозможна ещё и потому, что для неё необходима способность к компромиссу, а в Европе нет населения, “менее способного к этому, чем... народы на востоке”. Не очень-то доверяет он и полякам, ибо если в сейме окажется 25 процентов депутатов-неполяков, “то всегда смогут найтись 25 процентов поляков, которые, преследуя собствен-

ные цели, объединятся с ними”. Потому необходимо государство “с максимально сильной центральной политической властью”. Иностранцам верить нельзя. Пан Дмовский предпочёл бы, чтобы “украинцы, населяющие Волынь, жили где-либо в других местах, а здесь я хотел бы видеть жителей Поморья”. Что касается белорусских земель, в частности, Гомельщины, то эти “земли можно было бы присоединить к Польше, а потом провести колонизацию”.

Польский помещик на белорусских землях М. Довнарвич, похоже, был лучше осведомлён о настроениях местного населения, потому предостерег от чрезмерного увлечения: “Мне кажется, что если речь идёт о продвижении границы на восток, то это весьма небезопасно, так как национальное самосознание там достаточно сильно развито”. Но о белорусах он тоже отзывался пренебрежительно, называя их не вполне сложившейся нацией. Через несколько лет история сыграла с паном Довнарвичем довольно злую шутку. Именно на территории Беларуси, где он некоторое время пробыв Полесским воеводой, в 1924 году белорусские партизаны во главе с Кириллом Орловским остановили поезд воеводы около Лунинца, обезоружили его охрану, а самого воеводу заставили по телеграфу оповестить Варшаву о том, что он покидает свой пост. В самом деле, трудно было превращать белорусские земли в польские, а белорусов в поляков...

Итог дискуссии подвёл Р. Дмовский: “... Не будем скрывать от самих себя, что население, проживающее к востоку от Польши, .. обладает чрезвычайно низкой моральной культурой, и поэтому там легче всего всплывают на поверхность отбросы общества, люди, с которыми невозможно договориться, которых невозможно склонить к тому, чтобы они нам верили и поддерживали с нами какие-либо отношения”. Принцип федеративного устройства государства он предложил “решительно отбросить”, и предложение было поддержано одиннадцатью голосами против трёх с одним воздержавшимся.

Не больше, чем Советам, повезло в контактах с руководством возобновлённой Польши и представителям Белорусской Народной Республики, провозглашенной в марте 1918 года антибольшевистскими силами. В протоколе съезда инструкторов польской “Стражи кресовой”, который состоялся 16 и 17 сентября в Варшаве, говорилось следующим образом: “Белорусский козырь нам может пригодиться лишь для того, чтобы отодвинуть сферу русского влияния дальше на восток. Прибывший недавно в Варшаву председатель Белорусского совета г. Луцкевич хочет спасти фикцию (белорусского) государства и ведёт переговоры с польским правительством. Правительство, учитывая отсутствие реальной основы у этой программы, без особой охоты ведёт переговоры”. Эти слова принадлежат депутату сейма З. Лехницкому. Ему чуть ли не слово в слово вторил один из основателей “Стражи кресовой” Б. Строчки: “Суть нашей программы по восточному вопросу состоит в том, чтобы как можно больше отобрать у России и как можно дальше отодвинуть её границы”.

В Раде (Совете) БНР, которую поляки называли Белорусским советом, развернулась ожесточённая борьба. Меньшая её часть – во главе с И. Луцкевичем – выступила за федерацию с Польшей, а большая – во главе с И. Ластовским – продолжала протестовать против польской оккупации. О том, как Польша на практике вела переговоры с белорусской стороной, свидетельствуют материалы совместной конференции представителей БНР и польского правительства, состоявшейся в Минске 20–24 марта 1920 года (“Документы и материалы по истории советско-польских отношений”). Вот как, судя по отчёту уполномоченного по северо-восточным делам Л. Василевского, на предложение представителя Рады реагировала польская сторона по конкретным пунктам: “Декларация о защите целостности Белоруссии и обязательство решить судьбу белорусских земель согласно воле народа. ОТКЛОНЕНО.

Посылка делегации Белоруссии на мирную конференцию (в Париж. – Авт.). ОТКЛОНЕНО.

Декларация о равноправии белорусского языка с польским. ОТКЛОНЕНО.

Декларация об автономии белорусской школы. ОТКЛОНЕНО.

Декларация о создании польско-белорусской следственной комиссии, связанной с так называемой ликвидацией большевизма. ОТКЛОНЕНО.

Декларация о создании генерального комиссариата по белорусским делам. ОТКЛОНЕНО.

Создание в Вильно литовско-белорусского правительства. ОТКЛОНЕНО.

Объявление государственным Белорусского педагогического института в Минске с ежегодным ассигнованием ему 900000 марок (в то время польские деньги ещё назывались марками, а не злотыми. — **Авт.**). ОТКЛОНЕНО.

Объявление государственным тремя учительскими семинариями с ежегодной субсидией 1500000 марок. ОТКЛОНЕНО.

То же в отношении четырёх гимназий. ОТКЛОНЕНО.

Созыв Всебелорусского съезда. ОТКЛОНЕНО”.

Все другие пожелания, а они были связаны с ассигнованием средств для правительства БНР, резко уменьшены. Как написал в своем отчёте Л. Василевский, минимальная сумма требуемых белорусами субсидий сокращена с 29255000 до 10717000 марок, причём из этой суммы срочными были признаны только 3609000 марок. Весь смысл переговоров польская сторона сводила к тому, “чтобы заручиться поддержкой со стороны белорусов нашей позиции в отношении Советской России ценой принятия сокращённых до минимума настоящих требований” БНР, исключив все декларации политического характера. Польша старалась избегать любого упоминания о возможной независимости белорусских земель.

А на международной арене делались заявления о том, что вообще никакого белорусского правительства нет. Рада БНР, особенно та её часть, которая приняла сторону Ластовского, всячески протестовала против такой трактовки. Весьма активной в этом смысле была военно-дипломатическая миссия БНР в Латвии, которую возглавлял Константин Езовитов. В Национальном архиве Республики Беларусь содержится немало документов на сей счёт. В январе 1920 года К. Езовитов направил для рижских газет специальное разъяснение, касающееся белорусско-польских отношений: “В латышских газетах за 4 января от имени польской миссии в Латвии сообщается, что Белорусской Народной Республики как государства не существует. Представительство Белорусской Народной Республики в лице Чрезвычайного представителя БНР в Балтике инженера Душевского и шефа Военно-Дипломатической миссии БНР полковника Езовитова объявляет, что означенное сообщение не соответствует действительности и вызвано либо полной неосведомлённостью польской миссии в делах БНР, либо явно враждебным отношением к белорусской государственности и белорусскому народу. Польские войска действительно всё ещё продолжают находиться на белорусской территории, но только на правах оккупационных войск...”.

Обращаясь к министерству иностранных дел Франции в январе того же года, К. Езовитов писал: “С первых же шагов заверения польского правительства о полной лояльности к местному населению и сохранении всех национальных и территориальных его прав были Польской Армией грубо нарушены. Тюрьмы Волковыска, Белостока, Варшавы, Кракова были переполнены белорусскими общественными и политическими работниками. Повсюду на Белоруссии вводилась польская администрация, школа, суд, язык. Все, не желавшие с этим примириться, арестовывались, объявлялись большевиками. Акты насилия настолько многочисленны, что потребовалась целая книга для их освещения. Книга эта, изданная пока только на белорусском языке под названием “Белорусы и поляки”, к сему прилагается... Для правительства Белорусской Народной Республики совершенно ясно, что правительство Польши имеет в виду изъять все руководящие белорусские национальные силы, уничтожить белорусскую культуру и затем насильственным путём присоединить... Белоруссию к Польше... Перед лицом смертельной опасности для белорусской культуры правительство Белорусской Народной Республики обращается к правительству Франции с горячим протестом против польского насилия...”. Такое же послание было направлено правительствам Великобритании и Соединённых Штатов. К. Езовитов убеждал своих контрагентов в том, что связь с Польшей — “искусственная, нелепая и нежизненная мера, противная белорусскому народу и не дающая Белоруссии необходимых элементов для экономического благополучия”.

Столь же активно протестовал и сам В. Ластовский. Обращаясь к правительству Польши, он писал: “Пилсудский заявлял, что польский меч несёт свободу и независимость. Так признайте же Белорусскую Народную Республику”. Действительно, в своём интервью французской газете “Эко де Пари” Комендант высокопарно утверждал, что “свобода земель, нами оккупированных, является для меня единственным решающим фактором... Мы на штыках

несём этим несчастным землям свободу без всяких оговорок”. Как оказалось, эти слова были предназначены для французского уха и глаза, но не для тех “несчастных”, которые жили на оккупированных землях. Призыв Ластовского остался без ответа. Как следует из составленной в Париже Записки Польского национального комитета о политике в отношении восточных границ Польши, “для интересов Польши было бы вредным существование самостоятельных, не связанных с ней малых государств, таких как Белоруссия или Украина, если это вообще возможно”. В этой же Записке приводится ещё один любопытный “аргумент в свою пользу”: если Польша “думает удержаться на землях бывшего Великого Княжества Литовского” и доказать, что они имеют “польский характер”, “прежде всего, сама Польша должна рассматривать эти территории как польские, как свои собственные”.

Во втором томе “Документов и материалов по истории советско-польских отношений” содержится немало свидетельств, напоминающих о том, как польские оккупационные власти и их войска вели себя на белорусской земле. Вот радиограмма председателя Совета Народных Комиссаров Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики В. Мицкевича-Капсукаса правительствам стран Антанты и Германии: “Повсюду... – расстрелы, повешения, запарывания до смерти, варварские истязания и пытки... Еврейское население почти повсеместно истребляется; заподозренные в близости к Советской власти расстреливаются или вешаются на месте. Тюрмы переполнены, заключенные содержатся в таких условиях, что медленно умирают”. В этой радиограмме, датированной 28 марта 1919 года, В. Мицкевич-Капсукас предупредил адресатов, что, дабы пресечь такие действия, советское правительство вынуждено будет брать заложников из “зажиточной польской буржуазии и помещиков, имеющих отношение к польским контрреволюционерам”. Менее чем через месяц – 20 апреля – нарком иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин писал чрезвычайному уполномоченному министерства иностранных дел Польши А. Венцковскому о “неслыханных зверствах, чинимых польскими легионерами”. При этом подчёркивалось, что репрессии распространялись даже “на Красный крест и на санитарный персонал”: 6 марта “после вступления польских легионеров в Пинск было расстреляно несколько санитаров в госпитале № 1”.

Особенно доставалось евреям, о недоверии к которым говорил ещё Роман Дмовский, обвиняя их в том, что они частично уже восприняли русскую культуру. В. Мицкевич-Капсукас 25 мая 1919 года сделал новое заявление: “После погромов в местечках Гродненской области... пошли погромы в Пинске (расстреляны несколько десятков ни в чём не повинных людей), потом погромы в Лиде, унесшие сотни жертв, погромы в Вильно, унесшие около двух тысяч жертв. Еврейская община города Вильно опубликовала в виленских газетах заявление: много невинных евреев из мирного населения, не имеющих абсолютно ничего общего с борьбой польских войск с большевиками, перебиты без всякого следствия и суда, сотни невинных евреев без различия пола и возраста зверски избиты у себя дома или на улице, тысячи еврейских квартир разграблены, и большая часть еврейского населения совершенно разорена, тысячи невинных евреев, среди которых немало выдающихся личностей и известных общественных деятелей, без всякого основания арестованы, избиты и посажены в разные тюрьмы, где их держали без воды и питья и где им пришлось подвергнуться самым большим оскорблениям. Эти явления не прекратились даже после того, как еврейские представители довели до сведения властей о том, что происходит в городе. То же самое делалось и в Лиде”.

Во второй день июня в советской ноте правительствам стран Антанты сообщалось, что польские войска, оставив белорусский город Борисов под натиском красного Западного фронта, уже с другого берега Березины подвергли его такому уничтожающему артиллерийскому обстрелу, что превратили город в груды дымящихся развалин. В огне погибли сотни людей, а десять тысяч населения оказались под открытым небом. На следующий день – 3 июня – Г. В. Чичерин направил ноту правительству Польши: “Неслыханные жестокости, погромы и расправы, которые стали повседневным явлением в практике польских войск и которые обгарили кровью улицы Вильно, Лиды, Пинска и бесчисленного количества других городов и сёл...”. Говоря об убийствах красноармейцев и советских служащих после захвата Вильно, Чичерин добавляет: “Но обычный репертуар репрессий всё же остался бы неисчерпанным,

если бы не был завершён форменным и грандиозным по размерам еврейским погромом. Город был буквально отдан солдатам на поток и разграбление. Приказ о прекращении грабежей был опубликован только 24 апреля, тогда как войска вступили в город 19 апреля; фактически же грабёж продолжался до 9 мая...". Г. В. Чичерин в своей ноте приводит даже выдержку из "виленского органа белорусских националистов, непримиримых противников большевиков" — "Белорусской думки", которая на восемнадцатый день после вступления польских войск в город написала: "Уже далеки от нас пушечные выстрелы, уже не слышно пулемётной перестрелки, пора уже немного успокоиться нервам, немного улечься злобе, ненависти и жажде мести. Прямо скажем: пора уже, чтобы еврей мог выйти на улицу, не боясь, что из-за его носа выпотрошат ему кишки, снимут с пальцев кольца, отнимут деньги..."

То, что советский нарком приводил правдивые данные, потом подтвердил польский министр иностранных дел Ю. Бек. Документы сохранили его рассказ о том, как он с сослуживцами пробирался через "большевизированную Украину". В ходе того похода "в деревнях мы убивали всех поголовно и всё сжигали при малейшем подозрении в неискренности. Я собственноручно работал прикладом". Вот так-то. Не требовалось даже каких-то враждебных действий со стороны населения, достаточно было усмотреть неискренность. А вот несколько примеров из книги И. В. Михутиной "Польско-советская война в 1919–1920 годах": в присутствии генерала Листовского, командовавшего оперативной армейской группой на Полесье, застрелили мальчика за то, что то "якобы недобро улыбался". На глазах у представителя Главного управления восточных земель М. Коссаковского "кому-то в распоротый живот зашили живого kota и побились об заклад, кто первый подохнет: человек или кот". Один офицер "десятками стрелял людей за то, что были бедно одеты и выглядели, как большевики", а убить или замучить большевика "не считалось грехом", свидетельствовал тот же М. Коссаковский.

Финал той войны, которую теперь принято называть польско-советской, для белорусов мог бы быть куда более печальным, чем тот, который получился по Рижскому договору. В советское время об этом избегали говорить, но известно, что в январе 1920 года Совнарком заявлял правительству Польши о готовности уступить белорусские земли западнее городов Дисна, Полоцк, Борисов, Паричи — почти всю территорию нынешней Республики Беларусь. Короче говоря, предлагалось провести границу по той линии, до которой дошли стремящиеся на восток польские войска. Прими Пилсудский это предложение, могло бы не стать земли, необходимой для восстановления БССР по завершении войны. Но Пилсудский не согласился — он хотел большего, а Красная Армия, разбив Врангеля, сконцентрировала свои силы против Польши. Полякам пришлось уходить, и оказалось, что "отступающие из Беларуси под напором войск Тухачевского польские части никто не провожал с сожалением", констатировал через семьдесят лет ещё один польский учёный Богдан Скарадзинский в своей книге "Белорусы, литовцы, украинцы", изданной в Белостоке в 1990 году. Более того, удручался он, нередко вслед легионерам, как повсеместно на наших землях называли польских солдат, звучали не только проклятия, но и выстрелы.

По Рижскому договору, завершившему ту войну, Польша брала на себя обязательство строго блюсти интересы национальных меньшинств. Согласно его седьмой статье за белорусами признавалось право на самостоятельное политическое, культурное, экономическое развитие. Однако к марту 1923 года из 400 существовавших белорусских школ было закрыто 363. В 1938/1939 учебном году в Западной Белоруссии оставалось всего пять польско-белорусских школ и одна гимназия. То же произошло с белорусскими учреждениями культуры и общественными организациями. Неприкосновенность частной собственности, закреплённая в Польше в 1921 году, не распространялась на восточные окраины. О национальной "терпимости" в предвоенной Польше красноречиво говорят слова одного из польских идеологов того времени, который утверждал, что с белорусами надо разговаривать на языке "виселиц и только виселиц... Это будет самое правильное разрешение национального вопроса в Западной Белоруссии".

Подводя итог пребыванию западных белорусов в польском государстве между двумя мировыми войнами, Богдан Скарадзинский пишет: "С белорусской стороны — это усиление негативного опыта и по отношению к польскому

государству, и по отношению к полякам. Только отказ от собственных национальных устремлений давал им возможность построить хорошие отношения. Такой была цена сделки, но... никто из известных белорусов не хотел её платить. С польской же стороны было благое представление, что проблемы не существует. Благодаря привлекательности нашей культуры, польскоязычной школе, армейской службе со временем белорусы полонизируются, а та их часть, которая принадлежит к католичеству, будет авангардом этого процесса. Остальные пусть себе спокойно тешатся “беларускімі думкамі” и по-своему вышивают сорочки... Радикально недовольные – это уже не национальная проблема, а попросту “коммунистическая инфильтрация”. Для них были созданы... “специальные органы порядка... Как народ, мы были хозяевами ситуации на западных белорусских землях как никогда ранее и никогда позже. И ничего для других не сделали там хорошего...”.

На Брестчине ещё живы люди, которые расскажут, что в школе, например, нельзя было ни слова произнести не по-польски. Нарушивших этот запрет ждало наказание “лапой” – длинной деревянной линейкой, которой учитель бил провинившихся по ладони. Те, кто попробовал “лапы”, помнят ту экзекуцию до сих пор. Однако, справедливости ради, напомним, что власти довоенной Польши действовали таким образом не только по отношению к белорусам и украинцам. В октябре 2008 года одна из российских газет перепечатала статью чешского журналиста Яна Новака о том, как осенью 1938 года в Тешинскую область Чехословакии после печально известного Мюнхенского сговора вступали не эсэсовцы, а польские солдаты. Первой самой “важной” реформой поляков после занятия Тешина, с горечью напоминает Ян Новак, стал... запрет чешских школ и чешского языка. “Поляки немилосердно преследовали чехов, – приводит Новак слова чешского генерала Векирека, – терроризировали увольняемых, выбрасывали из домов, конфисковывали имущество. Всё, что было чешское, уничтожалось. Даже за традиционное чешское приветствие “Наздар” был введён штраф в четыре злотых. Не терявшие присутствия духа чехи так и стали приветствовать друг друга: “Четыре злотых!” Чешские названия устранились даже с мигал.

На этом фоне большевики выглядели явными чудаками. Вот что о таком “чужаестве” в своём труде “Репрессии оккупантов в Львовском политехническом институте (1939–1945 г<оды>)” написал пан З. Поплавский. Оказывается, после занятия Львова большевики собрали профессуру на собрание. Они заявили, что довольны высоким уровнем преподавания в институте и всех сохранили на своих должностях. Даже проректором по научной работе остался поляк. Однако Советы отменили празднование Рождества и Пасхи и заставили уважаемых профессоров посещать курсы украинского и русского языков, а ещё – изучать историю ВКП(б). Стерпеть это было невозможно! Но летом 1941 года во Львов пришли немцы. Они не стали создавать курсов по изучению “Майн кампф”, а немедленно прикрыли политехнический институт, разогнав его сотрудников, зявит по этому поводу российский историк Елена Яковлева, цитируя З. Поплавского. Та же Елена Яковлева приводит любопытную выдержку из воспоминаний Ирены Андерс – жены Владислава Андерса, командовавшего сформированным в 1941 году в СССР польским корпусом, ушедшим затем в Иран и на Ближний Восток: “...Известные артисты и музыканты массово убежали от немцев и очутились во Львове, в западне большевистского врага... Артистов эстрады, к которым я относилась, разделили на четыре ансамбля, которые обязаны были ездить по всей России (ужас! – Авт.) до самой Сибири (ещё ужаснее!! – Авт.), чтобы, как им было сказано, “пропагандировать польское искусство (вот-те раз!!! – Авт.)”. ...Одиннадцать месяцев я ездила с группой великолепного композитора Хенрика Варса... Мы жили в поездах, полных вшей и клопов, выходили на сцену с бурчащими от голода животами”.

Получается – чёрт знает что вытворяли большевики! Гитлеровцы сразу же закрыли все драматические театры, оставив только кабаре, запретили полякам посещение музеев, картинных галерей, спортивных клубов, вывесили во многих местах таблички: “Кроме собак и поляков”. Им и в голову не пришло создавать какие-то группы для пропаганды польского искусства среди баварцев, саксонцев, мекленбуржцев.

В 1944 году в Польшу к власти пришли коммунисты. Что нового это внесло в ситуацию с “белорусским вопросом”? Лучше всего ответить на него фактами и выводами польских белорусов, взятых из книги “Гісторыя Беларусі ад

сярэдзіны XVIII ст. да пачатку XXI ст.”, изданной белостокскими учёными Олегом Латышонком и Евгением Мироновичем в 2010 году. По их оценкам, на Белосточчине тогда жило примерно 125 тысяч белорусов. “В августе 1944 года ведомство образования ПКНО (Польский Комитет Национального Освобождения. — Авт.) дало разрешение на создание в Белостокском воеводстве школ с белорусским языком преподавания, а местные власти доброжелательно отнеслись к развитию институциональных форм национальной жизни белорусов. Была разрешена, среди прочего, деятельность театрально-музыкального кружка “Польмя” (“Пламя”)... В сентябре 1944 г<ода> функционировали уже 93 школы, в которых изучали белорусский язык, а в октябре это число возросло до 114. Возникли также 3 средние школы...”.

Однако 10–11 октября в Люблине состоялась конференция воеводских и уездных секретарей ПРП (Польской рабочей партии. — Авт.), которая приняла концепцию государства без национальных меньшинств... Решение было обосновано плановым переселением белорусов в СССР, потому создание для них школ в Польше считали нецелесообразным... В 1945–1947 г<одах> государственная пропаганда создавала модель Польши как этнически однородного государства. При перечислении достоинств новой границы на востоке подчёркивалось, что Польша избавилась от национальных меньшинств и всех хлопот, связанных с их существованием... Ради этого власти старательно заботились, чтобы белорусы, занимавшие должности в партийно-государственном аппарате или хотя бы бывшие милиционерами, не подчёркивали своего непольского происхождения... Закрывались белорусские школы, если польское меньшинство на территории гмины протестовало против их существования... Хотя белорусское население и было лояльным к властям, его существование для последних делалось невыгодным. Шанс на решение проблемы давала эвакуация белорусов в БССР. С середины 1945 года формулу добровольной репатриации власти предлагали заменить на принудительную...”.

В свою очередь, белорусы в страхе перед принудительным выселением с давно насыщенных мест уже не выставляли требований национального характера. Их пассивность привела к тому, что “белорусов перестали рассматривать как отдельное национальное сообщество... Быть белорусом становилось очень трудно... Людей белорусского происхождения рассматривали как полноправных граждан при условии, что они никоим образом не демонстрируют своего национального отличия. Им был дан доступ во все институты, которые были составными частями народной власти — милиции, армии, партии, народных советов... Они получили полные права как поляки и никаких — как белорусы... В конце 1945 года было 105 школ с белорусским языком преподавания, .. в декабре 1947 года — 7. Ликвидируя белорусские образовательные учреждения, школьные власти часто называли националистами и сепаратистами тех, кто выступал в защиту белорусского просвещения... В конце 1946 года проблема белорусов в Белостокском воеводстве была официально признана несуществующей”.

О. Латышонк и Е. Миронович пишут, что “белорусский вопрос” в ПНР переживал разные периоды. Уже в 1949 году снова были разрешены белорусские школы. В 1950 году их стало 39, в том числе две — средние: лицей в Бельске-Подляском и гимназия в Гайновке. В то же время, несмотря на существование таких школ, подчеркивают авторы, “о белорусах, которые жили в Польше, ничего не писалось в прессе, о них ничего не говорилось в радиопередачах, .. нигде, даже на местном уровне, не делалось попыток развеять в сознании поляков видение Польши как этнически однородного государства”. “Оттепель” середины 50-х годов XX века, начавшаяся после смерти Сталина, привела в том же Белостокском воеводстве “к вспышке враждебности по отношению к белорусам, а среди последних вызвала новую волну страха перед возможными последствиями внутреннего польского конфликта... Стереотип белоруса-коммуниста, который ожидает присоединения Белосточчины к Советскому Союзу, в сознании поляков существовал так же долго, как в сознании белорусов — стереотип поляка-националиста и вылюдка, который убивает беззачетных крестьян за их национальную и религиозную особенность...”

И тем не менее, “оттепель” дала некоторые результаты. В начале 1956 года было принято решение о создании Общества белорусской культуры, аккредитованного при Белостокском правлении Общества польско-со-

ветской дружбы. Появился белорусский еженедельник “Нива”. Во время состоявшихся в том же году выборов в сейм власти “не возражали, чтобы в избирательных списках появлялись кандидаты, которые идентифицировали себя в качестве белорусов, но на уездном уровне подчёркивалось, что будущие депутаты не могут представлять национальные интересы – только общественные”. Следующие “1960-е г<оды> характеризовались наиболее интенсивным развитием белорусской жизни в Народной Польше. Этнографический музей в Беловеже, Белорусский ансамбль песни и танца, а также эстрадная группа “Лявониха” приобрели значение на культурной карте не только региона, но и всей страны”.

Однако “во второй половине 1960-х г<одов> вновь начала меняться атмосфера вокруг национальных меньшинств в Польше. . . Политика властей отчётливо была направлена на то, чтобы минимизировать белорусскую проблему. . . Были обозначены пределы официальной белорусскости, которые ограничивались только фольклором. . . В 1970 году был ликвидирован педагогический лицей с белорусским языком обучения в Бельске-Подляском, который готовил учительские кадры для сельских школ. В следующем году школы с белорусским языком преподавания практически прекратили своё существование. . . Прекратилось издание учебников, ширились суждения, что этот язык в Польше никому не нужен”.

Авторы констатируют, что “образование большинства белорусских детей начиналось в польской школе, в которой у них, прежде всего, формировали чувство гордости за достижения польской культуры и национальную историю. После десяти с лишком лет обучения молодой человек искренне заявлял о своей принадлежности к польскому народу. С белорусской культурой он обычно не имел никаких контактов, потому тоже с удивлением, как и каждый поляк, слушал голоса немногочисленных белорусских интеллектуалов, которые призывали не отказываться от родного языка и традиций. Для тех, кто родился в Белостоке, Бельске-Подляском или Гайновке, единственным языком, который они знали, был польский язык. Чаще всего он был и языком семейной среды”.

И всё-таки большинство белорусов, “находясь в польском окружении, замечали, что, несмотря на их внешнюю схожесть с польскими друзьями, их внутренний мир был иным”. Возрождение польской национальной мысли на рубеже 70–80 годов “вдохновило молодых белорусских интеллигентов на постановку вопроса о собственной идентичности”. Однако очередной польский политический перелом на рубеже 80-х большинство белорусов приняло с беспокоеством, отмечают О. Латышонок и Е. Миронович. “Солидарность” на Белосточчине воспринималась как “национально польское и подчеркнуто католическое движение. Хотя вначале к этому движению присоединилось немало белорусов, они очень быстро покинули его ряды. . . В Белостоке достаточно было продемонстрировать языковое отличие, чтобы оказаться в публичной изоляции. Публичная беседа по-белорусски воспринималась как своеобразная провокация”. Больше настойчивости и твёрдости проявили белорусские студенты, добиваясь согласия на создание собственной организации. Однако после двух месяцев ожидания студенты получили ответ министерства просвещения, что “Белорусское объединение студентов не может быть зарегистрировано, так как подобные цели и задачи среди молодежи уже осуществляют польские студенческие организации и Белорусское общественное культурное общество”. В то же время был зарегистрирован Союз африканских студентов. . .

Тем не менее, процесс создания белорусских организаций не прекратился. Состоялся съезд Белорусского демократического объединения. Способствовали тому и требования Евросоюза, куда активно стремилась Польша. Стал выходить белорусско-польский ежемесячник “Czasopis”, Белорусское историческое общество два раза в год издаёт “Białoruskie Zeszyty historyczne”, появились Белорусское литературное объединение “Беловежа”. Многие стало возможным благодаря помощи министерства культуры и искусств и его бюро по делам культуры национальных и этнических меньшинств. Но в конце девяностых, констатируют авторы, в польской внутренней политике вновь проявились явные тенденции к отходу от содействия национальным меньшинствам. Окончательный вывод лишён оптимизма: “Белорусская проблема в общественном измерении перестала существовать. Теперь нет ни одного центра, который бы осуществлял действия национального характера. . . В конце концов, обозначенный властями ареал активности – преимущественно охрана фольк-

лора и народных традиций – никак не способствует развитию современного национального самосознания польских белорусов”.

Остается вспомнить слова Богдана Скарадзиньского: пусть белорусы тешатся своими “беларускімі думкамі” и по-своему вышивают сорочки. Многие из них так и поступают. На международные книжные выставки, которые каждый год в начале мая проходят в Варшаве, по приглашению белорусского посольства всякий раз приезжал самодеятельный художественный ансамбль из окрестностей Белостока. В белорусских сорочках. С белорусскими народными песнями, которые исполняются уже с заметным польским акцентом. Песен, написанных современными белорусскими композиторами, в репертуаре нет, их даже не знают, в чём открыто признаются. В обычном общении между собой участники ансамбля, особенно молодые, общаются по-польски.

Во всей нынешней Польше, согласно переписи 2011 года, белорусами назвали себя 31 тысяча человек; по итогам переписи 2002 значилось 48 тысяч. Правда, представители белорусских национальных организаций утверждают, что на самом деле белорусов в Польше около 200 тысяч, но они предпочитают вслух об этом не заявлять, как это было и сразу же после войны при польских коммунистах, о чём и говорили О. Латышонок и Е. Миронович. Вот и получается, что к “белорусскому вопросу” подход в Польше не очень-то зависит от того, какая политическая сила находится у власти...

ПЁТР ВИТЯЗЬ

академик НАН Беларуси

“СОТРУДНИЧЕСТВО НИКОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЛОСЬ...”

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, академик **Пётр Александрович Витязь** – всемирно известный учёный. Его трудами в Беларуси создано новое направление в науке и производстве, связанное с порошковой металлургией. Сегодня Пётр Александрович входит в состав Президиума НАН Беларуси, является координатором ряда научно-технических проектов Союзного государства Беларуси и России. С 2000 года он был членом Общественной палаты Союзного государства, с 2005-го – председателем Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, в настоящее время является заместителем председателя Белорусско-Российской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. К нему я и обратилась с вопросами о взаимодействии белорусских и российских учёных.

– Пётр Александрович, готовясь к интервью с Вами, я выписала цитату из статьи известного российского ученого, доктора экономических наук Ю. Ф. Година, который защитил вторую докторскую диссертацию по теме “Усиление интеграционного взаимодействия России и Беларуси в условиях становления Союзного государства”: “В отличие от механического объединения, органическая интеграция обладает стимулирующим, синергическим эффектом, позволяющим целому быть больше простой суммы частей. Это значит, что интеграция по такому варианту действительно позволяет получить материальные, интеллектуальные и иные средства, каких ни один из участников не имел бы, действуй он автономно” (“Наш современник”, № 12, 2010 г., стр. 135). Хотелось бы услышать Ваше мнение о результатах сотрудничества в научной сфере учёных двух стран в рамках Союзного государства. Эта тема приобретает особое значение, так как в России инновационное развитие является в числе важнейших государственных приоритетов.

– Это сотрудничество сложилось не сегодня и не вдруг. Если говорить о Национальной академии наук Беларуси, ранее Академии наук БССР, то многие институты у нас были созданы благодаря Советскому Союзу, российским учёным, которые приехали сюда: физик Б. И. Степанов (Институт физики им. Б. И. Степанова), А. В. Лыков (Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова). Можно назвать многих других замечательных российских учёных, благодаря которым создавались здесь научные школы, именами которых они теперь называются. Это было и до Великой Отечественной войны, и после неё. Взаимодействие было всегда. И после распада Союза и созда-

ния независимых государств сотрудничество наших учёных не прекращалось. Хотя и не так интенсивно, как в СССР, но оно продолжалось и между институтами, и между научными школами. Однако после создания Союзного государства сотрудничество заметно активизировалось, приобрело системность. У нас появились Совет Министров, Постоянный Комитет Союзного государства, которые нацеливали нас на расширение масштабов взаимодействия. Был сформирован бюджет Союзного государства, начали создаваться программы промышленного, в том числе научно-технического сотрудничества. С первых дней создания этого интеграционного объединения Академия наук Беларуси стремилась участвовать в формировании совместных программ, их выполнении и продвижении в жизнь.

Сотрудничество, как правило, идёт по приоритетным направлениям в рамках Союзного государства. В отличие от Российской академии наук, у нас НАН делегированы определённые права государственного органа. В частности, мы можем выступать как заказчики по союзным программам. Для нас это важно. Поэтому мы вместе с российскими коллегами формируем программы. А там заказчиками выступают Министерство образования и науки, Министерства промышленности и торговли, Минздравсоцразвития, Роскосмос и другие министерства.

– Не затрудняет работу то, что приходится все программы в России согласовывать через министерства?

– Весь процесс уже отработан. Хотя сложности, конечно, есть. Не всё просто идёт. Зачастую нам надо доказывать, что такая-то программа нужна и почему. Например, многие говорили, что по компьютерам, а тем более по суперкомпьютерам, мы отстали навсегда и никогда не догоним ведущие в этом направлении страны. Пришлось и российским, и белорусским учёным доказывать, что есть новые идеи и возможности. После долгих экспертиз такая программа была утверждена, и в результате было создано пять суперЭВМ семейства “СКИФ”, которые вошли в мировой рейтинг 500 самых мощных машин мира. Две из них – суперкомпьютерные системы Республики Беларусь. Союзные научно-технические программы направления “СКИФ” продемонстрировали высокую эффективность сотрудничества и стали брендом Союзного государства. В настоящее время создаётся целая гамма суперкомпьютеров семейства “СКИФ” не только у нас, в Беларуси, но и в России, и они предназначены как для решения научно-технологических задач, так и для образования, – многие университеты уже этим пользуются. Есть хорошая перспектива применения суперкомпьютеров для решения практических задач многих отраслей экономики. На базе этого строится единое информационно-вычислительное высокопроизводительное пространство Союзного государства.

– Как финансируются эти программы?

– Бюджет формируется государствами-участниками за счёт ежегодных согласованных отчислений. Все совместные программы, проекты, мероприятия финансируются за счёт бюджета Союзного государства, где 1/3 – это белорусская доля, 2/3 – российская. Белорусская доля расходуется на финансирование работ белорусских участников, российская – российских. Совет Министров разрабатывает проект бюджета Союзного государства, Парламентское собрание – утверждает, а Постоянный Комитет Союзного государства организует его исполнение. Составляется сводная бюджетная роспись, распределяются лимиты бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств сторон. После этого открывается финансирование.

– Сначала, наверное, проходит конкурс проектов?

– Работа проходит два этапа. Сначала разрабатывается концепция программы. Когда она согласована в государствах-участниках, рассматривается и утверждается Советом Министров Союзного государства. Далее идёт формирование программы, которая утверждается по вышеуказанной схеме. Процедура отработана, но она сложная, и иногда программы формируются 2–3 года. Система требует совершенствования, этим занимается Постоянный Комитет Союзного государства.

Кроме суперкомпьютеров второе направление, которое идёт и будет идти хорошо, – это космические программы. Они тоже начались с того, что Беларусь в своё время имела достаточно хороший результат по инновационным информационным технологиям, по оптике, электронике и т. д. На основании этого была сформирована и успешно реализована первая программа в косми-

ческой области “Космос-БР” (1999–2004) и последующие: “Космос-СГ”, в которой впервые разработаны и внедрены программные алгоритмы комплексной оперативной обработки мониторинговой информации от космических и наземных средств; и “Космос-НТ”, в рамках которой создана Белорусская система дистанционного зондирования Земли.

– *Проекты финансируются для того, чтобы потом они приносили какую-то отдачу, реальный инновационный эффект?*

– Естественно. Вот поэтому реализуется не одна программа по приоритетным направлениям, а несколько и последовательно. Одна переходит в другую. Решаются взаимосвязанные практические задачи. На базе суперкомпьютера семейства “СКИФ” создаются мощные машины. В суперкомпьютерах разрабатываются и применяются системы с параллельной архитектурой. Они решают сложные задачи, имеют высокую производительность – до $25 \cdot 10^{12}$ операций в секунду – и большую память.

– *Наука не может быть замкнутой. Ученые решают общие проблемы, но насколько продуктивны творческие контакты между ними?*

– Наука всегда была интернациональной. Она не может быть белорусской – наука может быть в Беларуси, хотя в народе говорят “белорусская наука”. НАН Беларуси сотрудничает со многими научными центрами других стран. Но особенно плодотворно – с Российской Федерацией. Сегодня в рамках Союзного государства мы имеем возможность объединять свои ресурсы для достижения прорывных результатов как в фундаментальной науке, так и в части обеспечения ощутимого эффекта за счёт внедрения новейших технологий и разработок на практике.

Мы с российскими учёными постоянно общаемся – проводим конференции, симпозиумы, выставки, семинары Беларуси в России, и России в Беларуси. В начале 2012 года в Москве прошел форум “Союзное государство в интересах народа”, в котором и я принимал участие, выступил с докладом.

– *В настоящее время над какими совместными союзными проектами работают ученые?*

– У нас сейчас выполняется пять программ: “Нанотехнологии-СГ”, “Стандартизация-СГ”, “БелРосТрансген-2”, “Прамень”, “Стволовые клетки”.

“БелРосТрансген-2” – это уже вторая программа. Первый совместный проект “БелРосТрансген” был реализован в течение 2003–2007 годов, и в результате был получен ряд новых важных научных результатов, связанных с созданием трансгенных животных – коз – и способов получения на их основе человеческого белка – лактоферрина, который является сырьем для производства лекарственных средств нового поколения. В настоящее время ученые и специалисты Института биологии гена РАН и Института физиологии НАН Беларуси и РПУП “АкадемФарм” прорабатывают возможность реализации в интересах сторон новой программы “БелРосФарм”. Она позволит создать высококачественные товары и продукты, пользующиеся спросом на мировом рынке.

Реализуется интересная программа по стандартизации, связанная с Роскосмосом, – создание стандартов для космических целей, чтобы мы говорили на одном техническом языке. По итогам реализации “Стандартизации-СГ” будет достигнуто нормативно-техническое обеспечение единых требований и правил проведения работ в области космической техники.

Начата с IV квартала 2011 года программа “Прамень”, в которой участвуют Институт физики НАН и с российской стороны – Академический физико-технологический университет и объединение “Светлана” (Санкт-Петербург). Программа связана с электроникой и появилась благодаря нашему земляку, лауреату Нобелевской премии, академику Жоресу Ивановичу Алфёрову, и призвана ускорить работу в таком перспективном направлении, как создание приборов на основе полупроводниковых светодиодов (в основе которых гетероструктуры), диодных и импульсных лазеров. А это и мобильные телефоны, и плазменные телевизоры, и волоконные оптические линии связи, и многое другое. Задача для белорусских и российских учёных – не отстать от тенденций современной мировой науки, промышленных технологий.

Начато выполнение программы “Стволовые клетки”. На стадии проработки ещё десяток программ. Некоторые уже прошли, а какие-то ещё на стадии согласования.

– *Я читала в газетах, что за 2011 год освоение финансовых средств по союзным программам было невыполнено?*

– Программы выполняются в принципе в полном объёме. А расходовано бюджетных средств, в частности, по программе “Космос-НТ” 72,4%, “Нанотехнологии-СГ” – 77,6%. Это связано с финансовым кризисом – упал курс белорусского рубля, а все затраты были привязаны к российскому рублю. Деньги уже были потрачены, и не было возможности перестроиться. Новые программы у нас выполнены на 95–99%. Программы выполняются на хорошем научно-техническом уровне с пользой для нашей страны и в целом для нашего Содружества. Особенно сейчас повышается их роль в связи с вступлением в Таможенный союз, ЕврАзЭС.

– *Как происходит отбор проектов для союзных программ?*

– Мы систематически проводим совместные президиумы Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук – поочередно, в Минске и в Москве. А для оперативной работы есть Межэкономический совет, который начал работать с 2004 года. Это ежегодные встречи, обмен мнениями. Вот сейчас готовимся к очередному заседанию. Уже утвердили повестку дня. Мы выступаем за то, чтобы Совету предоставить функции экспертизы научно-технических программ и проектов при Постоянном Комитете Союзного государства. Ведь учёные лучше знают и то, какой есть задел, и что можно выполнить, и какая отдача может быть.

– *Я знаю, что НАН Беларуси активно сотрудничает с Сибирским отделением РАН. Они тоже участвуют в Союзных программах?*

– С Сибирским отделением наук мы начали работать давно, у нас подписано с ними двухстороннее соглашение. Сегодня совместно мы выполняем десятки инновационных и интеграционных проектов. Встречаемся и проводим конференции совместно и на расставании – сейчас техника позволяет. Как старшее поколение учёных, так и молодые. Но, к сожалению, пока мы не сумели добиться, чтобы у нас были с ними союзные программы. Это связано с тем, что заказчиком должно быть какое-то российское министерство. Мы только смогли добиться, что имеем совместные программы с учёными Санкт-Петербурга, благодаря и нашему авторитету, и авторитету Ж. И. Алфёрова, при содействии тогда еще губернатора Валентины Ивановны Матвиенко. Мы выступаем с инициативой, чтобы учёные из разных регионов России участвовали в союзных программах. Чтобы разрешили министерствам округов тоже быть заказчиками программ. Будет хорошо, если такое решение будет принято. Хотелось бы, чтобы была и для учёных в номинации науки и техники премия Союзного государства, как награждаются художники и писатели. Этот вопрос тоже прорабатывается.

Хотя у учёных есть и свои межакадемические – РАН и НАН Беларуси – премии. Например, с Сибирским отделением РАН у нас утверждена ежегодная премия имени нашего земляка академика В. А. Коптюга, которая присваивается совместным решением за совместные работы. Премии РАН и НАН Беларуси в этом году будут присваиваться в трех номинациях. Они являются важным моральным стимулом развития сотрудничества.

– *Пётр Александрович, прежде чем встретиться с Вами, я ознакомилась с Вашим кругом обязанностей. Они столь разнообразны! Невозможно даже запомнить сразу, в каких проектах Вы участвуете. Как Вы всё успеваете?*

– Прихожу на работу в 7.30, ухожу в 21.00. В субботу тоже, бывает, работаю – много документов, нужно заниматься аспирантами, докторантами, писать статьи и монографии. Нужно развивать научную школу и передавать накопленные знания молодым.

– *Вы в хорошей физической форме. Как Вам удаётся её поддерживать при таком режиме работы?*

– В студенческие годы активно занимался баскетболом, другими видами спорта, теперь ежедневно хожу пешком на работу и с работы. В свободные субботу и воскресенье езжу с сыном на дачу. Там свежий воздух, сад и различные хозяйственные работы, которые я люблю выполнять.

– *Вы занимаетесь многими проектами, наукой. Хватает ли времени и сил еще и на преподавательскую работу?*

– Раньше преподавал много, теперь иногда, когда меня приглашают, читаю лекции. Не хватает времени. У меня есть учебники, по которым учатся студенты. Недавно, в марте, мои подопечные защитили очередные две докторские диссертации по проблемам порошковой металлургии и защитным покрытиями. Я являюсь председателем ГЭК в БНТУ. Был первым заместителем

председателя Президиума НАН Беларуси, а когда исполнилось 75 лет, написал заявление с просьбой освободить от занимаемой должности, планировал идти работать в лабораторию, в которой являюсь научным руководителем. Но меня назначили на должность руководителя аппарата НАН Беларуси. Поэтому наряду с оперативной работой аппарата Президиума курирую многие научные направления, в том числе и программы Союзного государства.

– А какие союзные программы были реализованы в минувшем году?

– Часть уже называл, еще более 10 находятся в разной стадии прохождения. У нас разработаны концепции программ – “СКИФ-ОРБИС”, “ИНИТЕХ”, “Мониторинг”, “Плазматех”, “Коваль”, “Отходы АЭС”, “Нуклид” и др.

Мы строим атомную электростанцию, поэтому в ближайшее время перед нами будут поставлены две задачи: прежде всего, нормативная база – как утилизировать отходы, а второе – как их собирать, перерабатывать. У нас в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований “Сосны” выполняются темы по ускорению распада радиоактивных отходов, поскольку они долгоживущие, разрабатывается технология. Есть специальная установка, мы изучаем, как ускорить их распад. Кроме того, есть правила сбора, консервации, захоронения. Надо нормативную базу дорабатывать, совершенствовать. Все разрабатывается с учётом требований МАГАТЭ.

– Вы человек технического склада ума, как относитесь к гуманитарным наукам?

– Гуманитарную науку мы недооцениваем. Технику можно создать, экологию можно поднять, а вот облагородить душу человека, обогатить его внутренний мир, культуру – гораздо сложнее. Если людей не воспитывать, то это тотальное бедствие. Ведь гуманитарные науки – это не только язык, литература, культура, искусство, но и история, философия, право, экономика... Посмотрите, что творится в мире – кризис, межнациональные и социальные конфликты, мятежи и террор. Нам повезло: у нас крепкое государственное управление, поэтому легче решать любые проблемы. Надеемся, что в рамках Союзного государства, ЕврАзЭС многие вопросы гуманитарной и социальной сферы будут решаться совместными усилиями более эффективно.

– К сожалению, у нас в обществе есть небольшая прослойка, которая крайне болезненно относится к сближению Беларуси и России. Не только пугают потерей политического суверенитета, но научно-технологической отсталостью наших партнеров. Предлагают кардинально изменить вектор сотрудничества с Востока на Запад. Мол, только с Запада к нам придёт прогресс.

– Есть и такие, но они преследуют корыстные цели. Не в интересах народа, государства, а в своих личных интересах. Не буду касаться политических аспектов такой откровенно русофобской позиции (об этом много пишут в прессе), а коснусь научной сферы. В определённой среде бизнеса и интеллигенции сложился искусственный, весьма односторонний стереотип: мол, Россия (Восток) – это отсталость, а Запад – это процветание, прогресс и изобилие, поэтому надо повернуться лицом к Западу и закупать только их продукцию и технологии.

Этот стереотип опасен тем, что он ориентирует нас не на самостоятельное творчество, не на развитие отечественной науки и своей мощной производственной базы, а на бездумное потребление чужого, на стимулирование зарубежных компаний, бездарное расходование своих валютных и природных ресурсов. Такой подход – бесконечное заимствование всего зарубежного вместо поддержки отечественных научных разработок – приводит, в конечном итоге, к деградации, к самым негативным социально-политическим последствиям. Потому что культивирует в сознании людей чувства неполноценности и бесталанности, прививает комплекс творческой пассивности и интеллектуальной зависимости – мол, зачем что-то изобретать, если всё можно купить готовое за рубежом. Именно это и закладывает основу потери самостоятельности и перспективности любой нации, любой страны.

Думаю, не случайно наш Президент с такой настойчивостью продвигает идеи импортозамещения, развития отечественного научно-производственного потенциала. И требует активизировать усилия как ученых, так и производственников в областях разработки и внедрения новейших технологий и инноваций во все сферы жизни. В этом видится благополучие страны, достоинство и творческие способности нашего народа. И с этой точки зрения для нас особую ценность представляет системное и разностороннее сотрудничество с

Россией, близкой нам по духу, богатой ресурсами и нацеленной на модернизацию. Вместе мы эффективнее сможем развивать важные именно для наших стран научные разработки, сможем избежать технологической и интеллектуальной зависимости, поднять свой престиж в мире, постоянно укрепляя свои научные школы, развивая свои институты, свои корпорации. Но такой подход требует много сил и энергии от учёных, руководителей и специалистов разных уровней. А вот это как раз и не устраивает тех, кто привык жить, не напрягаясь, за чужими спинами пряча свою никчёмность и пустоту, всегда уповая на то, что “заграница нам поможет”. Конечно, их не заботит ни уровень развития отечественной науки, ни благосостояние народа, ни будущее страны. Для них главное – личный интерес.

Даже есть “деятели”, которые говорят, что нашу Академию надо реформировать на западный манер. Я понимаю Президента Беларуси, который говорит, что надо приблизить Академию к реальному сектору, но когда говорят “давайте сделаем на базе Академии клуб учёных”, – это значит потерять школу, потерять научную базу, разрушить многоуровневый интеллектуальный комплекс. Надо понимать, что высшая школа никогда не может конкурировать по производству научных знаний с Академией наук. Вот недавно я был в Киеве, на юбилее президента Национальной академии наук Украины, всемирно известного ученого, академика Б. Е. Патона (50 лет, как он возглавляет Академию). Там тоже собравшиеся ректоры вузов обсуждали эти вопросы. Ранее был в Москве, в Академии наук, на совещании, где присутствовали тоже многие ректоры ведущих вузов. И в Москве, и в Киеве учёные говорили, что наука Высшей школы должна быть, но настолько, чтобы готовить необходимые кадры. Это – прежде всего. Им по времени на обучение выделяется 800 часов в год. Они не могут посвятить время науке в полном объеме, но каждый должен заниматься своим делом. Университеты могут заниматься наукой вместе с академическими институтами – готовить кадры, изучать спрос. Самое главное у нас сегодня: наряду с развитием культуры и знаний не потерять школы, которые были созданы давно и которые ещё существуют. Сохранить и развить их с учётом развития страны. И прежде всего, – надо сохранить фундаментальную науку. Вот задача Союзного государства – Национальной академии наук Беларуси вместе с Российской АН: создавать те направления, которые будут работать в наших интересах. Много есть тем, связанных с космосом, атомной энергетикой, нано- и биотехнологиями, оптоэлектроникой, информатикой, созданием новых материалов и др. У нас есть возможность эти знания использовать и в земных условиях. Только тот, кто такие направления имеет, сможет эти знания аккумулировать и использовать во многих отраслях. Этот процесс должен быть открытым. Если даже частным предприятиям эти знания передать, то продукцию они будут выпускать у нас, рабочие места будут создавать у нас.

– Вы поздравляли академика Б. Е. Патона. В кулуарных разговорах не жалеет ли он, что Украина не входит в Союзное государство?

– Патон очень большой патриот. Он первый почувствовал после развала Союза, что значит потерять контакты, и создал МААН – Международную ассоциацию академий наук стран СНГ, в которую также вошли Вьетнам, страны Восточной Европы (как наблюдатели). Он всегда был сторонником интеграции, очень тепло относится к Беларуси. Патон – не просто учёный, это легенда. Он прошёл большой путь в науке, всегда выступал за интеграцию. Он очень помог Беларуси в совершенствовании БелАЗов. Для мощных белазовских конструкций он разработал специальную сварку. Его сваркой пользуются и на земле, и в космосе, и под водой. Сейчас он разработал даже сварку человеческих тканей, она внедрена и в Беларуси. Борис Евгеньевич, несмотря на свои 94 года, полон идей, работает и вместе со своими учениками делает открытия. Многие новые направления и институты созданы его трудами.

– Пётр Александрович, столько много интересных союзных проектов и программ, есть финансирование. Значит ли это, что молодые учёные находят себе работу дома и не стремятся уезжать на Запад?

– Я выскажу свою точку зрения. Нельзя учёному сидеть в закрытой комнате. Это для него очень стеснённые условия. Он должен видеть, что другие делают. Я никогда не стал бы тем, кем стал, если бы в свое время, в середине 1960-х, не пробыл год на стажировке в Шведском институте исследования металлов. Я там не только закрепил английский язык, но и освоил новые мето-

дики, изучал их опыт, чтобы потом применять всё лучшее у себя на Родине.

У нас институты готовят специалистов широкого профиля – это хорошо, это как опыт накапливать знания. Но после окончания института выпускник ещё не специалист. В Швеции я получил более узкую специализацию, ознакомился с новыми направлениями. Учёные должны ездить на конференции, научные стажировки, общаться между собой. Конечно, нет гарантий, что учёный вернётся, но по себе знаю, я там не смог бы жить – мне там душно. Потому-то я и говорю о духовности – если мы будем это прививать студентам, то они захотят вернуться домой. Тому, кто хочет только заработать, безразлично, где жить. У нас есть и обратный поток: есть учёные, которые приезжают к нам. Нужно создавать социальные условия, условия для мощной экспериментальной базы. Очень непростой вопрос – оперативное обновление экспериментальной базы.

– А в теперешнее время в Академии она обновляется?

– Мы стараемся. Поскольку денег недостаточно, идем по пути создания центров коллективного пользования, хотя тоже есть проблемы.

Академия – это не только научные организации, это своего рода корпорация, в которой есть все: и наука, и производство, и подготовка кадров. Сейчас НАН Беларуси – это научно-учебный, производственный комплекс, который активно взаимодействует по приоритетным направлениям как с университетами, так и предприятиями.

– В общем, наша наука выживает...

– Я не согласен с вашим словом “выживает”. Это было раньше, когда действительно выживали. Сейчас она развивается. Просто сегодня необходимо находить нужные направления с прицелом на завтрашний рынок. В одиночку рынок не займёшь. Поэтому надо создавать вот такие международные проекты, чтобы с ними выходить на рынок. Не только научной продукции, но и создавать по ней технологии, новые товары и т. п. Мы так и работаем – в обоих направлениях.

– Суперкомпьютер – это уже признанный продукт, приносящий отдачу?

– Это практическая разработка. Есть заказы как на суперкомпьютеры, так и на программы. Информационные программы развиваются очень быстро. Мы ещё не вышли на такое массовое производство, потому что там нужно решать задачи, где необходимы очень большая память и быстрота действия, – это относится к космическим программам, атомным, разработке недр и т. д. Все, кто этими проблемами занимается, без суперкомпьютера физически не могут их решить. Поэтому на его базе у нас создаются и программы. Они помогают запускать спутники и решать задачи по космическому использованию информационных технологий, и многие земные проблемы – лесоиспользование, картографии, транспортной логистики... Десятки задач решаются в интересах народного хозяйства. Уверен, наша совместная работа во всех сферах деятельности Союзного государства будет способствовать дальнейшему росту национальных экономик и, следовательно, росту благосостояния, духовности, культуры народов Беларуси и России.

– Пётр Александрович, разрешите задать Вам личный вопрос: как складывалась Ваша судьба? Благодаря кому или чему Вы пришли в науку?

– Судьба очень простая. Родился на хуторе у деревни Блудень, сейчас – деревня Первомайская Березовского района. В пяти километрах была школа. Сказать, что учился хорошо, не могу, потому что надо было заниматься хозяйством: семья крестьянская, большая – пять братьев и две сестры. До 1949 года у нас были свои 10 га земли. Надо было пасти коров, пахать, сеять, убирать. Школу окончил в 1955 году, поступил в Лесотехнический институт, в 60-м – окончил его. Учился хорошо, в основном на повышенную стипендию. Занимался спортом, работал на целине. После окончания вуза пошёл на завод “Ударник”. Там была отраслевая лаборатория порошковой металлургии, меня туда пригласил Олег Владиславович Роман – мой учитель. Я ему очень благодарен. С тех пор увлёкся наукой. Это направление развивалось, а вместе с ним росли и мы. Отраслевая лаборатория была преобразована в Проблемную, затем на этой базе были созданы Институт порошковой металлургии, конструкторское бюро, построен завод порошковой металлургии, которые были объединены в ГНПО порошковой металлургии. Основной задачей объединения было и есть разрабатывать новые материалы, технологии и создавать на их базе производства для машиностроения, электротехники, эле-

ктроники, специальной техники и др., готовить вместе с профильной кафедрой БНТУ инженерные кадры и кадры высшей квалификации – более сотни кандидатов и докторов наук. Только под моим руководством подготовлено 23 кандидата и 14 докторов наук. Под руководством академика О. В. Романа я защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, был избран членом-корреспондентом, позже – академиком НАН Беларуси. В 1997 году был избран вице-президентом НАН Беларуси, а с 2004 года – первым заместителем Председателя Президиума НАН Беларуси. Тогда же я назначен руководителем аппарата Президиума НАН Беларуси и продолжаю свои научные работы и как научный руководитель, и как исполнитель.

– Большое спасибо за то, что нашли время для беседы. Новых Вам успехов в науке и хорошего здоровья!

Беседовала Татьяна КУВАРИНА.

Статья Ярослава Смелякова “Я обвиняю” была написана в 1970 году по следу публикаций в “Огоньке” статей “Любовь поэта” и “Трагедия поэта”, авторы которых — В. Воронцов и А. Колосков — сделали достаточно робкую попытку разобраться в той роли, которую Лили Уриевна Брик играла в жизни В. В. Маяковского. Публикация эта вызвала грандиозный скандал. Тут же последовали письма в ЦК КПСС и лично Л. И. Брежневу, написанные официальным литературным чиновником Константином Симоновым и неофициальным лидером “левого крыла” литературы Борисом Слуцким — людьми, в своё время принятыми и обласканными Лилей Брик. Письма эти были написаны в лучших традициях жанра доноса и, даром что не были опубликованы, всё же возымели действие: все “антибриковские” публикации прекратились.

В подобных условиях статья Смелякова была обречена исключительно на “рукописное” существование. Списки её ходили по рукам, но в печать она не могла “пробиться” до сегодняшнего дня. Как можно видеть из контекста, она представляла собой часть более объёмной рукописи, текст которой нам не известен.

Естественно, статья эта не имела никаких шансов появиться и в заграничной печати. Слишком явная акцентуация “еврейского вопроса” делала её неудобоваримой ни для одного издателя. Смеляков щедро использовал в ней термин “сионизм” — неточный и обуживающий тему, — очевидно, по следам только-только вышедшей тогда и получившей широкую известность книги Юрия Иванова “Осторожно, сионизм!”.

Что касается её заголовка — “Я обвиняю”, — то здесь, думается, Смеляков демонстративно использовал заголовок пародии на его стихи, сочинённой Лазарем Лазаревым и Станиславом Рассадным.

Маяковский оставался кумиром Смелякова на протяжении всей его творческой жизни. Он не мог позволить ни единого пятнышка, которое могло бы “лечь” на имя дорогого ему поэта. Его взгляд на Маяковского может ныне показаться немного устарелым, но это — страница нашей отечественной литературы, нашего русского “самиздата”.

Мы публикуем статью “Я обвиняю” в год столетия Ярослава Смелякова и 120-летия его старшего современника — Владимира Маяковского — вместе с интересным и небесспорным исследованием Андрея Воронцова, в существенных моментах то смыкающегося, то расходящегося с печатающимся впервые текстом замечательного русского советского поэта.

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

Я ОБВИНЯЮ

Заканчивая мои записи, я должен вернуться к тем далёким дням, когда миру стало известно о неожиданной, ошеломившей всех смерти Маяковского.

В течение сорока лет, прошедших с того времени, я не переставал думать: что же произошло 14 апреля 1930 года? Не переставал искать разгадки трагического события.

В статье “Трагедия поэта”, опубликованной в 1968 году в журнале “Огонёк”, были показаны некоторые обстоятельства смерти Маяковского. В конце статьи, возражая В. Перцову, требовавшему соблюдения такта при объяснении обстоятельств смерти поэта, я привёл слова Маяковского, который по поводу “Бани” 23 сентября 1928 года заявил:

“Что касается прямого указания, кто преступник, а кто нет, — у меня такой агитационный уклон, я не люблю, чтобы этого не понимали. Я люблю сказать до конца, кто сволочь”.

Далее в моей статье было сказано:

“Мы стоим на тех же позициях и считаем, что в раскрытии обстоятельств трагической смерти великого поэта не следует руководствоваться мотивами соблюдения такта. К сожалению, сейчас мы ещё не сможем сказать, кто преступник, кто сволочь. Мы знаем, что это были враги Маяковского, враги коммунизма. Мы пока ещё не можем назвать, кто именно подготовил выстрел, приведший к гибели великого поэта. Но уверены, что время это придёт”.

Теперь, я полагаю, время это пришло: мы можем и должны сказать, кто преступник, кто сволочь; можем назвать тех, кто подготовил выстрел, приведший к гибели великого русского поэта.

В течение многих лет исследуя, сопоставляя факты, имеющие отношение к смерти Маяковского, я пришёл к выводу, что она готовилась врагами поэта издавна, планомерно и неотступно.

Кто были эти враги и как они подготавливали гибель поэта? Чтобы ответить на этот вопрос, мне придётся напомнить некоторые обстоятельства жизни Маяковского, о которых говорилось в статьях “Любовь поэта” и “Трагедия поэта” (журнал “Огонёк”, 1968, №№ 16, 23 и 28), дополнив их новыми фактами и соображениями.

Как и в названных статьях, я буду рассматривать эти обстоятельства в двух планах: в плане общественной, литературной деятельности поэта и в плане его личной жизни. Начну с обстоятельств первого порядка.

В официальном сообщении, в своё время опубликованном в печати и основывавшемся на “предварительных данных следствия”, было сказано, что Маяковский “покончил жизнь самоубийством” и что “самоубийство вызвано причинами личного порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта”. Однако более углублённое изучение фактов убедило меня в том, что это заключение не совсем точно и что при рассматривании обстоятельств смерти Маяковского неверно исключать факты, связанные с его общественной и литературной деятельностью. Разумеется, это следует делать не в том плане, как делают враги социализма, тщетно пытаясь доказать, будто Маяковский находился или под конец жизни пришёл в противоречие с советской действительностью. Такого противоречия не было и не могло быть. Но было другого рода противоречие, о котором враги социализма умалчивают, — это противоречие между тем, что делал Маяковский, и тем, как расценивали эту его деятельность многочисленные критики и их единомышленники в редакциях газет, журналов и издательств. Умолчание это не случайно, и причина его заключается в том, что клевета, которую распространяют враги социализма о Маяковском сейчас за рубежом нашей страны, и та клевета, которой изобиловали многие и многие писания критиков при жизни поэта, имеют одни и те же корни, проистекают из одного и того же источника — из их ненависти к социалистическому строю, из желания во что бы то ни стало очернить социализм и его поэта Владимира Маяковского.

В самом деле, легко понять и объяснить ту злобу, какой встретила и сопроводила литературные выступления Маяковского в дооктябрьские годы буржуазная печать: “капиталистический нос”, как отмечал сам поэт, чуял в нём “динамитчика”. Поэтому царская цензура кромсала его произведения, вычёркивала целые страницы, а буржуазная печать улюлюкала, глумилась над молодым революционным поэтом.

После Октябрьской революции, с первых дней её Маяковский идёт в передовых рядах борцов за социализм, он отдаёт советской власти и коммунистической партии весь свой многогранный талант. В одном из выступлений последних лет жизни поэт с гордостью отмечал, что советская цензура не вычеркнула у него ни одной строчки, — всё, что он написал, было нужно, полезно советскому строю, строительству социализма.

А между тем литературная критика упорно не хотела признавать в нём то, что любил и ценил в поэте наш народ, советская власть, коммунистическая партия, — его революционный, большевистский дух, пламенный патриотизм, высокое вдохновение и пафос в изображении победоносной борьбы советских людей за социализм. Литературная критика продолжала глумиться над Маяковским, чернила всё, что он делал, последовательно охаивала все его лучшие произведения. Вот как это делалось.

В 1918 году, к первой годовщине советской власти Маяковский написал и поставил в Петрограде пьесу “Мистерия-Буфф”, в которой вдохновенно славил великий революционный подвиг нашего народа, свергнувшего эксплуататоров и начавшего строительство нового социалистического общества. Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский писал в те дни, что пьеса производит на рабочих сильное впечатление, что “она изочаровывает”. А сейчас же после первого представления “Мистерия-Буфф” в подведомственной наркомату просвещения газете “Жизнь искусства” появилась статья некоего **А. Левинсона**, который всячески поносил пьесу Маяковского, а его самого обвинял в приспособленчестве, в “желании угодить новым хозяевам”.

В последующие годы, полностью подчинив свою работу насущным задачам борьбы за укрепление советской власти и строительства социализма, Маяковский создаёт ряд замечательных произведений революционной, социалистической поэзии — политического, агитационного, эпического, лирического и сатирического рода. Один из авторитетнейших знатоков русской поэзии поэт-коммунист **Валерий Брюсов** писал в 1922 году, что “стихи Маяковского принадлежат к числу прекраснейших явлений пятилетия”. Сатирическое стихотворение Маяковского “Прозаседавшиеся” было замечено В. И. Лениным и получило его высокую оценку.

А в то время укrywшийся в эмиграции **Илья Эренбург** как только не издавался над Маяковским: расхваливая милых его сердцу Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака, он утверждал, что в стихах Маяковского “слышатся одни, конечно, перворазрядные барабаны”. **Корней Чуковский**, в дни первой мировой войны угоднически прислуживавший союзу англо-русской империалистической буржуазии, в 1921 году с чудовищной наглостью упрекал Маяковского, будто “чувства Родины у него никакого”, будто “его пафос — не из сердца”, “его пламенность — деланная”, и всё, написанное Маяковским, “отзывается выдумкой, натугой, сочинительством”.

Отзыв В. И. Ленина о стихотворении Маяковского “Прозаседавшиеся” (март 1922 года) вдохновил поэта, укрепил его позиции, открыл ему более широкий доступ в печать. Это всполошило врагов социалистической революции и ненавистников русской литературы. Тесно объединившись, они усиливают борьбу против поэта. Возглавил эту борьбу самый коварный и злобный враг социализма — **Л. Троцкий**. В статьях на литературные темы, доказывая бесперспективность развития пролетарской революции, Троцкий крест на крест перечёркивал всё, написанное Маяковским в годы революции, и клеветнически утверждал, будто Маяковский “влился в пролетарскую революцию, но не слился с ней”, будто всё, написанное им после Октября, “внутренне противоречиво” и т. д., и т. п.

Один из оруженосцев Троцкого — **Л. Сосновский** — начал ожесточённую кампанию под лозунгом “Довольно Маяковщины”. В эту кампанию включилась дюжина других критиков и фельетонистов. Они обвиняли поэта в приспособленчестве, утверждали, будто существуют “нелады между Маяковским и революцией” (В. Полонский), будто он “воспринял революцию больше умом, чем чувством” (А. Воронский), и будто он работает “под внешним давлением” (Д. Горбов), а его произведения представляют собой “чисто логические построения, облечённые в более или менее удачную звуковую и ритмическую оболочку” (Г. Лелевич). В. Шершеневич провозглашал, что “единственными строками Маяковского, имеющими к революции отношение”, являются “строки о революции до революции” — в поэме “Облако в штанах”. А друг Шершеневича **И. Грузинов** объявил написанное Маяковским в революционные годы “малограмотной халтурой”. Как бы обобщая все эти наветы и инсинуации, профессор литературы **П. Коган** в книге “Литература этих лет”, вышедшей в 1924—1925 годах тремя изданиями, писал: “Он чужд революции нашей... Маяковский слишком от прошлого слишком индивидуален в старом буржуазном смысле этого слова...” **А. Лежнев** упрекал Маяковского, будто он “уже

несколько лет как повторяет себя” и называл его “холодным ритором и резонёром”.

В 1924 году, когда Маяковский написал пламенную поэму о Ленине, посвятив её Российской Коммунистической партии, коммунисты, комсомольцы, рабочая и учащаяся молодёжь приняли её с восторгом и благодарностью. А критик **В. Перцов** раздражённо писал, что эта поэма — “в высшей степени странная и, так сказать, разномастная вещь”, он находил в ней “труднопереносимые даже для комсомольца длинноты, корябые наивности и прямые формальные неудачи жизнеописания Ленина и рабочего класса тоже”. Другой критик — **М. Беккер** — объявил, что поэма Маяковского о Ленине всего-навсего “рифмованный доклад на политическую тему”.

Так же враждебно встретили критики другое талантливейшее произведение Маяковского — его поэму “Хорошо”, написанную к десятилетию Великого Октября. Тот же **Абрам Лежнев** поспешил заявить, что в поэме всего “несколько десятков хороших стихов”, а в целом она знаменует собой “полный провал”. А критик **Ю. Юзовский** назвал её “картонной поэмой”, отказавшись признать в ней какие-либо идейные или художественные достоинства.

Десять лет Маяковский с энтузиазмом, не жалея сил, работал на пользу русской литературы и советского строя, в его произведениях революционные события этого десятилетия получили самое яркое выражение. А П. Коган в книге “Литература великого десятилетия”, вышедшей в 1927 году, продолжал твердить, что “Маяковский не стал глашатаем эпохи”, “не стал поэтом революции в полной мере...”

А. Воронский в юбилейном сборнике “Октябрь в искусстве и литературе” писал: “Социализм Маяковского — не наш марксистский социализм, это скорее социализм литературной богемы...” В том же 1927 году появилась гнусная книжонка **Г. Шенгели** “Маяковский во весь рост”, от первой до последней строчки пропитанная злобой, издёвкой, клеветой.

В последующие годы число хулителей Маяковского не только не уменьшилось, но продолжало расти. Стало модным говорить (вернее, повторять вслед за Троцким) о “кризисе” Маяковского. “В последние годы Маяковский как будто остановился. Его произведения последнего времени (поэма “Ленин” и др.), по общему признанию критики, не представляют шага вперёд ни в области формы, ни в области углубления содержания”, — возвещал всё тот же **П. Коган**. **И. Розанов** в книге “Русские лирики”, восхищаясь стихами Бориса Пастернака, Ильи Сельвинского, Семёна Кирсанова зло острил: “Маяковскому оказалось не по дороге с революцией”, “сейчас Маяковский — светило, склоняющееся на запад”. **Корнелий Зелинский** напечатал в 1928 году в рапповском журнале “На литературном посту” статью “Идти ли нам с Маяковским?”, где писал: “Безвкусным, опустошённым и утомительным выходит мир из-под пера Маяковского”. Критик и дальше подчёркнуто утверждал, что “к новому понимаю революции можно придти, уже перешагнув через Маяковского”. Критик **Давид Тальников** в журнале “Красная новь” поносил стихи Маяковского об Америке, называл их “рифмованной лапшой”, “кумачовой халтурой” и злопыхательски восклицал, что “перо Маяковского совсем не штык”, а “просто швабра какая-то”. В том же духе о Маяковском писали **Насимович-Чужак, И. Гроссман-Роцин, А. Горнфельд, М. Ольшевец, И. Машниц-Вербов, Л. Авербах, А. Сельвановский и др.**

Теперь всё, что появлялось в печати за подписью Маяковского, непременно подвергалось разностной критике. В 1929 году Маяковский издал сборник стихов “Слоны в комсомоле”. В нём наряду с другими были помещены глубоко патриотический и высокопоэтический “Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру”, одно из лучших сатирических произведений “Служака”, очень сильное лирико-публицистическое стихотворение “Маруся отравилась”, прекрасный мобилизующий “Марш-оборона”. Несмотря на это критик **Б. Бухштаб** в журнале “Звезда” писал, что в книге “несколько остроумных строчек”, что общественная ценность стихов Маяковского “очень сомнительна” и “более чем сомнительно их художественное достоинство”.

Как стая воронов, налетели критики на пьесу Маяковского “Баня”, написанную в 1929 году и поставленную в начале следующего года в Ленинграде и Москве. **Сим Дрейден** уверял читателей, что пьеса сделана халтурно, наспех. **М. Янковский** острил, будто “пьеса Маяковского предстала в красе своих сомнительных достоинств”. **В. Ермилов** опубликовал три ругательских

рецензии на “Баню”, настойчиво доказывая, что “здесь, несомненно, звучит у Маяковского фальшивая “левая нота”. Фельетонист, скрывшийся под псевдонимом **Ан. Чаров**, незадолго до смерти Маяковского напечатал в “Комсомольской правде” рецензию на “Баню”, где писал, что “пьеса действительно вышла плохая” и её “ставить не стоило”.

Маяковского травили не только открыто, но и скрыто. Его долго не пускали на страницы “Известий” и “Правды”, его книги отказывались издавать, задерживали их в печати и на складах. В марте 1925 года нарком просвещения А. В. Луначарский писал заведующему Госиздатом: “Выходят какие-то странные недоразумения с полным собранием сочинений Маяковского. Все соглашались, что это очень крупный поэт, в его полном согласии с советской властью и коммунистической партией ни у кого, конечно, нет сомнений. Между тем, его книги ГИЗом почти не издаются. Я знаю, что на верхах партии к нему прекрасное отношение. Откуда такой затор?”

Чем же объяснить эти более чем “странные недоразумения”, что крупного, талантливейшего поэта советской эпохи, которого ценили и в “верхах”, и в “низах” нашей партии, не хотело печатать Государственное издательство, а литературная критика непрестанно — из года в год, изо дня в день — всячески поносила, отказываясь видеть в нём поэта революции и поэта вообще? Можно ли это признать действительным недоразумением? Нет, причины этого гораздо глубже и серьезнее.

История русской литературы знает немало примеров, когда критика — её определённая часть — отказывала в понимании и признании самым талантливым русским писателям. Ещё А. С. Пушкин — самый русский и самый талантливый из русских писателей прошлого века — в стихотворении “Дельвигу” сетовал:

*Бывало, что ни напишу,
Всё для иных не Русью пахнет.*

О том, что определённая часть критиков не понимает и не признаёт многих русских писателей, говорил в своё время и А. П. Чехов. В дневниках 1987 года он откровенно писал:

“Такие писатели, как Лесков и С. В. Максимов, не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, её духа, её форм, её юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше, ни меньше, как случайного инородца. У Петербургской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха Островский, и Гоголь уже не смежит её” (А. П. Чехов. Полное собрание сочинений. 1933. Т. 12. С. 11).

Я понимаю, что уже за одну эту цитату меня обвинят в антисемитизме. Нас, русских людей, издавна запугивают этим словом. Между тем, если повнимательнее понаблюдать нашу жизнь, особенно в части искусства и литературы, нетрудно убедиться, что не антисемитизм, а антирусизм или, как прежде говорили, русофобство получило необыкновенное развитие и приносит ощутимый вред социалистической культуре. Трагическая судьба Маяковского — одно из подтверждений тому.

Скажу прямо: то, что писал о критиках Чехов, в полной мере относится к критикам Маяковского, так как они в своём подавляющем большинстве были именно евреями. Отдельные русские имена в данном случае не меняют общей картины, тем более что они на поверку нередко оказываются всего лишь псевдонимами. Недаром Маяковский, когда заходила речь о его хулителях, говорил: “Все они Коганы”.

То, что писал Чехов о критиках Лескова и петербургских истолкователях Гоголя и Островского, полностью, а может быть, ещё в большей мере, относится к критикам Маяковского. Они действительно оказались неспособными понять Маяковского как русского поэта, поэтому-то Эренбург слышал в его стихах одни “перворазрядные барабаны”, и поэтому-то ни “Клоп”, ни “Баня” никого из этих критиков не смешили.

Но если в прошлом веке “иные”, как говорил Пушкин, не хотели признать в написанном именно русское, — то, что “Русью пахнет”, — то в Маяковском его критики, как мы видели, отрицали самое его поэтическое начало и особенно настойчиво, рьяно отрицали то, что составляло наиважнейшую суть Ма-

яковского как поэта нового времени — его коммунистическую революционность. А это, разумеется, шло уже не от непонимания. Трудно допустить, что такой прожжённый политик, как Л. Троцкий, не понимал истинного революционного, большевистского содержания поэзии Маяковского. Трудно допустить, что этого не понимали И. Эренбург, Л. Сосновский, П. Коган, В. Полонский, Л. Авербах и другие хулители Маяковского, большинство из которых тоже были не только опытными литераторами, но и опытными политиками.

Не случайно об одном из них — В. Полонском, редактировавшем сразу три журнала: “Новый мир”, “Красная нива”, “Печать и революция”, — Маяковский с явным политическим намёком заметил, что он “редактирует” и “Мир”, и “Ниву”, и “Печать”, и революцию”. На самом деле критики Маяковского не принимали революционного содержания его поэзии и потому отрицали её.

Ожесточённая борьба, которую на протяжении многих лет вели критики против Маяковского, была составной частью классовой борьбы — борьбы против социалистической революции, против советской власти и коммунистической партии. Не случайно один из злейших врагов Маяковского — Л. Троцкий — оказался и злейшим врагом ленинизма. Не случайно многие из названных мною критиков Маяковского были так или иначе причастны к троцкизму. Не случаен, скажем, и такой факт, что критик Перцов, высмеивавший поэму Маяковского о Ленине, в своё время в гаденькой антисоветской брошюре “Эпоха замыслов” (1922) высмеивал самого Ленина, называя его великий план электрификации советской страны “идеей фикс”. Нет, всё это не случайно. Маяковский — поэт-революционер, поэт-коммунист — был ненавистен всем, кто ненавидел социалистическую революцию, советскую власть, коммунистическую партию, и потому они так яростно вели против него борьбу.

Могут сказать, что не только Маяковский подвергался преследованию критиков, это верно. Травили они и Максима Горького, и Сергея Есенина, и Алексея Толстого, и Н. Сергеева-Ценского, и Дмитрия Фурманова, и Александра Серафимовича, и Алексея Чапыгина, и Михаила Пришвина, и Михаила Шолохова, и других самых талантливых и самых дорогих русскому народу и Советской стране писателей.

Причём — случайно ли это? — в большинстве случаев в этой травле участвовали те же критики, которые травили Маяковского, и в большинстве своём — всё те же коганы.

То, что Маяковский подвергался особенно жестокой, особенно упорной травле, объясняется тем, что в нём наиболее ярко сочеталось русское поэтическое начало с проявлением русского революционного размаха. Именно потому антирусские, космополитические и сионистские элементы, объединившись с откровенно контрреволюционными элементами троцкизма, так настойчиво и жестоко преследовали поэта.

Нет, борьба против Маяковского не была, как полагал Луначарский, каким-то “недоразумением”, “заторы”, которые в таком множестве устраивали на пути поэта издатели, люди, сидевшие в редакциях газет и журналов, и литературные критики, не были случайными. Это была открытая и скрытая борьба против великого русского поэта-коммуниста, и велась она с антиреволюционных, антирусских, космополитических и сионистских позиций. И Троцкий, и более мелкие “выродки типа Лелевича”, как сказал об одном из них И. В. Сталин (Т. 13. С. 27), сознательно ставили перед собой цель: опорочить Маяковского, подорвать доверие к нему революционного народа и коммунистической партии, подорвать творческие силы поэта, выбить его из рядов активных борцов за социализм.

В последние годы жизни Маяковский понял это. Если раньше он называл своих хулителей “безответственными губошлёпами” и недоумевал, “почему так безудержно пишут Коганы”, то позже называл их не иначе, как “критиканы из-за угла”.

Некоторые из этих “критиков”, доживших до нынешних дней, в том числе В. Перцов, пытаются оправдаться тем, что-де было сложное время, существовала борьба мнений, что-де Маяковский тоже умел драться и т. д., и т. п.

Да, Маяковский действительно умел драться, он отважно отбивал враждебные наскоки “критиков из-за угла”. Но если им не удалось разобщить его с народом, не удалось подорвать доверие к нему советской власти и коммунистической партии, им всё же удалось неимоверно затруднить и осложнить творческую работу поэта и в значительной мере подорвать его силы. И даже

если то, что произошло 14 апреля 1930 года, было действительно самоубийством, – то и тогда они – вся эта банда наглых рвачей и выжиг, неотступно травивших великого русского поэта, – виноваты в его смерти.

* * *

Теперь обратимся к обстоятельствам другого рода.

В сообщении о самоубийстве Маяковского вслед за указанием, что оно было вызвано “причинами чисто личного порядка”, следовало как бы пояснение: “Самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой поэт не совсем поправился”. Тогда же в печати появился некролог, подписанный Я. Аграновичем, Н. Асеевым, В. Каменским, В. Катаняном, С. Кирсановым, В. Перцовым и другими, где мимоходом было сказано: “Стремительная болезнь, нелепый срыв привели его к концу...” Упоминание о болезни, которая в одном случае была названа “длительной”, а в другом случае – “стремительной”, дало богатую пищу для всевозможных домыслов и сплетен. Только позже стало известно, что у Маяковского было нервное переутомление, а в последние недели он болел гриппом.

Более определённое объяснение неожиданной смерти поэта должно было дать опубликованное тогда же “Предсмертное письмо Маяковского”, в котором были приведены строки:

*Как говорят, —
 инцидент исперчен.
Любовная лодка
 разбилась о быт.
Я с жизнью в расчёте,
 и не к чему перечень
взаимных болей
 бед и обид.*

Но что скрывается за этими строками, с кем связан “инцидент”, приведший к крушению “любовной лодки”, оставалось неизвестным. Спустя пять лет, в десятом томе полного собрания сочинений Маяковского, выходящего под редакцией Л. Брик, было опубликовано несколько набросков, сделанных Маяковским, как предполагается, в период работы над поэмой “Во весь голос”. В одном из этих набросков есть строки:

*Уже второй. Должно быть, ты легла.
В ночи млечпуть — серебряной Окою.
Я не спешу, и молниями телеграмм
мне незачем тебя будить и беспокоить.
Как говорят, инцидент исперчен.
Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчёте. И не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.*

Автор примечаний В. Катанян, очевидно, не без одобрения редактора, утверждал, будто эти строки “обращены” к Л. Брик. На самом деле они имели другой адрес. Несмотря на это и Л. Брик, и её друзья по сие время продолжают твердить, будто Маяковский до конца жизни терзался любовью к ней. Они изображают дело так, будто, кроме неё, у поэта не было другого солнца в небе. В 1968 году, когда в “Огоньке” появилась статья “Любовь поэта”, опровергающая подобные утверждения, сестра Л. Брик – Эльза Триоле – напечатала в парижской “Литерэр Франсэз” желчную статью, где писала, будто “Л. Брик посвящено всё творчество Маяковского”. “Это имя, – вещала Триоле, – Маяковский поставил на каждом томике, и ещё, и ещё раз в начале своего полного собрания сочинений, которое начало выходить при жизни поэта”. На самом деле поэт посвятил ей несколько лирических произведений раннего периода, а на поэме “Про это”, написанной в конце 1922 – начале 1923 года, поставил “Ей и мне”. Самое лучшее своё произведение – поэму

“Владимир Ильич Ленин” – Маяковский посвятил Российской коммунистической партии, а поэмы “150.000.000”, “Во весь голос” не имеют посвящения. Неверно утверждение Э. Триоле и относительно “каждого томика”, и относительно пожизненного собрания сочинений поэта. Маяковский выпустил много “томиков” (“255 страниц Маяковского”, Маяковская галерея”, “Песни рабочим”, “Париж”, “Моё открытие Америки”, “О Курске, о комсомоле, о мае...”, “Без доклада не входить” и др.), на которых нет никаких посвящений. На первом томе Полного собрания сочинений, начавшем выходить при жизни поэта и подготовленном им самим, были обозначены три буквы – Л. Ю. Б. Но кто об этом позаботился: автор или (что более вероятно) редактор сочинений О. Брик? Все прежние посвящения отдельных произведений Лиле Брик (“Облако в штанах”, “Флейта-позвоночник”, “Человек”, даже “Ей и мне” к поэме “Про это”) в собрании сочинений сняты.

После смерти Маяковского Л. Брик стала назойливо выдавать себя за “вдову” Маяковского, а её друзья и сестра Э. Триоле всячески старались закрепить за нею это звание. Но Маяковский никогда не был мужем Л. Брик. В анкетах при выезде за границу, начиная с 1923 и по 1929 год, он неизменно указывал: “холост”. Да и как Л. Брик могла стать вдовой Маяковского, если она не расставалась со своим мужем О. Бриком вплоть до его смерти в 1945 году, а потом стала супругой В. Катаняна?

Как было показано в статье “Любовь поэта”, Л. Брик не была ни первой, ни последней любовью Маяковского. Первой его любовью была Мария, описанная в поэме “Облако в штанах”, где обрисован и трагический исход этой любви. Не успел утихнуть первый, говоря словами поэмы, “пожар сердца”, как молодой поэт попадает в пламя новой любви. В июле 1915 года он знакомится с Л. и О. Бриками и позже в литературной автобиографии называет это знакомство “радостнейшей датой”. Раздумывая над этим определением, я всегда задавал себе вопрос: что это, жест необыкновенного рыцарства или, может быть, глубоко спрятанная ирония, шутка? Правда, автобиография в первом её варианте была опубликована в октябре 1922 года, следовательно, до написания поэмы “Про это”, когда Маяковский основательно разбирался в своих отношениях с Л. Брик. И всё-таки запись о знакомстве с Бриками воспринимается как некая гипербола. Ведь на самом деле любовь Маяковского к Л. Брик, как можно видеть из стихотворения-письма “Лилечке”, из поэмы “Флейта-позвоночник” и “Про это”, была отнюдь не радостной. Прочтите начало первой главы поэмы “Флейта-позвоночник”:

*Вёрсты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая?
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?*

И дальше, в конце той же главы, обращение поэта к всевышнему:

*Делай, что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь? —
убери проклятую, ту,
которую сделал моей любимой.*

Разве мог писать так поэт, испытывающий радость любви? Вообще странной до ужаса была эта любовь поэта и все его взаимоотношения с обоими Бриками. Во-первых, когда Маяковский познакомился с ними, они уже были женой и мужем. Во-вторых, он, Маяковский, воспитан в прекрасной русской трудовой, демократической семье, прошёл великолепную школу революционного большевистского подполья. Они, Л. и О. Брики, — оба выходцы из богатых еврейских семей, решительно чуждые тем идеалам и стремлениям, какими жил Маяковский. Как могло произойти его сближение с Бриками? Много раз спрашивал я об этом родных Маяковского, его мать, сестёр и всегда получал один и тот же ответ:

— Он был молод, неопытен, честен. Только что пережил несчастную любовь к Марии Денисовой. А тут появилась Лиля Брик. Она была старше летами и опытнее в жизни. Приласкала его, а он за ласку готов был отдать всё. И, действительно, отдал. А они, Брики, так крепко взяли его в свои руки, что потом, как ни пытался он вырваться, это ему не удавалось.

Известно, что трагическая любовь Маяковского к Л. Брик закончилась поэмой “Про это”, написанной в конце 1922-го — начале 1923 года. Уже в 1924 году в стихотворении “Юбилейное” поэт признавался, что “любви пришёл каюк”, а в стихотворении “Тамара и демон”, опубликованном в следующем году, с грустью констатировал: “Любви я заждался, мне тридцать лет”.

Вполне естественно, что у Маяковского могли появиться новые увлечения. И они, конечно, появились. Е. А. Лавинская, близко знавшая как Маяковского, так и Бриков, рассказывает: в 1927 году стало известно, что Маяковский собирается жениться на одной девушке и что это очень беспокоит Л. Брик:

“...Лилия ходила расстроенная, злая... Она говорила, что он, Маяковский, по существу, ей не нужен, он всегда невероятно скучен, исключая время, когда читает стихи.

— Но я не могу допустить, чтобы Володя ушёл в какой-то другой дом, да ему самому это не нужно...”

Дальше в воспоминаниях Е. А. Лавинской сказано: “Безусловно, уход Маяковского был неприемлем не только для Лили Юрьевны, но, в такой же мере, для Осипа Максимовича. Из дома ушла бы слава и всё то, что за ней следует”.

Вот в чём дело. Именно в этом — в корыстных интересах Бриков — заключалась их необыкновенная “привязанность” к Маяковскому. Эта хитрая семейка попросту взяла его в плен и не выпускала из своих рук, так как он был нужен им и для славы (кто бы знал о Бриках, не будь Маяковского?), и для того, что “за ней следует”, то есть, для денег и лёгкой, нетрудовой жизни. Ибо, как заявил Михаил Кольцов: “Брики всю жизнь паразитировали на Маяковском”. Вот почему, по мере того как росла слава Маяковского и возрастали его гонорары, усиливалась и “привязанность” к нему Бриков. Вместе с тем, усиливались опасения, что Маяковский может уйти от них, и они решают навечно привязать его к себе.

В 1926 году Брики, пользуясь добротой Маяковского и его мягким характером, предприняли хитрый и жестокий шаг: они поселились в квартире, полученной и устроенной Маяковским в Гендриковом переулке. Позже Л. Брик сочинила легенду, будто они — Маяковский и Брики — прожили жизнь “и духовно, и, большей частью, территориально, вместе”. На самом деле только с 1926 года у них была общая квартира, причём Маяковский сохранил комнату в Лубянском проезде и большую часть времени проводил там. Квартира в Гендриковом переулке приковала Маяковского к Брикам, он содержал и квартиру, и обоих Бриков. Но они, Брики, заботились не только о настоящем, но и о будущем. Хитроумный О. Брик прибил на двери квартиры дощечку, на которой было написано: Брик, Маяковский. После смерти поэта Брики при поддержке друзей устроили в Гендриковом переулке музей, который хотя и носил имя Маяковского, но больше всего пропагандировал их, Бриков. Сатрапы Бриков, обосновавшиеся в музее Маяковского, тщательно собирали и публиковали то, что возвеличивало Бриков (см. сб. “Маяковский в воспоминаниях современников”, подготовленный Н. Реформатской и изданный в 1963 году), и также старательно поддерживали то, что принижало великого поэта, искажало его облик (см. сб. “Новое о Маяковском”, осуждённый постановлением ЦК КПСС от 31 марта 1959 года). Бриковцы из музея Маяковского в течение двадцати лет тщательно прятали от советской общественности потрясающие своей правдивостью воспоминания Е. А. Лавинской, а когда мы решили опубликовать их, пытались воспрепятствовать этому. Их единомышленник А. Дымшиц тиснул в “Литературной газете” статью: “Бережнее: Маяковский”, где старался скомпрометировать Лавинскую, объявил её чуть ли не умалишённой. Но есть и другие свидетели, которые подтверждают правильность ужасающей картины, нарисованной Е. А. Лавинской. Одному из этих свидетелей* в своё время дове-

* К сожалению, пока я не могу назвать имени этого лица. Как это ни странно, некоторые свидетели трагической жизни Маяковского до сих пор отказываются давать открытые показания, боясь неприятностей от Л. Брик. В связи с этим мне вспоминается, как однажды сестра поэта О. В. Маяковская предупредила меня и Людмилу Владимировну: “Вы не забывайте, Брики — страшные люди, они способны на всё”.

лось разбирать архив Маяковского, в том числе его переписку, которая потом была уничтожена Л. Брик. Вот что рассказывает этот свидетель в записке, переданной Л. В. Маяковской: “Одновременно с поэмой “Про это” Маяковский писал письмо-дневник, обращённое к Л. Ю. Как известно, во время написания поэмы В. В. и Л. Ю. не встречались...”

Из письма видно, как не щадили Маяковского, как терзали его по пустякам, как пренебрегали его любовью, его достоинством, как мало заботились о нём. Как смертельно был он одинок и как мало понимала женщина, сыгравшая такую страшную роль в его судьбе, так воспетая им, — какой гениальный человек жил рядом с ней.

Это письмо — обвинительный документ против Л. Ю. . .

В бумагах Маяковского была записка Л. Ю. Брик, в которой говорится, что, когда начался их роман, они обещали друг другу сказать, когда остынут, когда любовь пройдёт.

“Я больше не люблю тебя, — пишет Л. Ю., — да и ты, как мне кажется, стал ко мне равнодушен, так что особой боли это тебе не причинит”... Несмотря на то, что между ними не было уже близости, Л. Ю. не отпускала Маяковского и не давала ему устроить свою жизнь. В 1928 г <оду> Маяковский был в Крыму с Нат. Ал. Брюхоненко, в которую был очень влюблён. В архиве Маяковского было письмо Л. Ю., которое она писала ему с дачи в Пушкино, где жила с О. Бриком и Львом Кулешовым:

“Володя, я слыхала, что ты хочешь жениться. Не делай этого. Мы все трое (т. е. она, О. М. Брик и В. В. Маяковский) женаты друг на друге и больше жениться нам грех”. Последняя фраза так поразила меня, что я запомнила её дословно.

Она не дала Маяковскому устроить свою жизнь. Ей нужно было, чтобы его слава и его деньги были в её доме. Что была бы она без Маяковского? А он уже тяготился той жизнью, которую вёл в этом странном супружестве. Она была свободна и на глазах Маяковского делала всё, что хотела. Но для него такой свободы не было. Он был прямой человек, а Лиля — очень ловкая женщина, очень умная в своих житейских целях. Всё её благополучие держалось на славе и деньгах Маяковского. И она крепко держала его путём сложных интриг”.

Могут спросить: а что же Маяковский? Как мог он сосуществовать с этими чуждыми ему и весьма коварными людьми? Маяковский, как свидетельствуют родные и друзья, знавшие его с детства, был рыцарски благороден, добр и доверчив. Это была “руставеловская натура”, как однажды сказал о Маяковском друг его детства Х. Н. Ставроков. За малейшую услугу он старался заплатить стократ, за маленькое доброе дело — всей жизнью. А Брикам он был обязан. Ей — за ласки, на которые Л. Брик, по свидетельству её же друзей, была мастерица. Осипу Брику — за то, что он “пожертвовал” своей женой. Кроме того: в самом начале знакомства О. Брик, имевший от богатых родителей немалые средства, показал себя по отношению к молодому поэту меценатом и, как записано в автобиографии Маяковского, “радовал” тем, что покупал его стихи “по 50 копеек строку”. И хотя все, знавшие О. Брика, понимают, что он ничего не делал себе в убыток, Маяковский платил ему за это всю жизнь.

И всё же, как ни старались Брики удержать Маяковского в “своём доме”, это не удавалось им.

Сердце поэта жаждало любви. И вот она пришла — новая настоящая любовь. Осенью 1928 года, будучи в Париже, Маяковский встретился с русской красавицей Татьяной Яковлевой, переехавшей в Париж из России по вызову дяди — художника А. Е. Яковлева, который поселился во Франции ещё до Октябрьской революции. Маяковский полюбил Татьяну Яковлеву. Именно ей он слал “молнии телеграмм”, о которых говорится в приведённых впереди стихах. Он изливал в них свою страстную любовь и страшную тоску по любимой. Из писем и телеграмм Маяковского, приведённых в статье “Любовь поэта”, можно видеть, что он хотел забрать Татьяну в Советскую Россию, звал её уехать с ним на Алтай, так как понимал, что в Москве, вблизи Бриков, ему не будет жизни. В письме от 14 апреля 1929 года Маяковский писал ей: “Подумай и собирай мысли (а потом вещи) и примерься сердцем своим к моей надежде взять тебя на лапы и привезти к нам, к себе в Москву”. В письме от 12 июля того же года: “Не может быть такого случая, чтобы мы с тобой не оказались во все времена вместе”. Между этими письмами одна за другой летят в Париж к Т. Яковлевой телеграммы-молнии Маяковского: “Тоскую, стараюсь

увидеть скорее”, “очень затосковал”, “тоскую невероятно”, “тоскую по тебе совсем небывало” и ещё, ещё в том же роде.

12 июля 1929 года Маяковский писал Т. Яковлевой: “Дальше Октября (назначенного нами) мне совсем никак без тебя не представляется. С сентября начну себе приделывать крылышки для налёта на тебя”. 15 июля поэт отправился в лекционную поездку в Сочи и другие города Черноморского побережья, оттуда в Крым и только 22 августа вернулся в Москву. В сентябре он начал хлопотать о поездке в Париж, помня данное Т. Яковлевой обещание встретиться в октябре. Но встреча эта не состоялась: ему, впервые за много лет, отказались выдать визу для поездки за границу. Это был потрясающий удар для Маяковского, так как отказ в визе не только лишил его возможности встретиться с любимой женщиной, но и бросил на него тень относительно его благонадёжности, что было на руку врагам поэта. Не случайно именно в эти месяцы “критики из-за угла” особенно усиленно нападают на Маяковского, рвут и терзают его, как бешеные собаки. Маяковский, конечно, не мог сообщить всего Т. Яковлевой, и в письме от 5 октября он говорит: “Нельзя переписать и переписать всех грустностей, делающих меня молчаливее”.

История отношений Маяковского с Татьяной Яковлевой закончилась так же трагически, как и история его любви к Мари Денисовой: она вышла замуж за другого. Причём это решение было принято ею неожиданно. В письме к матери от 3 августа 1929 года, желая успокоить её, Т. Яковлева писала: “Замуж же вообще сейчас мне не хочется. Я слишком втянулась в свою свободу и самостоятельность”. Намекая, что есть и другие претенденты на её руку, она там же высказывала предпочтение Маяковскому: “. . . Всё другое ничто рядом с М.; я, конечно, скорее всего, его выбрала бы”. Собственно, она уже выбрала его, Маяковского. В. И. и В. Ф. Шушаевы, жившие в то время в Париже и близко знавшие Т. Яковлеву, рассказывают:

“Таня ожидала Маяковского. Но потом она как-то пришла к нам и с грустью сообщила, что он не получил разрешения на поездку в Париж.

Мы видели, что Таня очень переживала это, ей было очень тяжело. Спустя немного времени Таня вышла к нам и сказала, что выходит замуж за викарета дю Плесси. Мы были поражены: как, почему? Она что-то говорила, что не может поехать в Россию и т. п.”

Знала ли об отношениях Маяковского и Т. Яковлевой Л. Брик? Конечно, знала. Л. Никулин в воспоминаниях о Маяковском, описывая отъезд его из Парижа весной 1929 года, среди провожающих называет “красивую женщину” (это была Татьяна Яковлева), а также Эльзу Триоле и её мужа Луи Арагона. А из воспоминаний Шушаевых мы знаем, что Эльза Триоле относилась к Татьяне Яковлевой “очень недружелюбно”, “говорила о ней всякие нелепости”. Разумеется, она информировала обо всём свою сестру, и Л. Брик сделала всё возможное, чтобы не допустить встречи Маяковского с Т. Яковлевой. А как она могла добиться этого, будет сказано дальше.

Маяковский очень тяжело переживал разрыв с Татьяной Яковлевой. Поэт Василий Каменский — единственный, кто остался верным Маяковскому в эти тяжчайшие для него дни, — свидетельствует, что “он (Маяковский) долго не хотел верить в её замужество”, “нигде не находил себе места. Нервничал до крайности, метался. . .”

Говорят, что в это время Маяковский увлёкся другой женщиной — В. Полонской, тогда молодой актрисой Московского художественного театра. Но Василий Каменский категорически утверждает, что “Полонская особой роли не играла”. Это подтверждается и другими свидетельствами. Да и сама В. Полонская в воспоминаниях, написанных в 1938 году, говорит: “Я убеждена, что причина дурных настроений Владимира Владимировича и трагической его смерти вне наших взаимоотношений”.

Тяжёлые переживания Маяковского, вызванные любовной трагедией, усугублялись многими обстоятельствами. В. Каменский отмечает, что в последние месяцы жизни Маяковский “был одинок, как никогда”. И это действительно было так. Брики, стремясь держать Маяковского в “своём доме”, сумели изолировать его от русских писателей, от его грузинских друзей, от друзей революционной юности и даже, в определённой мере, от матери и сестёр, любивших его горячо, нежно. Как указано в инструктивной беседе Л. и О. Брик с работниками московского музея Маяковского в 1938 году, у них в доме “завсегдатаями были Левин, Гринкруг, Асеев, Кирсанов, Катанян, Кассиль”.

К этому ряду ещё можно причислить Р. Райт, Д. Штеренберга, В. Шкловского, В. Катаева, кинорботников Э. Шуб, Л. Кулешова. Таким образом, за исключением русского поэта Н. Асеева, получался весьма, как говорил Маяковский, “однообразный пейзаж”. Они составляли “ближайшее окружение” Маяковского, считались его “ближайшими друзьями”. Но что это были за друзья?

Истинная дружба, прежде всего, предполагает помощь и поддержку в работе, в борьбе. Маяковский всем помогал, поддерживал в трудную минуту, об этом они сами проговариваются в некоторых своих воспоминаниях. А они? Помог ли кто-нибудь из них Маяковскому? Нет, ни в чём и никогда. Голос Маяковского – его великолепную неповторимую декламацию – помог записать ленинградский педагог Я. А. Назаренко, который никогда не бывал в гостинной Бриков. Ни Брики, ни их друзья, причисляющие себя к друзьям Маяковского, – никто и никогда не позаботился застенографировать его интереснейшие литературные лекции и доклады. Маяковский написал девять киносценариев, с трудом поставил два в Ялтинской и Одесской киностудиях, бился, как рыба об лёд, стараясь осуществить постановку остальных, написанных талантливо, с богатейшей выдумкой. Но никто – ни В. Шкловский, считавшийся профессиональным сценаристом и умевший протолкнуть даже посредственные сценарии и получить деньги даже за вовсе негодную работу, ни, уже тогда крепко обосновавшиеся в кино, С. Эйзенштейн, Л. Кулешов, С. Юткевич, М. Ромм, Э. Шуб, – никто из них никогда не помогал Маяковскому.

Как были бы благодарны наш народ и всё человечество, если бы они записали на киноплёнку хоть один день из жизни Маяковского, показали, каким он был в жизни. Не, они и этого не сделали.

А как повели себя эти так называемые друзья поэта в последние месяцы его жизни, когда он, переутомлённый, больной, устраивал выставку-отчёт “20 лет работы”? Из воспоминаний Л. Брик мы узнаём, что в этой “затее” ему помогала какая-то Зина Свешникова и какие-то, оставшиеся неизвестными, “мальчики”. А друзья? Они не только игнорировали Маяковского, объявили ему бойкот, но и присоединились к той ожесточённой и всё нараставшей в своём ожесточении травле поэта, которую вели “критики из-за угла”. Трое бывших лефовцев – В. Перцов, С. Третьяков, Н. Чужак – напечатали 2 декабря 1929 года в “Литературной газете” письмо, где глумились над Маяковским и похвалялись, что они ещё в “ЛЕФе” вели против него борьбу. Семён Кирсанов опубликовал 3 февраля 1930 года в “Комсомольской правде” пасквильное стихотворение “Цена руки”, всем духом своим направленное против Маяковского:

*Пемзой грызть,
бензином кисть облить,
Чтобы все
его рукопожатья
Со своей ладони
соскоблить, —*

так выразил С. Кирсанов отношение к Маяковскому бывших лефовцев, отказавшихся подавать ему руку.

Может быть, Л. и О. Брики поддержали Маяковского в эти дни – тяжелейшие для него дни? Нет, и они остались безучастными к его заботам и страданиям. Добившись разрыва его отношений с Татьяной Яковлевой, Л. и О. Брики укатили в далёкий Лондон погостить у её мамы. Позже одной из причин смерти Маяковского выставлялось “отсутствие привычно близких людей”, то есть Бриков. Но это откровенная ложь. На самом деле и Брики, и их друзья, выдававшие себя за друзей Маяковского, объединились с его исконными врагами. Движимые, с одной стороны, корыстными побуждениями, с другой – непримиримой ненавистью космополитов и сионистов к великому русскому поэту, они намеренно преследовали его, стараясь причинить ему как можно больше страданий. И даже если то, что произошло 14 апреля 1930 года, было действительно самоубийством, то и тогда они – вся эта шайка “завсегдатаев” бриковского дома и, в первую очередь, сами Л. и О. Брики – виноваты в смерти Маяковского.

Но было ли то, что произошло 14 апреля 1930 года, действительно самоубийством?

Враги Маяковского, обрадованные его смертью, разумеется, не выказывали сомнения, что это было так. Причём враги за рубежом Советской страны объясняли смерть поэта тем, что он будто бы пришёл в противоречие с советской действительностью, в несогласие с политикой советской власти и коммунистической партии. Враги поэта внутри страны – те, которые так жестоко травили его при жизни, – старались подвести под эту смерть “теоретический базис”. Они, как, например, Л. Авербах в поспешно опубликованной брошюре “Памяти Маяковского”, пытались доказать, что виной тому – “бешеная надорванность неврастенического интеллигента Маяковского”, что “он сам оказался жертвой цепной силы старого мира”. Как это не покажется странным, но много лет спустя в таком же духе о смерти Маяковского высказывалась Л. Брик. В статье “Предложение исследователям”, напечатанной в 1966 году в журнале “Вопросы литературы”, подбором цитат она старалась доказать “сходство ощущений” Маяковского и героев Достоевского – Родиона Раскольникова и Ивана Карамазова. В других публикациях и в интервью для зарубежной печати Л. Брик необоснованно утверждала, будто Маяковский “был неврастеник”, “болезненно боялся старости”, и что причиной его смерти явилась “своего рода мания самоубийства”.

Все эти и им подобные утверждения врагов поэта и так называемых его “друзей”, вроде Л. Брик, начисто опровергаются, прежде всего, самим творчеством Маяковского, его героической жизнью, которая вся, от малых лет и до последних дней была наполнена здоровым оптимизмом и без остатка отдана великой борьбе за коммунизм. Верно только то, что в последние недели Маяковский болел гриппом, что к этому времени у него обнаружилось нервное переутомление, что он переживал тяжёлую личную драму. Скажут: а разве этого недостаточно? Нет, для Маяковского, человека могучей силы воли, которую он великолепно проявил на всём своём трудном жизненном пути, этого далеко не достаточно. По крайней мере, так утверждали и утверждают многие и многие близко знавшие Маяковского, в том числе его родные. Мать и сёстры поэта, с которыми я не однажды беседовал на эту грустную тему, всегда говорили о самоубийстве как о чём-то невероятном, невозможном для Маяковского с его страстным характером борца.

А как же, спросят меня, официальное сообщение о самоубийстве поэта? Выходит, оно ложное? А как же “Предсмертное письмо Маяковского”, где сказано: “В том, что умираю, не вините никого...” На эти вопросы я отвечу дальше, а сейчас скажу, что на протяжении сорока лет, прошедших со дня смерти Маяковского, мне множество раз и от разных людей приходилось слышать предположения и прямые утверждения, что самоубийства как такового не было...

Ещё 17 апреля 1930 года, в день похорон Маяковского в объединённом выпуске “Литературной газеты” и “Комсомольской правды” появилась статья Михаила Кольцова, где было сказано:

“Нельзя с настоящего, полноценного Маяковского спрашивать за самоубийство. Стрелял кто-то другой, случайный, временно завладевший ослабленной психикой поэта-общественника и революционера. Мы, современники, друзья Маяковского, требуем зарегистрировать это показание”.

Год спустя, 14 апреля 1931 года, в “Литературной газете” Николай Асеев опубликовал “Отрывки поэмы” с указанием, что в них обрисован один из эпизодов, “относящийся к Маяковскому”. В “Отрывках поэмы” есть такие строки:

*Ничего, что губы, оледенев,
Обронили октябрьской листвы слова.
Я останусь с тобой наедине:
Расскажи мне, кто в этом виноват?*

*Ничего, что воском сплылась ладонь,
Ничего, что грозен глаза кожух,
Разбудив молчанье на сотни ладов,
Я ухо к ране плотней приложу.*

*Я знаю, что к сердцу свинец неся,
Поднимая стотонную сталь ствола,
Ты нажим гашетки нажал не сам,
Что чужая рука твою вела.*

*Что какой-то вымуштрованный гипнотизёр,
Запропавший за сплывшиеся этажи,
На тебя ненавистный уставил взор
И в безволье крикнул тебе: “Не дыши”, —*

*Что за нами повсюду ведёт наган,
Неуловимая тень врага,
Что и так, и этак в твоём лице
Напоследок песня взята на прицел.*

*Ничего, что губы, оледенев,
Обронили листвы октябрьской слова.
Я останусь с тобой наедине,
Расскажи мне: кто тебя — наповал?*

По всему видно, и в последующие годы Н. Асеев не переставал думать об обстоятельствах смерти Маяковского. В феврале 1952 года он пригласил меня к себе на квартиру в проезде МХАТ специально для разговора на эту тему. Привожу запись этой беседы, сделанную мною на следующий день, 8 февраля 1952 года.

“О самом самоубийстве Маяковского Асеев высказывает сомнение: действительно ли это было самоубийство, а не убийство. Он говорит, что, когда приехал на квартиру Маяковского, там уже был ставленник Ягоды — Агранов. Он отвёл его в другую комнату и прочёл предсмертное письмо Маяковского, не дав его в руки. Асеев сам не читал этого письма и не видел его.

А в 1942 году — рассказывает Асеев — к нему позвонили по телефону. Звонивший сказал, что он приехал с фронта на два дня и должен возвращаться. А у него есть поручение — передать ему, Асееву, документ, свидетельствующий, что самоубийство Маяковского в действительности было убийством. “Почему именно мне должен быть передан этот документ?” — спросил Асеев. Тот ответил, что он ничего не знает, что ему так поручили. Асеев не знал, как поступить, — он опасался провокаций, так как получал уже подлые вражеские анонимки. Он попросил звонившего позвонить ему через полчаса, а сам позвонил Осипу Брику. Брик посоветовал поостеречься и предложить звонившему сдать документ в следственные органы. Через полчаса тот снова позвонил, и Асеев сказал ему, чтобы он передал документ следственным органам”.

Вспоминая, закончив свой рассказ, Николай Николаевич хлопнул ладонью по колену и с горечью сказал:

— Как я теперь жалею, что не встретился с этим человеком. Я ведь, знаете, не политик, политиком мы всегда считали Осипа Брика.

Предположение о том, что Маяковского убили, высказывала и Е. А. Левинская. Вспоминая события 1930 года, она говорит:

“В этом году великий поэт был окружён врагами, которые давили, сжимали в психологические тиски (многого мы не знаем), — и самоубийство 14 апреля — это убийство... Именно так ощущаю я смерть Маяковского”.

Многим, особенно в Грузии, где доживал свои последние годы поэт Василий Каменский, известно, что он убеждённо говорил, что Маяковский был убит.

Какие же есть основания — и есть ли? — предполагать, что происшедшее 14 апреля 1930 года было в действительности не самоубийством, а убийством? Такие основания есть. Имеется ряд свидетельств о том, что Маяковский в последние годы, и особенно в последние месяцы жизни сам чувствовал какую-то угрозу, опасался нападения. Об этом рассказывал мне Н. Асеев в беседе, которая состоялась 7 февраля 1952 года. Привожу его рассказ по записи того времени:

“Незадолго до смерти Маяковского Асеев шёл с ним по улице. Маяковский был молчалив и мрачен, как никогда.

– Володя, Вы что такой сегодня? – спросил я.

– Вы всё равно не поймёте, – ответил Маяковский.

Он зашагал ещё шире и на десяток шагов ушёл вперёд от меня. Я догнал его и снова стал приставать.

– Да что с Вами, Володя?

Маяковский остановился и, подняв ладонь, дунул на неё:

– Вот видите, сегодня я есть, а завтра вот так – ф-ф-фу! – сдунут меня, и меня нет.

– Да что Вы, Володечка, – возразил я.

Маяковский отмахнулся:

– Ничего вы не понимаете, что происходит”.

Н. Н. Асеев считает, что Маяковский имел, очевидно, какие-то угрозы со стороны врагов, он опасался их мести, их диверсий.

Об этом говорило и то, что он всегда имел при себе револьвер, носил его в кармане, не случайно и палка у него была с тяжёлым, налитым свинцом набалдашником, вроде кистеня, он имел такую железную штуку, которая надевается на руку для драки, и даже каблуки его ботинок были с тяжёлыми подковами.

– Что это Вы, Володя, вооружены как броненосец, – пошутил я как-то, рассказывает Асеев.

– А Вы не понимаете, для чего это? – спросил сердито Маяковский.

Из его ответа было ясно, что он имел в виду необходимость самообороны”.

О том, что Маяковский постоянно имел при себе оружие и был весьма насторожен, говорят и другие свидетели. П. С. Кочетова, служившая домработницей в квартире Маяковского-Бриков в Гендриковом переулке, рассказывает: “Он всегда, когда спать ложился, маленький револьвер рядом с собой клал”.

Чем объяснить такую настороженность? Откуда Маяковский мог ожидать угрозы? Думаю, что некоторое разъяснение этому может дать запись беседы с Н. Асеевым, сделанная Е. А. Лавинской в 1938 году и тогда же переданная Л. В. Маяковской. Лавинская рассказывает о своей встрече с Асеевым, имевшей место 10 апреля 1938 года, и приводит его слова, относящиеся к последним годам жизни Маяковского:

“Постепенно его начали окружать враги – в его доме – Воловичи и т. д. – это были люди, которые выросли на “ЛЕФ”, это были не просто гости, а люди, которые тормозили его творчество, которые выслеживали, – это были приставленные к нему враги”.

Сама Лавинская к числу людей, которые выслеживали Маяковского и вместе с тем прикидывались его друзьями, относит Я. Агранова: “Он и его жена стали постоянными посетителями бриковского дома. Он стал своим человеком не только для Лили Юрьевны, казалось, он пламенно любил Маяковского...” А у Осипа Брика, как сообщает Лавинская, в числе друзей оказался Авербах, которого Маяковский называл мерзавцем.

Почему и зачем понадобились Брикам такие друзья? Ответ может быть один: они понадобились им и появлялись в “доме Бриков” потому, что между ними – Воловичами, Авербахом, Аграновым, и Бриками – образовался заговор против Маяковского. Судя по некоторым фактам, заговор этот складывался так.

Когда Брикам стало известно об отношениях Маяковского и Яковлевой, они приняли меры чтобы не допустить их сближения. Вот как эти обстоятельства рисует Л. В. Маяковская в беседе, застенографированной в 1964 г<оду>.

“Я уяснила себе, что была проведена целая кампания, чтобы его намерение жениться на ней провалилось. С одной стороны, там, во Франции Эльза Триоле следила за развитием этого романа, а с другой стороны – Лиля Брик, в интересах которой было прикончить этот роман. Лиля Брик повлияла, чтобы ему не дали паспорт для поездки во Францию. Сделала она это через Агранова, который был помощником Ягоды, наркома внутренних дел. Наш сосед Бродский в то время работал там и рассказывал мне, что Маяковскому было отказано в визе на поездку во Францию будто из опасения, что он там останется. Это очень обидело Володю. Он считал, что ему выражено недоверие. Отказ он получил потому, что ходили слухи, будто Маяковский хочет жениться на эмигрантке и там остаться. Лиля Брик и все её друзья говорили об этом, что не надо ему давать пропуск”.

Картина, нарисованная Людмилой Владимировной, и в деталях, и в целом подтверждается свидетельствами других лиц. Поэтому можно считать установленным, что разрыв между Т. Яковлевой и Маяковским произошёл не сам по себе, а вследствие коварных действий Бриков, Триоле и Агранова. А то, что Брики действовали совместно с Аграновым, это тоже вне всякого сомнения. П. С. Кочетова свидетельствует, что Агранов “имел дело с Лилей Брик и приезжал к ней, когда не было Маяковского”. А по своему служебному положению он обладал достаточной властью, чтобы помешать Маяковскому получить визу на поездку в Париж. Что касается Агранова, то он действовал не только в угоду Л. Брик. Сионист и враг социализма, проникший в органы государственной безопасности, он заинтересован был в том, чтобы вывести Маяковского из рядов активнейших борцов за генеральную линию коммунистической партии, устранить его с литературной и политической арены.

Но и добившись разрыва отношений между Маяковским и Яковлевой, Брики не могли успокоиться. Маяковский явно решил уйти из “дома Бриков”. Он хлопотал о новой квартире — для себя.

4 декабря 1929 года, выступая в клубе “Пролетарий”, поэт, между прочим, сказал: “Сейчас я прочту ещё одно стихотворение о предоставлении мне жилой площади, хотя у меня такой нет, но она мне очень нужна”. Были и другие, более важные доказательства того, что Маяковский окончательно порывал с Бриками и всем их окружением, в которое входил и маскировавшийся другом Агранов.

Ещё в 1926 году, когда Брики поселились в квартире Маяковского в Генриковом переулке, он написал киносценарий “Как поживаете?”, где изобразил собственную жизнь. В одном из эпизодов мы видим дверь квартиры в Гендриковом, на которой прикреплена (как было в действительности) дощечка с надписью: “Брик, Маяковский”. Но в самом сценарии присутствует только Маяковский, а Бриков нет, как будто они уже не существуют. В 1928–1929 годах Маяковский одну за другой пишет пьесы “Клоп” и “Баня”. В первой в острых сатирических сценах изображена пошлая семейка Ренессансов — Давид Осипович, Розалия Павловна и Эльзевира Давыдовна, а во второй с такой же резкостью и остротой нарисован “портретист, баталист, натуралист” Исаак Бельведонский. Можно представить, как отнеслись к этим пьесам и названным персонажам Брики и их “завсегдатаи”. Они были не так глупы, чтобы не понять, что Маяковский изобразил их среду, их самих. Намёк на это содержится даже в именах персонажей: Давид Осипович и Осип Максимович, Розалия и Лиля. Вот почему пьесы Маяковского подвергались такой жестокой травле со стороны *коганов*, вот почему эти прекрасные, партийно-коммунистические произведения были так прочно и надолго ошельмованы ими и смогли вырваться из-под гнёта вражеских наветов только в 1951 году, после того как космополитизму, представляющему собой одну из разновидностей сионизма, был нанесён, особенно в области литературной критики, ощутительный удар. И если никто из критиков, писавших о “Клопе” и “Бане”, не обвинил их автора в антисемитизме (ведь у нас считается так: если отрицательный герой произведения — еврей, то это уже антисемитизм), то только потому, что в данном случае это показалось бы семье Бриков отнесённым на свой счёт: Маяковский — и вдруг антисемит. Да он, конечно, и не был антисемитом, он лишь на собственном опыте узнал, как отвратительны люди типа Ренессансов и Бельведонского, как гнусна атмосфера, в которой цветут такие цветы, как Розалия Павловна Ренессанс и Лиля Юрьевна Брик.

Разумеется, Брики и их завсегдатаи, а также друзья и единомышленники в критике, не могли простить Маяковскому этого смелого, беспощадного обличения их собственной среды. Перед Бриками встал вопрос: как быть? Отпустить, потерять Маяковского — значило потерять и славу, и деньги. Остался один выход — убрать взбунтовавшегося поэта и постараться оставить за собой и его славу, и его наследство*.

И “бриковская душегубка”, как сказано в воспоминаниях Е. А. Лавинской, заработала именно в этом направлении. Это вполне отвечало и интере-

* Из сказанного впереди можно видеть, как долго — хотя и незаконно — пользовалась Л. Брик славой Маяковского, именуя себя “вдовой поэта”. Также незаконно она в течение многих лет получала доходы от издания произведений поэта, сумев забрать половину его наследства, тогда как другая половина выплачивалась троим Маяковским — его матери и двум сёстрам.

сам политических врагов поэта, так как попытки подорвать его при помощи клеветы и травли “критиков из-за угла” не дали нужных результатов: Маяковский продолжал беззаветно служить социалистической родине, советской власти и коммунистической партии, он начал писать поэму о первой пятилетке и каждый день давал своим стихом бой врагам социализма.

В сентябре 1929 года, когда Маяковский рвался в Париж к Татьяне Яковлевой, в “бриковском доме” решили не пускать его туда. И, как мы знаем, эта часть плана была успешно осуществлена: Маяковскому не дали визы, он не смог поехать и встретиться, как было условлено, с Т. Яковлевой, и та неожиданно вышла замуж. Мы знаем со слов В. Каменского, как тяжело Маяковский переживал этот разрыв. В это время в его жизни появляется ещё одна женщина – В. Полонская. Сама Полонская в воспоминаниях, написанных в 1938 году, изображает дело так, будто Маяковский был страстно влюблён в неё, не мог без неё жить, хотя, как мы видели, признаёт, что причина трагической смерти поэта “вне наших взаимоотношений”. Как же оценить этот эпизод в жизни Маяковского, какое значение в его трагедии мела В. Полонская? Существует мнение, что Полонская была той “соломинкой”, за которую пытался ухватиться гибнущий поэт. Это могло быть. Но есть и другое мнение: что Полонская была подставным лицом, через которое Брики и Агранов осуществляли свои коварные планы. Некоторые из свидетелей прямо утверждают, что Полонскую “подсунули” Маяковскому Брики. Это верно: именно они познакомили Маяковского с Полонской. Но, конечно, не для того, чтобы отвлечь его от Татьяны Яковлевой или утешить в любовном несчастье. Нет, расчёт их делался на то, чтобы вовлечь издёрганного, уставшего поэта в ещё одну трагическую ситуацию, чтобы добить его новыми переживаниями, так как Брики были уверены, что Полонская, бывшая замужем, не захочет порвать с мужем. Не исключено и другое: что Полонская вольно или невольно играла роль послушного орудия в выполнении разработанного Бриками и Аграновым плана.

Мне не известны детали их плана, но ясно, что он имел два варианта: заставить Маяковского самого уйти из жизни, а если не удастся – насильственно уничтожить его. Подготовка велась одновременно в двух планах. Враги поэта, с которыми объединились и некоторые из его “друзей”, необыкновенно усилили травлю Маяковского, стараясь подорвать его силы, вывести из равновесия и, попросту говоря, толкнуть его на самоубийство. Известно, что в последние месяцы на вечерах поэта всё чаще появлялись наглые провокаторы, которые шантажировали его, задавали оскорбительные вопросы и прямо спрашивали: “Маяковский, когда Вы застрелитесь?” О том, каков был характер этой провокационной деятельности, можно судить на примере последнего выступления Маяковского, состоявшегося за пять дней до смерти, 9 апреля 1930 года в Институте народного хозяйства имени Плеханова в Москве. Судя по имеющейся записи этого выступления, сделанной В. И. Славинским (кстати сказать, не принадлежавшим к “завсегдатаям” бриковского дома), этот вечер, организованный П. Лавутом, весь, от начала до конца, носил провокационный характер. В самом начале выступления Маяковский сказал, что его “едва уговорили выступать на этом вечере”, что ему “не хотелось, надоело выступать” и дальше:

“Когда я умру, вы со слезами умиления будете читать мои стихи. (Некоторые смеются.) А теперь, пока я жив, обо мне много говорят всякой глупости, меня много ругают. Много всяких сплетен распространяют о поэтах. Но из всех разговоров и писаний о живых поэтах обо мне больше всего распространяется глупости. Я получил обвинение в том, что я – Маяковский – ездил по Москве голый с лозунгом: “Долой стыд”. Но ещё больше распространяется литературной глупости”.

О том, что враги поэта имели и другой план на случай, если самоубийство не состоится, свидетельствует такой факт. Один из старейших советских писателей – К. Я. Горбунов – рассказывал мне со слов писателя Анатолия Виноградова, автора романа “Три цвета времени”, следующее: А. Виноградов встречался с Я. Аграновым по делам. В одну из таких встреч он застал у него Маяковского. Агранов зло, издевательски подшучивал над поэтом:

– Вот ты там во “Флейте-позвоночнике” говоришь: “Всё чаще думаю – не поставить ли лучше точку пули в своём конце”. Но ведь вы, поэты, любите похвастаться словом, а на деле вы трусы.

Маяковский что-то недовольно и обиженно буркнул в ответ. Агранов продолжал подначивать его в том же духе. Потом вынул револьвер и подал Маяковскому со словами:

— На вот, посмотрим, какой ты храбрый, хватит ли у тебя смелости “поставить пулю в своём конце”.

Маяковский взял револьвер и ушёл с ним.

Раздумывая над этим случаем, в истинности которого не может быть никакого сомнения, я задаю себе вопрос: для чего Агранов дал Маяковскому револьвер? Чтобы спровоцировать его на самоубийство? Но у Маяковского — Агранов отлично знал это! — был свой револьвер. И потом: Агранов мог дать Маяковскому револьвер без свидетелей, а почему он сделал это в присутствии третьего лица? Не знаю, как на это ответят специалисты следственных дел, а для меня ясно: Агранов дал Маяковскому револьвер, имея в виду, что при случае его можно будет убить из такого же оружия, а потом сказать: “Вот, я пошутил, а он и в самом деле застрелился”. Для этого и нужен был Агранову свидетель.

Так или иначе, а 14 апреля 1930 года произошло то, чего так ждали враги поэта и его так называемые “ближайшие друзья”.

Бриков в это время в Москве не было — они уехали в Лондон. А они ведь отлично знали, что Маяковский переутомлён, болен. Сама Л. Брик рассказывала об этом в воспоминаниях, опубликованных задолго до того, как она придумала объяснение, что Маяковский застрелился потому, что “боялся старости”. Но они уехали, так как это было необходимо. Необходимо по двум причинам. Во-первых, чтобы быть подальше от места преступления и, таким образом, снять с себя всякие подозрения в соучастии, если произойдёт прямое убийство. Во-вторых, на тот случай, чтобы, если произойдёт “самоубийство”, можно было бы сказать, как потом и говорилось, что одна из причин — “временное отсутствие привычно близких людей”. Вот, мол, уехали Брики, он не вынес одиночества и т. п.

Встаёт и другой вопрос: как могли уехать за границу Брики, если незадолго до этого отказали в заграничной визе Маяковскому? Известно, что в те годы к выездам за границу относились более строго. А Брики не имели никакого общественного веса, у Осипа Брика к тому же была весьма подпорченная репутация: выходец из буржуазной среды, человек сомнительных политических взглядов, после Октябрьской революции он каким-то образом проник в ряды Коммунистической партии, но в 1923 году был выброшен из неё. Понятно, что в этих условиях устроить Брикам поездку за границу мог лишь кто-то из очень влиятельных людей. Такой влиятельной особой в то время был Я. Агранов. Он выхлопотал Брикам визу и, как рассказывает П. С. Кочетова, даже провожал их на вокзале.

В связи с поездкой Бриков в Лондон в “Комсомольской правде” 10 января 1930 года появилась заметка под заголовком “Супружеская поездка на государственный счёт”. 14 января та же газета напечатала письмо, подписанное “От революционного фронта искусств (РЕФ)” Маяковским, оправдывающее Бриков. За ним последовало другое письмо — в поддержку первого, подписанное секретарём Федерации советских писателей Сутыриным и секретарём РАПП Лузгиным. Никогда ни та, ни другая организация не выступала в поддержку Маяковского — и вдруг такая забота о Бриках! Это ещё раз говорит о том, что кто-то был весьма заинтересован в их поездке.

Что же произошло 14 апреля 1930 года?

Несомненно, те, кто близко знал Бриков, могли бы многое прояснить в его загадочной смерти. Но они не сделали этого. Один из моих друзей — В. И. Семёнов — вспоминает, как ещё в 1940 году он просил Льва Кассилья рассказать, что же случилось с Маяковским? Кассиль ответил: “Я смогу рассказать об этом лет через десять”. Но ни через десять, ни через двадцать или тридцать лет он ничего так и не сказал — до самой своей смерти. Много знали и другие “завсегдашние бриковские дома”, но они предпочли молчать, понимая, что заговор против великого русского поэта основывался не только на корыстных расчётах Бриков, но и на объединившей всех участников этого преступления антисоветской, сионистской платформе.

Что касается “предварительного следствия”, которое было проведено неким Сырцовым, то оно было очень формальным и поверхностным. Это и понятно, так как во всём, что было связано со смертью Маяковского, явно или

тайно действовала чёрная рука Агранова. Было заявлено, что всё объяснено в “Предсмертном письме” Маяковского.

Мне не известно, подлинное ли это письмо, проверено ли оно экспертизой, и известно от Л. В. Маяковской, что в кругу “ближайших друзей” Маяковского некто умел очень ловко имитировать его почерк. Кроме того, письмо помечено 12 апреля, а смерть последовала 14 апреля, и существует другой документ – так называемый “план беседы Маяковского с В. Полонской”, который составлен тогда же, 12 апреля, а может быть, и позже, накануне их последней встречи. А в этом плане сказано: “Я не кончу жизнь, не доставлю такого удовольствия худ. театру”.

До сих пор единственным показанием о том, что и как произошло 14 апреля 1930 года, служат воспоминания В. Полонской. Она рассказывает, что утром 14 апреля Маяковский заехал за нею на такси и привёз её в свою комнату в Лубянском проезде. По словам Полонской, между ними произошёл тяжёлый разговор: Маяковский уговаривал её оставить мужа, оставить театр, и чтобы всё было сделано “немедленно”, он не отпускал её. Но она спешила на репетицию и ушла.

“Я вышла, – говорится в воспоминаниях В. Полонской, – прошла несколько шагов до парадной двери. Раздался выстрел. У меня подкосились ноги, я закричала и металась по коридору. Не могла заставить себя войти. Мне казалось, что прошло очень много времени пока я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгновение: в комнате ещё стояло облачко дыма от выстрела.

Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди было крошечное кровавое пятнышко”.

Спрашивается, достаточно ли свидетельства одной Полонской, и можно ли верить ей? Мне довелось беседовать с некоторыми из прежних жильцов квартиры Маяковского в Лубянском проезде. Один из них сообщил, что когда раздался выстрел, он стрелой вылетел из своей комнаты и видел Полонскую выходящей из комнаты Маяковского, свидетель дважды с твёрдой уверенностью повторил, что “Полонская, когда раздался выстрел, была в комнате Маяковского”.

Я не берусь судить, что именно произошло в комнате Маяковского, но полностью разделяю мнение М. Кольцова и Н. Асеева, что “стрелял кто-то другой”, что “нажим гашетки нажал не сам” Маяковский, и, если даже он сам приставил дуло револьвера к своей груди, то всё же его рукой “чужая рука вела”.

Маяковский пал жертвой жгучей, непримиримой ненависти врагов социализма, среди которых видное место занимала группа сионистов, сумевших охватить его жестоким кольцом “дружеского” окружения. И виноваты в его смерти, прежде всего и больше всего, Л. и О. Брики и Я. Агранов. Вот, говоря словами Маяковского, кто преступник, кто сволочь. Как подходят к ним строки его стихотворения с гневным названием “Сволочи”:

*Будьте прокляты,
вечное “вон” им...*

.....

*Леса российские,
соберитесь все,
выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний*

*вечно висел,
под самым небом качался, синий.*

Москва, декабрь 1970

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ

МАЯКОВСКИЙ И ЕГО ЖЕЛЕЗНЫЕ КНИГИ

ЭССЕ

Испорченный банкет (Вместо вступления)

Иван Бунин писал в “Окаянных днях” о встрече с Маяковским весной 1917 года в Петрограде: “Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. . . собрался “весь Петербург” во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к чорту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу “зари свободы, засиявшей над Финляндией”. [. . .] Поднялся для официального министра иностранных дел (П. Н. Милюков. — **А. В.**), и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: “Господа!” Но Маяковский заорал ещё пуще прежнего. И министр, сделав ещё одну и столь же бесплодную попытку, развёл руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не сможет не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его ещё более зычным рёвом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: заражённые Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и себе (так в тексте. — **А. В.**), стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, визжать, хрюкать, и — тушить электричество”.

Описано здорово, как это Бунин только и умеет. Но вот вопрос: а что делает наш язвительный и тонкий мемуарист, в то время как министры Временного правительства и думские депутаты “просто умоляют финнов послать к чорту Россию и жить на собственной воле”? В каком качестве он участвует в этом банкете-шабаше, таком знакомом нам по чествованиям, что устраивали наши “демократы” всех сортов всевозможным национал-сепаратистам? Бунин по-интеллигентски, “в сторону”, возмущается происходящим, но кто, собственно, подчеркнул его абсурд? Маяковский, пишет Бунин, ел из чужих тарелок, но гостеприимные хозяева делают бóльшую пакость: кормят финнов на русские денежки и умоляют их “послать к чорту Россию”. Бунин не находит, что возразить Маяковскому и иже с ним, а Маяковский просто затыкает всем рот —

и это, в общем, справедливо. Для Бунина французский посол – фигура, а Маяковский плевал на него. Он хочет “в мире без России, без Латвий жить единым человечьим общежитьем” – и ведёт себя соответственно. Бунин же предпочитает “общежитию” Россию, включающую, конечно, и Финляндию, но, как воспитанный человек, чинно выпивает и закусывает на антирусском шаше.

Преодолев естественную для него неприязнь, Бунин отдаёт должное прощательности Маяковского: “Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнёт рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: ещё великолепнее, чем сделал это он сам на пиру в честь готовой послать нас к чорту Финляндии!”

Вот почему бунины проиграли маяковским.

“Чудак печальный и опасный...”

Владимир Владимирович Маяковский, которого давно уже не называют “лучшим и талантливейшим поэтом эпохи”, был действительно исключительно одарённым человеком. Его поэтический дебют можно сравнить разве что с пушкинским. В первом же опубликованном стихотворении Маяковского “Ночь” (1912) – блестящая метафора, которая по плечу лишь искусному, зрелому мастеру:

*... чёрным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие жёлтые карты...*

Второе опубликованное стихотворение Маяковского – “Утро” – тоже начинается мастерской метафорой:

Угрюмый дождь скосил глаза...

И здесь же – небрежно брошенный бриллиант:

железная мысль проводов...

Ни у одного из поэтов, называвших себя новаторами, вы не встретите стихотворения, которое, будучи построено схематично, по принципу словесных созвучий (вроде как у Хлебникова или Кручёных), одновременно несло бы в себе образ и эмоциональный настрой. Маяковский был первым, кому это удалось.

Но Маяковский, в конечном счёте, не единой метафорой силён. Было бы так, он остался бы в нашей памяти способным поэтом-урбанистом, русским Аполлинером.

Маяковский силён так, как силён футболист, долго и изощрённо “водящий” мяч в штрафной противника, а потом вдруг точно бьющий с разворота в “девятку”. Вот – отличная урбанистическая метафора:

*Фокусник рельсы тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни...*

Но Маяковский не был бы Маяковским, если бы этим и ограничился. Он сходу “разъясняет” античеловеческую природу мистического Города-Фокусника:

*Мы завоеваны.
Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф души растягнули.
Тело жгут рўки.
Кричи не кричи:
“Я не хотела!” —
резок
жгут
мўки.*

А вот и нечто весьма знакомое:

*А если весёлостью пёсвей
закружат созвездия “Магги” —
бюро похоронных процессий
свои поведут саркофаги.*

Да, бульонные кубики “Магги” и тогда уже, 99 лет назад, существовали! И реклама эта треклятая — “Созвездия “Магги” — тоже уже существовала. В советское время нужно было лезть в примечания, дабы понять, что это за “Магги”, а теперь и так ясно. Благодаря этой новой встрече с рекламой бульонных кубиков мы понимаем то, чего не могли понять прежде: метафорический ужас, пустоту, неподвижность, неистребимую пошлость буржуазного мира. Собачьи созвездия “Магги” — во веки веков! Впрочем, и это нам знакомо:

*...бюро похоронных процессий
свои поведут саркофаги.*

Это мы тоже видим едва ли не каждый день по “ящику”: сначала “пёсья весёлость” рекламы, а потом, в новостях, похороны очередного бизнесмена, застреленного, как собака; лаковый гроб с открывающейся дверью (что за мода такая?), длинный чёрный катафалк-”членовоз”... “Читайте железные книги!”

Поэты-сюрреалисты обычно сверх меры серьёзны. У них нет чувства юмора. Слишком изощрённы, эмоционально закручены их построения, чтобы рисковать ослабить напряжение внезапной улыбкой. Маяковский этого не боялся и до сих пор остался на голову выше всех сюрреалистов и вообще “истов”:

*Вошёл к парикмахеру, сказал — спокойный:
“Будьте добры, причешите мне уши”.*

Если бы Маяковский писал художественную прозу, то, полагаю, она была бы не хуже, чем у Хемингуэя. Я сужу по изображению Маяковским мексиканской корриды в очерке “Моё открытие Америки” (написанном, кстати, тогда же, когда и хемингуэевская “Фиеста” — т. е. в 1925–1926 годах): “Сначала пышный, переливающийся блёстками парад. И уже начинает бесноваться аудитория, бросая котелки, пиджаки, кошельки и перчатки любимцам на арену. Красиво и спокойно, сравнительно, проходит пролог, когда тореадор играет с быком красной тряпкой. Но уже с бандерильеров, когда быку в шею втыкают перовые копыя, когда пикадоры обрывают быкам бока, и бык становится постепенно красным, когда его взбешённые рога врезаются в лошажьи животы, и лошади пикадоров секунду носятся с вывалившимися кишками, — тогда зловещая радость аудитории доходит до кипения. Я видел человека, который прыгнул со своего места, выхватил тряпку тореадора и стал взвивать ее пред бычьим носом”.

Но дальше — на Хемингуэя уже не похоже: “Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог между человеческими рёбрами, мстя за товарищей-быков”.

Помнится, С. Б. Джимбинов говаривал на лекциях в Литинституте: “Чем отличается Хемингуэй от русских писателей? Хемингуэй, когда пишет о корриде, всегда на стороне тореадора, а русский писатель всегда был бы на стороне быка”. Это очень интересный способ определения русскости и, пожалуй, в отношении Маяковского верный, как бы он от всего русского в советское время не отрешивался.

Завершая тему Хемингуэя, скажу, что “бывают странные сближенья”: прототипом отрицательного героя романа “Фиеста” — “И восходит солнце” — Роберта Кона был Гарольд Леб (Loëb), сын знаменитого еврейского банкира, потратившего много денег на революцию в России. А у Маяковского в американских очерках читаем: “Сынки чикагских миллионеров убивают детей (дело Лоеба и компании) из любопытства, суд находит их ненормальными, сохраняет их драгоценную жизнь, и “ненормальные” живут заведующими тюремных библиотек, восхищая сотюремников изящными философскими сочинениями”. Существенная деталь для понимания образа Роберта Кона, особенно учитывая, что Хемингуэй не решился дать ему такого брата, убивающего детей “из чистого любопытства”!

Представление о Маяковском, что он во всём: и в искусстве, и в жизни — порывал с традицией — упрощённое. В “Моём открытии Америки” он изобретает удивительное понятие, которое, к сожалению, не вошло в широкий оборот — “древняя культура техники”. “Техника здесь шире всеобъемлющей германской, но в ней нет древней культуры техники — культуры, которая заставила бы не только нагромождать корпуса, но и решётки, и двор перед заводом организовать сообразно со всей стройкой”.

А последние фразы “Моего открытия Америки” написаны вроде бы не Маяковским и очень напоминают “Железный Миргород” Есенина: “Мы ехали к Парижу, пробивая тоннелями бесконечные горы, легшие поперёк. По сравнению с Америкой — жалкие лачуги. Каждый вершок земли взят вековой борьбой, веками истощаем и с аптекарской мелочностью использован под фиалки или салат. Но даже это презируемое за домик, за земельку, за своё, даже это веками обдуманное цепляние казалось мне теперь невероятной культурой в сравнении с бивуачным строем, рваческим характером американской жизни”.

Спорили-спорили дома о “стальной лошадке”, а за границей оказались одинаковы! Есенин говорит об Америке: “Железный Миргород”, а Маяковский: “совсем дооктябрьский Елец аль Конотоп”.

Вообще, у Маяковского и Есенина много общего. Они оба примерно в одно и то же время приехали “завоевывать Петербург”: Есенин — в крестьянской поддёвке, а Маяковский — в космополитичной жёлтой кофте. И хотя их стихи были столь же разными, как поддёвка и кофта, но скроены из одного материала. У них была общая литературная судьба, как бы ни старались они сделать их непохожими одна на другую. Убедительное подтверждение тому — стихотворение Маяковского “Сергею Есенину”:

*Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите, в звёзды врезываясь.
Ни тебе аванса,
Ни пивной.
Трезвость.*

Конечно, эгоцентрист до мозга костей, Маяковский думал в тот момент не о Есенине, а о самом себе. Но это и была его правда — другой он не знал никогда. Может быть, оттого “Сергею Есенину” — одно из лучших произведений, посвящённых поэту. То, что в нём сказано лишь малая часть правды о Есенине, не имеет особого значения: всей правды не знает никто, а уж Маяковский и подавно. От художника требуется по возможности ярко выразить то, что он знает, и Маяковский это сделал, пусть и несколько корявато (я позволю себе приводить его длинные цитаты без раздражающей меня “лесенки” — так, естественно, как Маяковский и писал в черновиках):

*Критики бормочут:
— Этому вина
то да сё, а главное, что смычки мало,
в результате много пива и вина. —
Дескать, заменить бы вам богему классом,
класс влиял на вас, и было б не до драк.
Ну, а класс-то жажду заливают квасом?
Класс — он тоже выпить не дурак.
Дескать, к вам приставить бы кого из напостов —
стали б содержанием премного одарённой:
вы бы в день писали строк по сто,
утомительно и длинно, как Доронин.
А по-моему, осуществись такая бредь,
на себя бы раньше наложили руки.
Лучше уж от водки умереть,
Чем от скуки!*

Это ведь он про себя написал, Маяковский! Так и говорили после его самоубийства – что он ушёл из жизни, как представитель буржуазной богемы, поскольку у него было “смычки мало” с пролетариатом. Разве что о пиве и вине не вспоминали, поскольку Маяковский первого почти не употреблял, а второе – весьма умеренно (за исключением последних недель жизни). А так – в стихотворении было всё о нём: и про “напостов”, и о том, что никто в этом мире не даст поэту “избавленья” – как пролетариям в партийном гимне... И про “бредь” тоже, которая не осуществилась у Есенина, но вполне осуществилась у Маяковского, когда он вступил в РАПП, в тёплую компанию к этому самому Дорониному...

Упомянутые “напосты” даже после приёма Маяковского в РАПП продолжали относиться к нему с крайней подозрительностью – и не только потому, что завидовали его славе, а и потому, что “ревинстингом” безошибочно ощущали: не наш. И хотя до “истинного” Маяковского весьма трудно докопаться, оставались его стихи, статьи и манифесты, написанные до революции. Например, статья “Два Чехова” (1914), где с обидной издёвкой говорится:

“В чём же истинная ценность каждого писателя?

Как гражданина отличить от художника?

Как увидеть настоящее лицо певца за портфелем присяжного поверенного?

Возьмите какой-нибудь факт, такой же, как сумерки, защита униженных и т. д., ну, например, дворник бьёт проститутку.

Попросите этот факт художника зарисовать, писателя – описать, скульптора – вылепить. Идея всех этих произведений, очевидно, одна: дворник – мерзавец. Скорее всего, эту идею зафиксирует какой-нибудь общественный деятель. Чем же будут отличаться от него мысли людей искусства?”

Тут, как говорят, к гадалке не ходи – декадент написал! Душок такой характерный, у “напостов” на него был отменный нюх! Можно, конечно, отнестись это к “ошибкам молодости”, но как раз молодость, а точнее, даже отрочество было у Маяковского “правильное”. За 6 лет до опубликования “Двух Чеховых” он был членом РСДРП(б) и даже членом её Московского комитета (!), имел три отсидки (последний раз – 6 месяцев). Отчего же он вдруг вышел из партии (“прервал партийную работу”, по формулировке самого Маяковского), стал “гражданина отличать от художника” и довольно пренебрежительно писать о пролетарском писателе Горьком, что он “от Маркса ушёл к программам-минимум и -максимум”?

Оттого, делали вывод “напосты”, что социал-демократическому подполью Маяковский изменил не по “заблуждениям молодости”, а сознательно, ради творческой карьеры. В том, что впоследствии он тоже сознательно вернулся к большевикам (но не в партию), они не сомневались, но очень сомневались, что бескорыстно. В 1927 году Маяковский написал поэму “Хорошо!”, прославлявшую Октябрьскую революцию, да вот незадача: в самом 1917 году он никак не проявил себя в качестве революционного поэта (ну, может быть, только на упомянутом банкете в честь финских художников). Напротив, в марте 1917 года Маяковский заявил от лица новосозданного Союза деятелей искусств: “Мой девиз и всех вообще: “Да здравствует политическая жизнь России и да здравствует свободное от политики искусство!” Я не отказываюсь от политики, только в области искусства не должно быть политики”.

К Маяковскому почему-то никогда не применяют цитероновский критерий: “Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты”. Считалось, что никого, кроме себя самого, он не читал. Это странно, ибо своих предпочтений Маяковский в своих стихах и статьях не скрывал. Это (если начинать с детства) Сервантес, Жюль Верн, Гегель, Маркс-Энгельс (порознь и одвуконь), Байрон, Шекспир, Белый, Бальмонт, Хлебников, Ницше, Чехов, Блок, Пастернак, Есенин (видимо, выборочно), Некрасов (выборочно), Пушкин. Всяких маринетти, бурлюков, кручёных, каменных, шершеневичей, шкловских, бриков, асеевых, третьяковых среди любимых авторов Маяковского упоминать не стоит: они скорее влияли на него как личности, нежели как писатели.

Так кто же он?

*Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье...
Слов модных полный лексикон?
Уж не пародия ли он?*

В данном случае можно сказать достаточно уверенно: нет, не пародия. Здесь, как это ни прискорбно, более уместен первый вопрос, чем последний: “Чудак печальный и опасный, // Созданье ада иль небес”?

То, что вокруг Маяковского всегда было много чертовщины, заметно, что называется, невооружённым взглядом. Какой-то он был опалённый, сумрачный ещё с юных лет. Ничего, казалось бы, странного для поэта в этом нет. Но... Мы имеем дело с тем редким случаем, когда факт обращения человека к силам тьмы зафиксирован документально. Играя в карты, молодой Маяковский имел обыкновение, отворачиваясь в сторону и хлопая в ладоши, говорить: “К сорока застрелюсь!” Или: “К тридцати пяти – обязательно!” Запомним эти цифры.

Юрий Карабчиевский в книге “Воскресение Маяковского” трактует эти карточные зарки как страх перед старостью, рано проявившуюся тягу к самоубийству. А зачем тогда отворачиваться, хлопая в ладоши? Нет, не с позёрством мы имеем дело: Маяковский таким образом образом удачу *призывал*.

Ему принадлежит страшная строчка: “Я люблю смотреть, как умирают дети...” А ещё через несколько строк сказано:

*Я вижу: Христос из иконы бежал,
хитона обветренный край
целовала, плача, слякоть.*

Допустим, про детей – это фигура речи, гипербола, так сказать. Но если бы даже сей чудовищной фразы не было, осталось бы отношение к “слякоти”, к людям то бишь. А их он в сердцах только что ломтями строгать не предлагал. Зато к лошадям у него было – “хорошее отношение”. Почему бы это? Потому что “все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь”? Полагаю, что не только поэтому.

Лошадь – культовое животное ницшеанцев, как для индийцев – корова. Фридрих Ницше сошёл с ума в ситуации, аналогичной той, что описана в “Хорошем отношении к лошадям”. Маяковский был ницшеанцем. Прямых указаний на это мало, но тех, что сохранились, вполне достаточно.

*Слушайте!
Проповедует,
Мечась и стена,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!*

Эпитет “крикогубый” чётко даёт нам понять, что речь идёт именно о герое книги Ницше “Так говорил Заратустра”, а не о Заратустре из “Авесты”, ибо последний не мечется и не стенает, не назовёшь его и “крикогубым”. Именно в стихотворении “Несколько слов обо мне самом” Маяковский впервые обращается к культуре Солнца:

Солнце! Отец мой! Сжалься хоть ты и не мучай!

Далее шло по нарастающей:

*Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему,
чтобы тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!
И когда, наконец, на веков верхи
последний день выйдет им, —
в чёрных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!*

“Ко всему”

Если мы возьмём книгу Ницше “Так говорил Заратустра”, то увидим, что она с обращений к Солнцу и начинается, и заканчивается ими, причем стилистика их напоминает стилистику Маяковского (точнее, наоборот): “Великое светило!”, “Взгляни!”, “Я хочу одарять и наделять, пока мудрейшие из людей не возрадуются вновь безумию своему, а бедные – своему богатству” и т. д. Как видите, похоже и содержание.

Между прочим, читал Маяковский и “Авесту” с “оригинальным” Заратуштрой, о чём говорит стиль стихотворения “Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче”. В начале его иронически обыгрывается “Географическая поэма” (глава I) “Авесты”, где указан точный адрес дачи: “Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.”. “Необычайное приключение...” изобилует известными рефренами:

*Светить всегда, светить везде,
до дней последних донца,
светить — и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой — и Солнца!*

– схожими с рефренами в тексте “Авесты”: “Тот, кто обрабатывает эту землю, о Спитаמיד Заратуштра, левой рукой и правой, правой рукой и левой, то воздаёт земле прибыль”. Можно также вспомнить “Левый марш”: “Кто там шагает правой?левой!левой!левой!”

Ницшеанство как общественно-политический феномен XX века, его влияние на искусство и идеологию ещё недостаточно изучено. Считается аксиомой, что приверженцами взглядов Ницше были итальянские и немецкие фашисты, а коммунисты, напротив, их отвергали. Но это далеко не так. Основополагающие труды Ленина, Бухарина, Горького, Луначарского, Троцкого отмечены сильнейшим влиянием идей Ницше, которые, соединившись в их страшных головах с учением Макиавелли о власти и марксистской политической доктриной, образовали гремучую смесь. В чём конкретно выразилось это влияние – предмет специального исследования, но главную составляющую можно выразить названием труда Ницше – “По ту сторону добра и зла”.

В части практического применения идей Маркса-Энгельса оставалось неясно, существует ли для новой категории людей – пролетариата (а главное – для его вождей) – предельные нравственные ограничения, и если существуют, то в чём их обоснование? “Коли Бога нет?..” Маркс и его предшественники обходили сей вопрос, как бы предоставляя будущим секретарям всевозможных ЦК решать его “в рабочем порядке”.

Макиавелли предлагал лишь политическую методологию, то и дело выходящую за рамки морали, но отнюдь её не отменяющую, так как это означало бы, что и бычку положено то, что положено лишь Юпитеру. И только в трудах Ницше формула Ивана Карамазова: “Если нет Бога, то всё дозволено” – получила свое логическое развитие. “Этот святой старец в своем лесу ещё ничего не слышал о том, что Бог умер! (...) И обратился Заратустра к народу с такими словами: “Я учу вас о Сверхчеловеке”.

Но если политики использовали идеи Ницше как некое тайное знание, которое и не думали декларировать публично, дабы его не растрчивать впустую, распуская тем самым простецов, то художников привлекало обещание мнимой свободы, ждущей их “по ту сторону добра и зла”. “Давайте – знаете – устроимте карусель на дереве изучения добра и зла” (Маяковский). Праздному, ленивому в постижении истинно высокого уму невдомёк, что оказаться по ту сторону добра весьма просто, но невозможно при этом находиться одновременно и по ту сторону зла. Сей равноудалённой “стороны” вообще не существует – она лишь способ увлечь в свои сети слабые души, что лишний раз доказала ужасная судьба сошедшего с ума Ницше, дореволюционное написание славянской фамилии которого – Нитче (Nietzsche) – промыслительно указывало на слова “ничего” или “ничто”.

Как известно, универсальный образ ницшеанца, уступившего свою душу дьяволу, создан Томасом Манном в романе “Доктор Фаустус”. Прототипом композитора Адриана Леверкюна был, конечно, не только Ницше, но и Гитлер.

Всю Европу положил князь тьмы к ногам человека ниоткуда, с адской точностью, почти в жизни не встречающейся, возвысил симметрично падению. Утверждается, что сохранился даже договор Гитлера с дьяволом. В декабре 2009 года в интернете появилось следующее сообщение: “В Берлине найден договор, который Адольф Гитлер заключил с... сатаной. Контракт датирован 30 апреля 1932 года и подписан кровью **обеими сторонами**. Согласно ему, дьявол предоставляет Гитлеру практически неограниченную власть с условием, что тот будет использовать её во зло. В обмен фюрер обещал отдать свою душу ровно через 13 лет.

Четыре независимых эксперта изучили документ и сошлись во мнении, что подпись Гитлера действительно подлинная, характерная для документов, подписанных им в 30–40-е годы.

Как сообщает портал “Кредо”, дьявольская подпись тоже совпадает с той, что стоит на других подобных договорах с владыкой ада. А таких документов историкам известно немало.

– Я уверена, что документ подлинный, – заявляет доктор Грета Лайбер, изучающая различного рода соглашения с нечистой силой. – Он помогает разрешить загадку того, как фюреру удалось стать правителем Германии. Судите сами: ведь до 1932 года он был просто неудачником. Его выгнали из высшей школы, он дважды проваливался на экзаменах в Академию искусств, даже сидел в тюрьме.

Все, кто знал его в это время, считали его ни на что не годным. Но с 1932 года его судьба круто изменилась – он буквально “катапультировался” в кресло власти и в январе 1933 года уже правил Германией. По-моему, объяснить это можно только союзом с сатаной. А 30 апреля 1945 года – ровно через 13 лет – Адольф Гитлер покончил с собой, ненавидимый всем человечеством.

Контракт фюрера с сатаной был найден в старом сундуке в руинах сгоревшего дома на окраине Берлина. Как он туда попал – неясно. Сейчас документ находится в городском историческом институте. Текст сильно повреждён, но всё-таки его можно прочесть.

– Именно так сатана и действует, – добавляет доктор Лайбер. – Выбирает неудачника, мучимого честолюбием и жадной мирских удовольствий, и обещает исполнить его желания. В результате – множество бед для окружающих и полная катастрофа для того, кто “купился” на его обещания. И Гитлер полностью укладывается в эту схему”.

Не знаю, насколько можно доверять сообщению портала “Кредо” – продолжения темы я больше нигде не встречал. Но ведь мы и впрямь имеем дело с ситуацией, когда “последний” стал “первым”! Речь идёт о человеке, который за 19 лет до прихода к власти был, в сущности, полубомжом! Гитлер, долгие годы даже не имевший германского гражданства, стал первым человеком в Германии, заставил капитулировать надменную Францию в том самом месте и в том самом салон-вагоне, где Франция с союзниками принимала капитуляцию Германии в 1918 году, и получил практически неограниченную власть! И если договор Гитлера с дьяволом существовал, то существовал, конечно, на погибель души Гитлера и душ тех, кто доверился ему.

О договоре Маяковского с дьяволом мы ничего не знаем, но знаем про странный карточный зарок: “К сорока застрелюсь!”, “К тридцати пяти – обязательно!”, который к кому-то же был обращён, иначе какой смысл зарекаться?

Линия судьбы Адриана Лёверкюна ярко прослеживается и в линии судеб Белого, Блока, Брюсова, Сологуба и даже Горького, если верить писателю Сургучёву. Но никому до Карабчиевского не приходило в голову считать добычей лукавого и Маяковского, хотя его пример едва ли не самый хрестоматийный (вынесем за скобки явного сатаниста Сологуба). Свой тезис о погубленной душе Маяковского Карабчиевский не стал развивать, считая, наверное, что неблагоприятные поступки и стихи говорят сами за себя:

*Выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.*

Или:

*Пусть из наследников,
из наследниц варево
варится в коронах-котлах!*

Или вот ещё:

*Ветер сдирает списки расстрелянных,
рвёт, закручивает и пускает в трубу.
Лапа класса лежит на хищнике –
лубянская лапа Чека.*

Но нечто подобное, хотя и выраженное не в столь садистской и безнравственной форме, мы найдём и в стихах Есенина 1918–1920 годов. Это лишь результат искушения свободой “по ту сторону добра и зла”. О самом же падении следует судить по степени озлобленности павшего. Убийцу тянет на место преступления, а грешника — судить-рядить о своих грехах, пусть даже он в них и не кается, а напротив — превозносит. Мы говорим о преобладании религиозных мотивов в ранних стихах Есенина, а посмотрите ранние стихи Маяковского — то же самое, только с обратным знаком!

Цитировать их верующему человеку тяжело — сродни работе в выгребной яме, но без этой санитарной процедуры не обойтись, если мы хотим извлечь на свет Божий душу нашего героя. Итак...

Качался в тучах, седой и тяжкий...

*Вспугнув копытом молитвы высей,
арканом в небе поймали Бога...*

*Это душа моя клочьями порванной тучи
в выжженном небе на ржавом кресте колокольни!
Время! Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой в божницу уродца века!
(не слабо! — А. В.)*

*Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного, который
не кричал бы: “Расни, расни его!*

*Сняли старушонку. Она, крестясь,
что-то кричала про чёрта. (...)
я стал на четвереньки и залаял: “Гав! гав! гав!*

*Помните: под ношей креста
Христос секунду, усталый, стал.
Толпа орала: “Марала! Мааарррааала!”
Правильно!*

(а когда самого “лирического героя” “распинали на Голгофе аудиторий”, это было, конечно, неправильно. — А. В.)

*Он — Бог, а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек.
Бросьте его! Идите и гладьте —
гладьте сухих и чёрных кошек!*

*Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии,
тринадцатый апостол...*

Но, как известно, подобным “апостолам” в “обыкновенном Евангелии” всегда тесновато, и мнят они себя вовсе не ангелами (в смысле иерархии), а бери повыше. Им подавай уровень Самого Господа Бога! Казалось бы, что проще: возьми и помолись. Но нет, Бог им нужен не для этого (точнее, не им, а той силе, что вступает с этими “апостолами” в доверительные отношения). Он нужен им, чтобы орать похабно: “Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски!”

В этих ранних, написанных Маяковским точно в белой горячке стихах, сохранилось и свидетельство того, что, несмотря на немислимые кощунства, Ангел-Хранитель до поры до времени не оставлял его:

*Ёжусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть*

*и вижу: в углу глаза круглы,
глазами в сердце въелась Богоматерь.*

И что же? Остановился ли этот несчастный человек, подумал? Откликнулась его неприкаянная душа? Может быть, только на миг...

Литературоведы дружно полагают, что главной темой ранних стихотворений и поэм Маяковского явилась драма любви и одиночество художника в толпе, но приведённые цитаты опровергают это мнение (странно, что никто не догадался сделать это раньше, кроме, может быть, Горького, говорившего, что стихи Маяковского словно написаны одним из бунтующих подростков Достоевского). Впрочем, для проницательного читателя здесь никакого открытия нет. Важней другое наблюдение: год от года Маяковский обращается к “божественной” теме всё чаще. Он написал в автобиографии “Я сам”, что после вступительного экзамена в кутаисской гимназии, где он перепутал церковнославянское слово “око” и “око” грузинское (мера веса), “возненавидел сразу – всё древнее, всё церковное и всё славянское”. Однако в своём поэтическом лексиконе и образной системе он использует это “всё” едва ли не чаще самого Есенина!

У церковки сердце занимается клирос...

*Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце Землю — голову Крестителя...*

*Поэт сонеты поёт Тиане,
а я — весь из мяса, человек весь —
тело твоё просто прошу, как просят христиане:
“Хлеб наш насыщенный даждь нам днесь”...*

Поначалу свои выпады против Бога и Божественного Промысла поэт включал в стихотворения и поэмы как бы в качестве неких “антитропарей” и “антиакафистов”. Но затем вышли из-под его пера “чёрные литургии” — поэмы “Война и мир” и “Человек”. Они, кстати, мало популярны даже среди читателей Маяковского. Почему? Из-за назойливой “церковности”, полагаю.

В “Войне и мире” в качестве некоего музыкального сопровождения кровавых сцен кощунственно звучат молитвы: “Спаси, Господи, люди Твоя...”, “Вечная память”, “Упокой, Господи...”. “Церковность” метафор в “Войне и мире” становится до отвращения назойливой:

*Земля, встань тыщами
в ряды зарев разодетых Лазарей!*

Не говоря уже о том, что это так же трудно выговорить, как и “на дворе трава, на траве дрова”.

Что же касается поэмы “Человек”, то о ней всё скажут уже названия главков: “Рождество Маяковского”, “Жизнь Маяковского”, “Страсти Маяковского”, “Вознесение Маяковского”, “Маяковский в небе”, “Возвращение Маяковского”, “Маяковский векам”. Тут разве что главки “Искушение Маяковского” не хватает. (Впрочем, и “воскресения” тоже — оттого Карабчиевский и назвал так свою книгу).

Нет никаких сомнений, что перед нами, так сказать, “житие”, “антиевангелие”. Или — “евангелие от Маяковского”.

Вот она — главная тема его раннего творчества.

Предвидя неизбежность такого вывода, Маяковский написал в стихотворении “Дешёвая распродажа” (1916): “Будет / с кафедры лобастый идиот / что-то молоть о богодьяволе”. Так уж получилось, что в роли этого “идиота” выступил я. Замечу, однако, что всё же стихи о “богодьяволе” писал не я, а сам Маяковский, и все процитированные выше отрывки из “чёрных литургий” — о “тринадцатом апостоле” и проч., тоже принадлежат не мне, а Маяковскому. В виде “богодьявола” запечатлела Маяковского и художница Антонина Гумилина, с которой он встречался до знакомства с Лилей Брик. Бенгт Янгфельдт пишет в книге о Маяковском “Я” для меня мало: “Её картины не сохранились, но Якобсон, побывавший на выставке художницы, вспоминал одну из них (эскиз. — **А. В.**): утро, комната, она сидит на кровати, поправляя волосы, Мая-

ковский стоит у окна в рубашке и брюках, у него дьявольские копыта... Эльза (Триоле. — А. В.) описывала другую картину — “Тайную вечерю”, на которой Маяковский сидит за столом на месте Христа”.

Антонина Гумилина покончила жизнь самоубийством.

“Чёрная Лиля”

Поражает не столько сама ненависть Маяковского к Богу (известно, чьё она порождение), сколько сила её и неистовость. Откуда это в нём, “красивом, двадцатидвухлетнем”? Вроде не обидела его жизнь — и физическими данными, и талантом... Как это часто бывает у Маяковского, ответ — в одном из бесконечных вопросов, которые он, кривляясь, задаёт Богу:

*Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал, чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!*

На первый взгляд — это довольно глупые и претенциозные стихи. Однако есть и в них нечто... В своё время я опубликовал эссе “Германн в аду” — о набокховской “Лолите”. В нём я предположил, что в романе есть тайная канва — о продаже героем души дьяволу ради обладания тринадцатилетней девочкой. Но ему, по неписаным законам inferнальных сделок, дано лишь физическое обладание ею. Договор Гумберта с лукавым весьма ограничен по части морали — со стороны добра, разумеется. Ведь после того, как чёрные мечты Гумберта сбылись, он ни разу не смог поговорить с Лолитой по-человечески! Впоследствии она прекрасно найдёт общий язык со своим глухим мужем Ричардом Скиллером, а утончённому филологу, без пяти минут психиатру Гумберту это окажется не под силу! Внутренний мир девочки навсегда останется для него “дымчатой обворожительной областью, доступ к которой запрещён... оскверняющему жалкой спазмой свои отрепья”. И чем старше становится Лолита, тем сильнее её отчуждённость, а “чёрная точка в сиянии... счастья” превращается в “отвратный, неопишувемый и — как я подозреваю — вечный ужас”. Не исключено, что и Гумберт задавал Богу такой вопрос: “...отчего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать?!”

Подтверждение тому, что мы на верном пути, мы найдём в другой поэме Маяковского — “Флейта-позвоночник”:

*Вот я богохулил.
Орал, что Бога — нет,
а Бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
— Люби!*

А Карабчиевский нам говорил, что Маяковский не бывает откровенен! Да кабы не был он откровенен, разве оговорился бы столь характерно — “из пекловых глубин”? С какой это стати Богу извлекать что-либо оттуда? Да и к Богу ли обращается автор? Даже у несведущих по части демонологии людей уже через несколько строк не останется сомнений, к кому:

*Думает Бог:
— Погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю — запахнет шерстью паленной
и серой издымится мясо дьявола.*

Весьма впечатляющее описание, хотя и путанное в смысле персоналий: кто это — “ты”? кому — “ему”? Попробуем разобраться. Итак, “любимой” некого Владимира Бог дал “настоящего мужа”, однако, ежели над этой супружеской четой совершить крестное знамение, “серой издымится мясо дьявола”. Поздравляю вас, Владимир, *соврамши!* Вы ошиблись!.. И ошиблись крепко...

Но Владимиру явно не до шуток. Крики, которые он, “уже наполовину сумасшедший ювелир”, выгранивает в строчки, звучат с отчаянием неподдельным:

*...слышишь! —
убери проклятую — ту,
которую сделал моей любимой!*

Стало быть, не подкрался, не перекрестил... Не затряслась, синяя, на ма-нер гоголевской панночки его похожая на молодящуюся смерть Лилия-Лилит, не издымился Осик...

*Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!*

Никуда ты и не денешься, кроме ада. Какого ещё “небесного Гофмана” ты выдумал? Как-то литературно, по-декадентски получилось. Почему это он — “небесный”? Сказал бы проще: Люцифер.

Маяковскому ночью хотелось “звон свой спрятать в мягкое, в женское”, а звон сей, между прочим, означает и страшные стихотворные богохульства... И вот некая сила, именуемая им “небесным Гофманом”, дарит ему любимую с душой “твёрдой, горькой и маленькой”, как у набоковской Марфинки из “Приглашения на казнь”. Душа “любимой” этот пресловутый звон унять не в состоянии, она, напротив, многократно усиливает его, как железный колпак усиливает звон электрического звонка. Глубоко ошибаются те, кто по-фрейдистски интерпретирует “звон” Маяковского. Женщина ему была нужна, чтобы ослабить интеллектуальный “жгут мўки”, которым он пытал сам себя, выплакаться всамделишными слезами. О его ночных рыданиях рассказывала, например, покойная скульптор Нисс-Гольдман, которая в 20-х годах была близка Маяковскому (в её мастерской на Нижней Масловке я видел сделанные с натуры бюсты Маяковского, Блока, Брюсова и Есенина). Почему-то выбирал он в качестве утешительниц еврейских женщин, никогда в сём не преуспевавших, и русских, подобных еврейским.

Теперь представим себе Лилию Юрьевну Брик, “ослепительную царицу Сиона евреева”, — не как Божие наказание Маяковскому или посланницу преисподней, а просто как прагматичную, не развитую духовно, лишённую сантиментов и похотливую, с отрочества ведущую половую жизнь со взрослыми мужчинами женщину. “Помните? Вы говорили: “Джек Лондон, деньги, любовь, страсть”. Зачем ей, циничной острячке, мужские слёзы и сопли? Я думаю, не оттого ли она не сочеталась законным браком с известным писателем, как это сделала её младшая сестра Эльза Триоле, вышедшая замуж за Арагона, что боялась жить одна с этим хныкающим, отягощённым комплексом самоубийства гигантом? Отсюда — полная закрытость для Маяковского этой женщины, мучительная невозможность достучаться до неё.

Да и оглушительный “звон свой”, как мы уже говорили, ему не удалось спрятать в Лилино “мягкое, в женское”. Не было у неё этого “мягкого”. Она умела лишь усиливать “звон”. Однажды Маяковский заставил Лилию рассказать об обстоятельствах, при которых она потеряла девственность. Некоторые исследователи интерпретируют это как подробности первой ночи с Осипом Бриком, но, во-первых, в рассказе Лили Юрьевны не упоминается собственно Брик, во-вторых, он был далеко не первым её мужчиной, а в-третьих — сомневаюсь, чтобы Маяковского так глубоко волновала первая брачная ночь 22-летней женщины, до этого уже перенесшей аборт. Нет, мужчин почему-то, главным образом, интересуется, как их любимая женщина потеряла невинность, пусть даже она потеряла её давно.

Судя и по воспоминаниям Лили и по стихотворению Маяковского “Анафема” (1916), переименованному позже в “Ко всему”, она рассказала ему свою тайну очень скупно:

*Ты
Уронила только:
“В мягкой постели —
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика”...*

Всё остальное дорисовало буйное воображение Маяковского. Как и следовало ожидать, это привело его в бешенство:

*Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!*

Око за око!

На этот раз, как видите, Маяковский не перепутал церковнославянское “око” с грузинским. Осталось только выяснить, чьё око за чьё. Маяковский, кажется, не намерен мстить растлителям несовершеннолетних девушек, он почему-то собирается мстить самим девушкам — наверное, за то, что отдались не тем, кому нужно. Не Маяковскому, например. В общем, логика прыщавых подростков, замученных активностью половых гормонов.

Но если бы только так! Ведь именно в этом стихотворении Маяковский написал уже знакомые нам строки:

*...в чёрных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!*

Вот так спрятал звон свой “в мягкое, в женское”!

Между тем Лиля, по своему обыкновению, всё врала. Не было ни мягкой постели, ни ночного столика, ни фруктов, ни вина. Потому что Лиль Уриевну (это её настоящее имя-отчество) Каган лишил невинности, по одним сведениям, её родной дядя на кухне, по другим — преподаватель музыки Григорий Крейн, и тоже чуть ли не на кухне. Свидетельства противоречивы (главным образом, из-за самой Лили, которая не скрывала связь с Крейном, но хранила молчание о дяде).

Впрочем, возможен вариант, что она не совсем врала: просто Маяковский спрашивал об одном, а Лиля отвечала о другом. Он, допустим, соединил в своём вопросе две разных вещи: утрату Лилей невинности и первую брачную ночь с Осиком, полагая, что это произошло одновременно, а она, отлично понимая, о чём он спрашивает, свела ответ ко второй части — к брачной ночи. Похожим образом поступает большинство женщин, которых мужчины донимают слишком откровенными расспросами. И тогда получается, что за кровавым пафосом стихов Маяковского не стоит ничего, кроме взвинченного гормонами воображения.

У Лили и в мыслях не было как-то гасить “звон” Маяковского, напротив, ей доставляло большое удовольствие всячески заставлять его “звенеть”. Андрей Вознесенский вспоминал: “Уже в старости Лиля Брик потрясла меня таким признанием: “Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда заперали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал”. Свидетелем этого рассказа Л. Брик, помимо Вознесенского, был болгарский поэт Любомир Левчев.

Неясно, кому именно принадлежала идея “жизни втроём” (её приписывали себе как Осик, так и Лиля), но известно, что “душой” процесса была Лиля. В первые годы после революции это не считалось особо зорным — так, “по Чернышевскому”, тогда жили многие. Потом, в старости, Л. Брик стала всячески разгибать углы “треугольника”, утверждая, что “физически О. М. не был

моим мужем с 1916 г<ода>, а В. В. — с 1925<-го>”. А все остальные годы она, дескать, с ними просто дружила. Я не верю тут ни одному слову: Л. Брик была не из тех женщин, что привязывают к себе мужчин “просто дружбой”. Вплоть до своей смерти Маяковский полностью обеспечивал Лилию, чего не делал по отношению к другим женщинам, перешедшим из разряда его любовниц в разряд друзей. Так, эпизодические подарки... Мужчины вообще не умеют дружить с сексуально озабоченными женщинами, с которыми живут в одной квартире, и Лиля это знала лучше, чем кто бы то ни было. Есть фотография Осипа Брика конца 20-х годов, где Лиля позирует ему на кровати голая в какой-то гнусной, грязной каморке (явно не в Гендриковом). С чего бы это они там уединились, если давно уже физически не муж и жена? Чтобы просто “сфоткаться”? Но Лиля не стеснялась “фоткаться” голой и дома. Только для этого она бы не потащилась в какую-то трущобу. Видимо, дома, в Гендриковом, находился в то время Володя, веривший словам Лили, что Осик “не был ее мужем с 1916 года”.

И отчего в 1927 году, уже “не будучи физически женой” Маяковского, Лиля в письме просила его не жениться на Наталье Брюханенко: “Володя, до меня отовсюду доходят слухи, что ты собираешься жениться. Не делай этого!”? Так написать могла только женщина, сохраняющая интимную близость с адресатом. А иначе почему бы ему в 34-то года и не жениться на красивой молодой девушке, способной, в отличие от Л. Брика, к деторождению? Что же, он не должен был жениться до самой смерти ради дружбы с бывшей морганатической женой? Может быть, Лиля так и считала, но даже у неё, мне кажется, не хватило бы наглости требовать этого от Маяковского, если бы они не жили вместе и после 1925 года.

Последняя любовь Маяковского, актриса Вероника Полонская, с которой он познакомился в 1929 году, то есть тоже в ту пору, когда, по уверениям Л. Брика, она не была близка ни с Бриком, ни с Маяковским, писала: “Я никак не могла понять семейной ситуации Бриков и Маяковского. Они жили такой дружной семьёй, и мне было неясно, кто же из них является мужем Лили Юрьевны”.

На самом деле, конечно, если неясно, кто из двух мужчин является мужем женщины, то у неё два мужа. В упомянутом письме Лили Маяковскому 1929 года по поводу Натальи Брюханенко есть такие слова: “Мы все трое женаты друг на друге и нам жениться больше нельзя — грех”. Вот и слово “грех” мы услышали от Лили Юрьевны! Не думаю, что это в шутку, ибо выше сказано: “Ужасно тебя люблю”. Но как же быть с поздним уверением Лили, что “физически” Осик не был её мужем с 1916 года, а Маяковский — с 1925-го? А никак — всё это обычное Лилино враньё. “Тень на плетень” в старости Л. Брик начала наводить, очевидно, потому, что настоящая правда была слишком грязна. Она не переставала спать ни с Бриком после 1916 года, ни с Маяковским после 1925-го, а также с десятками, если не с сотнями других мужчин. Ведь при всём своём немаленьком темпераменте Лиля, судя по откровенному дневнику одного из её любовников — Н. Н. Пунина, — была абсолютно фригидна, то есть страдала неутолённой похотью. Чтобы чувствовать себя полноценной женщиной, ей требовалось постоянно менять сексуальных партнёров.

Добавлю к этому, что Лиля была особой довольно лицемерной и, причувствив Маяковского к мысли, что с точки зрения всеобщего прогресса в их “треугольнике” нет ничего предосудительного, сама, однако, не слишком одобряла чужие “треугольники”, особенно если в них мог как-то попасть Маяковский. В 1929 году она записала в дневнике: “На улице встретили Полонскую с Володей и Яншиным (официальным мужем Полонской. — **А. В.**) по бокам под ручку — тусклое зрелище”. А вот когда она сама шла по улице в аналогичной позиции между Володей и Осиком — это, конечно, было зрелище яркое!

Но вернёмся в более ранние времена — в 1917 год. Всему в жизни приходит конец — не мог бесконечно продолжаться и “религиозный” период в творчестве Маяковского. Поэма “Человек” была опубликована тогда, когда вирши о “богодьяволе” уже вышли из моды — в марте 1918 года. Блок с его “Двенадцатью” казался ярче и современнее (декадент Блок!). Тем не менее, Маяковский, всегда великолепно чувствующий литературную конъюнктуру, не сразу смог отказаться от действующей на него, как наркотик, “богодьявольской” тематики. Последовала “Мистерия-Буфф”, которая, несмотря на труды Мейерхольда и Малевича, провалилась столь же блестяще, как и другие драматургические опыты Маяковского. Только тогда, видимо, он понял, насколько он,

по праву во всем опережавший других русских авангардистов, отстал от них за последние 3 года, когда “косил” от армии и сочинял на деньги Брика “анти-евангелия”. И он совершил свой знаменитый прыжок из герметической культуры в массовую — из “Мистерии-Буфф” в поэму “150 000 000”, печатавшуюся без фамилии автора. Впрочем, в масс-культуре ему пришлось завоевывать своё место с боем. Не по большой охоте он перешёл от “чёрных литургий” к заурядному агитпропу! Ему, “тринадцатому апостолу”, предстояло теперь обгонять Демьяна Бедного, да ещё ревниво поглядывать в сторону резво взявшего в те годы “левый старт” Есенина.

Ставрогин от футуризма ушёл в литературные чиновники. Но не один, а с “секретариатом” — Лилей и Осипом Бриками. На двери его московской квартиры в Гендриковом переулке были прикреплены одна над другой две одинаковые медные таблички — “Брик” и “Маяковский”. (В. Шаламов рассказывал, что на двери комкора Примакова были точно такие же таблички — только “Брик” и “Примаков”, хотя Лилия теперь была официально женой Примакова, а не Брика.) Падение Маяковского с “апостольских” высот было довольно болезненным, что, как это ни странно, продлило его жизнь в литературе. Причина довольно прозаическая: до революции Осик, сын преуспевающего еврейского коммерсанта, кормил “семью”, а после революции он такой возможности лишился. Немигающий взгляд Лилии обратился в сторону Володи:

*Ямами двух могил
вырылись в лице твоём глаза...*

Вот уже который десяток лет исследователи гадают: какие такие обязательства были у Маяковского перед Бриками, что он вынужден был содержать их обоих? В точности уже не скажет никто, как справедливо заметил Карабчиевский, но вообще-то надо внимательнее читать Маяковского. В автобиографии “Я сам”, в частности, сказано, что в военные годы Осик покупал у Маяковского стихи, по 50 коп. за строчку. Он же, Брик, издавал их в своём издательстве с характерным названием “Взял”. Платить Осика приходилось в том числе и за такие строки, обращённые к Лиле: “Знаю / любовь его износила уже. / Скуку угадываю по столичным признакам. / Вымолоди себя в моей душе. / Празднику тела сердце вызнакомь” (“Флейта-позвоночник”).

И по дореволюционным, и даже по советским меркам 50 коп. — это неплохо (в “Комсомольской правде” Маяковскому платили 70 советских коп. за строчку). Четыре из пяти дореволюционных больших поэм Маяковского написаны именно в военные годы. В поэме “Человек”, к примеру, около 1300 строк. 650 рублей в те времена — кругленькая сумма, на неё целый год можно было снимать приличную квартиру!

И вот вопрос: а так ли просто Осик ссуживал Маяковскому эти 50 коп. за строчку? Не приобретал ли он его стихи в некую собственность? Иначе почему Маяковский продолжал содержать Осика и после “военного коммунизма”, когда он встал на ноги, писал сценарии, читал лекции? Он брал деньги у этого новоявленного Шейлока в рост и пользовался специфическими услугами его жены, а потом до самой смерти платил проценты (правда, в предсмертной записке в состав своей “семьи” он Осика, в отличие от Лилии, не включил).

В 1918 году, в новой политической и культурной ситуации, “мистерии” продавались плохо, а точнее — вообще не продавались, ибо прежняя система литературного заработка умерла. Частных издательств уже почти не было, а государственных ещё не было. Существовали партийные, большевистские и левозсеровские (до июля 1918 года), причём художественной литературой интересовались, главным образом, левозсеровские. Но выпущенные ими книги Наркомпрос требовал продавать по твёрдой цене, а инфляция шагала вперёд семимильными шагами. Гонорары превращались в пыль. Ни одна поэма Блока не пользовалась таким успехом, как “Двенадцать”, её печатали повсеместно, а автор нищенствовал. Маяковский “верхним чутьём” угадал рентабельность кино, начал писать сценарии, снимался сам и приводил сниматься Лилию, рисовал киноплакаты, но технический прогресс, который Маяковский так любил, сыграл с ними злую шутку. Точнее, не столько прогресс, сколько революция. Оказалось, это две вещи несовместные, хотя классики марксизма утверждали обратное. Чтобы снимать кино, требовалась пленка, камеры, электричество, а где всё это взять в условиях разрухи?

Пришлось идти в литературные и живописные подёнщики (“Дни и ночи РОСТА”). Бегал по инстанциям, кланчил квартиру в Гендриковом:

— *Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она.
— Товарищ Иван Ваньч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона.*

Получил, наконец, ордер, сразу же притащил в Гендриков Лилю и Осика, посадил в разрушенной, загаженной пролетариатом квартире на чемоданы: “Сидите здесь. А то заявятся другие претенденты — и ничего потом не докажешь”, — и побегал искать рабочих, чтобы без промедления делать ремонт. М-да... “Человеческое, слишком человеческое...” Нет ницшеанского размаха, вселенского масштаба, так сказать...

— *Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!..*

Нет, ты идёшь к товарищу Иван Ваньчу, а он на заседании А-бе-ве-ге-де-же-зе-кома...

Стихи по-прежнему отдавались Осика, якобы для того, что тот *расставил запятатки*. Карабчиевский согласен с этой версией. Я же думаю, что найти для этого корректора, помимо Осика, не составило бы особого труда. В крайнем случае, Маяковский мог обойтись без *запятаток*, как делал это прежде. Все-таки он футурист, а не какой-нибудь буржуазный классик! Нет, *запятатки* — это эвфемизм. Не ради *запятаток* Лиля Юрьевна извлекала бумаги даже из мусорной корзины Владимира Владимировича. Брики вступали в *права наследования* — при жизни хозяина. Полагать, что Лиля “до пекловых глубин” ревновала Маяковского, когда тот печатал и читал стихи, посвящённые эмигрантке Татьяне Яковлевой, — наивно. Не будучи законной супругой Маяковского, она понимала, что все их шейлоковские “семейные” соглашения с юридической точки зрения — пшик, и Маяковскому достаточно объявить своей литературной наследницей другую женщину, чтобы Брики остались у разбитого корыта.

Очевидно также, что к концу 1922 года относится первая попытка Маяковского доказать, кто в Водопьяном переулке хозяин. Исследователями тогдашняя размолвка Маяковского с Лилей трактуется (с её же подачи) так, что они испугались “позорного благоразумия” отношений, “любовная лодка разбилась о быт” и т. д., причём подразумевается, что инициатором сей антинэповской акции была именно Лиля Юрьевна. В результате Маяковский якобы “приговорил себя в 2-м месяцам одиночного заключения... В эти два месяца он решил проверить себя” (Л. Брик). В качестве дополнительной причины ссоры Лиля Юрьевна сообщает, что была обижена на Маяковского за то, что тот, вернувшись из Берлина, пересказывал на выступлениях берлинские впечатления Осика, выдавая их за свои. “Своих же впечатлений никаких он не имел, поскольку все дни и ночи в Берлине просидел за картами” (Ю. Карабчиевский).

Карабчиевский справедливо сомневается в искренности сих доводов (Брикам ли упрекать в мещанстве курицу, несущую им золотые яйца?), но и его предположение не совсем правильно, на мой взгляд. Он полагает, что сексуальными услугами Лили стали пользоваться высокие советские начальники, прежде всего, чекисты, а Осик им сводничал. Маяковскому это, естественно, не понравилось, за что он и был заклеимён Лилей и уличён в мещанстве. Подобное предположение нельзя исключить вовсе.

Думается мне, что всё же причина размолвки в другом. Маяковский, видимо, заявил, что ничего больше Брикам не должен, а они вот ему должны. Не исключено, что приводились доводы Карабчиевского как примеры нарушения финансово-сексуального соглашения противной стороной (дескать: “Если я вас содержу, то и сплю с Лилей я, а не чекисты и банкир Краснощёков”). Осика, вероятно, было предложено покинуть Водопьяный и являться разве что в гости, Лиле — развестись с Осиком и выйти за него, Маяковского.

Только в этом контексте были возможны обвинения в мещанстве и буржуазной морали, равно как и упрёк в плагиате берлинских впечатлений. Началась, очевидно, тотальная разборка по типу “кто кому на самом деле должен”, где в ход пошли и *запятатки*, и сравнительный курс дореволюционного полтинника с советским. Противостоять в подобном споре еврейскому семейству невозможно. Среди реплик Лили Юрьевны была, думается, и такая: “Да ты и ме-

сяца без нас не проживёшь!”, — на что Маяковский сразу попался: “Проживу и два!” “Так, — сказала тогда хладнокровная Лиля Юрьевна, — с завтрашнего дня и начнём. Увидим, чего сто́ит твоё слово”.

И вот с 28 декабря 1922 года по 28 февраля 1923-го Маяковский отправляется в ссылку — в писательский кабинет на Лубянке. “Выходит только за папиросами, не звонит по телефону, ни с кем не видится, сидит, распухший от детских слёз...” Впрочем, всё же выходит, идёт тайком в Водопьяный переулок, стоит на лестнице у дверей своей квартиры, слушает...

*Горлань горланья, оранье орло
ко мне доплеталось пьяное допьяна...*

Пишет поэму с дурацким названием “Про это”, где вялость содержания безуспешно пытается компенсировать словесной экспрессией:

Скажу:

*— Смотри, даже здесь, дорогая,
стихами грома обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя в проклятиях моих обхожу.*

Разве можно это сравнить с экспрессивным лаконизмом “Облака в штанах”?

*Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
“Приду в четыре”, — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять...*

Маяковский и сам понимал, что “Про это” — ерундовая вещь и позже, окончательно завершив её, в сердцах бросил в мусорную корзину, но чуткий слух “ослепительной царицы Сиона евреева”, сидящей в соседней комнате, уловил этот звук. Она прибежала к Маяковскому и немедленно изъяла из мусора рукопись, заявив, что если поэма посвящена ей, то и принадлежать должна ей. А Лиле Юрьевне, кстати, были посвящены все “железные книги” Маяковского, что наводит на мысль: не было ли это условием известного “финансово-сексуального соглашения”?

28 февраля 1923 года Маяковский, хмурый, с поэмой подмышкой, вернулся в Водопьяный, отдал стихи, как прежде, Осипу — “расставить запятатки”. Вроде бы выдержал зарок, торчал два месяца на Лубянке, а результат? Писал Лиле жалостливые письма, ходил в Водопьяный, стоял на лестнице... Его возвращение, в общем, было капитуляцией, хотя и почётной. Издавая “Про это”, он закреплял право собственности на Лилю. Поэма не только посвящалась ей, но и была иллюстрирована Родченко её фотографиями, в том числе и в пижаме. Чтобы, так сказать, у читателей не оставалось сомнений, кого из своих “мужей” и любовников Лиля чаще пускает в постель.

Жалкое утешение! “Футурист ростом в сажень”, “тринадцатый апостол” — и пигалица эта в пижаме... Роковая женщина... Жидкие волосёнки, ввалившиеся глаза...

Пророческими оказались слова Ларисы Рейснер, сказанные Маяковскому ещё до революции в петроградском кафе, когда Лиля забыла сумочку, а Маяковский за ней вернулся: “Теперь вы будете таскать эту сумочку всю жизнь”.

Кстати, “фотосессии” для книги “Про это” и Родченко, и Лиле, очевидно, понравились, и в следующем году Родченко делает более смелое фото, на котором Лиля, в общем, абсолютно нагая, поскольку чёрное газовое платье, надетое на голое тело, ничего не прикрывает (снимок можно увидеть в Википедии, в статье о Л. Ю. Брик).

Я бы назвал это фото “Черная Лиля”. Маяковский почему-то не иллюстрировал им свои произведения.

(Продолжение следует)

Прошло почти два столетия с того дня, когда у горы Машук был убит великий русский поэт, национальный гений Михаил Юрьевич Лермонтов.

Новая книга о нём Владимира Бондаренко — “Мистический гений” — пожалуй, первая за 200 лет книга, раскрывающая мистические корни поэта, идущие от его древних предков. В отличие от многочисленных беллетризованных семейно-бытовых биографий, книга Бондаренко затрагивает важнейшие проблемы бытия, в ней столько интригующих зацепок, которые наверняка заинтересуют и маститого лермонтоведа, и самого широкого читателя. Что послужило причиной дуэли? Почему современные лермонтоведы оправдывают Мартынова? Почему на целых 30 лет затянулось молчание о причинах его гибели? Почему в России вечно недооценивают своих национальных гениев? В. Розанов писал о “вечно печальной дуэли”, В. Бондаренко — о “вечно преступной”...

Известный критик и публицист находит у царя Николая и нынешних властителей повторяющуюся ошибку: борясь с опасной для страны революцией, они опираются на серых и продажных чиновников. По мнению В. Бондаренко, Лермонтов построил суровую модель отношений с миром, противостоя и светской власти, и духовной, и нормативно-бытовой. Ну же ли властям такой вольный поэт?

Критик резко выступает против всех мистификаций и сплетен о поэте, присущих нашему времени. Для него Лермонтов во всех своих противоречиях, при всей сложности характера — прежде всего величайший национальный русский гений, очень рано осознавший свою трагическую миссию.

Публикуем в номере главу из книги Владимира Бондаренко.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

ОТЪЯВЛЕННЫЙ РУСОМАН ЛЕРМОНТОВ

Более русского по стихам, по выражению своей русскости, в русской поэзии девятнадцатого века не найти. Он и был светлым предвестником Сергея Есенина. Ещё в юношеских стихах, посвящённых Новгороду и мятежному славянину Вадиму Храброму, он настойчиво противопоставляет славянство Вадима чужести, варяжести пришлого Рурика. В “Бородино” он, несмотря на своё увлечение Наполеоном и любовь к французской литературе, без всякого стеснения называет пришедших французов бусурманами. С какой детской наивностью он утверждает в стихотворении “Смерть поэта”, что русский человек не смог бы поднять руку на русского гения, даже если бы тот был неправ. “Не мог понять он нашей славы...”. Увы, русская дворянская рука его и убила.

Вот что писали его дальновидные современники: “На Пушкина целила, по крайней мере, французская рука, а русской руке было грешно целить в Лермонтова” (П. Вяземский). “Не стало Лермонтова! Сегодня (26 июля) получено известие, что он был убит 15 июля в Пятигорске на водах; он убит, убит не на войне, не рукою черкеса или чеченца, увы, Лермонтов был убит на дуэли — русским” (А. Булгаков). “Теперь другой вопрос, как поступить с убийцей нашей славы, нашей народной гордости, нашего Лермонтова... , тем более что

он русский... нет, он не русский после этого, он не достоин этого священного имени” (А. П. Смольянинов). Или, как высказался Владимир Соллогуб: “на русское имя” кровавым пятном легла смерть русского гения.

Так почему до сих пор не могут *понять нашей славы* гениального Лермонтова все оправдатели Мартынова и собиратели сплетен и слухов антилермонтовского содержания? Зачем в оправдание Мартынова кинулся и наш всеядный Евтушенко, уже сейчас, в 2012 году написавший:

*Убитый пулей — не мортирами,
несчастья полон своего,
зачем он додразнил Мартынова,
несчастливым сделав и его?*

Впрочем, для Евтушенко несчастны все убийцы русских поэтов: и Дантес, и убийца Рубцова. Он любит жалеть всех разрушителей России.

Зачем придумывают ему, словно в параллель с Шолоховым, которому навязывают мнимых “соавторов”, каких-то надуманных “подлинных отцов”?

Впрочем, агрессивный поиск нового отца Михаила Лермонтова продолжался весь XX век. Израильский историк С. Дудаков в одной нацистской наукообразной книге обнаружил портрет Лермонтова, размещённый со многими другими для характеристики еврейского типа внешности. Великий русский поэт оказался здесь в компании вместе с Барухом Спинозой, Стефаном Цвейгом, Чарли Чаплином, Альбертом Эйнштейном и другими евреями. Казалось бы, возьми и опровергни эту глупость. Нет, он пошёл дальше нацистов и “обнаружил”, что отцом Лермонтова был якобы личный врач бабушки поэта, французский еврей Ансельм Леви. И будто бы с этой версией соглашались и пушкинист Л. Гроссман, и лермонтовед И. Андронников.

Уверяю вас, прочитав чуть ли не сотню самых разных, противоречащих друг другу, да и порой самому поэту, книг и статей о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, я поразился: лермонтовская родовая линия в книгах практически отсутствует! Как началось с лютой нелюбви бабки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой к отцу поэта Юрию Петровичу Лермонтову, так и до сих пор вычёркивают эти древние лермонтовские корни из его биографии и из его судьбы. Да ещё и придумывают самые разные небылицы о мнимых отцах. Хорошо, что этих мнимых отцов, набралась уже, как минимум, целая троица, значит, даже обыватель в эти версии не поверит. И потом: откуда “обиженный древний род” у французского лекаря или крепостного кучера, да и чеченский абрек древностью своего рода не прославился... Оставим их досужим сплетникам.

Удивляюсь я только тому, что эти подленькие версии поддерживали то Андронников (о французском еврее-лекаре), то самые именитые лермонтоведы В. Мануйлов и В. Захаров: о том, что якобы знатная дворянка из рода Столыпиных в совсем юном возрасте спуталась с крепостным кучером своей бабки и забеременела от него. И потому бабка поэта Елизавета Алексеевна Арсеньева якобы была вынуждена за большие деньги нанять в мужья Юрия Петровича Лермонтова, дабы прикрыть грех своей дочери. Зачем сопредседатель Лермонтовского комитета и, кстати, председатель Лермонтовского комитета Союза писателей России В. А. Захаров опубликовал в наше перестроечное время статейку ещё одного именитого лермонтоведа — В. А. Мануйлова — “Лермонтов ли Лермонтов?”, написанную ещё в 1973 году? Ради свержения русского гения с пьедестала? Ради скандальной, дурно пахнущей славы?

Я не собираюсь оправдывать и Мануйлова, который, мол, прятал до самой своей смерти в 1987 году эту статейку у себя в письменном столе. Написал, значит, захотелось поиздеваться над своим кумиром хотя бы исподтишка. Шутка, мистификация? А есть ли просто исследовательское чутьё, есть ли интуиция истинного учёного? Мануйлову якобы пришлось ещё в сентябре 1936 года разбирать безграмотное сочинение школьника из Тархан, некоего А. Абакумова, собравшего все байки старушек, о таинственной любви семнадцатилетней аристократки Маши Арсеньевой и крепостного кучера её матери. Вот от кучера юная леди и “понесла”, а бабка, дабы прикрыть грех дочери, нашла бедного дворянина Юрия Петровича Лермонтова и за солидную сумму уговорила его взять в жёны свою распутную дочку. Может быть, в 1936 году и понадобилось кому-то из местных чиновников придумать народное происхождение великому русскому поэту, избавив его от каких-то шот-

ландских корней, но высокое начальство эту версию явно не поддержало. Разврат молодых девиц в сталинское время не особенно приветствовался. Всё остальное — полнейшая чепуха.

Среди крепостных Арсеньевых историки не нашли ни искомого кучера, ни следов бабок, якобы хранивших в памяти эту историю. И возможно ли было в начале сурового, патриархального восемнадцатого века, чтобы знатная девица, пятнадцатилетняя столбовая дворянка спуталась с каким-то крепостным кучером или с лекарем-евреем, или, ещё чище, — с разбойным абреком? Это ещё помещики своих крепостных девок “пользовали”. Даже замужние барыни во время длительных отлучек своих аристократических мужей на военную службу или в столицы могли подыскать себе на время приличного крепостного мужичка из прислуги. Но молодая девица была бы навеки опозорена. Это во-первых.

Да и народ об этом бы не молчал сто с лишним лет, аж до 1936 года. Надо же, в самые смутные времена революций и бунтов, во времена освобождения от крепостного права, во времена нигилистов и разночинцев, когда сочинялись якобы лермонтовские стихи “Прощай, немытая Россия”, никто не пожелал рассказать байки о крепостном отце поэта.

Во-вторых, случись подобное на самом деле, то получивший солидные деньги бедный дворянин после смерти своей навязанной ему супруги убежал бы подальше и от сумасбродной бабки, и от чужого ему сына. Зачем ему было общаться с ним, писать своё завещание, зачем ему было любить чужого человека, с которым по воле бабушки он и виделся нечасто после смерти жены? Зачем ему было отписывать чужому сыну половину своего имения в Кропотовке?

Этот навет справедливо осудили и известные деятели культуры в газете “Культура”, и лермонтовед Д. Алексеев в “Литературной России”. Но Захарову, да и другим, неймётся. Вот он уже и в “Спид-инфо”, в недавнее время изложил столь скандальную версию. Его даже не смущает, что сама публикация подобных сплетен в такой жёлтой газете, как “Спид-инфо” выдаёт лжеучёного с головой. Подхватывают его версию и разного рода любители сенсаций в областных газетах. Скажем, в Ярославле на лермонтовских чтениях Захаров говорит журналистам:

— Ну, хотя бы происхождение Лермонтова. О его папёнке с маменькой, о том, где и как они познакомились, при каких обстоятельствах поженились, ничего не известно. Церковных записей об их венчании так и не обнаружилось.

— В книге у вас есть раздел со странным названием “Лермонтов ли Лермонтов?”. Не соскучишься.

— Так назвал свою рукопись мой учитель, составитель “Лермонтовской энциклопедии” академик Виктор Мануйлов. Статью он написал ещё в начале 70-х годов, опубликовать же её так и не решился. Как раз работал над энциклопедией и поостерёгся попасть в немилость к литчиновникам. Передал рукопись мне уже в следующем десятилетии с наказом “докопаться до истины”. Вопрос поставил ребром: кто в действительности был отцом поэта?

— Неужели не отставной майор Юрий Петрович Лермонтов, как нас в школе учили, коего Мишель нежно называл “папёнькой”?

— На чтениях в Ярославле я хотя бы отчасти, надеюсь, вопрос прояснил. Суть его в том, что по легенде старожилов пензенских Тархан, где в усадьбе бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой прошло детство поэта, отцом его был крепостной кучер. Чтобы скрыть грех дочери, а за внуком сохранить дворянские привилегии, хозяйка усадьбы сумела-таки сосватать её с отставным майором Лермонтовым. Приплачивала ему за это, те складные бумаги сохранились... (Кстати, откуда взялся отставной майор? Он, похоже, с Мартыновым спутал отца поэта: Юрий Петрович Лермонтов в отставке с 7 ноября 1811 года капитаном “за болезнь с мундиром” — В. Б.)

— Как же нам тогда понимать хрестоматийную юношескую строку поэта “В горах Шотландии моей”? Сказано же — “моей”.

— В юности под воздействием, скорее всего, рассказов Юрия Петровича о шотландских корнях рода, о предке поэте Томасе Рифмаче Мишель весь был в испанцах и шотландцах. Когда же ему исполнилось шестнадцать, бабушка, предполагаю, открыла внуку тайну его рождения. Шотландские мотивы в стихах Лермонтова исчезли. Зато он написал стихотворение с такими начальными строками: “Ужасная судьба отца и сына: // жить розно и в разлуке умереть”...

Не думаю, чтобы безумно любившая внука Елизавета Алексеевна стала бы ему в шестнадцать лет рассказывать об отце из дворовых крестьян. Не ста-

ла бы она и давать вольную такому кучеру – изничтожила бы. Да и куда по-девался потом этот *вольный* папаша?

Ещё сумасброднее версия некоей литераторши из Грозного Марьям Вахидовой, опубликовавшей целую книгу “Лермонтов. Тайна рождения”. По её версии, и родился-то поэт на три года раньше (где скрывали его от родни и всех крепостных?), и чиновники царские его невзлюбили, и сам император Николай Первый, потому что знали: отец его – чеченец, враг России. И якобы сам Михаил Лермонтов эту тайну хорошо знал. И не убивали его чеченцы, потому что все они знали, что он “свой”. А вот сам Михаил Лермонтов со своей диверсионной группой немало чеченцев перерезал кинжалами и саблями. Что же он, мстил своему отцу?

Не удивлюсь, если найдут Лермонтову отца – татарина, киргиза, поляка... И притом без малейших на то оснований. Кстати, та же Вахидова, подробно израильскому историку Савелию Дудакову, тоже ссылается на Ираклия Андроникова. Что-то запутался наш славный лермонтовед в отцах поэта... Вот пишет Дудаков: “... уникальные сведения о происхождении поэта автору этих строк сообщил в 1964 <оду> пушкинист Виктор Азарьевич Гроссман (автор нашумевшего романа “Арион”). При этом он ссылался и на Ираклия Андроникова как <на> человека, знавшего эту тайну. Отцом Михаила Юрьевича якобы был французский еврей Ансельм Леви (Levis), личный врач бабки поэта Арсеньевой. Косвенным подтверждением “неблагополучия” в этом вопросе является перезахоронение праха Юрия Лермонтова в Тарханах”. Причём здесь перезахоронение отца поэта Юрия Петровича, чей прах перенесли из его тульского имения в Тарханы? Скорее, это подтверждение истины.

А вот что пишет Марьям Вахидова: “И И. Андроников это знал! Он об этом сам сказал молодому чеченскому филологу-лермонтоведу, прикрепленному к нему в помощники, когда приезжал в Чечню посетить лермонтовские места там. “... Он ведь был наполовину чеченцем.

– Лермонтов – чеченец?

– Это всё она, бабка поэта! – плакал Ираклий, – узнала, что 17-летняя дочь ждёт ребёнка, и увезла её из Чечни! Как я ненавижу вас, чеченцев! Я с 2-х лет рос без отца по вине вашего народа, а теперь вот и Лермонтова моего забрали!

Но на расспросы этого филолога (Ибрагима Алироева) сказал только: “Я знаю тайну рождения Лермонтова, но никогда об этом не напишу!..”

Может, их свести вместе: Вахидову и Дудакова? Пусть разберутся между собой, что и кому сказал Андронников! Заодно пусть и крепостной кучер Захаров с ними разберётся, и все остальные любители досужих сплетен. И где были все его отцы, когда поэт стал знаменитым?

Как и положено в подобных случаях, занявшись разоблачениями Лермонтова и его биографии, Захаров не остановился на истории незаконнорожденного ребёнка. Дальше пошло в ход и восхваление убийцы Мартынова, возвеличивание его поэзии, уверения в ужасном характере Лермонтова. Даже появились какие-то экскурсанты-врачи, посетившие единожды Тарханы, которые по портрету быстро установили, что Лермонтов был рахитиком, и сообщили об этом Захарову. Какой-то священник нарушил тайну исповеди. Даже прах Юрия Петровича Лермонтова, перенесённый с кладбища в Шипове по инициативе Ираклия Андронникова, по мнению Захарова – чужой, случайно выкопанный прах. Непонятно только, какое дело Захарову до праха Юрия Петровича, если он не отец поэта? Как говорят: “коготок увяз, всей птичке пропасть”. Встав на путь сомнительных сенсаций, этот лжеучёный и дальше будет выдавать “на гора” любые, самые невероятные вымыслы. Боюсь, скоро объявит плагиатом и все его стихи. Вот уж верно: “Осторожно, сенсация!”

Такая статья о лжелермонтоведении была опубликована и самим В. Мануйловым. Жаль, что учёный сам увлёкся заманчивыми версиями. Только откуда у сына крепостного кучера такая всемирность, откуда мистическое проникновение в глубины духа? Это ещё в 1936 году были в ходу рабоче-крестьянские версии. *Свинарка и пастух* творили новые миры... Хотя и в те, послереволюционные времена Сергей Есенин признавался, что и он, и Николай Клюев из высшего, образованного слоя крестьянства. Мол, притворяемся простыми крестьянами, а сами-то родом из книжных людей вышли. Так оно и было.

“Ты светом осуждён...” – писал своему отцу в 1830 году Михаил Лермонтов, якобы уже знавший о подлинном своём отце. Кто же осуждён светом – безвестный чеченский абрек, еврей-лекарь или же крепостной кучер? Свет не интересовали эти люди. Нет же, осуждён светом обнищавший дорянин Юрий Петрович Лермонтов.

... Впрочем, чем больше отцов появится, тем более нелепой будет выглядеть сама ситуация.

Дело ли серьёзных литературоведов заниматься всеми этими биологическими домыслами? Или они лишены чувства слова, лишены способности художественного видения мира?

Я бы и не стал обо всём этом писать, если бы не ставил перед собой цель: понять истоки древнего рода, давшего России великого русского гения.

Не лучше ли заняться как следует текстологией, ибо немалая часть стихотворений Лермонтова была опубликована уже в семидесятые-восемидесятые годы девятнадцатого столетия, а то и в двадцатом веке в чьих-то записях, и никто никогда оригиналов многих стихов не видел.

Так и возникла в 1873 году версия о принадлежности Лермонтову стихотворения “Прощай, немытая Россия”. Удивительно: нет ни одного оригинала или упоминания современников, ни одного публичного прочтения или обсуждения в личных письмах. И вдруг, в разгар нашего нигилизма и народовольчества, в нигилистической печати появляется якобы лермонтовское стихотворение. В конце концов, ничего страшного, мог и поэт, разгорячившись, как и Пушкин по поводу страны, в которой ему угораздило родиться, написать нечто резко отрицательное по отношению к власти. Есть же каноническое “Люблю Отчизну я, но странною любовью...”, есть вообще пророческое, на столетие вперёд, написанное в шестнадцать лет:

*Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сел...*

Так могло бы написаться и “Прощай, немытая Россия!” Но, во-первых, уже по уровню совершенства в 1841 году он такие стихи не писал. Во-вторых, опять работа для текстологов: все выражения, образы, сравнения совсем непривычные и никогда у Лермонтова не встречавшиеся. В-третьих, как установили наши добросовестные правдоискатели, именно в семидесятые годы XIX века нигилистический стихотворец Д. Минаев (так схожий по всем приемам и бульварности с нашим нынешним телевизионно-литературным Минаевым) употреблял подобную стилистику. Уже в 1989 году наш дотошный Владимир Бушин докопался до всей этой сомнительной истории и предложил учёным перепроверить внимательно авторство стихотворения. А в наши дни академик Н. Н. Скатов в своей блестящей статье к 190-летию Михаила Лермонтова подтвердил: “Всё это вновь и вновь заставляет возвращаться (в последний раз это сделал М. Д. Эльзон) к одному из самых известных, приписываемых Лермонтову стихотворений:

*Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.*

*Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.*

Как известно, автографа этого стихотворения нет. Что ж – бывает. Но за тридцать с лишним лет не появилось и никаких свидетельств о какой-либо

изустной информации: это о лермонтовском-то стихотворении такой степени политического радикализма! Нет и ни одного списка, кроме того, на который ссылается П. И. Бартенев, с чьей подачи и стало известно в 1873 году стихотворение, и который тоже якобы утерян.

Кстати сказать, речь в стихотворении о желании укрыться за “стеной Кавказа” в то время, как Лермонтов ехал служить на Северный Кавказ, то есть, строго говоря, не доезжая до его стены. Наконец, главное – это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, всё более укреплявшегося в своём русофильстве, которого даже называют русоманом и который пишет (вот здесь-то автограф как раз сохранился): “У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжёлого сна – встал и пошёл... и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их, и сел над ними царствовать... Такова Россия”...

Так зачем и кому, спустя десятки лет после смерти Михаила Юрьевича, в нигилистической печати понадобилось печатать это якобы лермонтовское стихотворение? Оно скорее пародирует пушкинские строки “Прощай, свободная стихия!”. Тем же нигилистом Минаевым позже была написана пародия на лермонтовскую поэму “Демон”, где есть строчки: “Бес мчится. Никаких помех // Не видит он в ночном эфире. // На голубом его мундире // Сверкают звёзды рангов всех...” Вот и появляются опять минаевские “мундиры голубые”, которых никогда не было в поэзии Лермонтова. Литературовед А. А. Кутырева, кандидат философских наук, вполне убедительно доказала авторство Дмитрия Минаева: “Литературоведы, дорожащие своей репутацией, обычно оговаривают отсутствие автографа и никогда не приписывают произведение автору, не имея хотя бы прижизненных списков. Но только не в этом случае! Стихотворение стало каноническим и включено в школьные учебники как шедевр политической лирики великого поэта.

Именно из-за первой строки стихотворение стало популярным, а для некоторых сейчас сверхактуальным... Более сильный литературный аргумент для опорочивания России, чем ссылка на её национального поэтического гения, трудно придумать...

Давайте спросим себя, что у нас здесь вызывает в первую очередь недоумение и что не согласуется со всеми остальными строчками. Спросим и признаемся: первая строка – “немытая Россия”. Воспитанный в дворянской среде, <в> пансионе Московского университета, вращавшийся в высших аристократических кругах, Лермонтов вряд ли мог писать и говорить “немытая” по отношению к Родине, которой он только что посвятил паразитической силы строки любви. Вполне можно предположить: он не употреблял его и в обиходной среде. Его не было в дворянском лексиконе, а к поэзии оно вообще не имеет никакого отношения. Разве что к пародии, эпиграмме, перепеву. А это уже другая эпоха. Поговорим о ней...

Виднейшим представителем сатирико-социальной поэзии 60-х годов, выступавшим против дворянской культуры, противником толпы “ренегатов, кликуш, временщиков и невских Клеопатр” был Д. Д. Минаев... В его сатирах и перепевах не обойдён вниманием ни один дворянский поэт: Пушкин, Лермонтов, Майков, Некрасов, Островский, Плещеев, Фет, Тютчев, Тургенев, Бенедиктов. Все попали на его острый язык. Он был ярким и ярым разрушителем дворянской эстетики, как, впрочем, и Д. Писарев. Стихотворная пародия была ведущим жанром Д. Минаева в области сатиры: издёвки, насмешки, журнальная полемика – его любимый стиль... Вульгарный демократический жаргон пародии снижал высокую аристократическую литературу... Вот и получилась минаевская пародия на пушкинское “К морю”:

*Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой...*

Сравните:

*Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.*

*И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ...*

Постепенно (и особенно теперь, в наше время) мистификация, которой увлеклись публикаторы пародии, превратилась в фальсификацию, работающую на противников России. . .

Прежде всего, хотят опорочить глубинно русского поэта. О чём бы он ни писал, в какие бы космические, звёздные выси не уплывал, в основе всего — русская земля, русский дом. Он находится под арестом за стихи на смерть Пушкина, и в темнице возникает его “Когда волнуется желтеющая нива”.

В одном из самых протестных, вызвавших недовольство императорского света стихотворений “Как часто, пёстрою толпою окружен. . .”, он от этих приличьем стянутых масок и бестрепетных рук, забываясь, и улета вольной, вольной птицей, возвращается в родные тарханские места:

*И вижу я себя ребёнком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зелёной сетью трав подёрнут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею тёмную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и жёлтые листья
Шумят под робкими шагами...*

От имени этой русской земли и хочет бросить дерзко всему высшему свету поэт свой “железный стих, облитый горечью и злостью”.

Если говорить о поэтическом символе Москвы, то, надо говорить, прежде всего, о великом русском национальном поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Он и родился в центре старой дворянской Москвы, в доме Толя. Он и воспел её как русскую столицу:

*Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.*

Ради любимой Москвы он даже так жёстко пишет о своём любимом кумире Наполеоне. Заметьте, как гениально просто, без затей, пишет он о своей русскости: “Люблю, как русский, — сильно, пламенно и нежно!” Сегодня бы поэта за такие строки в черносотенстве обвинили запросто. Потому и не любят эти строки повторять и цитировать. А ведь написано совсем мальчишкой, в чём-то ещё, может, и коряво, но никакой изошрённый стилист не добьётся такой мощи и простоты стиха. Москве он был предан до конца своих дней. О родной Москве писал и в не любимом им Петербурге: “Я враг Неве и невоскому туману”, — и далее, в своей поэме “Сашка”:

*Там жизнь грязна, пуста и молчалива,
Как плоский берег Финского залива.
Москва не то: покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить Москву.*

Особенно после первой дуэли в Петербурге с сыном французского посла Эрнестом де Барантом поэта стали звать в светских кругах отчаянным русо-маном. Его даже отличали от философствующих о России славянофилов. Те больше размышляли, Лермонтов действовал.

Он и журнал задумал издавать, отличный от всех либеральствующих изданий, даже от “Отечественных записок, где сам и печатался. Он писал своему другу и издателю Краевскому: “Мы должны жить своею самостоятельной жизнью и внести своё самобытное в общечеловеческое. Зачем нам тянуться за Европою и за французским...” Он спорил и с самим Жуковским, покровительствовавшим поэту: “Мы в своём журнале не будем предлагать обществу ничего переводного, а своё собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное. Не так, как Жуковский, который кормит всё переводами. Да ещё не говорит, откуда берёт их...”

Недаром известный публицист Спасович писал о нём: “По врождённой сильной склонности к национальному, по сильной любви к родине своей, по нерасположению своему к европеизму и глубокому религиозному чувству... Лермонтов был снабжён всеми данными для того, чтобы сделаться великим художником того литературного направления, теоретиками коего были Хомяков и Аксаковы, художником народническим, какого именно недоставало этой школе...”

Его предполагаемый журнал – это была программа нынешнего “Нашего современника”.

Потому и дуэль Лермонтова с Барантом была воспринята обществом, включая царя, дуэлью антиевропейской. Уже позже, после своей первой дуэли, Михаил Лермонтов выскажется по поводу вызвавшего его на дуэль сына французского посла в России Эрнеста де Баранта, а заодно и в адрес других таких же, как он, заезжих французов: “Я ненавижу этих искателей приключений – эти Дантесы и де Баранты заносчивые сукины дети...”

Эта фраза, вырвавшаяся в разговоре, подтверждает, что несмотря на все остальные реальные и придуманные причины дуэли, главной причиной было его презрительное отношение не то что конкретно к французам, а к хлынувшим в Россию чужеземным искателям славы и почестей. “Это совершенная противоположность истории Дантеса, – замечает П. А. Вяземский 22 марта 1840 года. – Здесь действует патриотизм. Из Лермонтова делают героя и радуются, что он проучил француза”.

Да и Военно-судебная комиссия, отнюдь не благоприсягнувшая Михаилу Лермонтову, признала что Лермонтов “вышел на дуэль не по одному личному неудовольствию, но более из желания поддержать честь русского офицера”. Более того, как пишет Белинский: “Государь сказал, что если бы Лермонтов подрался с русским, он знал бы, что с ним сделать, но когда с французом, то три четверти вины слагается”.

Тень Дантеса изначально повисла над первой дуэлью Михаила Лермонтова. Начнём с того, что ещё зимой 1839 года на вечеринке у вюртембергского посла Гогенлоэ барон д’Андре поинтересовался у А. И. Тургенева, насколько соответствует истине мнение, что стихотворение Лермонтова “Смерть поэта” направлено не только против убийцы Пушкина Дантеса, а против всех французов. Барон д’Андре дал понять, что этим интересуется сам посол Франции, господин де Барант. Как всегда, истинные причины такого запроса навсегда покрыты тайной. Со дня гибели Пушкина прошло два года, стихотворение “Смерть поэта” ходило в тысячах списков и наверняка достигло посольства Франции. Скорее, хотелось узнать мнение светских кругов о самом поэте. Тургенев поспешно пообещал барону поговорить с Лермонтовым и взять у него текст стихотворения. Когда Тургенев обратился к Михаилу Лермонтову с таким запросом, поэт через день ему прислал текст “Смерть поэта”, сопроводив его запиской: “Посылаю Вам ту строфу, о которой Вы мне вчера говорили, для известного употребления, если будет такова Ваша милость”. Де Баранта интересовало, очевидно, и мнение русского дворянства об этом стихотворении.

Кто-то же напомнил о нём французскому послу, вряд ли серьёзно занимающемуся русской поэзией, кто-то истолковал его, как оскорбительное для Франции. Но, очевидно, не один Тургенев спешно кинулся разузнавать подробности стихотворения Лермонтова. Позже Тургенев рассказывал князю Вяземскому: “Через день или два, кажется, на вечеринке или бале уже самого Баранта я хотел показать эту строфу Андрэ, но он прежде сам подошёл ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию...”. Вроде бы требовалось убедиться в благонадёжности известного поэта, дабы его приглашать на балы в посольство. Всё может быть.

Это говорит, прежде всего, о том, что к 1839 году положение поэта в обществе уже достигло самых высоких величин. Не замечать его иностранные дипломаты не могли. К примеру, уже после дуэли с молодым де Барантом тот же вюртембургский посол Гогенлоэ писал своему королю 22 марта 1840 года, что поэт “возбуждает некоторый интерес достаточно замечательным поэтическим талантом”. Итак, на новогодний бал во французском посольстве поэт Михаил Лермонтов был приглашён.

Позже друзья Лермонтова упрекали Тургенева в том, что он ввязался в эту историю, связал поэта с Барантами, да и вообще зачем-то обсуждал с французским послом его стихи о гибели Пушкина. Тургенев же оправдывался перед Вяземским: “Я был вызван к изъяснению моего мнения самим Барантом”. И заканчивал горячим уверением: “Вот тебе правда, вся правда и ничего, кроме правды. Прошу тебя и себя, и других переуверить, если, паче чаяния, вы думаете иначе”. Вообще-то А. И. Тургенев – гражданин России, и его никак не мог “вызвать к себе для изъяснения его мнения” никакой французский посол. Но таковы были нравы русских дворян. Это на своего императора можно было и заговоры, и покушения готовить, а перед французским послом надо стоять на вытыжку. Так и нынче наши вольнодумцы перед американским послом на вытыжку стоят.

Вряд ли барон де Барант предполагал, что приглашения на балы молодого талантливого поэта Михаила Лермонтова закончатся дуэлью с его сыном. Если откровенно, дуэль французскому послу была не нужна. Между Россией и Францией и так были натянутые отношения. Император Николай Первый явно недолюбливал Луи-Филиппа. К тому же барон и сам был неплохим писателем и даже дружил с Пушкиным. Он присутствовал при выносе тела покойного поэта и отпевании его в церкви. В. А. Жуковский в письме к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года заметил: “Пушкин по своему гению был собственностью не одной России, но целой Европы; потому-то и посол французский (сам знаменитый писатель) приходил к дверям его с печалью собственной; и о нашем Пушкине пожалел, как будто о своём”. Об искренней скорби Баранта писал и А. И. Тургенев: посол “французский с растроганным выражением, искренним, так что кто-то прежде, слышав, что из знати немногие о П. жалели, сказал: Барант и Геррера sont les seuls Russes dans tout cela!” (“единственные русские во всем этом деле”. – **В. Б.**). П. А. Вяземский тоже пишет А. И. Тургеневу: “Чем поддержал Барант своё неотъемлемое и не заимствованное достоинство во время пребывания его в Петербурге? Ничем, за исключением живого участия, которое он оказал в горе нашем о Пушкине”. Как говорили, барон Барант входил в число его “близких и высоко ценимых собеседников-европейцев”. Эта дуэль могла повлечь удаление посла из Петербурга.

Так что, не увлекаясь конспирологией, остановимся или на версии, что обнаглевший сынок посла, молодой Эрнест де Барант, и впрямь был уязвлён тем, что приглянувшаяся ему вдовья княгиня Щербатова предпочла русского поэта. Или же главной причиной послужила ещё одна европейская кокетка, крутившая романы со всеми знатными юношами, – Тереза фон Бахарахт, по дамской своей глупости и впрямь рассказавшая молодому Баранту о том, что думает о нём, да и о всех французах, Михаил Лермонтов. Вспомнили и “Бородино”, и “Смерть поэта”. Как писал 7 марта генерал П. Д. Дурново: “Барант, сын посла, дрался на дуэли с Лермонтовым, гвардейским гусарским офицером. 1-й был легко ранен. Причиной дуэли была г-жа Бахарахт”. 17 марта о дуэли уже пишет в своём дневнике Л. И. Голенищев-Кутузов: “Произошла дуэль очень замечательная, потому что один из противников – сын посла, а другой – офицер лейб-гвардии гусарского полка... Героиней или, вернее, причиной дуэли была, говорят, мадам Бахарах, не в обиду ей будь сказано, так как она ничего не знала, и оба молодца вызвали один другого, хотя она ни одному из них не давала повода, – несмотря на это, злые языки и сплетницы захотят вышивать по этой канве”.

Может быть, науськанный сыном посол и заинтересовался всерьёз стихами Лермонтова и вызвал к себе своего агента влияния А. И. Тургенева. Умудрённый опытом посол, узнав подробности, перечитав ещё раз стихотворение “Смерть поэта”, посвященное его покойному другу, и успокоился. Но у сына, кроме чисто политического недовольства позицией Михаила Лермонтова, хватало и личных претензий. К тому же, как у нас в России водится, из недоброжелателей Лермонтова нашлись и кляузники, (может, тот же Тургенев, к примеру), которые сообщили, что поэт написал на него злую эпиграмму:

*Прекрасная Невы богиня,
За ней волочится француз!
Лицо-то у неё как дыня,
Зато и жопа, как арбуз.*

Вот обозлённый Эрнест де Барант и решил слегка проучить русского поэта. Где Эрнесту было знать, что эту эпиграмму молодой Лермонтов написал, ещё учась в юнкерской школе, когда о Баранте и слухом не слыхивал, и посвящена она была интрижке между одним из юнкеров и горничной. Надо же было кому-то запомнить эту эпиграмму и спустя семь-восемь лет пересказать молодому Баранту. Может быть, этой доносчицей и оказалась та самая Тереза фон Бахерахт, воспринявшая эпиграмму, как направленную в свой адрес? Версию об увлечённости Лермонтова женой консула в Гамбурге я отмечаю, хотя бы потому, что именно в это время у него развивались самые нежные отношения с княгиней Марией Щербатовой.

Скорее, надо поверить рассказу лермонтовского друга Акима Шан-Гирея: «История эта оставалась довольно долго без последствий, Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней: наконец, одна неосторожная барышня Б***, вероятно, безо всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего... Лермонтов за поединок был предан военному суду». Как мы видим, госпожа Бахерахт разнесла слухи о поединке с Барантом, но до этого также в светской болтовне она рассказала что-то лишнее о Лермонтове молодому Баранту. Как пишет князь П. П. Вяземский: «Лермонтов был в близких отношениях с княгиней Щербатовой; а дуэль вышла из-за сплетни, переданной г-жою Бахарах». П. П. Вяземский называет эту госпожу Бахерахт «очень элегантною и прелестною женщиной». Впрочем, и молодого Баранта не укрощает столь резкая реакция на женские пересуды. О госпоже Бахерахт, как виновнице дуэли говорит весь петербургский свет, хотя, думаю, что бы ни рассказывала эта красотка, главная причина дуэли была в неприязни характеров друг друга, помноженной на общие сложные русско-французские отношения. И на явно антиевропейские настроения самого Лермонтова.

В письмах отца П. А. Вяземского жене в Баден читаем: «Лермонтов имел здесь дуэль, впрочем, без кровопролитных последствий, с молодым Барантом. Причина тому – бабьи сплетни и глупое ребячество, а между тем, довольно нахальное волокитство петербургское. Тут замешана моя приятельница или экс-приятельница Бахерахт». Спустя несколько дней – продолжение: «Об истории дуэли много толков, но всё не доберёшься толку, не знаешь, что было причиной ссоры. Теперь многие утверждают, что Бахерахтша тут ни в чём не виновата. Она, говорят, очень печальна и в ужасном положении, зная, что имя её у всех на языке. Кажется, они скоро едут обратно в Гамбург, не дожидаясь навигации. Петербург удивительно опасное и скользкое место».

«Жаль бедной Бахерахтши! В Гамбурге она не уживётся, а Петербург надолго не для нея», – добавляет в своём письме П. А. Вяземскому от 28 марта А. И. Турганев.

Доказательством тому, что первая дуэль не была политически спровоцирована ни одной, ни другой стороной служат и письма секретаря французского посольства барона д'Андре своему послу 28 марта 1840 года: «Я не могу выразить, до какой степени второе письмо меня огорчило. Моя первая мысль была о Вас и о г-же Барант. Потом я очень сожалел, что покинул вас на восемь дней раньше срока; мне казалось, что я мог бы избавить вас от того, что случилось. Ко времени моего отъезда они уже были в очень натянутых отношениях. Я несколько раз уговаривал Эрнеста сделать над собой небольшое усилие, чтобы не придавать слишком большого значения не вполне культурным манерам г-на Лермонтова, которого он видел слишком часто. Я очень не любил известную даму, находя её большой кокеткой; теперь я питаю к ней нечто вроде отвращения. Я полагаю, может быть, совсем ошибочно, что при некоторой доле ума она могла бы не допустить того, что произошло. Но, в конце концов, дело, которое могло бы кончиться столь несчастливо, не имеет других последствий, кроме доставленных вам мимолётного огорчения и больших забот...»

Тереза фон Бахерахт после серии шумных скандалов, связанных с ней, из России уехала, а вот дуэльный след за ней остался. Многие «понаехавшие из Европ» французы, немцы, англичане и впрямь вели себя даже в светском

обществе вызывающе, доказывая своё превосходство. Казалось бы, только что русские и австрийков с пруссаками били, и французов хвалёных били, но почему-то в самой же России те же русские аристократы нередко прогибались перед приезжими иностранцами. Но – не Лермонтов.

Когда 16 февраля 1840 года Эрнест де Барант на балу у графини Лаваль заявил Михаилу Лермонтову, что тот якобы говорил о нём обидные слова у известной особы, Лермонтов ответил, что никогда и нигде он Баранта не оскорблял. Как пишет первый биограф Лермонтова П. А. Висковатов, молодой Барант не удовлетворился оправданием Лермонтова и указал ему, что "...если всё переданное мне справедливо, то вы поступили дурно". Лермонтов резко ответил: "Ни советов, ни выговоров не принимаю и нахожу ваше поведение смешным и дерзким". На это де Барант вызывающе заявил: "Если б я был в своём Отечестве, то знал бы, как кончить дело". Конечно, Лермонтов не мог не ответить и сказал следующее: "Поверьте, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы, русские, меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно"...

Эрнест де Барант прекрасно знал, что в России дуэли строжайше запрещены. Николай Первый ненавидел дуэли и строжайше наказывал за них. (И правильно делал – столько замечательных людей в России было убито на дуэли!) К тому же, в России принято было стреляться на пистолетах, в отличие от всей Европы, где предпочитали шпаги, и бились до первого ранения. И потому там смертных случаев было крайне немного. Совсем другое дело – пистолеты. Русские, как всегда, доходили до крайних мер в любых увлечениях. Барант был уверен, что Лермонтов откажется от дуэли. Он послал вызов, поэт его принял. И более ужесточил: после предложенной первой схватки на шпагах он предложил продолжить дуэль на пистолетах, по-русски. Барант не посмел отказаться.

Почему я так презрительно пишу об Эрнесте де Баранте? Потому что все последующие события доказали его трусость. Мало того, что он отказался от повторной дуэли, сочтя себя вполне удовлетворённым, но и в будущем он боялся приехать из Европы в Россию, ибо предполагал, что Лермонтов вновь пожелает встретиться с ним. Мать Эрнеста всё время давила на мужа, а посол – на Нессельроде и на Бенкендорфа, добиваясь того, чтобы Михаил Лермонтов никогда не возвращался в Петербург. Боялись за своего сыночка. Будто это не он вызвал 16 февраля 1840 года на дуэль нашего поэта!

Дуэль состоялась 18 февраля на той же самой Чёрной речке, где был убит Пушкин. Сначала по-французски помахались на шпагах. Поражаюсь отчаянности Лермонтова. Поначалу его секундант Алексей Столыпин (Монго) объяснил секунданту Баранта, недавно приехавшему в Россию виконту Раулю д'Англе, что в России на шпагах не дерутся – в России у офицеров на вооружении были сабли, – и предложил сражаться на саблях; француз заупрямился, и Лермонтов, мало знакомый с таким оружием, спокойно согласился. Шпаги – так шпаги.

При взаимных ударах Барант поскользнулся, и шпага лишь процарапала грудь Лермонтова, а шпага Лермонтов ударила о рукоять барантовской шпаги и острое сломалось.

Взялись за пистолеты. Лермонтов всё медлил, Барант выстрелил первым и промахнулся. После этого Лермонтов выстрелил в сторону. Противники пожали друг другу руки и разошлись. Что мешало Лермонтову, прекрасному стрелку, пристрелить обнаглевшего француза? И его же до сих пор обвиняют в излишней жестокости и равнодушии к людям.

А. Столыпин, который был секундантом на стороне М. Ю. Лермонтова, показал на суде: "Дуэль состоялась 18 февраля 1840 года. Она сначала должна была происходить на шпагах до первой крови, а потом – на пистолетах; на шпагах кончилась небольшой раной, полученной поручиком Лермонтовым в правый бок, и тем, что конец шпаги был сломан; после чего продолжалась она на пистолетах; поставили их на 20 шагах, стрелять они должны были вместе, по счёту: раз – приготовиться, два – целить, три – выстрелить. По счёту "два" Лермонтов остался с поднятым пистолетом и спустил его по счёту "три". Барон де Барант целил по счёту "два"... Направление пистолета поручика Лермонтова при выстреле не могу определить, но могу только сказать, что он не целил в барона де Баранта, а выстрелил с руки. Барон де Барант, как я уже сказал, целил по слову "два" и выстрелил по слову "три".

Этой дуэли уже в наши дни ещё один замечательный русский поэт – Николай Рубцов – посвятил стихотворение:

*Напрасно
дуло пистолета
Враждебно целилось в него:
Лицо великого поэта
Не выражало ничего!
Уже давно,
как в Божью милость,
Он молча верил
В смертный рок.
И сердце Лермонтова билось,
Как в дни обыденных тревог.
Когда же выстрел грянул мимо,
(Наверно, враг
Не спал всю ночь!),
Поэт зевнул невозмутимо
И пистолет отбросил прочь...*

Один из видных царедворцев – М. А. Корф – писал в своём дневнике 21 марта 1840 года: “На днях был здесь дуэль довольно примечательный по участникам. Несколько лет тому назад молоденькая и хорошенькая Штеричева, жившая круглою сиротою у своей бабки, вышла замуж за молодого офицера кн. Щербатова, но он спустя менее года умер, и молодая вдова осталась одна с сыном, родившимся уже через несколько дней после смерти отца. По прошествии траурного срока она, натурально, стала являться в свете, и столь же натурально, что нашлись тотчас и претенденты на её руку, и просто молодые люди, за нею ухаживавшие. В числе первых был гусарский офицер Лермонтов – едва ли не лучший из теперешних наших поэтов; в числе последних, – сын французского посла Баранта, недавно сюда приехавший для определения в секретари здешней миссии. Но этот ветреный француз вместе с тем приволачивался за живущей здесь уже более года женою консула нашего в Гамбурге Бахерахт – известною кокеткою и даже, по общим слухам, – *femme galante*. В припадке ревности она как-то успела поссорить Баранта с Лермонтовым, и дело кончилось вызовом... всё это было ведено в такой тайне, что несколько недель оставалось скрытым и от публики, и от правительства, пока сам Лермонтов как-то не проговорился, и дело дошло до государя. Теперь он под военным судом, а Баранту-сыну, вероятно, придётся возвращаться восвояси. Щербатова уехала в Москву, а между тем её ребёнок, остававшийся здесь у бабушки, умер, что, вероятно, охладит многих из претендентов на её руку: ибо у неё ничего нет, и всё состояние было мужнино, перешедшее к сыну, со смертью которого возвращается опять в род отца...”

Я вполне согласен со всеми характеристиками Корфа, в том числе и Лермонтова как лучшего поэта, и с его расстановкой всех сил. Больше всего мне жалко в этой истории княгиню Марию Щербатову, которая мне виделась бы лучшей женой для Лермонтова из всех женщин, окружавших его. И какой стойкий характер: гибель мужа, гибель сына, потеря любимого человека, полное обнищание – и никаких упрёков. После дуэли она переехала в Москву, и, уезжая на Кавказ через свою любимую Москву, Михаил Лермонтов побывал у неё, но уже с прощальным визитом. Разве что посвятил ей написанное в Москве замечательное стихотворение:

*На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украины она променяла,
Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,*

*Среди беспощадного света,
Как ночи Украйны
В мерцании звёзд незакатных,
Исполнены тайны
Слова её уст ароматных,
Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, её глазки,
Как ветер пустыни,
И нежат, и жгут её ласки.*

Это уже не былые романтические послания возлюбленной – это блестящий портрет любимой женщины. “Сквозь слёзы смеётся. Любит Лермонтова”, – записал в своём дневнике А. И. Тургенев, посетив княгиню в Москве. Многие уверяют, что и Михаил Лермонтов испытывал к княгине самые серьёзные чувства. Что же помешало ему распорядиться ими?

*И следуя строго
Печальной Отчизны примеру,
В надежде на Бога
Хранит она детскую веру;
Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит.
От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.*

В стихотворении не скрывается и любовь к печальной Отчизне, и вера в Бога, и опора на племя родное, и цельность натуры княгини Щербатовой.

Менее всего княгине Марии Алексеевне хотелось приобрести незаслуженную репутацию коварной женщины, устраивающей дуэли между поклонниками. Понимая, что любимый ею Михаил Лермонтов не рвётся к прочному союзу, она предпочла уйти в московское затворничество. В марте 1840 года она писала А. Д. Блудовой: “Вы знаете, моя дорогая, нет большего позора для женщины, чем низкие домыслы о ней со стороны тех, кто её знает. Но если женщина слишком горда, она часто предпочитает склонить свою голову перед гнусной клеветой, нежели оказать честь этим клеветущим на неё людям, представляя им доказательства своей чистоты... Я счастлива, что они не поранили один другого, и желаю лучше быть осуждённой всеми, но всё-таки знать, что оба глупца останутся у своих родителей. Я-то знаю, что значит такая потеря”.

Всё понимал Михаил Юрьевич, но... заехал по пути на Кавказ к Марии попрощаться, написал чудесные стихи и умчался подальше, боясь связывать себя женитьбой...

Удивляет и то, что многие лермонтоведы нигде не упоминают госпожу Бахерахт, сосредотачиваясь на княгине Щербатовой как якобы главной причине дуэли. Неужели гамбургского посланника бояться обидеть?

Но вернёмся к самой дуэли с Барантом. После дуэли Михаил Лермонтов поехал к своему издателю Краевскому, где и обмыл рану. Он был энергичен, в весёлом настроении, много шутил. Что уж там таилось в душе его – неизвестно. Слухи о такой громкой дуэли быстро разносились по всему городу. Полковой командир Лермонтова генерал-майор Плаутин вынужден был потребовать у своего офицера, к которому относился всегда одобрительно, ясных и подробных объяснений. Михаил Юрьевич дал своему командиру подробное объяснение: “Ваше превосходительство, милостивый государь! Получив от Вашего превосходительства приказание объяснить Вам обстоятельства поединка моего с господином Барантом, честь имею донести Вашему превосходительству, что 16 февраля на бале у графини Лаваль господин Барант стал требовать у меня объяснения насчёт будто мною сказанного. Я отвечал, что

всё ему переданное несправедливо; но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такою же колкостью, на что он сказал, что если б находился в своём отечестве, то знал бы, как кончить это дело. Тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, условились и расстались. 18 числа, в воскресенье, в 12 часов утра съехались мы за Чёрною речкою на Парголовской дороге. Его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего не видел. Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он слегка оцарапал (мне) грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись. Вот, Ваше превосходительство, подробный отчёт всего случившегося между нами. С истинной преданностью честь имею пребыть Вашего превосходительства покорнейший слуга Михайла Лермонтов”.

Плаутин был удовлетворен объяснением. Казалось, что дуэль не будет иметь последствий.

И всё же 10 марта 1840 года Лермонтов был арестован и посажен в ордонанс-гауз, где содержали подсудимых офицеров. Как пишет Аким Шан-Гирей: “История эта оставалась довольно долго без последствий, Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней; наконец, одна неосторожная барышня Б. . . , (очевидно, Бахерахт – **В. Б.**) вероятно, без всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего приказом по гвардейскому корпусу поручик лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом, и в понедельник на Страстной неделе получил казённую квартиру в третьем этаже. . . петербургского ордонанс-гауза, где и пробыл недели две, а оттуда перемещён на арсенальную гауптвахту, что на Литейной. . .”

Думаю, ожесточение властей против Лермонтова началось после дружной атаки всего семейства Барантов на Бенкендорфа и Нессельроде. Они чрезвычайно испугались повторной дуэли, предложенной Лермонтовым Эрнесту Баранту во время встречи на гауптвахте. Никого не интересовало, что встреча была обусловлена громкими заверениями Баранта о том, что Лермонтов лжёт, уверяя, что стрелял осознанно в сторону. Это уже была не стычка двух молодых забияк, а столкновение двух держав, и для сглаживания русско-французских отношений Нессельроде и Бенкендорф сделали всё, чтобы удалить Михаила Лермонтова из Петербурга.

В показаниях на суде Михаилом Лермонтовым написано: “Я спросил его: правда ли, что он недоволен моим показанием? Он отвечал: “Точно, и не знаю, почему вы говорите, что стреляли не целя, на воздух”. Тогда я отвечал, что говорил это по двум причинам. Во-первых, потому, что это правда, во-вторых, потому, что я не вижу нужды скрывать вещь, которая не должна быть ему неприятна, а мне может служить в пользу; но что если он недоволен этим моим объяснением, то когда я буду освобождён и когда он возвратится, то я готов буду вторично с ним стреляться, если он этого пожелает. После сего г. Барант, отвечав мне, что он драться не желает, ибо совершенно удовлетворён моим объяснением, уехал”.

И в ордонанс-гаузе, и позже, на Арсенальной гауптвахте, поэт не сидел без дела. Он писал на всех попадавшихся ему обрывках бумаги; не было бумаги – писал прямо на стене. Среди написанных и уцелевших для истории стихов – “Соседка”, посвященная дочери сторожа ордонанс-гауза:

*Не дожидаться мне, видно, свободы!..
А тюремные дни, будто годы,
И окно высоко над землёй,
А у двери стоит часовой.
Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки...
Мы проснулись сегодня с зарёй —
Я кивнул ей слегка головой...*

На Арсенальной гауптвахте было написано одно из немногих стихотворений Лермонтова, посвящённое литературному процессу, литературной жизни России — «Журналист, Читатель и Писатель». Эпиграфом идёт французское выражение: «Поэты похожи на медведей, которые кормятся тем, что сосут свою лапу. Неизданное». Впрочем, может быть, это выражение самого Лермонтова, «сосущего в камере свою лапу», взявшего за основу перевод немецкого двестишья Гёте из «Изречения в стихах». Недаром там же, в камере, было написано ещё одно стихотворение — «Пленный рыцарь». Уж кто-кто, а Лермонтов всегда писал, используя свой опыт, передавая свои страсти и сомнения, в любом из его героев есть частичка самого поэта. А уж жизненный опыт у него к 25 годам был более чем богатый. От тюрьмы до войны, от любви до презрения, от высшего света до тарханской деревушки. Да ещё и генный, древний голос шотландского предка-пророка Томаса Лермонта. Есть что пососать из своей медвежьей лермонтовской лапы.

Так что, в отличие от уймы учёных, легко обозначивших позицию Журналиста как позицию буржуазного пошляка, я и в Журналисте вижу «лапу» самого поэта. Един в трёх лицах: и Журналист, с добавкой своего друга Краевского, и Писатель, с добавкой своего друга Хомякова, и Читатель. Когда Журналист утверждает:

*Я очень рад, что вы больны:
В заботах жизни, в шуме света
Теряет скоро ум поэта
Свои божественные сны.
Среди различных впечатлений
На мелочь душу разменяв,
Он гибнет жертвой общих мнений.
Когда ему в пылу забав
Обдумать зрелое творенье?..
Зато какая благодать,
Коль небо вздумает послать
Ему изгнание, заточенье
Иль даже долгую болезнь:
Тотчас в его уединенье
Раздастся сладостная песнь!*

Вообще-то так оно и было. И все лермонтовские светские мадригалы и посвящения красавицам не стоят строк, написанных в ссылке или даже в камере. В русских тюрьмах и ссылках было написано немало замечательных творений, от этих лермонтовских строк до сочинений Льва Гумилёва и даже Эдуарда Лимонова. Я уж не говорю про пушкинское сидение в Михайловском или гоголевское уединение в Риме. Да и «Герой нашего времени» — результат первой кавказской ссылки. Какая уж тут пошлость?!

Но и за Читателя выступает тоже сам поэт. Это же его не раз высказанные мысли о современной ему русской журнальной литературе:

*Стихи — такая пустота:
Слова без смысла, чувства нету,
Натянут каждый оборот;
Притом — сказать ли по секрету? —
И в рифмах часто недочёт.
Возьмёшь ли прозу? — перевод.
А если вам и попадутся
Рассказы на родимый лад —
То, верно, над Москвой смеются
Или чиновников бранят.*

Сразу вспоминаешь его желание издавать свой журнал, где можно было бы печатать только своих, русских авторов. Недаром его и называли в ту пору отчаянным русоманом. Что касается общего потока отечественной литературы, так и было. Не один Лермонтов писал об этом. А. Бестужев писал: «У нас есть критика, и нет литературы». А. Пушкин сделал наброски статьи

с названием “О ничтожности литературы русской”. В. Белинский в “Литературных мечтаниях” замечал: “У нас нет литературы”. Но не так ли во все времена? Разве нынче не царит в журналах та же стихотворная пустота? Разве мало издевательских сочинений о России и о Москве? Я уже не говорю о господстве коммерческого подхода у издателей и руководителей СМИ. Но и в позиции Писателя мы чувствуем не только постороннюю скептическую точку зрения новой молодой литературы – чувствуем желание самого Михаила Лермонтова уйти в новую прозу. Ведь уже был написан и издан роман “Герой нашего времени”, на подходе – первая книга стихов. А повторяться Лермонтов не желал. И сидя в камере, найдя неожиданно для себя свободное время для раздумий, он, уже как Писатель, размышляет:

*Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток...
Но, право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решусь показать...
Скажите ж мне, о чём писать?..
К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?*

Так и было: бранили за его смелые творения Лермонтова во многих местах и многие личности, от самого Императора до иных из его друзей. Даже это тюремное стихотворение, подписанное “С-Петербург, 21 марта 1840 года, под арестом на Арсенальной гауптвахте”, тогда же резко раскритиковали С. П. Шевырёв, С. А. Бурачок, В. Н. Майков, А. В. Дружинин и другие критики как славянофильского, так и западнического направления. Может, и впрямь, не дожидаясь этой критики, Писателю стоит поступить так, как он сам и поступает:

*Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.
Но эти странные творенья
Читает дома он один,
И ими после без зазренья
Он затопляет свой камин.*

Нужна ли такая истинная литература “неприготовленному взору”? И если Михаил Лермонтов свой век считает веком коммерческим, то что говорить нам о нынешнем времени? Впрочем, тогда же это столь необычное для Лермонтова стихотворение о литературе высоко оценил Виссарион Белинский: “Разговорный язык этой пьесы – верх совершенства; резкость суждений, тонкая и едкая насмешка, оригинальность и поразительная верность взглядов и замечаний – изумительны. Исповедь поэта, которою оканчивается пьеса, блестит слезами, горит чувством. Личность поэта является в этой исповеди в высшей степени благородною”.

Павел Висковатов писал: “Лермонтов вверял бумаге каждое движение души, большую часть выливая их в стихотворную форму. Он всюду накидывал обрывки мыслей и стихотворений. Каждым попадавшимся клочком бумаги пользовался он, и многое погибло безвозвратно. “Подбирай, подбирай, – говорил он шутя своему человеку, найдя у него бумажные отрывки со своими стихами, – со временем большие будут деньги платить, богат станешь”. Когда не случалось под рукою бумаги, Лермонтов писал на столах, на переплётё книг, на дне деревянного ящика – где попало. . .

О том, что Лермонтов шутя советовал подбирать исписанные листы, рассказывал мне в Тарханах сын лермонтовского камердинера со слов отца своего. Другой человек Лермонтова рассказывал, как, посещая барина на га-

уптвахте в Петербурге, он видел исписанными все стены, “начальство за это сержало” – и М. Ю. перевели на другую гауптвахту”.

Там же, в ордонанс-гаузе, и состоялась знаменитая встреча Лермонтова с Белинским, которого привёл их общий издатель Краевский. Белинский от встречи был в восторге: “Я смотрел на него – и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою... В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. И он перешёл от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о нём с жаром, доказывал, что в Купере несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом и – что удивило меня – даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нём!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне, наконец, удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, – я уверен в этом”.

И чуть позже, в письме к Боткину от 16 апреля 1840 года, когда Лермонтов сидел уже на Арсенальной гауптвахте, Белинский пишет: “Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Печорин – это он сам, как есть. Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлаждённом и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему – он улыбнулся и сказал: “Дай Бог!” Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моём перед ним превосходстве! Каждое его слово – он сам, вся его натура, во всей глубине и целостности своей. Я с ним робок – меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ними благоговейно и смиряюсь в сознании моего ничтожества. Понимаешь ли ты меня, о лысая и московская душа!..”

Пока Михаил Лермонтов сидел под арестом в ордонанс-гаузе, а затем на Арсенальной гауптвахте, молодой Эрнест де Барант, официально отправленный уже к себе на родину в Париж, оставался по-прежнему в Петербурге и изображал из себя обиженного. Мол, Лермонтов заявляет, что не промахнулся, а первый выстрелил в воздух, и это оскорбительно для его чести. Когда до Лермонтова дошли эти рассказы всё ещё не успокоившегося Баранта, он вызвал его на тайную встречу на гарнизонную гауптвахту.

Это случилось 22 марта. Лермонтов объяснил нахальному французу, что, если он всё ещё считает себя обиженным, он готов на повторную дуэль. Вот этого смелого предложения от арестованного русского офицера Эрнест Барант не ожидал. Он при свидетелях заявил, что полностью чувствует себя удовлетворённым и не имеет никаких претензий к Лермонтову.

Очевидно, он понял, что на этот раз Лермонтов не промахнётся. Более того, о своей тайной встрече с поэтом на гауптвахте он рассказал и своей семье, и всем светским знакомым. Мать Эрнеста добилась встречи с Великим князем Михаилом Павловичем и пожаловалась ему на то, что её сына вновь этот русский офицер хочет вызвать на дуэль. Думаю, из-за этой уже дипломатической интриги, политической игры, в которую ввязались на стороне Баранта и министр иностранных дел России Нессельроде, и шеф жандармского III отделения А. Бенкендорф, Михаил Лермонтов и получил более жёсткую меру наказания, чем предполагалось ранее. И ненависть высших чиновников империи. Как писала умнейшая женщина Е. П. Ростопчина Александру Дюма: “...чтобы покончить эту интернациональную распрю, Лермонтов был вторично сослан на Кавказ”.

При всех самых жёстких нынешних полемиках о судьбе Лермонтова, так никто никогда и не узнает, не сыграла ли эта ненависть Нессельроде и Бенкендорфа к поэту роковую роль в Пятигорске. Ведь не в советское время, когда агитпроп мог приказать развивать какую-то конкретную идеологическую версию, а в девятнадцатом столетии, как пишет П. Висковатов, господствовало мнение, что Мартынов был всего лишь орудием “если не злой, то мелкой интриги дрянных людей...”

Мать Эрнеста Баранта заодно донесла великому князю и о других встречах поэта во время ареста, например, с Виссарионом Белинским.

Уже после отъезда Эрнеста в Париж, надеясь на его возвращение и удачную карьеру в России, мать постоянно допытывалась, не отпустят ли Лермонтова в отставку, не вернётся ли он в Петербург. Более того, она требовала, чтобы Лермонтов написал письмо Баранту с признанием своего ложного заявления на суде, что он стрелял в воздух. Без такого признания молодой Барант вряд ли был бы привлечён к работе в посольстве Франции в России.

Барантов поддержал шеф жандармского III отделения граф А. Бенкендорф. Он потребовал от поэта этого письменного признания. Михаил Лермонтов был вынужден обратиться к Великому князю Михаилу Павловичу:

“[Апрель, 1840] Ваше Императорское Высочество! Признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня Его Императорским Величеством, я был ободрён до сих пор надеждой иметь возможность усердно службой загладить мой проступок, но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит ещё обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью.

Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извиненья в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести; но теперь мысль, что Его Императорское Величество и Ваше Императорское Высочество, может быть, разделяете сомнение в истине слов моих, мысль эта столь невыносима, что я решился обратиться к Вашему Императорскому Высочеству, зная великодушные и справедливости Вашу и будучи уже не раз благодетельствован Вами, и просить Вас защитить и оправдать меня во мнении Его Императорского Величества, ибо в противном случае теряю невинно и невозвратно имя благородного человека.

Ваше Императорское Высочество, позвольте сказать мне со всею откровенностью: я искренно сожалею, что показание мое оскорбило Баранта; я не предполагал этого, не имел этого намерения, но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался. Ибо сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину, готов подтвердить оную честным словом, и доказательством может служить то, что на месте дуэли, когда мой секундант, отставной поручик Столыпин, подал мне пистолет, я сказал ему именно, что выстрелю на воздух, что и подтвердит он сам.

Чувствуя в полной мере дерзновение моё, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что Ваше Императорское Высочество соблаговолите обратить внимание на горестное моё положение и заступлением Вашим восстановить моё доброе имя во мнении Его Императорского Величества и Вашем.

С благоговейною преданностью имею счастье пребыть Вашего Императорского Высочества всепреданнейший Михаил Лермонтов, Тенгинского пехотного полка поручик”.

К счастью, Великий князь поддержал письмо Лермонтова и, как мог, смягчил приговор императора. Естественно, после этой как бы жалобы на графа Бенкендорфа от бывшего его благорасположения к поэту не осталось и следа, и до самой смерти это уже был один из самых злейших врагов Михаила Лермонтова.

Император же Николай Первый написал собственноручно: *“Поручика Лермантова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином; отставного поручика Столыпина и Г. Браницкого освободить от подлежащей ответственности, объявив первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. В прочем быть по сему.*

Николай
С. Петербург
13 Апреля 1840”.

Незадолго до отъезда, наконец, вышел его роман “Герой нашего времени”. Лермонтову это был как бы прощальный подарок от Петербурга.

Прощальный вечер перед отъездом через Москву на Кавказ состоялся в салоне Карамзиных. Весь вечер поэт был задумчив и грустен. Может, и предугадывал наш шотландский мистик и прорицатель, что едет на смерть? Стоя

у окна, глядя на Неву и Летний сад, он написал ныне всем известное стихотворение:

*Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную...*

Тройка лошадей увезла его в ссылку прямо от дома Карамзиных. Этим стихотворением не случайно Михаил Лермонтов заканчивает свою первую книгу стихотворений, изданных в конце 1840 года.

Москве он наносит визиты княгине Щербатовой, всем своим московским друзьям, ругая на чём свет стоит и Петербург, и всех иностранцев. Видный чиновник Ф. Ф. Вигель негодует: “Я видел русомана Лермонтова в последний его проезд через Москву. “Ах, если б мне позволено было оставить службу, — сказал он мне, — с каким бы удовольствием поселился бы я здесь навсегда”. — “Ненадолго, мой любезнейший”, — отвечал я ему”.

Совсем по-другому пишет о нём сблизившийся с ним в Москве славяно-фил Ю. Самарин: “Я часто видел Лермонтова за всё время его пребывания в Москве. Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию, благодаря своей наблюдательности и значительной доли индифферентизма. Вы ещё не успели с ним заговорить, а он вас уже насквозь раскусил; он всё замечает; его взор тяжёл, и чувствовать на себе этот взор утомительно. . . Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите, он вас самих слушает и наблюдает, и после того, как он вполне понял вас, вы продолжаете оставаться для него чем-то совершенно внешним, не имеющим никакого права что-либо изменить в его жизни. В моём положении мне очень жаль, что знакомство наше не продолжалось дольше. Я думаю, что между им и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне постичь многое”.

По сути, начинается уже зрелый период жизни и творчества великого поэта. Он встречается со многими московскими писателями, размышляет о своей будущей литературной жизни.

С. Аксаков вспоминает свою встречу с ним на именинах Николая Гоголя. Всё-таки знаменательная встреча двух русских гениев. “Приблизился день именин Гоголя, 9-е мая [1840], и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. . . На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были: И. С. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкий и многие другие. Обед был весёлый и шумный, но Гоголь, хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы “Мцыри” и читал, говорят, прекрасно. Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с особенным старанием, приготавливал жжёнку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причём говаривал много очень забавных шуток”.

О той же встрече вспоминает и Юрий Самарин: “Я увидел его несколько лет спустя на обеде у Гоголя 9 мая 1840 г<ода>. Это было после его дуэли с Баррантом. Он узнал меня, обрадовался; мы разговорились про Гагарина; тут он читал свои стихи — Бой мальчика с барсом [“Мцыри”]. Ему понравился Хомяков. Помню его суждение о Петербурге и петербургских женщинах. Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление. Ко мне он охотно обращался в своих разговорах и звал к себе. Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых. Лермонтов угадал меня. Я не скрывался. Помню последний вечер у Павловых. К нему приставала К. К. П. [Каролина Карловна Павлова]. Он уехал грустный. Ночь была сырая. Мы простились на крыльце”.

Литературный завоеватель и победитель и Петербурга, ему чуждого, и родной Москвы в конце мая 1840 года отправился на Кавказ.

РАИСА БОРОВИКОВА

НЕБО МИХАИЛА ПТАШУКА

В этом году, 28 января, ему исполнилось бы семьдесят лет! Для творческого человека, Художника – это ещё не возраст. Творчество не имеет возрастных границ, но его судьба распорядилась иначе... Он ушёл из жизни трагически: погиб в автомобильной катастрофе в Москве 26 апреля 2002 года. Народный писатель Беларуси Иван Петрович Шамякин писал тогда в своих воспоминаниях о нём: "...Неожиданная, нелепая, трагическая смерть Михаила Николаевича глубоко поразила, ошеломила, огорчила меня. Да разве меня одного! Всех, кто его знал, кто смотрел его фильмы. Смерть каждого человека – утрата для общества. Смерть человека, которому Бог дал талант, – национальная трагедия". Да, конечно же... национальная трагедия! Из множества фильмов, которые он снял, три – по выдающимся произведениям классиков белорусской литературы: "Возьму твою боль" по роману Ивана Шамякина, "Чёрный замок Ольшанский" по роману Владимира Короткевича и "Знак беды" по повести Василя Быкова.

"Знак беды" Михаил Пташук всегда считал своим лучшим фильмом. Очень трогательно и очень точно о великом белорусском кинорежиссёре написала в книге "Михаил Пташук" народная артистка России Нина Русланова, которая в этом фильме великолепно сыграла Степаниду: "...Пташук – удивительная фамилия, когда не знаешь человека, который её носит, или уже носил, или будет еще носить. ПТА (ПТАХ) – в древнеегипетской мифологии покровитель искусств, ремёсел, создатель всего сущего... Пташук Миша был и создателем, и покровителем". Несомненно... Конечно же, и создатель, и покровитель. Но лично для меня Михаил Николаевич Пташук долгие годы был ещё и очень близким другом... Я и пишу о нём в основном как о друге.

Ранняя осень 1970 года. Стою на крыльце общежития Литературного института имени А. М. Горького в Москве, студенткой которого была в то время. Вдруг сзади – простодушный, весёлый голос: "Ну, и откуда же такая в белых джинсах? Случайно не из Белоруссии?" Оборачиваюсь, вижу высокого широкоплечего парня с копной волос цвета переспелой ржи, широкую, очень располагающую к общению улыбку на лице, и так же весело отвечаю: "Ну, в самую точку попал! Из Белоруссии!" Парень тут же необыкновенно оживился, зелёные глаза заиграли: "Так и я же из Белоруссии! Ты откуда именно?" – "Из Брестской области". – "Так и я же оттуда! Из Ляховичского района! Может, слышала, деревня Федюки там есть?" Про деревню Федюки, к сожалению, я в то время ничего не слышала, но те первые слова нашего знакомства с Мишей Пташуком (тогда слушателем Высших режиссёрских курсов при Госкино СССР) стали очень долгим нашим разговором, который продолжался чуть ли не полжизни, до того трагического апреля 2002 года...

Тогда же, в том далёком семидесятом, но уже где-то ближе к зиме, Миша познакомил меня со своей женой – Лилией Михайловной Пташук. Она бы-

ла тоненькая, высокая, да ещё и с высокой причёской. В ней сразу же чувствовался характер, о котором образно можно сказать: *крепкий орешек*. Человеческая молва творческим натурам нередко приписывает множество романтических увлечений и приключений... По большому счёту, Миша всегда был мужчиной одной женщины – своей жены, которую всю жизнь неистово, со всей пташукховской энергией ревновал. У неё была такая же ревность, и это каким-то образом уравнивало их отношения друг с другом, придавало особенную гармонию их любви. Пташук часто очень трогательно называл Лилю “моя Маруся”. Думаю, что это он взял из фильма “Не горюй!” Георгия Даниели (которого считал своим Наставником), где звучала очень нежная песня: “Мыла Марусенька белые ножи...”

Но вернусь к Михаилу Николаевичу как к другу... Есть много удивительных, чудесных моментов в долгой дружбе двух женщин, но их ещё больше, когда начинают дружить мужчина и женщина. Да, именно дружить! Уже после трагического ухода Миши у себя на письменном столе я нашла с десятком страниц короткого интервью, которое спешно по телефону брала у него для женского журнала ко Дню Матери: “Меня растили две женщины: мать и бабушка – Мария Семёновна и Елизавета Романовна. Они всё время плакали, были в безумной работе... Такое ощущение, что я вырос среди слёз. Глаза видели только слёзы, а уши слышали только плач!” Возможно, отсюда, с самого начала в нём жило глубокое понимание женского характера, женской души, тем более что и потом всегда рядом были две прекрасные, родные, самые близкие женщины: Лилия Михайловна и их дочь Лика.

Мне, выросшей с двумя младшими братьями (я была старшей в семье), хотелось видеть в нём того самого покровителя, о котором писала Русланова, иными словами, ведущего по жизни, вроде как старшего брата. Миша, в общем-то, и был им для меня...

Когда в конце семидесятых я получила от Союза писателей очень маленькую, но трёхкомнатную квартирку практически в центре Минска и сразу же позвонила Пташuku: дескать, приезжай, посмотри, что ты скажешь? Может, подождать чего-то лучшего? Миша приехал, посмотрел и набросился на меня: “Ты с ума сошла! Какое лучшее?! Тебе просто повезло! Это же – центр, и три комнаты!” Потом он перевозил всю мою библиотеку, посуду, небольшую мебель на своих тёмно-салатовых “жигулях”. Это была его первая машина, и он только-только учился водить её, тогда так и сказал: “Заодно я ещё и поучусь...” Во время того “перевоза” был момент, в котором, возможно, уже тогда был заложен какой-то тайный знак. Мы остановились на красный свет, рядом резко затормозил огромный грузовик, под завязку нагруженный тарой: порожними довольно большими картонными коробками. Как только водитель этого грузовика тормознул, прямо на нас с него свалилось несколько коробок... Миша тут же отъехал на обочину – посмотреть, не повреждена ли машина. Тогда я просто испугалась, а сейчас бы сказала: это предупреждение – Мише надо остерегаться автомобиля.

С машиной связан ещё один момент, но это уже были восьмидесятые годы. Пташук купил себе новую машину – чёрную “Волгу”, – и сам гнал её прямо из Горького, с завода... Через какое-то время звоню ему: “Ну, что, пригнал?” Слышу в ответ: “Да, и уже отдал в ремонт!” “А что случилось?” – спрашиваю. Миша рассмеялся: “Представляешь, пока я машину гнал, из неё по дороге какие-то детали вылетали!” Может, это опять было какое-то предостережение? Но жизнь идёт, крутит, вертит, увлекает человека, и ни о каких предостережениях он не думает...

А однажды он позвонил мне из киностудии: “Завтра утром заеду к тебе, будем репетировать!” Я прямо испугалась: что репетировать? Может, роль какую хочет предложить, так у меня же не те способности! Оказывается, он услыхал по радио литературную передачу, в которой я читала свои стихи, и сразу же определил, что я их читаю из рук вон плохо, совсем не так, как нужно: не умею держать паузу, беру не те интонации, зачем-то включаю пафос, когда это любовная лирика, где иногда уместнее переходить на полусшепот...

На следующий день он действительно приехал и сразу же попросил книгу моих стихов, начал показывать, как надо читать... Это был самый настоящий урок художественного чтения от Михаила Пташука, который, кстати, и в моей личной жизни сыграл определённую роль. В самом начале восьмидесятых я сказала ему, что выхожу замуж. “Как!? – воскликнул Миша. – Ты уже

согласилась? Я должен посмотреть на него, ты же можешь ошибиться. За муж — это же на всю жизнь!” И мне пришлось устраивать смотрины моего будущего мужа, который, как только увидел в открытую дверь незнакомого мужчину, сидящего в кресле, сразу же сбежал... “Да не расстраивайся, — начал успокаивать меня тогда Пташук. — Не дрейфь, Боровикова. Он скоро вернётся, вот увидишь. Я это успел прочитать на его лице”. Потом уже они с моим мужем очень подружились, и у нас началась дружба семьями.

В конце уже упомянутого выше интервью с Мишей Пташуким была приписка: народный артист Республики Беларусь, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, лауреат премии Ленинского Комсомола, обладатель 14 наград на Международных кинофестивалях, член жюри Международных кинофестивалей... И за всем этим стоят фильмы, фильмы — большое кино Михаила Пташука. Дело, конечно же, не в званиях и не в наградах, а в том, какой в итоге короткой оказывается человеческая жизнь, когда невольно появляются вопросы: “И как же это?! Когда всё это он успел?!” Да, несомненно, всё успел сделать его талант — глубокий, природный, самобытный, какой-то стремительно необузданный. По большому счёту, Миша был самородком. Да и человеком он был таким же, с натурой стремительно-необузданной. Словно предчувствовал, словно знал, словно видел предел, который вырисовывался со взлёта. Да... он ушёл с высококого крыла, как птица, которая поднимается высоко-высоко в своём последнем полёте, чтобы потом упасть... Но птица падает, когда уже нет надежды, а у Миши было много надежд впереди, так явственно высвечивались исключительно новые горизонты. Как творец, как творческая личность, он всегда жил какой-то головокружительной идеей, и многое, очень многое из этих идей осуществлялось. И все — на горении, на страсти. Без последнего нельзя быть художником. У него была особая энергия...

1973 год. Телефонный звонок: “Боровикова, привет! Я — в Минске, на “Беларусьфильме”. Вроде бы и не было паузы в разговоре нашей жизни длинной в два года (1971–1972), когда Миша снимал в Одессе свой фильм “Про Витю, про Машу и морскую пехоту”. Тут, в Минске, его ждал киносценарий будущей ленты “Лесные качели”. А потом была тема войны... от фильма к фильму. Он всё время возвращался в то своё далекое прошлое, которое-то и помнить должен был смутно. Но он помнил. “Меня преследует всю жизнь одна сцена детства. Хочу снять в кино, и не получается. В хате стоят три гроба: отец и два близнеца-брата. И я краду их с маленьких гробиков, пробую тянуть в сад, поиграть с ними... И мать всю жизнь мне про это рассказывала: “Ты не верил, что они умерли...” И слёзы матери. Мать! Всю жизнь снимаю свою хату. Любую декорацию строю, как свой деревенский дом. Мать — это Быковская Степанида из “Знака беды”... Немцы гнали на работу, и ей на живот наступила лошадь. Родились два близнеца, которые через семь дней умерли...”

Вот так рассказывал мне Миша о своих первых детских воспоминаниях. А потом была школа в Барановичах. Детство и ранняя юность прошли в деревне Федюки на Брестчине, в Ляховичском районе. “Наша деревня была очень театральная. Я вырос, можно сказать, на сцене. У нас всю жизнь играли купаловскую “Павлинку” на фэстах на Семуху, а потом на 7 Ноября, на 1 Мая... С детства ходил в драмкружок. Мать моя была очень тихая, застенчивая, никого не могла обидеть и была очень одинокой, из-за меня не хотела выходить замуж. Была бы очень талантливой актрисой. Собиралась родня, и она не могла усидеть за столом... Все говорили: “Маня, покажи того или другого человека...” Иными словами, изобрази его. Органика была фантастическая!” — это тоже из Мишиных рассказов. И у него самого, как и у матери, которая большую часть своей жизни проработала в колхозе звеньевой по льну, была органика фантастическая, и ещё — воображение. Он видел какое-то своё кино, пробовал про него рассказывать, что-то такое вырисовывал и потом уже под всё это искал сценарий... Часто находил это в белорусской литературе, отсюда и “Возьму твою боль” по Ивану Шамякину, и “Знак беды” по Василию Быкову, и “Чёрный замок Ольшанский” по Владимиру Короткевичу.

Однажды он вспомнил о Владимире Короткевиче. Я это с его слов записала и опубликовала как интервью ещё в 2000 году в журнале “Алеся”. “... После премьеры “Чёрного замка Ольшанского” в минском кинотеатре “Киев” я подвозил его домой. В какой-то момент он попросил остановиться, и тот наш

очень искренний разговор я запомнил на всю жизнь. У Короткевича были плохие предчувствия, его все чаще и чаще подводило здоровье... А в общем, говорили о Беларуси. Он настойчиво убеждал меня, что нужно заниматься только своими родными истоками, что, только работая со своим национальным материалом, творец в Беларуси может сделать что-то значительное. Говорил он и о себе, о том, что очень часто люди говорили ему одно, а делали совсем другое. Думаю, что Короткевич был очень одиноким... Как будто ироничный, способный на острую, точную шутку, но за этим всем стоял человек большой грусти. Он каким-то образом выпадал из своего времени, был исключительно чужим и непонятным той эпохе, той коммунистической системе. Полный душевного романтизма ещё с шестидесятых, очень быстро эмигрировал сам в себя, потому что после короткой хрущёвской оттепели начиналась драма времени... А он опережал то время, отрываясь всё выше и выше, блуждая в своих временах, и... остался раненой птицей, которая должна была лететь на долгую дистанцию и на очень большой высоте. Высота осталась. Она, однозначно, в слове — классик, любимый и неповторимый!"

После трагического дня, когда Миши не стало, эти слова каким-то образом накладываются и на него самого. Такой огромный, жизнерадостный, со всегда готовой шуткой, он носил в себе какую-то свою грусть, свою боль. Это особенно чувствовалось во второй половине девяностых, когда какое-то время Мише пришлось быть в простое... Он, как и Владимир Короткевич, всегда считал, что наше будущее — в наших корнях... Вот строчки из воспоминаний о Пташке одного из его учеников, Жени Сетько: "... За рубежом нас не очень хорошо знают, — говорил Михаил Николаевич, — нас путают с русскими. И многие белорусы заблуждаются, отвергая своё прошлое и подчиняя свою жизнь каким-то абстрактным идеям. Наше будущее — это наши корни. Это то, что дала нам жизнь. И мы обязаны любить эти корни, чтить их и, конечно же, воспевать". После фильмов о войне, после "Чёрного замка Ольшанского" Миша страстно загорелся нашей глубокой историей... Но ничего не получалось с запуском "Витовта" — исторического фильма про князя Великого Княжества Литовского Витовта, над сценарием которого он работал вместе с Алексеем Дударевым. Как ему хотелось снять этот фильм! Но всё упиралось в какую-то невидимую стену, объяснение которой — финансовые трудности. И оставалось одно сожаление, нужно было искать и браться за что-то другое. Бывало, какая-то щёлочка приоткрывалась, тогда мог позвонить возбуждённый Миша: "Давай встретимся, есть идея, может получиться! Попробуй написать мне заявку кинокомедии для одной турецкой киностудии!" И писалась заявка, мы часами обговаривали сюжет, придумывали невероятные смешные сцены, но в итоге и тут ничего не получалось. А потом как-то (это был, кажется, 1998 год) Миша вернулся из Ташкента, с Международного кинофестиваля, позвонил мне: "Боровикова, очень даже может получиться... Я тут познакомился с кинорежиссёром из Бомбея, у него там своя киностудия... Что-то такое почти предложил... Давай рискнём, напишем сценарий... Я поставлю одну серию здесь у нас, в Беларуси, а вторую — у него в Индии". И стали мы с Мишей писать сценарий двухсерийного фильма о любви молодого индуса и белорусской девушки. Мне пришлось взять отпуск. Он, как правило, утром приезжал к нам домой, мы бурно обговаривали ту или иную сцену... Миша тут же проигрывал её, случалось в разных вариантах, что затягивалось на полдня... Потом он уезжал, а я садилась за пишущую машинку... Работали больше месяца без продыху, даже муж мой проникся особым расположением и то и дело заваривал и приносил нам кофе... Когда приступали ко второй серии, несколько дней штудировали самые разные книги: вникали в историю, культуру Индии, изучали быт, народные традиции, природу этой далёкой от нас страны. И вот сценарий готов... Миша нашёл переводчика, который быстро перевёл его на английский язык, отослал в Бомбей и... опять финансовые трудности. Индийская сторона была согласна частично профинансировать только вторую серию. Единственное воспоминание об этом — в газете "Культура" появился материал о нашем проекте с фотографией, где Миша — в чалме, как заклинатель змей, а я — в очаровательном сари с капелькой на лбу.

А потом в нём опять каким-то образом отозвалась война, и он загорелся идеей снять "В августе 44-го..." по роману российского писателя Владимира Богомолова "Момент истины". Очень жалею, что по разным обстоятельствам тогда не смогла вырваться на съёмки этого фильма, хотя несколько раз дого-

варивались, что я подъеду, чтобы написать о съёмках в какое-нибудь издание. Миша настолько был увлечён работой, что забывал о наших договорённостях и не обижался. О том периоде охотно писали другие. Сразу же после “В августе 44-го...” Пташук приступил к новой работе — к съёмкам фильма “Песня Розы”. У него, как никогда раньше, начиналась новая, необыкновенно интенсивная жизнь. С одной стороны — поездки на различные кинофестивали, показ фильма “В августе 44-го...”, с другой — съёмки и новые проекты... Собранный, он словно бы спешил жить, словно бы что-то восполнял увлечённо, с азартом. Он вообще был необыкновенно эмоциональным, увлечённым человеком, не любил говорить о трудностях. Однажды во время разговора о матери, Марии Семёновне, которую Миша в последние годы её жизни забрал к себе из деревни, и они с женой не один год ухаживали за ней, он сказал: “Она научила меня главному — терпению. Это я говорю и дочери: “Надо работать и терпеть, тогда всё придёт... Если Бог тебе дал, то всё, что положено свыше, будет твоим, ничего никуда не уйдёт, только надо дожидаться. У нас в семье все терпели — исключительно крестьянская психология. Она очень верная для нашего времени”.

Да, Миша умел терпеть и никогда, ни при каких обстоятельствах не падал духом. Жизнь вдыхала в него что-то крылатое, и он словно бы выдыхал простор. При нём становилось свободно и легко: много света, много мыслей, самого воздуха много. Очень многие люди, которые тем или иным образом соприкасались с ним, всегда отмечали его особую энергетику, как будто бы в нём жил сплав самых разных энергий, земных и неземных. Как-то недавно в одном из разговоров его жена Лиля Михайловна мне сказала: “Ты знаешь, на сороковой день после Мишиной смерти у нас в доме искрились все розетки, ничего не могли включить — сразу же искры... Может, так с нами уже окончательно прощалась Мишина душа?” В это можно поверить, зная Мишу. “Никакая, даже самая буйная фантазия не способна представить Михася Пташука хотя бы на короткий миг успокоенным, созерцающим, расслабленным, безразличным или просто удовлетворённым” — это слова Алексея Дударева о Пташуке. Да, у него была особенная, как теперь модно говорить, аура. И каким же удивительным он был собеседником! Где-то приходилось читать, что художники, в общем-то, делятся на два типа: одни ищут славы, успеха, постоянно мучаются из-за этого, к другим же, наоборот, слава и успех льнут сами. Они не прилагают к этому никаких усилий. Миша, безусловно, принадлежал к другому типу: он работал. Всё остальное его вроде бы и не интересовало, но почти всегда приходил успех. Ничто не оставалось незамеченным, неотмеченным. Награды, так или иначе, догоняли его. Тут срабатывал единственный принцип: да воздастся! Таланту, терпению, работе... Он полностью уходил в неё, исчезал, растворялся. Необыкновенно ценил талант в людях и страстно, искренне радовался, когда приходилось работать с большими талантами.

Странно, но я до мелочей могу вспомнить за эти более чем тридцать лет множество наших встреч и разговоров, в последние пять-десять лет чуть ли не каждую неделю, а вот последний разговор, как ни бьюсь, вспоминается очень смутно. Миша даже не сказал, что они с женой едут в Москву, где в отдельных номинациях фильм “В августе 44-го...” выдвинут на “Нику”. Хотя говорили очень долго. Он рассказывал о впечатлениях от Америки, откуда только-только вернулся, о своих новых проектах; это был уверенный взгляд в какую-то новую даль... У меня тоже было чем поделиться: как раз в это время мне предложили возглавить журнал “Маладосць”, и у меня было много сомнений. Мне нужен был совет, что делать, как быть? Согласиться или отказаться? Описала ему ситуацию, и Миша сказал однозначно: “Соглашайся. Свято место пустым не бывает, так почему бы тебе не пойти? Только стоящего заместителя возьми, талантливого и обязательно единомышленника, чтобы не было, как в басне у Крылова: кто-то — в облака, а кто-то в реку...” Был обычный разговор, и мне совершенно не помнятся интонации его голоса, а, возможно, именно за ними пряталось какое-то его предчувствие. Он был тонким человеком, думаю, не однажды делал так, как подсказывала интуиция. А тут... не уберётся! Не увидел, не услышал какого-то тайного знака. Рок? Судьба? Пташук, как и я, очень дружен был с драматургом Еленой Поповой. И вот она не раз вспоминала, как ещё во время учёбы на Высших режиссёрских курсах Мише кто-то нагадал по руке, что у него короткая линия жизни.

Тогда, в ту минуту он заперезживал, а потом, возможно, об этом не однажды думал... Мысли могут материализоваться. Не получилось ли, что невольно он сам себе напроорочил свой уход? Как у русского поэта Николая Рубцова, который написал в одном стихотворении: "...Я умру в Крещенские морозы", – и именно в эти морозы через какое-то время и умер...

Мишина жизнь оборвалась на самом пике нового, очередного творческого взлёта, у него появилось много интересных проектов, и в принципе, каждый из них был осуществим, и тут как понять судьбу? Кажется, это была суббота, 27 апреля, выходной день. Где-то перед обедом мне позвонил встревоженный Алексей Дударев: "Ну, ты уже слышала про Мишу... Это правда?" "Что правда?" – переспрашиваю. И Дударев не смог сказать "эту правду": в такое трудно было поверить. "Ты кому-нибудь позвони, спроси, потом мне перезвонишь..." И я сразу же набрала телефон Пташук, услышала Мишин голос, записанный на автоответчик... Потом позвонила жене одного кинорежиссёра, который, как оказалось, в это время был в Москве в командировке. Он ей звонил, рассказал о случившемся. И всё равно не верилось, пока в Минск не вернулась Лиля и не привезла Мишу...

Время многое затягивает своим пологом. Вот и Миша Пташук чаще всего уже видится откуда-то издалека, но иногда так явственно приближается, словно хочет что-то сказать, пока известное только ему... Предостеречь? Успокоить? Или просто поделиться своей неуёмной энергией уже оттуда, с небес? Живое лицо, живой взгляд, играющие улыбкой глаза... Вот и его Лиля, которую до сих пор всё никак не могу назвать вдовой, в одном из наших недавних разговоров сказала: "Ты знаешь, прямо мистика какая-то... Прихожу на кладбище, смотрю на памятник... Он улыбается с портрета, а чуть отойду, он уже хмурится взглядом, а с другой стороны взгляну: глаза печальные-печальные... Ну, живое лицо!" Да... живое! Это память сердца: оно видит людей всегда живыми. Иногда я невольно ловлю себя на мысли, что мне очень хочется однажды вместе с Лилией Михайловной поехать в Ляховичский район, в ту самую деревню Федюки, где когда-то давно бегал маленький рыжеволосый босоногий мальчик Миша... Хочется посмотреть в небо над Федюками... Не знаю, как федюковцы, но я уверена, что в этом небе зажглась и неизменно горит самая яркая звезда современного белорусского кинематографа, имя которой – Михаил Пташук, большой белорусский кинорежиссёр, великий Мастер, народный артист Беларуси, а что лично до меня – так ещё и милый друг, который навсегда остался в сердце...

ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

“НЕБА КОЛОКОЛ БЪЁТ НАДО МНОЙ...”

Последний по времени выхода сборник поэзии Т. И. Красновой-Гусаченко “У света тени нет” (2011) достаточно объёмен, составляет, по существу, трёхтомник под одной обложкой и включает несколько сотен стихов. Масштабность и структура книги не помешали ей стать цельной, со своим внутренним лирическим сюжетом и сквозными темами, а поскольку она создана поэтом с большой и сложной судьбой, поэтом, которому есть чем поделиться с людьми, оставаясь верной классическим традициям, то отсюда и объём, отсюда и традиционное аристотелевское деление на три части.

В первой из них – “Поставьте памятник деревне” – центральный композиционный стержень – календарный и одновременно возрастной. Его героиня – девочка из обычной русской деревни, основа структуры сюжета – её духовное становление, условия формирования как поэта – от рождения и самого раннего детства. “Я в храме выросла берёзово-ржаном, // Я родилась под куполом апреля...” Родилась днём вешним, радостным, в разгар, как говорил Михаил Пришвин, “весны света”. Свет – и в смысле творческого горения, и в смысле высоты духовности, ясности миропонимания, и в смысле сакральности – пронизывает стихи поэтессы, давая название всему сборнику.

Как побеждает свет – тьму, народившееся и растущее солнце – мрак и холод, начиная от дня зимнего солнцестояния, так и автор начинает свой поэтический венок с исключительно важной для людей точки отсчета – первого дня года, и, следуя далее по календарю, предваряет каждое стихотворение цикла маленьким прозаическим предисловием-пояснением. Например, к “1 января”: “Жизнь в деревне с самого раннего детства являла нам народные приметы, пословицы, поговорки. Они сопровождали все праздники. Особенно много их было зимой. В первый день Нового года говорили...” А далее идут собственно стихотворные строки – зарифмованные в катренах жизненные установки, отлитые в конкретные, прямые и ясные слова народной мудрости: “Первый весь январский день // Веселись и не ленись, // Будет год потом счастливым, // Утром встань и улыбнись!”

Далее идет “Рождество”, “Колядное”, “Морозные коляды” (“коляды” – по-белорусски, а по-русски – “святки”), “Старый Новый год”. В последнем из них автор пишет: “Люб нам Старый Новый год – // Перелом и поворот // На весну...” И тут же, с какой-то даже гордостью за своё, родное, уникальное: “Праздник только наш! Мы рады: // Продолжаются Коляды!”

Кажется, непритязательно, просто, но ведь весь цикл сознательно выдержан в духе фольклорном: по лексике, ритмике, рифме. Перед нами искусная стилизация. Эти стихи хорошо учить вместе с детьми. Собственно, и учить их не нужно: они легко, как бы сами собой, укладываются в памяти и могут послужить прекрасной альтернативой пошлым телевизионно-рекламным слоганам, засоряющим речь детей и подростков. Поэтесса не скрывает мнемоническую цель своей поэзии. Например, к стихотворению “Февраль зиму завершает” она

даёт своё маленькое авторское разъяснение: “Народные пословицы февраля уложены в стихи, чтоб было легче запоминать”. А далее следуют стихотворные приметы, например: “В феврале как кликнется, // Так осенью откликнется”.

Календарные даты, годовые праздники – нить, на которую нанизывается жемчуг народного мудрословия: тут в лаконичных, но живописных строфах заключены и научно-этнографическая информация, и мораль, и образ жизни. Так, перед стихотворением “Масленица” автор пишет: “Каждый день Масленицы имел значение, праздновался по-своему. Я хорошо помню, как это было, потому что мы, детвора, принимали во всех игрищах активное участие”. Любовно воссоздавая народные обычаи, приметы, пословицы, имена языческих божеств (Ярило, Весновей, Моряна) в чеканных, запоминающихся строках, поэсса помогает читателю извлекать из небытия, возрождать родовую память – юнговское коллективное бессознательное, говорит с читателем на нашем исконном – природно-мифологическом – языке. И сюда же влетает собственные – яркие, небанальные, незатёртые – метафоры и эпитеты: “Много снега – много хлеба! // На Руси – богатый снег!”; “Всюду море красок, света, // Май ведёт за ручку лето”.

Пейзажных стихотворений множество во всей книге, но это, так сказать, поэзия рафинированная, а в календарном цикле царит народный дух и язык, причём все то характерное и из разнородных явлений, что в наибольшей степени объединяет белорусский и русский народы. Именно от общей – белорусско-русской народной стихии – лёгкость и напевность ритма, точность мысли, рельефная очерченность рисунка и при этом акварельная нежность общего фона.

Откуда же у русской поэтессы знание белорусского фольклора, да и профессиональной поэзии (встречаются в текстах стихов аллюзии из произведений белорусских классиков)?

Тамара Ивановна Краснова-Гусаченко считает Беларусь своей второй родиной. Трудно найти в современной литературе славян писателя, который бы так органично связывал две братские культуры. В аннотации к книге “У света тени нет” о Тамаре Ивановне читаем: “Член Союзов писателей Беларуси, России и Союзного государства, автор пятнадцати книг. Лауреат Международной литературной премии им. Симеона Полоцкого, Всероссийской литературной премии им. Ф. Тютчева, обладатель почетного знака “Золотое перо Тютчевъ”, литературной премии им. В. Короткевича, неоднократный победитель международных и республиканских литературных конкурсов представляет новые и уже известные читателям произведения, в разные годы публиковавшиеся в “Литературной газете”, журналах “Наш современник”, “Нева”, “Лад”, “Нёман”, “Белая вежа”, “Все-русский собор”, “Южная звезда”, “Московский Парнас”, “Братина”, “Пересвет”, “Полымя”, “Немига литературная”, антологиях “Современное русское зарубежье”, “Современная русская поэзия Беларуси”, альманахах “Двина”, “Брянск литературный”, “Созвучье слов живых”, “Междуречье”, сборнике “Исповедь” издательства “Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки” серии “Школьная библиотека. Русскоязычная поэзия Беларуси, конец XX – начало XXI века” и др.”.

Уроженка Брянской области, Тамара Ивановна уже давно живёт в Беларуси, в Витебске, возглавляет областное отделение Союза писателей Беларуси. Возглавляет отнюдь не формально. Все силы души отдаёт она пропаганде поэтического слова. Люди, общавшиеся с ней, знают её преданность делу, отзывчивость, знают, как охотно, с подлинным энтузиазмом, не жалея собственного времени и здоровья, передаёт она и опыт мастерства, и опыт человеческой доброты. Сама она пишет, имея в виду родню из Украины: “Три родины во мне живут, // Да как же им не жить? // Моя любовь и там, и тут, // Её не разделить”. Но, кроме того, автор приведённых строк очень хорошо осознаёт, где её корни как поэта, где вообще корни поэзии и, по большому счёту, – родины. Они – в деревне. В программном для первой части книги стихотворении “Поставьте памятник деревне...” (строка поэта Николая Мельникова) есть слова: “Там – мир врывался радостью в окно”. Там – в родной деревне Щепятино, от которой ныне не осталось ничего... Но цепкая память поэта, соединённая с любовью, сохранила ощущение именно радости, полнокровности жизни, – возможно, это ощущение и даёт силы жить, сопротивляться трудностям и преодолевать невзгоды. Ведь так и белорусско-русская деревня в своей истории:

*Не гневалась она и не роптала,
В отчаянье не падала, стояла.*

*Не просто встать старалась, а идти
И с честью долю крестную нести —
Покорно, приняв всё и всех прощая,
И ни упрёка, даже умирая.*

Для поэтессы “Русская деревня — // Чудо из чудес”.

Краснова-Гусаченко удивительно пластично, картинно, ярко, но и лаконично, часто одним ритмом и образом, умеет передать бытие деревни — так, что у всех читателей, кто вырос на лоне природы, мгновенно, из самых заповедных уголков памяти, пробуждаются видения собственного детства:

*Река,
мелея, млела под мостом.
Тугое месиво — подход
к воде...
Навоз,
следы копыт...
И к водопою в полдень скот
идёт,
ревёт,
пыхтит,
сопит.
Ноздрями фыркает...
И пьёт...
А солнце всё встаёт, встаёт...
Как голубой
гигантский зонт
накрыл деревню
небосвод.*

(“В деревне”)

Картины, воссозданные дочерней памятью, — чистая ностальгия. Такой полнокровной, наполненной движением, звуками, красками, запахами, жизни в русской деревне, пожалуй, уж и нет. “Деревня на пригорке умерла... // Деревня защищалась, как могла: // Она звала, цвела, дарила хлебом, // И — нет её теперь под этим небом...”

Потеря родного пространства неотвратима, как потеря лучшего в жизни времени — детства: “Я поеду, поеду домой этим летом, // Поеду, мне б только дорогу найти, // Только стёжки засыпаны снегом и светом, // И в детство мое мне никак не войти”. Однако чем дальше во времени идёшь по дороге жизни, тем яснее осознание, что “...не нашла ничего до сих пор // Я — драгоценнее детства”. Но и пространственно: оттуда, из деревни, “я, судьба, и всё моё...”

В общей глубокой тоске поэтов — выходцев из села — по ушедшей деревенской цивилизации, именно полноценной цивилизации, голос Тамары Красновой-Гусаченко звучит по-особому, лирично и пронзительно, потому что нет в её стихах громкого пафоса, у иных нередко заглушающего мысль, а есть щемящая грусть и ощущение присутствия Высшей Силы, которая только и дарует надежду:

*Не все ещё села
Разрушены до пепелища.
Их что-то же держит,
И в зареве зорном пльвёт
Какое-то чудо...*

В поисках ускользающего чуда поэтесса продолжает возвращаться к милым пределам. В предисловии ко второй книге сборника — “Там” — составитель книги пишет: “Там” — это ностальгия по прошлому и призыв любить жизнь во всех её проявлениях, несмотря на трагизм и неизбежность потерь”. Отбирая стихи, соединяя их в книгу, автор стремилась вычленив лирический сюжет, положить его в основу всего сборника, сделать той линией, на которой остановится внимание искушённого читателя. В открывающем второй раздел стихотворении

“Сильнее” есть многозначительная строка: “Сильнее смерти перед жизнью долг”. Истинно по-христиански и очень по-женски... Много пережившая, потерявшая родителей и старшего сына, погибшего в авткатастрофе, Тамара Ивановна не может избыть тоску по ушедшим. Глубина переживаний, нежность дочерней и материнской души удивительно сочетается в поэзии Тамары Красновой-Гусаченко с философским мироощущением: “Там мамы живы все, смертям назло // Отцы вернулись! Кто не верит в это?! // И всё предельно ясно: зло там – зло, // Добро – добро, а зависти там нету” (“Там”).

О зависти – не случайно. Как человек тонкий и ранимый, Тамара Ивановна испытала на себе это воистину разрушительное чувство со стороны коллег по перу. Но она готова простить всем, поскольку совершенно другое волнует её – ускользающее бытие:

*Вот даже не заметила, как стала
И матерью, и бабушкой, легка —
Во снах своих ещё вчера летала,
Да и летаю, только — жжёт тоска...
Предчувствие беды меня тревожит,
Всё тихо и спокойно, а — тоска,
Огнём горит, горит и сердце гложет,
Неведома, черна и глубока.*

Вообще, как у каждого большого поэта, у Т. Красновой-Гусаченко даже простые и, на первый взгляд, незамысловатые строки таят “многоярусность” – уводящие и в философию, и в религию, и в литературные традиции разнообразные смыслы.

Поэтесса заслуженно удостоена почетного знака “Золотое перо “Тютчевъ” – она унаследовала трагическую напряжённость тютчевской лирики.

Существует в её творчестве мир тревоги, тоски, мятежных дум и ощущение неотвратимости смерти. Но над всем этим, выше, стоит то, что должно быть истинным содержанием жизни любого человека: понимание закономерностей бытия, потребность мирной жизни, счастья, простых бытовых радостей. Она находит в себе силы сопротивляться тоске, потому что не верит в богооставленность безгрешных душ (“У Бога живы все, я знаю”), уверена, что Высшие Силы всё время подают нам знаки, а задача человека, прежде всего поэта, – уловить их, найти скрытую сущность явлений, воплотить эту жгучую тайну в слове.

Высшие Силы автор называет Светом. Значение этого слова в творчестве поэтессы, как уже говорилось, самое разное, в том числе – высвечивание памяти: “Свете мой белый! И нет – забвенью! // Рано, ох, рано себя хоронить. // Еду и еду сквозь сны в деревню – // В детство вернуться и молодость пить!” В завершающих книгу прозаических новеллах (скорее, притчах) Тамара Ивановна пишет: “И всё вокруг наполнено светом, причём не светом – в смысле освещения, а Светом – пронизывающим, наполняющим блаженством всё моё существо, исцеляющим, благостным”.

Стихотворения книги – одно за другим – дают картину мечущейся в экзистенциальных противоречиях умной и душевной женщины, которая то впадает в тоску, не в силах забыть любимых и простить себе, что не уберегла их, то вновь и вновь оживает, радуясь многоцветью жизни, и воспаряет в жажде узнать высшее, большее, чем сам человек (“...как дорасти до того совершенства, // До явленного нам природой блаженства?”). Светом называл себя Христос. Название книги, а также третьего её раздела – удивительно точное и поразительно глубокое. В чём-то полемичное. Ведь нас приучили, что зло нужно в мире, чтобы высветить добро, что одно не существует без другого. Поэтесса утверждает, что есть Добро абсолютное, и совсем не нужно зла, чтобы Его увидеть и понять, как не нужна тень, тьма, чтобы наслаждаться светом. Нравственные традиции русской и белорусской классики, включающие в себя чёткое разграничение добра и зла, света и тьмы, вдохновляют поэтессу в отстаивании своих идеалов. Она ведёт читателя к Высшему Смыслу через смысл поэтический. Вот почему в стихах Тамары Ивановны чёрного фона не бывает, но очень много света, огня, сияния, – по существу, ни одна картина, ни одно чувство, ни одна мысль не обходится без соответствующей лексики. Особенно ликующим представляется поэтессе свет солнца: “Солнце вставало над милой землёй, // С первым лучом посылало нам счастье // Жизни, горячей янтар-

ной зарёй”. Однако светится, сияет не только солнце: “Земля летела через май, // И всё – сияло”; “...встречный прохожий так смотрит светло”. В представлении автора сияет всегда любовь, нежность, лучшие человеческие чувства: “Дух молчаливый природы, // Тайные думы твои, // Смотрятся в тихие воды // Ясного света любви”; “Дома ты окутан // Такою негой, светлой и простой”; “Невозможно – // Всё видеть и не передать // Из ароматов, звука, света – // Без дна и края благодать...”: “Вот за околицу выйду – пойду, // Свет понесу по всей жизни”; “Я под небом костры разложила // Из своей бесконечной любви”. Поэтесса в душе надеется, что энергия её любви – любви в широком смысле слова – к близким людям, природе, творчеству – не может пропасть втуне: “Ночь озари лучом заветным, // Наполни Белый Свет собой, // И дай любви такой ответной, // Как в сердце у меня любовь”.

Одна из важных тем сборника – тема материнской любви. Она раскрывается многопланово: и через воспоминания о родной маме, и в своей собственной материнской любви, особенно к погибшему сыну. В “Маленькой поэме”, перечисляя всё, что узнала в своей жизни, и горькое, и радостное, во многом разочаровавшись, поэтесса делает окончательный и точный вывод: “Узнала, что лишь матери // На свете настоящие // и вечно бескорыстные // источники любви”.

Неоднократно на страницах книги возникает – в самых разных ситуациях и обликах – образ мамы:

*Моя мама идёт
по дороге из ясного света,
Над садами вишнёвыми,
пенной кипящими сплошь,
Моя мама восходит
по этому белому свету
Далеко, высоко!
И — зови, не зови — не вернётся.*

Чем ближе собственный возраст к возрасту ушедшей матери, тем глубже понимание её и осознание своего непонимания тогда, когда родная нуждалась в этом при жизни. Потому в “Страстях по маме” “Прощения просить пришла пора, // И вот копаюсь в каждом бывшем дне”. Во многих произведениях продолжается так и не оконченный на земле, потому что он не может быть окончен никогда, разговор с умершей матерью: “Что-то сердце всё чаще болит и болит, // Соучастия, отдыха просит... // Тихо мама со мною с небес говорит // Сквозь горящую золотом осень...” Тоскующее сердце жаждет поделиться всем, что волнует, с самым близким человеком. Но “моя мама молчит”. Невозможность диалога с ушедшими близкими особенно трагично воспринимается поэтессой, как и каждым человеком. Правда, остаются сны. Близкие люди часто возникают перед нами в снах (“Откуда та радость берётся // После каждого сна, // Где мы – за руку, с мамой вдвоём?”). Сны даруются людям, глубоко и тонко чувствующим, – явно как награда, потому что сон, особенно тот, где видишь родных, мобилизует наши духовные силы. Несомненно, что у поэта сознание, переходя в новое качество, как бы обостряет всё ранее пережитое и переводит его на уровень вдохновения. Когда-нибудь биофизики будут изучать сны поэтов, познавая в них ту информацию, которую не выдаст ни один прибор (“Во сне // предстала перед Богом”). Во сне возможно и предстать перед Богом, и вернуться в милое детство:

*Замело вишнёвым цветом
Стёжечки-пути.
Засыпает снегом лето,
В детство не войти...
Будет в сердце снова литься
Материнский свет,
Но я знаю — это снится,
А дороги — нет...*

Поэзия Красновой-Гусаченко исповедальна и потому глубоко искренна. Она привлекает доверительностью интонации, чего очень часто не хватает ны-

нешним модным рассудочным поэтам, играющим словами, как жонглёр мячиками (вот именно на уровне технологии). Стремление к возвышенному душевному строю, внимание ко всем потаённым движениям сердца – вот главное, что определяет творчество поэтессы.

В предисловии к третьей части книги составитель сборника отмечает: “Постоянно углубляющийся самоанализ, от частного – к общему, от собственного жизненного опыта – через познание опыта поколений, делает поэзию финала всё более плотной, подводит к новым и новым открытиям”. Не случайно третий раздел открывает стихотворение “Останься тих...”, посвящённое пониманию автором книги Нагорной проповеди. Совершенно ясно, что объяснение всегда бывших камнем преткновения толкователей слов о “нищих духом” – это одновременно жизненное кредо самой поэтессы: “Нищие духом, – говорится в сноске к стихотворению, – полагающиеся не на свои только силы, а верующие в помощь Бога”. Отсюда – и оптимизм искренней веры: “Смерть – не забвенье, душам // Вечный обещан свет” (“Духов день”).

В третьей части автор вновь возвращается к календарному циклу (“Май”, “Духов день”, “Солнцеворот”, “Венок седмиц”, “Радуница”), но на более высоком – не фольклорном, а философском – уровне, славя вечный круговорот жизни в её драматизме, но и в изумительной красоте. Многие стихотворения выявляют некие вневременные ценности, отталкиваясь от реальности, прежде всего, реальности душевного мира поэтессы. Всё, что просит человек у Бога, таит в себе внутреннее противоречие, ибо сам человек противоречив. И автор приходит к единственно правильному выводу: “Господи! // Пошли мне разум, Боже, // Чтобы всё, что дал, // перенести...” (“Молитва”).

Вообще противоречия жизни предстают в разных вариациях, в разных поворотах: мы встречаем мысли, уже как будто знакомые по более ранним произведениям поэтессы, но в ином ракурсе, по-новому ощущая, постигая те грани, которые раньше не замечали. Вот о постоянно волнующей проблеме связи поколений и вечных загадках бытия: “Как пережить, как перебыть? // Спроси у тех, кого отпели. // Они всё знали, может быть? // А может, тоже не сумели...”

Не раз возникает и тема уныния, сопротивления ему:

*Не унывай:
В унынии нет смысла,
А гнева боль,
Бурлящую в крови,
Уйми. И радуйся.
Твори и мысли.
И создай добро,
И вновь живи!*

В стихах Тамары Красновой-Гусаченко нет искусственной усложнённости формы, неясности выражения мысли. А минорный тон некоторых лирических сюжетов создан трезвым пониманием действительности и природы человека. Так, вовсе не случайно в стихах третьей части тема пошлости современной жизни. При этом поэт не скрывает, насколько тяжело воспринимает страшные, без преувеличения, современные реалии: “...Пошлый бред // Звенит и день, и ночь у нас в эфире...” Ведь уход в детство, в деревню, в воспоминания, даже в сны – не случаен, это единственная возможность защиты души, защиты её от всепроникающей массмедийной обывательщины победившего общества потребления. Утрачено государство, в котором родилась, и что осталось? “Всё отнято – вера, мечта, // Где наша страна золотая? // Решили за нас, что не та, // И кто так решил, мы не знаем”.

Не случайны и рассуждения о роли поэта и поэзии в современном обществе: “Кому нужны в наш век – стихи, слова...” Безусловно, тема традициона, но в наше время она приобрела воистину трагические черты. Поэт высказывает то, “что на сердце лежит”, он отвечает не только за себя, но и за связь миров Неба и Земли. Но это никому не интересно. Современный человек утратил внимание к другому человеку, даже к самому себе, а тем более к вечным проблемам. И потому любые излияния, психологический анализ, поиск истины воспринимаются новыми поколениями с трудом. Не случайно одно из стихотворений начинается словами: “Поэты пишут для поэтов”. Поэты всегда клялись, что пишут для народа. Нынче народ (даже слово “народ” редко упоминается,

чаще – “публика”) всё меньше поэта понимает. Да и в среде самих поэтов... Тамара Ивановна рисует довольно неприглядную картину нравов. Она изнемогает от зависти коллег, равнодушия общества к искусству и порой отчаивается от невозможности изменить мир посредством поэзии. Но момент уныния проходит: “Света, света! // Я жажду света нажила”. А свет неизбежно побеждает тьму. Она убеждает: “Я знаю, нет вернее средства, // Когда тоска подступит к сердцу – // Прочсть, как с ней другие жили, // Как из неё стихи сложили...” Автор называет поэзию: “то – злая мачеха, то – мать”, – однако ясно, что жить без поэзии она не может, считает, что ей “дарован праздник этот” и она не изменит ему никогда (“я не сбегу с корабля”). У неё есть немало строк, полных страстного публицистического накала, в том числе и о судьбе поэзии. Но всё же стиль Красновой-Гусаченко в целом иной, его отличает особая поэтическая пристальность, которая распространяется на всё окружающее, на мир в его радостях и горестях. Отсюда – афористичность, художественная новизна, скульптурность многих поэтических образов:

“Я – червь. Но ведь Отец мой – Бог!”;
“Неба колокол бьёт надо мной...”;
“... вывернули время, как рубашку”;
“Разрезы в памяти моей, // Как пропасти, где мир так тесен”;
“Любить куда труднее, чем влюбиться”;
“Секрет Победы прост: // Перед огнём вставляли в рост”;
“Высшая поэзия – молитва”;
“Жизнь течёт по Божьим планам, // И не нам о них судить”;
“Внутри тебя // Все царства, // Всей любви и красоты...”;
“Всё дома – дар и дань, // Всё – сень и благодать!”;
“Даже самая широкая дорога // Начинается от Отчего порога...”;
“... когда смотреть // Больше некуда – // Смотрите на небо!”;
“... закон суровый, // Такой простой: жива? Держись”.

Многие стихи хочется цитировать бесконечно, настолько они метрически изящны и точны в передаче ощущения драматизма и чуда бытия в каждой конкретной ситуации:

*Вся наша жизнь, как на одном дыханьи:
На вдохе — детство, юность и любовь.
На выдохе — болезни и страданья.
Но — в наших детях
Повторимся вновь.*

Трогательна забота поэтессы, прекрасного знатока русского языка, о судьбе языка белорусского – мовы, которая “была беззащитна, // Не для битв рождена, а для светлой молитвы! // Мягкий звук для того, чтобы нежно назваці // Мог ребёнок родимых і тату, і маці”. Памяркоўных белорусов, особенно тех, кто не хранит, не бережёт свой родной язык, Тамара Ивановна призывает: “Материнский язык пусть для всех будет свят, // Мой и твой, на котором учила нас мать // Говорить... А – важнее всего – понимать”.

Стих Т. Красновой-Гусаченко ритмически чрезвычайно разнообразен, а в стилистовом плане – графичен; встречаются у неё и белые стихи. Помещённые в конце сборника притчи – свидетельство незаурядного таланта прозаика.

Книга “У света тени нет” – лирическая, раздумчивая, душевная, с явным мемуарным уклоном, когда жизнь служит основой и поводом для серьёзных обобщений и афористических выводов. Но главное – истина, постигнутая на жизненной дороге. Она в том, что гармония в земном мире, как и Небесная благодать, достигаются душевным усилием, неустанным трудом и твёрдой верой.

В своём творчестве Тамара Краснова-Гусаченко сумела прикоснуться к таким глубинам души, где таятся и воспоминания, и предчувствия Небесной Гармонии. И в этом – исключительная ценность её поэзии.

БАЖЕН ПЕТУХОВ

ЧЕСТНЫЙ ПОЭТ

Валерий Гришковец. “Я из тех...” Избранная поэзия и проза. Минск, 2012

Валерий Гришковец – очень честный поэт. Начиная с этого, я совсем не имею в виду, что он неталантлив. Я просто считаю, что это – важнее. Поскольку – реже. Именно потому каждая строка и каждое слово его стихов так близки не только ему одному – всему роду русскому... белорусскому. Человеческому роду. И не случайно последняя книга-сборник поэзии и прозы Гришковца называется: “Я из тех...”.

Даже иносказания такого поэта, как он, откровенней прямой речи. Они не кажутся “поэтической фигурой”, нарочитым тропом, а словно выходят-вытекают из доверительного разговора между друзьями, где все понятно с полуслова... из умолчания даже:

*Мне сорок пять. Я столько видел,
Что не запомнил ничего!..*

Валерию Гришковцу уже шестьдесят. Если не издеваться (что, к сожалению, принято в нынешней “культуре”), а принимать человека как ближнего своего, – то за этими немудрёными словами увидеть можно многое. То, чего “не запомнил” поэт (но ведь запомнил же хоть что-нибудь!): рассказы о Великой войне и о тюрьме поседевших дедов и отцов; глухое время брежневских приписок и пыжиковых шапок с японскими магнитофонами; говорливую перестройку; распродажу и воровство, митинги и расстрелы, новую войну и новую суму девяностых; расторжение, растление, забвение страны и народа... Все то, что делает сегодняшнее сиротство многих горчайшим – и почти безвыходным.

Но Гришковец – не сирота. Он белорус. При всех потерях, при всей многолетней боли – у него есть и навсегда останутся родина, дом и мать. Величины постоянные:

*Отчий дом, бедой и горем крытый,
Ни за что не оброну упрёк...*

Ни человеком, ни тушкой, ни чучелком – никогда всего этого ему не бросить. Не отказаться. Вы знаете, во всем этом так много раз уже клялись так многие (тот же Бродский), что верить уже трудно... А вот ему – верю. Несмотря на возраст и дату, Гришковец никакого отношения к “поколению дворников и сторожей” не имеет. Не из Минска он – из малого Пинска. Служил, как положено, в армии, стоял у станка, строил, был геологом, даже виноградарем был. Был даже когда-то бродягой. Не был он только посторонним. И за это ему – спасибо.

Простота поэтического слова Гришковца не кажется заезженной; ему при-
суща чуткая слаженность и уместность словоупотребления. Порой она возвы-
шается до красоты неразмеченной, почти былинной.

*Нескучный сад... А ты грустишь, любимая.
Пусть даль черна и холодна, как лёд.
Но сад в снегу — как стая лебединая,
И чем темней — светлей его полет!*

В жизни поэта многое связано с Москвой. Так же, как и со всей Россией. Так же, как и с Литвой, которой Гришковец бросает незлое печальное сожа-
ление, — как женщине, которая любила, да ушла. Наряду с вечными мотива-
ми пьянства и бродяжничества, одиночества и неуместности в этой жизни,
в итоговом, избранном сборнике Гришковца появляются сдержанные и муд-
рые обобщенья. Даже геополитического характера. Честно говоря, прежде,
когда я вместе с поэтом учился на Высших курсах Литературного института,
в семинаре у Юрия Кузнецова, я не очень верил, что в доску народный Гриш-
ковец сможет выйти за пределы заколдованного круга традиционных обид
и счетов. Но он выходит. Так легко и просто, и всё той же “народной” поход-
кой. Помоги Бог выйти и всем нам.

Важное место в стихах Гришковца занимает ответ (не вопрос!) веры. Это
вера по-настоящему христианская: смиряющая и тем очищающая себя. Язы-
ческие “рецидивы”, опять же столь распространенные в нынешней культуре,
почти неизбежные ныне в поэзии патриотического направления, не властны
над ним. Не заносит Гришковца судить других прежде самого себя. Трезвение
становится не только физической потребностью — потребностью духовной:

*С колыбели, с самого начала,
Что ведёт нас по земле, мой друг?
Разыгрались волны у причала,
Повторяя свой извечный круг.
Ну, а нам в один конец дорога,
Торопись по ней, не торопись, —
Человеку путь один от Бога
И одна ему от Бога жизнь.
Как бы твоё сердце не кричало,
Гордый и всесильный человек,
Но пройти опять свой путь сначала,
Хоть умри, не сможешь ты вовек.*

Никакой обреченности — при всей тяжести этой универсальной темы!
Вместо этого — утверждение жизни по воле Божией. И снова:

*Я был разрезан вдоль и поперёк,
Но жизни, нет, не брошу я упрёк.
“После операции”*

Найдена твердая мера — и человеку, и государству. И современности,
и истории. Мера строгая:

*У славы есть примета страшная,
Где больше лиха — там она!*

Мне кажется, что этого не поняли многие историки и политические деяте-
ли — и даже с самыми лучшими намерениями. . .

Смирясь, Гришковец не отдаёт ничего, вверенного ему Провидением.
Он — по-прежнему сын, и брат, и муж, и отец. И гражданин. Просто теперь
в этом кругу понятий, устремлений и долга одно другому не мешает. Вероят-
но, так и сказывается настоящая мудрость Господа. Он помнит всё:

*Расплатились кровушкой
за поля родные,
Водкой да слезами
позалили боль...*

Тут бы, расплатившись, и расплеваться, и разойтись... Но поэт знает:

*В Киеве,
в Москве ли,
в пограничном Бресте,
Пусть колюч, но это —
наш, родимый хлеб!
“Славянская заздравная”*

Перед нами поэт невычурный, без “сложностей” и особой позы. Сейчас это немодно. Наверное, можно сказать, что собственная тема Гришковца — а далеко не каждый талантливый автор дорастает до “своей” темы — *Всеобщее* в человеке. А мы в литературе уже давно, с незапамятных времен элитарно озабочены, прежде всего, своего лица *необщим выраженьем*. Не замечая, как это лицо превращается в гротескную звериную маску. Ради красного словца не пожалеем никого. Но вспомним ли брата?

Об ошибках и недостатках в книге избранного поговорим кратко... Их, ошибок, довольно на каждого мудреца. Поэтому и недочётов в поэзии Валерия Гришковца немало. Постоянная неточность рифм, которая воспринимается и расценивается, впрочем, как неизбежная, привычная дань беглости, простой, *необточенной* разговорной речи. Вечное *незнакомство* с сюжетами и темами мировой поэзии (как многие из нас, забывшись, пишут новые “В полдневный жар, в долине Дагестана”...). С одной стороны, когда забываешь об *эталонах*, ни Пушкин, ни Толстой тебе писать уже не мешают. Это закономерность известная. К тому же сама непосредственность творчества Гришковца прямо подразумевает первичность, приоритет для него внелитературных ориентиров... И всё же хочется напомнить автору, что стихотворство — не только дар, но и ремесло, в котором правилами пренебрегать надобно осторожно. Тогда не будет обидных изъянов в красоте, уйдут ненужные повторы.

Мелос — особенно просодия — стихов Гришковца, написанных на великорусском языке, очень белорусские. Что совершенно не мешает им найти дорогу к сердцу нашего читателя. Даже помогает. В этом смысле поэт — необходимое звено, соединяющее сейчас наши расходящиеся народы. Валерий Гришковец — насыщенный поэт.

Я мог бы — и должен был — добавить здесь хвалебную оду поэзии братской Беларуси; начать, может быть, с Николая Гусовского и Симеона Полоцкого, развернуть Янкой Купалой и Якубом Коласом... Но я не хочу завершать ее Гришковцом. Думаю — он и сам не хочет. Пусть она продолжается.

... Я все-таки мало сказал о биографии поэта, хотя много думал об этом, когда писал эту статью. По воспитанию Валерий Гришковец — настоящий крестьянин, а по судьбе — неизбывный скиталец если не телом, то душой. Мне кажется, что в каждом соплеменнике-сябре, как бы ни давили лживые законы *цивилизации и прогресса*, живут люди лесные, вместе с деревьями и травами, и разговор ведут со зверем и птахой, а в каменных мешках часто гаснут, как певчие птицы в клетках. Даже если сами не понимают этого... Но это — тема другой статьи. А пока поздравим Валерия Гришковца: добрая вышла книга, где вместе с поэтической судьбой запечатлелась и судьба национальная.

ДОПУЩЕНА ОШИБКА

В комментарии к переписке В. И. Белова и С. Ю. Куняева «Не зря живем...», опубликованной в № 10 за 2012 г., на стр. 242 допущена досадная ошибка.

В. Белов писал С. Куняеву 23.10.2002 г.: «Сможешь ты организовать хоть небольшую рецензию на книгу И. Р. Шафаревича «3-тысячелетняя загадка». Питерское издательство «Библиополис», 2002. Тираж всего 5 тысяч (может, уже скуплен и сожжен). Если, конечно, не побоишься пули из-за угла». В комментарии к этим словам сказано: «Рецензия на книгу И. Р. Шафаревича в «Нашем современнике» не публиковалась».

На самом деле, вскоре, в № 3 за 2003 г., была опубликована даже не «небольшая рецензия», а довольная большая статья Андрея Воронцова «Загадка — не только в евреях» о книге И. Р. Шафаревича «Трехтысячелетняя загадка».

БЕЛАЯ РУСЬ

В начале апреля — к очередной годовщине подписания Союзного договора — руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь В. А. Малашенко пригласил в Минск группу русских писателей. Мы выступали на заводах, в том числе на знаменитом Минском тракторном, в Доме Москвы, в учебных заведениях.

Особенно памятна встреча в Гимназии № 12 — над ней шефствует Россотрудничество. Учащиеся читали стихи, посвящённые союзу наших народов. В Гимназии сложился клуб любителей русской поэзии “Лира”, который возглавляет учительница литературы Т. Е. Побокко. Разговорились. Оказалось, что Татьяна Ефимовна многие годы выписывает журнал “Наш современник” и на его материалах воспитывает своих учеников в любви к России.

Живое и трогательное выражение этой любви — стихотворение ученицы 10 класса Вероники Агейко. Редакция решила опубликовать его, несмотря на очевидные стилистические шероховатости.

А. Казинцев

ВЕРОНИКА АГЕЙКО

МЫ — СЛАВЯНЕ

*Москва! Звучало слово гордое
От Бреста до далёких берегов.
Москва! Душа твоя народная
Сияла всем из глубины веков.*

*Ты всех славян в единство собирала,
Хранила братство, как могла,
На чувствах наших не играла.
Ты старшим братом нам была.*

*Сейчас не то. Но нет твоей вины,
Что мы в разладе странном стали,
Что нет большой и дружеской страны,
Мощнее всех, сильнее стали.*

*Но предков наших дух славянский
Ничто не сможет покорить.
И белорус, и россиянин
Трудиться будут вместе, жить.*

*Мы будем жить! Мы, белорусы, россияне,
Не спорить будем, а дружить!
Мы речь одна — ведь мы славяне!
Мы суть одна — ведь мы славяне!
Мы кровь одна — ведь мы славяне!
И это надо защитить!*

Главному редактору журнала “Наш современник”

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Примите мои искренние поздравления с присуждением высокого звания лауреата Патриаршей литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Всю свою жизнь Вы посвятили творчеству, сохранению и развитию лучших традиций отечественной литературы.

Мои земляки знают Вас как талантливого редактора известного журнала “Наш современник”, как яркого, самобытного писателя, автора многих книг, проникнутых искренней любовью к России, к людям, а также публицистических очерков, посвящённых литературоведению. Глубокого уважения заслуживает Ваша плодотворная общественная деятельность, искренняя забота о нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, успехов в осуществлении новых творческих планов и замыслов.

С уважением, губернатор Кемеровской области
А. Тулеев

Почётному гражданину Калужской области, Главному редактору журнала “Наш современник” С. Ю. Куняеву

Дорогой Станислав Юрьевич!

Поздравляю Вас с вручением Патриаршей Литературной Премии. В награде, полученной Вами из рук Его Святейшества, мы видим признание глубинной духовной сути Вашего творчества. Свой яркий талант Вы ни в какие времена не разменивали на сиюминутный успех, не потакали лживой моде и тем заслужили непреходящее уважение земляков – жителей земли Калужской.

Ваша поэзия и публицистика – явление общерусское. Но в них мы чувствуем традиции Калужского края – края великих старцев и учёных, воинов и тружеников. Вы никогда не теряли связь с Малой Родиной и мы верим, что родная почва питает Вас силами в творческом служении Отечеству.

Желаю Вам новых литературных достижений и личного благоденствия. Всегда рад встретить Вас в Калуге.

Губернатор Калужской области
А. Д. Артамонов
23 мая 2013 года

Главному редактору журнала “Наш современник” С. Ю. КУНЯЕВУ

Дорогой Станислав Юрьевич!

На днях я прочитал 5-й номер журнала. Я всегда с большим удовлетворением читаю Ваш журнал уже многие годы.

На мой взгляд, удачен роман “Солдатский маршал” С. Михеенкова. В течение 20 лет я занимаюсь созданием мемориального комплекса Третье ратное поле России. 12 июля 1943 года под Прохоровкой в Белгородской области произошло знаменитое танковое сражение, где с немецким мощным танковым кулаком

сражалась 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова Степного фронта, которым командовал И. С. Конев. Роман очень своевременен, так как летом этого года исполняется 70 лет Курской битве и танковому сражению под Прохоровкой. Весьма интересная, но не совсем бесспорная статья А. Севастьянова по вопросу элиты. Может быть, этой проблеме и дальше следовало бы уделять особое внимание?

Меня Бог не наградил поэтическим даром. И тем не менее, я очень люблю поэзию. С большим удовольствием я следил за поэзией Ю. Кузнецова, Н. Рубцова и Вашей, Станислав Юрьевич.

В прошлые годы довольно часто издавались поэтические произведения А. Вознесенского. Я много раз пытался постигнуть их глубину, как поэтическую, так и содержательную. Но, увы! Они не запали мне в душу. Иногда я думал, что не созрел до понимания его поэзии. Но не даст мне соврать Бог – не мог я понять его метафору: как через унитар можно увидеть шар земной?! Спасибо Юрию Павлову, он как литературовед подтвердил мои сомнения. Не являлся ли этот обласканный поэт и ему подобные предвестниками нынешнего загнивания нашего общества? То, что у нас идёт этот процесс, видно каждому здравомыслящему человеку. Мы идём в этом направлении по стопам некоторых “цивилизованных” стран Запада. По-моему, они уже прошли этот этап и перешли в стадию загнивания и разложения. Чем это закончится, видно на историческом примере: Римская империя была мощным государством, просуществовала несколько столетий, а потом рухнула и распалась на части. И дело не в варварах, которые напали на неё, а в них самих. Элита этого общества полностью разложилась и потянула за собой народ, которому нужно было только хлеба и зрелищ.

Станислав Юрьевич! Мы с Вами далеко не молоды и, тем не менее, всё то время, которое Бог нам отпустил жить на нашей грешной Земле, мы должны бороться за души наших людей. И спасибо Вашему журналу, что он смело идёт по этой дороге.

То, что люди у нас не полностью потеряны, можно судить по письмам читателей в Ваш адрес и в адрес редакции журнала. Разве можно читать без душевного потрясения письмо Клары Александровны Саблиной к своему погибшему под Ленинградом отцу! И подобных писем много. Именно они, как в зеркале, показывают нынешнюю жизнь. Людям надо помочь не опускать руки.

Многие пишут, что они с трудом находят Ваш журнал, так как местные власти не очень жалуют его. Выписать же у них нет возможности, и не потому, что он дорогой, а потому, что у них слишком мала пенсия. Надо бы подумать, как им помочь в этом деле. “Денежные мешки” – олигархи и долларовые миллионеры – Ваш журнал не читают, им он даже не известен. Но есть люди не богатые, но имеющие возможность оказать минимальную помощь в этом деле. Подумайте об этом!

Для начала я направляю в Ваш адрес деньги на годовую подписку журнала. Используйте эту помощь по своему усмотрению.

С уважением,
Н. И. Рыжков
Член Совета Федерации

.....

Анатолию Аврутину — 65 лет!

Поздравляем с юбилеем замечательного русского поэта, живущего в Беларуси, укрепляющего своим талантливым творчеством русско-белорусское единство!

Желаем нашему давнему автору духовного и телесного здоровья и новых поэтических достижений.

Редакция